ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

КОЗАЦКИЕ МОГИЛЫ

ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

КОЗАЦКИЕ МОГИЛЫ

Повести, сказания, художественные исследования

Москва
«Современник»
1990

ББК 84Р7
П14

Рецензент
Э. Ф. ВОЛОДИН

Паламарчук П.

П14 Козацкие могилы: Повести, сказания, художественные исследования.— М.: Современник, 1990.— 464 с.
ISBN 5—270—00833—5

Внимание молодого писателя П. Паламарчука занимают темы истории нашего государства. Темы эти он пытается решить, исходя из опыта сегодняшнего дня, в котором отечественное прошлое является живым и равноправным действующим лицом.

Перед читателем встает ряд образов: запорожские казаки времен борьбы с поляками за воссоединение Украины с Россией, представители интеллигенции «серебряного века», участники подавления кронштадтского восстания, наши современники со своими заботами и сложностями.

Особое место в книге занимают рассказы — художественные исследования, посвященные деятельности Г. Р. Державина, жизни К. Н. Батюшкова, последним дням и вскрытию могилы Н. В. Гоголя, трудам малороссийского ученого М. А. Максимовича.

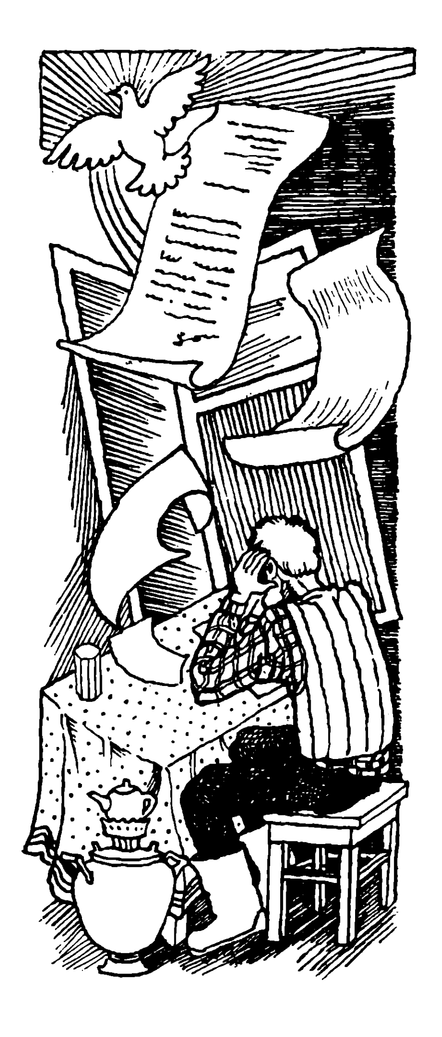
П $\frac{4702010201 — 046}{М106(03)— 90}$ 110 — 90 ББК 84Р7

ISBN 5—270—00833—5

Две повести:
Десять лет
спустя

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, ИЛИ О НЕДОВОЛЬСТВЕ ЖИЗНЬЮ

Венок доносов



ПУТЕВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОНОС

Главное, чтобы все попало точно по назначению.
От этого зависит благоприятное решение дела, будь оно хоть самое ничтожное.
Сообщение же мое очень важно, а если от него и выйдет кому поначалу малый вред, то вообще без вреда ведь еще ни одно дело не сделалось.
Положение стало теперь такое, что не верится, чтоб можно было поправить, однако не помереть бы слепым.
От безлепицы на всем свете уже и не обережешься: те торопятся скорее все в яму угрохать, другие им подносят, третьи лают, а четвертые враньем заправляют — как говорится, нечем чорту срать, так угольями.
Да и древний народ наш совсем освинел, только никто не знает наверное, где он, этот народ: опираться на него удобно, а в руку попробуй возьми — утечет водой между пальцев, рассыплется, так что ни Павлу, ни Савлу.
Ищут вину на этом или на том, пока ложь со ржавчиной каждого проедают, в середине и по краям.

Пристальней нужно всмотреться, должен же кто-то за все вместе ответственность понести.

Одни доброхоты вторых овиноватить тужатся, пузырятся, как назём в жиже,— но не вся то правда до конца, время целиться выше.

Может, мы внешне всего лишь мухи заоконные, ан крылышками-то чесать хочется; следовательно, крылышки эти для чего-нибудь нарочно придуманы.

И раз кто-то это допустил, то пусть помогает расхлебывать; а ежели с первого начала ошибся,—не на свое место, знать, влез и выпустил вожжи, когда без наказания такое безобразие происходит, что от боли сердце запекается в кровь.

Лучше уж я назову тут губителей поименно, пора наконец выложить, чтó им причитается, а поверху посадить их руководителя, как его отсюда видать.

Утешения никакого, навряд ли даже это мне добром обернется,— но силы перемогаться вышли, мочи не терпеть и той больше нет.

Исчерпалось доверие, и вот, заложив ближних с дальними, я прямо говорю, что страшно виноват в нас он, главизна всему, кто все сотворил и крутиться пустил, тот, кого называют Бог, если он все-таки есть или хотя бы был и немножко остался; а коли его и вовсе нет, то что за толк нам всем прочим здесь выплясывать, извиваясь, как хвост от раздавленной ящерки.

КОЩЕЙ ЗОЛОТОВ

1

«Главное, чтобы попало по назначению»,—принес с собою из сна Кощей, выговорив последние слова почти въяве. Очнулся же он неожиданно, как будто бы чья-то рука коснулась до сердца, понудив его биться живее.

Звонко кашлянул несколько раз в рукав, шевельнул пальцами, мутно подумал что-то и вдруг перенес ноги вместе, как бы сросшиеся, на пол. Там они отыскали домашние, подшитые кожей валенки и привычно в них угнездились. Старик поводил глазами по стенам и остановился наконец взглядом, как всегда, не крестясь, на красном углу с образами и высохшею лампадкой в виде цветного фарфорового ангелка, у которого одно крыло было отломлено. На зернистом торце скола застрял откуда-то клочок света.

Оттолкнувши крякнувшую шишками кровать, Кощей встал

и, возвращая члены к движению, прошелся до рваной двери в сени. Взял в руки палку с шапкой и вылез на ночной двор. Небо было нерезкое, снизу осенняя земля просочилась туманом.

Он скоро вернулся, бросил, не глядя, оставшиеся праздными вещи на тряпичную кучу у входа и застыл, опершись холодными руками о стол. Потом, боком вперед, медленно опустился на табурет. Покоя все-таки не было. Тронул щекою не успевший до конца остыть с вечера электрический самовар, соображая, стоит ли греть его снова. Плеснул, взболтав прожелтевший насквозь запарник, в глиняную кружку холодной заварки с пепельными спитыми чаинками и долил воды, повернув ключ на выходившем из самого низу самоварного туловища чудовищном кранике. Да, как видно, покою уже не бывать. Чай же получился теплый.

Он его выпил залпом. Затем, хрякнув, нагнулся и сунул-таки в вилку самоваров конец: пусть его снова вскипит. Растопившееся внутри тягостное неудобство нудило, и, кажется, избавиться от него нельзя уже было какими-то простыми привычными средствами. Правду сказать, он давно чувствовал, какое чрезвычайное лекарство одно лишь способно помочь,— но все боялся привесить к больным своим мыслям плоть, что означало воистину родить их, а потом и отвечать по всей строгости, как за собственных природных детей.

Кощей сел прямо и сдвинул локтем на край стола кучу разного рода бумаг. При этом, сминаясь, среди них на мгновение выглянуло и скорежилось уродливое насекомое с обложки самоучителя по пчеловодству, которым дед как-то так и не собрался вплотную заняться; показались некоторые части официальных лиц с цветной вклейки журнала «Огонек» и высунул заячье трепаное ухо исторический роман «Наливайко». Кощей извлек из груды худую общую тетрадь, раскрыл, царапая закостеневшей кожею пальцев гладкую поверхность страниц,— искал место сшива. Обретши, тотчас же принялся выдирать лист.

Обиженно пукнули скрепки, и вынутая бумага, вспучась на сгибе, легла перед Кощеем. Он достал тогда из-за зеркала ручку и поглядел на календарь с датами великих свершений, прикнопленный к стене. Расписал на нем, яростно чиркая, застывший в стержне с пастою шарик. Потом вытянул правый ящик стола; при этом спавшие там мирно очки испуганно бросились в угол, тщетно надеясь в нем скрыться,— но он их выковырнул оттуда еще теплые, со сна потягиваясь скрипящие, усадил плотно на нос и, все же вспомнив напоследок

краем души перед началом дела кого-то себе в помощь, написал вверху:

«В».

Покопался опять немного в памяти, где все это давно вообще-то уложилось — разве что порядок не был пока совсем ясен — и докончил адрес:

«Фрунзенский РОВД г. Москвы от гр. К. Золотова».

А что? Ну —

«ЗАЯВЛЕНИЕ».

Дальше дело пошло вдруг так споро, как будто ему свело руку судорогой, и она пустилась выводить с изрядною долей самостоятельности.

«Гражданин начальник! Не удивляйтесь, что пишет вам житель города Малоярославца Калужской области: Москве я человек не чужой. Жил в столице с двадцать третьего года по сорок первый, когда был мобилизован в военную промышленность на Урал. Это потом уже мне ваши сотрудники не захотели восстанавливать прописку,— но я не про нее теперь, вопрос касается прямо до вас.

Сейчас я тоже неделями бываю в Москве, у дочери; они с внукою моей Галей как раз проживают во вверенном вам районе. Я даже думаю к ним совсем перебраться, потому что ездить туда-обратно по четыре часа в день старику в электричках чрезвычайно обузливо. Но и не про дочку рассказ, просто надо ведь хоть как-то подступиться, а там уж выяснится — что скажу нужного, а что можно и пропустить. Мне так писать удобнее, да и вам понимать будет легче, так как мелочь какая неожиданно может выйти важнее всего.

Коротко, хочу сообщить вам про их соседа гр. XXXXXXX из квартиры XXX-й. Стенка Анатолиевой, то есть зятя моего, комнаты, где мне стелят, у нас с тем соседом общая, и вот уже два почитай что года, как я его вполне коротко изучаю. Но что-то мне от этого делается все чуднее и непонятнее. Ну, начать с того, что всегда там у него возня и неустройство какое-то, даже когда тихо вроде бы,— потому что от тишины той идет еще пущее беспокойство. А мужик он из себя видный, лицо бритое, ростом жердяистый, как ходулина, и дома хо-

дит босиком, тапочек не признает: словно еще вершок — и за потолок головой задевать будет.

Познакомился я с ним самовидно во дворе почти сразу, как приехал; я тогда целых пол-лета без роздыху в городе прожил, пока дочка на море к грузинам в отпуск ездила. Вечером у подъезда за песочницей старики тамошние закат просиживают, а я, чтоб не встречать их лишний раз, приходил туда к полуночи, когда никого нет. У меня, знаете, бессонница на темноту, и ложусь я только после восхода. Малоярославный мой дом на горушке построен, и в хорошую ночь через овраг городок весь как на блюдце видно, речку Лужу под ним, на угоре монастырь Миколаевский разоренный, а там и леса дальние — всё. Сидишь так, смотришь, размыслишься и задремлешь тихо.

В Москве, конечно, тоже есть куда поглядеть, но только днем; при луне эти новостройки выглядят совсем уж неладно. Да что поделать,— отучить себя от старых обычаев трудно, вот я и присаживался просто у дверей полуночничать.

А у него, у соседа, значит, как он сам говорил, лет десять собака жила, он ее выводил во двор; и когда померла, то он уже по привычке ходил гулять один. Это, я думаю, что он не соврал, потому что иной раз даже забывался и, уходя, свистал ее домой, а потом чертыхался.

Вдвоем мы с ним так и беседовали. Сперва я по стариковскому нашему пристрастию вспоминать больше сам рассказывал, а после уже и пополам. Тотчас же заметно было, что человек он вроде хороший, то есть, я хотел сказать, умный. Как-то, например, говорил мне про людей, будто глядят они на чужую старость как слепые и всё отмахиваются примерить ее на себя, словно им такое и не грозит — их собственная ветхость как бы уже позади, раньше случилась; а происходит так оттого, что глядят-то с головы на хвост. Конечно, ежели разобраться дотошно, то всякому ясно станет, что все то неверно, но человек бережется всматриваться глубже, потому что здесь дна-то нет и не объяснение вовсе нужно, а оправдание — дескать, нас самих смертью не накажут, нас ведь не за что...

Сознайтесь: вы сначала небось подумали, что-де я дед дедоватый, и никаких таких рассуждений услыхать не ожидали? А у меня между тем высшее образование, я еще после гражданской войны Тимирязевскую академию кончил; правда, позже сложилось так, что всю жизнь проработал сварщиком на заводах.

У него тоже получилось что-то неладное со службой,

но он вроде на нее и внимания особого не обращал,— болт на это, как теперь говорится для краткости, заколотил. Наши с ним разговоры вообще всегда мирно кончались, но скверно было до тошноты от этих его рассказов; как-то выставлял он все так, что будто пожарище какое внутри оставалось, и такое ж еще пепелище проглядывало потом сквозь всякую наружную благодать. Даже про бессонницу толковал, что потому человеку чувствительному не спится, что солнце и луна—это очи мироздания, и днем по преимуществу мы глядим на него, а ночью оно — на нас. Он сам и вправду сидел, я не однажды видал, за полночь в своем открытом окне на шестом этаже спиною наружу — лунный загар, шутил, собираю.

Люди у него бывали разные, часто приходили новые, незнакомые; а женщин вообще маловато. Из постоянных гостей я лучше всех помню школьных его друзей — это братья Козловы, или, по-простому, Козлы. И все они говорили даже про самую пустяковую вещь как-то не то чтобы со злобой или там тоской, а вроде просто заранее не ожидая встретить ничего хорошего, доброго.

В магазине мы тоже, конечно, часто встречались — дочка не от безделья меня посылала, не думайте; девица она плотная и хваткая, но с мужем у них что-то не сладилось, и ей для своей жизни вдруг много времени понадобилось, а у меня его свободного на пенсии — ешь, не хочу. Так вот — что я не сразу заметил: покупал он из съестного ну чай, ну вино сухое, хлеб или молоко, но почти никогда ничего из мяса. Это я уже после разобрался: берегся он,— и правда, с его-то статями на сие дело полжизни истратить можно. А у него — свое особое соображение для нее, поставленная цель. К ней-то и веду, в ней вся беда.

Наместо музыки там за стеной все больше радио сначала бубнило-шуршало, а в последнее время его как оборвало, только машинка писчая стучит да щелкают листы — он их любит громко пальцами перебрасывать. Еще в перерывах шаги, хождения, разговоры; но и тех больше было в начальный год, а нынешним поубавилось, одного лишь молчания прибыло.

И вот лежишь ты в темноте зимой уж под утро, закрыв глаза не от сна еще, от ночной усталости, сучишь ногой одеяло,— а рядом с головою тихий стрекот его печатанья, или совсем замолкнет, не слыхать; но я-то знаю, что не спит он, дышит тут сбоку. Я это почти что видел...

А однажды поздно вечером сижу я на лавочке и глядь — бредет соседушко чуть хмельной, скорее просто навеселе, хотя и такое с ним редко случалось. «Мир вам,— говорит,—

Кощеич!» — «Откуда ты?» — спрашиваю. «Да за город сей день ездили, погулять»,— и подмигнул хитро.

Я, сказал, пить-то совсем не люблю, я раньше пьяных слушать ходил нарочно, а после того сам уж не больно-то взалчешь. В них, в упившихся, в некий решительный миг вдруг вселяются, знаешь ли, истинные бесы, безо всяких там поправок и скидок,— с того именно часа, после которого человек себя на следующий день не помнит. То есть для него лично этого «после» как бы вовсе не было — однако чей же огонь горел тогда в глазах, кто горячился и корячился, норовя ближнего своего уязвить побольнее? — Эти, отец, самые и есть. И вот, забравшись в оставленное хозяйской душою тело, начинают они всячески... развивать! Причем со страшною силой разумности,— а как еще ловко спорят, да что за новости говорят: ведь это законная их пора воплощения.

Сейчас я, правду сказать, и сам пригубил — но не столько; я отчетливо соображаю и понимаю. Я здорово запомнил, например, что ты мне, Кощеич, про революцию рассказывал и про войну. А как ты думаешь, может, пора уже в иную сторону повернуть, а? Переделать криво наляпанное? Да ты не бойся, я тебя никуда не тяну; но знаешь, золотой ты мой дед...

Тут он мне взял да поведал не только про себя и про друзей своих, что они такое затеяли. А потом и про вас, граждане начальники, тоже. Я до сих пор не знаю, правда ли это. Но даже если это четверть правды, пусть большинство и не так — она ведь все равно уже вслух произнесенная, и тогда что же такое получается?»

Лист кончался. Старик остановился и вдруг застрял. Он никогда раньше доносов не писывал; но, главное, он почувствовал неправильность того, как пишет: не того, что, а того именно — как. Или — на кого. С самого еще начала, двигая строку рукою, он бессознательно строил на лице какие-то извиняющиеся, стесненные ужимки. С другой же стороны, на бумаге дело как бы постепенно начинало проясняться и для него самого.

Многое, очень многое тут кругом — не так. Так. Нужно сие пресечь. А что поименно «сие»?

«Пора прекратить безобразие,— приписал Кощей в конце страницы,— и от этого зависит благоприятное решение дела —»

Он осторожно отодвинул полный лист, словно боясь расплескать его содержимое, и выдернул из тетради новый.

2

«От этого зависит благоприятное решение дела,— перенес он на него,— будь оно хоть самомалейшее и ничтожное...»

Ничего себе ничтожное-малое! Ведь беда-то от него получается, ох какая огромнейшая... Теперь дед забеспокоился уже внутри себя: выходило, что и с одного боку его подпирала совесть, и с противоположного. Еще только начавши писать, он оказывался вынужден преступить грань приличия — и если не донесет, и если донесет. Выбор как бы одновременно и был, и его вовсе не было. Куда же вестись?

Он несколько раз порывался продолжить чем придется — надеясь подспудно, что кривая вывезет сама, но не мог найти хотя бы сло́ва, чтобы начать: уперлось оно у него четырьмя копытами поперек строки. Плюнул в душе и вдруг обиделся на то, что мешало ему согласиться с беспокойным соседом. Что за неустройство такое, какая нелепость! Но и оставить все в том виде, как было, тоже поздно — правду похоронив, потом сам же из ямы не вылезешь.

Однако, все-таки странный его знакомец часто действительно доказывал свое, пусть даже отвратительное донельзя. Но ведь не он первый начинал ломать, обещая строить. И беда-то ведь не в нем же одном, она гораздо обширнее.

— Бог ему судья,— решил Кощей наконец и, оглянувшись по сторонам, зачеркнул имя и адрес в первом доносе. Не он виноват. И не стращать, а исправить — вот что теперь требуется. С чего же начать-то? Да можно с немногого — вон он примеров сколько приводил, один другого разительнее и верней... Да дед и сам таких вещей наберет со всякой поляны полно лукошко.

«В ГОСПЛАН» —

вывел он поверх второго листа.

«ДОНОШЕНИЕ.

Из глубины, товарищи, из перспективного района Нечерноземья, от ветерана гражданской войны и трудового фронта разрешите послать совет»,— начал он, шутовски меняя свой слог: именно так учил его сочинять разного рода заявления

начальству один хитрый приятель в годы послевоенных сельскохозяйственных бедствий. Этим письмам «с лукавинкой» с тех пор первый был ход — хотя, конечно, он и сам чувствовал заключенную в них ложь, да и наверху многие понимали; но строить из себя доброхотов «простого народа» надо же было хоть внешне — вот и приходилось попадаться на своей же мякине.

«Письмо вам мое о колбасе. Скажем честно, по-рабочему: плохо у нас с ней, совсем не хватает. Верно ведь? Неподобно как-то получается: люди вроде как все равны, а колбаса-то у них — разная. По ней враз угадать можно, кто человек таков по роду и званию, откуда взялся и какого росту чин — из Москвы ли шишка приезжая, в Калуге отоваривался или из сельпо нашего тащится, а который и вовсе обесколбашенный идет. Но не годится так.

Да вы не бойтесь, я не жаловаться хочу и не просить; я — с предложением. А то что же выходит?! Сплетен нарасплодилось, анекдотов да слухов. Портится народ и злом пышет. Вот нема у баб охоты к футболу, чтобы на досуге без дела калякать, так нá тебе, и вместо погоды теперь у них всё колбасные новости. Негоже.

Ну, казалось бы, раз уж нету ее для всех, не растет, как говорится, чтобы вдосталь на каждого хватало — то какой еще может быть выход лучше, чем тот самый простой, что прямо-таки напрашивается...

Граждане, товарищи! Запретите, перестаньте отнюдь делать ее, прекратите развращать население и делить его по колбасистости, по колбасному этому признаку. Сомневаетесь — не получится? Очень даже славно получится, и выйдет так, что забудут ее быстрее, чем последняя кишка переварит; а как уничтожится память, то станет в стране тихо и незлобственно. Разве помнит кто-то сейчас вкус сбитня или вообще что это за штука? Или, например, ответит, кто таков был Рыков Алексей Иванович? Перестали делать один, сняли другого, запретили третье — и поминай как звали. Нетути. Не подумайте только, друзья мои, что я тут их по случайности вместе приплел: колбаса теперь стала как бы участником политической жизни, почти контрреволюционной партией. Да еще поопаснее — за решетку-то ее не упрячешь, а агитирует почище меньшевиков и эсеров.

Поэтому и даю вам совет, как человек бывалый: уничтожьте ее поскорее, пока яд тот любительский окончательно всех не перепортил. Но уж чур, дабы польза подлинная была, запрещать следует накрепко, а не так, как это часто

бывало: нам нельзя, да и вам вроде тоже нельзя, но не очень. Этак еще только хуже получится: не надейтесь за заборами уховаться, снизу ведь все равно очень хорошо видать — и тогда разве в жиру душой измараетесь, последнее уважение потеряете без всякого толку. Вот как с тем же Солженицыным: кто его честил, кто бранил? — конечно, тот, кто читал; но неужто вы не заметили, что читали-то лишь у вас, наверху? А прочим людям что доставалось — ни вершков, ни корешков; одну дырку от бублика подставляли, заставляя плевать туда по команде. Ан плевать-то задарма пора миновала, потому что обожглись не раз, покоряясь всем стадом еще со Владимира-князя: ты туда харк! да харкотиной своей в такого ж, как сам, попадешь, а он — в тебя.

Нет уж, коли заказать — так заказывать всем.

Поймите, головы наши хозяйские, донос на колбасу — не так это смешно, как поначалу покажется. Разве не у нас в основе всех мыслей материя? А ведь она, колбасища та гнусная, именно ссорит людей на основании брюха и в неустойчивый современный час разрушает подспудно общество. Потребитель не просто косится друг на друга, он еще и завидует, и вполголоса насмехается,— а когда смеются, то, сами знаете, уже не верят.

Ну сколько же про нее сейчас болтовни — бывало ли когда подобное, слыхано ли? Помните, раньше и от рака умирали тихо, не кричали, иные у общественности внимание отвлекали заботы — туберкулез там или балканский вопрос, а нынче на каждом углу — рак! рак! рак! И в печати, и по радио, и в ящике телевизорном: рак да рак! Так и она теперь, высунула наружу скверную морду свою тупорылую, кишка раздутая, новая болезнь — колбаса. Куда ни поворотишь ухо — все одна речь: тут дают — очередь зазмеилась, здесь уже разобрали — бранятся, а где уж год как не видели — шипят, зубоскальничают...

Вот вы и поразмыслите у себя, на верхних этажах. Рассудите: мне-то ведь что? Я лицо совсем непричастное, мне уже наплевать на все те недостачи, да и забыть; жила голодная в брюхе давно перетерлась, перед глазами могила,— потому я сужу без пристрастия и словам моим веры больше. Но вы-то куда там загляделись? Выньте наконец взор из своей полной тарелки да послушайте деда, ветерана за Кронштадт, не ерунду говорю. Не за раны даже уважьте, а хотя за что, что восемьдесят мне от роду лет и, значит, я нового строя целыми двадцатью годами старше. Вот, не сочтите за глупость и гордость, за болтовню пережившего свой век старика, и прочи-

тайте между своими вслух это письмо. Гореть-то пусть под ногами еще не горит, но дымом давно уже тянет — значит, и сообщение мое очень важное, а если от него и выйдет кому поначалу малый вред, то вообще без вреда ведь еще ни одно дело не сделалось».

3

«Сообщение мое очень важное,— перечел Кощей,— а если от него и выйдет кому поначалу малый вред, то вообще без вреда ведь еще ни одно дело не сделалось».

Чем-то опять недовольный, он, не замечая пустого места на втором, выдрал не глядя третий лист, второй же отпихнул вбок, к первому. Так.

«Но не потому люди скверно живут, что у них недостает чего-то, не хватает, к примеру, колбасы,— а оттого-то ее и не хватает, что живут они не так»,— начал он новую бумагу и застыл. Пересчитал оставшиеся чистые листы. Протер платком очки, водя с усилием перстом круги по краям стекол.

Волнами находившее писчее одержание тыкалось в голове, позабыв дорогу к пальцам. Снова приходилось что-то менять.

Кощей вынул из сети вилку вскипевшего, до половины залитого самовара, нагнулся и напустил в запарник кипятку на вторяки. Коли уж тут не колбаса причиною,—подымаем голову, берем выше. Но кого?

Две попытки перенести пени на ближнего оказались равно неудачны — значит, лучше попробовать начать с себя самого, эдак оно всегда куда-нибудь да выбредешь; когда ничего вперед не загадывать — то все должно выйти само собой.

«Забрили меня еще на второй год гражданской войны. И трубил я в богатырке-буденовке, покуда не распустили нас через три года за ненуждою. Но и в ту пору высвобождали первыми тех, кто собирался учиться,— вот и подался по набору в облегченный курс Тимирязевской академии для агрономов; а грамоту я еще при царе, в воскресной школе на фабрике вызнал довольно изрядно. Четырехлетнее обучение закончил с дипломом. Тогда же, в Москве, и женился в первый раз. Пришлось из-за этого идти подрабатывать, по старой памяти на завод. Жена моя была из образованных, тонкая и больная.

Сделавшись землеустроителем, послан я был под Ростов

донской. Там она родила мне сына и вскоре померла, ее задушила нутряная опухоль, по-нынешнему «рак». Сына же моего угонили потом во вторую войну на фронт и убили. Не успел по жене перегоревать, как открылся у меня самого туберкулез обоих легких — прямо куски мяса с кровью тогда через горло схаркивал. Врач в городе, к которому я приехал, отпросясь из станицы, сразу сказал, что мне в этом климате не жить — надо обратно в центральную полосу.

Поехал я на Москву, иду в академию. А они там как давай с ходу кричать: почему вернулся? Да кто приказал?! А ну мотай назад отрабатывать полученные знания, не то враз засудим за кражу народного добра!! Я отвечаю тихо, что туберкулезный процесс, руда изо рта льется и не могу находиться в таком районе. А они все одно — ором орут.

Пошел на всякий случай еще в больницу, беру выпись. Врач спрашивает: где ты раньше-то работал? На заводе, говорю, сварщиком. Ну так и ступай, советует, туда, а в академии лучше и не светись — сгноят ведь за милую душу.

По счастью, работа моя завсегда была нужная, так что взяли назад, не копаясь в анкете. Поселили в общем доме у Марьиной рощи; так я и прожил сварщиком до самой войны, получил даже высший разряд. Женился вторично. Жена эта в сороковом году ушла от меня с дочкой к армянину, а была она тоже московская, из трудящихся.

Когда началась мобилизация, мне дали бронь, тем более что по ногам был уже инвалид, и вместе с сорок шестым номерным предприятием перевели на Урал. Там мы его день и ночь ставили, и в двадцать три дня оно уже продукцию выпускало, действовало согласно плану — то есть, значит, одни станки помещались прямо на земле, без крыши, без ничего. И до сорок седьмого гнали пушки для армии, все расширяя свое производство.

На Урале же со мною сошлась одна врачиха, местная, русская коренная, с ребенком. Перед концом войны я с ней совсем поселился, однако до росписи дело не дошло. От нее у меня дочерь и сын, но кроме них да еще хозяйства как-то не собралось у нас с нею ничего общего — совершенно разный была человек. Когда я принялся хлопотать о возвращении в столицу — а меня уж и сам директор пустил,— она уезжать не всхотела. И я оставил ей все, что было моего в этом доме, даже сберкнижку ребятенкам на совершеннолетие. Детей моих я с тех пор так и не видал; она как-то раз писала на радостях, что окончили школу и работают в Свердловске, но адреса не сообщила.

Московская милиция мне по приезде отказалась прописку вернуть: они когда в сорок первом бежали, архив свой районный не то сожгли, не то потеряли. Корешок бывший — тот в Москве еще крестился; так адвокат послал его в церковь за метрикой, и попы действительно его имя-отечество в приходских книгах нашли. А мне-то каково? Я появился на свет в Ярославской губернии, в Романов-Борисоглебского уезда селе Пилатики, там и дом мой родительский еще до пятилеток стоял; а москвичом сделался после гражданской. Полковник в отделении пожалел и сказал: катись-ка, покуда еще можно, в Малоярославец, это хотя и Калужская область, но только два с небольшим часа поездом от столицы,— а потом и туда-де пускать перестанут.

Вот, и опять я здесь устроился при механическом заводе металл сваривать, до пенсии. Походила ко мне первое время баба-выпашь — то есть за пятьдесят лет уже, более не рожающая; хотела и переехать, но как-то это у нас не сладилось. Она потом еще в школе работала, у учителей жила. Теперь померла.

А как освободился на пенсию, старый свой домик продал и купил другой получше, верней полдома,— то появилась второй жены дочка Наталья. Она тоже тогда без мосprописки была, но выучилась в институте и, вышед за однокашника, поселилась на его площади. Теперь они с мужем разводятся: его, видишь ли, направили работать на периферию, в Красноярск, а ей из столичной квартиры съезжать, только что ее домыкавшись, скучно; да, может, только и повод ждала разойтись-то. По образованию она химик-технолог; сперва, правда, собиралась в художественный, рисовать умеет очень похоже — летом у нас артисты жили, так один, Никифор Дорофеевич такой, Злищев, наверное из бывших староверов семьи, очень те картинки нахваливал,— но туда не прошла, там конкурс.

Мужика ее мне искренне жалко, такой славный парень, гораздо получше большинства теперешних, самой ее в том числе, и девчушку свою так любит, ласкает,— но тут уж их собственные дела. Конечно, когда два-три года молодые проссорятся крепко, то будь они какие хочешь женатые, скоро совсем становятся чужими. А женщины ведь как другой народ — у них и устройство свое особое, и ум в иную сторону направленный.

Раньше, я помню, да и в книгах есть, что вроде то же самое было, но не в той степени. И бабились, и оженивались, и все прочее — это всегда, а только не разливалось бабство таким болотом!»

Дед вдруг покраснел от невзначай прихлынувшей злой крови.

«Болото это и есть их истинная природа, увязнешь в нем — так и не выгорюешься. Вот сколько я с ними ни пережил, ничего добром втолковать не выходило; разве с первой, что, бедолага, и померла вскорости. Ты им одно талдычишь — а они знай свое слышат. Как китайцы какие, право слово.

Это еще на то похоже, как в милиции через мокрую тряпку бьют, чтобы следов на лице не оставалось, синяков наружных. Так и баба, что то битье с тряпкой — выкровенить не выкровенит, но доймет да выплющит, а снутри все как есть разгваздано, саднит, ноет, и руки опускаются. Оттого все кругом и стоит, с места не трогается: ведь кто что ни задумай начать — одинаково через бабскую противную силу не перейдет, застрянет в ней и в жижу погрузится.

Не говоря уж, конечно, про бешеных,— у нас и такая была тоже, женорганизатор с наглой правдивой рожей, которая бесплодная и ни одному мужику не под стать; но про таких шатунов что речь вести — они сами себя наказывают.

А вон прежние-то люди ведь что-то же поспевали все-таки делать. Двигали, и оно подавалось, шло куда надо... Не то, что вот как это недавно приключилось, помните: шум подняли до небес, все кверх дном ставят, старых богов несут вон, новых в рамочки попросторней вправляют,— а как улеглась пыль-то, то и оказалось все на том же на своем на тухлом месте. Распустило болото щупальцы через жен, разрослось и раскочкалось. Наподобие того, как у нас тут рядом электростанцию построили: затопили пропасть нужной земли вместе с деревнями, так что подошла вода к самым окраинам и в городе стали комары водиться ажно зимой — в домашнем-то тепле как раз твари и перемогаются. Светло, весело, прогресс прямо перед носом жужжит и за задницу норовит тяпнуть.

Надо как-нибудь подсушить эту бабскую склизь, глёкотинник их рыбий, потеснить, схомутать. Кто-то бы лишь начал, место им их настоящее указал, посмотрел вниз так, как глядишь, вот только что поемши бабу и видишь со стороны — и ее, что она за сокровище из золота самоварного, и свою дурость рядом. Да потом скоро опять глаза белой мутью заболакивает».

Дед вздохнул и очнулся от бумаги. Повертел ручкой и дописал:

«Я, конечно, понимаю, что тут по-настоящему не переделаешь сразу всего. Но кое-что можно ведь хотя бы попробовать? Разглядеть трезвым оком, докуда непотребство докатилось — а положение стало теперь такое, что не верится, чтоб можно было поправить, однако не помереть бы слепым».

4

«Положение теперь стало такое, что не верится, чтоб можно было поправить, однако не помереть бы слепым».

Кощей почудился написанному, еще родному и уже как бы не своему: получалось вернее, чем он ожидал или даже хотел. По крайней мере, чем представляется снаружи на первый взгляд.

Ну что ж, пошли дальше. Дрянно, спору нет, что бабское естество всякое начинание останавливает и топит,— но все же вот кто-то рвется вперед, не теряет совсем надежды. А если внимательнее посмотреть — чего ж ему волится-то? Вдруг это наваждение пустое примерещилось, он за облаком ходячим потянулся,— а наяву чудак совсем в другую сторону едет, и лучше бы уж ему вообще было на месте сидеть, не рыпаться... «Вот мы,— вспомнил дед, мешая жизнь с прочитанным в книгах,— чего только мы не надеялись! Позапретили все зло одним декретом и давай, значит, ждать, когда наконец добро отовсюду попрет...» Он крякнул и потерял нить рассуждения.

Но, вроде бы, зацепить удалось что-то очень важное. Донос доносом, а ежели попробовать еще немного иначе — ведь не только гнать, но и знать надо, чего гонишь, разве не так? Ладно, тогда начнем еще раз с хвоста.

«Председателю Верховного Совета
Всесоюзному Старосте Брежневу Л. И.

Многоуважаемый Леонид Ильич!

Пишу Вам, что думаю, потому что стою уже обеими ногами по колено в могиле, а так и не уразумел толком до конца многих вещей.

Вот почему у нас так нелепо и странно выходит: поначалу предшественник Ваш Иосиф Виссарионович был лучший друг трудового народа и белого света; потом, как скоро помер, разоблачили его долой из культа личности,— а теперь и совсем не разбери-пойми: он и бог и кровопивец открытый зараз?..

Я вспоминаю самое еще начало. В гражданскую войну, в марте двадцать первого года, меня ранили в обе ноги при взятии мятежа в Кронштадте. Но в отличие от многих тогда безгласно погибших и зазря изувеченных, получилось так, что я знаю: отчего все дело выдалось настолько кровавое и вышло наперекосяк — потому что перед днем того гиблого штурма, произошедшего в нынешний женский праздник Восьмое марта, когда состоялся накануне военный совет, я там стоял при нем в карауле.

Нашим боевым начальником был бывший генерал Ехлаков. Он им всем ясно сказал: Кронштадт мощная в Европе крепость, флот туда раньше апреля подойти не может, да и у них свой собственный сильный есть; а выпустить людей на ровную поверхность льда прямо под пушки — бессмысленное смертоубийство. Надо подтянуть боеприпасы и произвести артобстрел. Но командующий Тухачевский — я их в лицо-то уже знал — молодой такой, из подпоручиков, с румянцем на щеках, как накинется на него и давай стучать по столу: ты-де в душе вредитель, и сразу видать, куда клонишь — чтобы мы укрепления кронштадтские артиллерией разнесли. А они нам скоро самим еще пригодятся, защищаться от ваших друзей-белопогонников, так-то! Все-де вы, прежние-старые, воюете безыдейными методами — а мои орлы разтакой тот Кронштадт на ура за мировую революцию возьмут как миленький. Нашу же крепость собственными руками рушить жалко... Чего им Ехлаков мог ответствовать, коли его в глаза предателем обозвали? «А этих только,— говорит, на меня показывая,— вам не жалко?..»

Но кроме него все были за героизм, за пешком и за Тухачевского, во главе с предреввоенсовета Троцким. Ну и решили, значит, без особой артподготовки топать, и приказ Ехлакову выдали: завтра утром, чтоб еще затемно было, выгоняй людей на лед.

Ну, пошли мы и в ночи да метели проткнулись под самые форты, глядь — уж стоим в сорока шагах от батарей, а они давай лупцевать прямой наводкой. Где не утопят попаданием — выроют впереди полынью. Мы ничего поделать не можем — лежим, вмерзаем. Правда, пара прытких выскочила: «За мной, вперед!» Прыгнули двое-трое, показались потом в воде разок — и поминай как звали. Так до вечера и провалялись без толку, только народу пропасть поубивало.

Вот тогда они слова́ генерала нашего и вспомянули. Следующий раз перед наступлением город хорошенько побомбили — и он уж разве немного поерепенился, да и сдался.

Кто там из них успел, те ушли заливом к финнам, а остальных, что в плен попались, кого на месте пристрелили, кого в лагерь свезли, а еще, я после уже слыхал, несколько тысяч посадили на баржи и утопили в Северной Двине.

Меня самого в первое то наступление гиблое по ногам картечью шарахнуло. Упал, сознание ушло. Когда очухался немножко, разорвал рубаху, перевязался да пополоз. А куда там уползишь — кругом льдины и снега. Стал замерзать, заснул и пролежал так почти что сутки. Похоронная команда, та, что трупы ищет, подобрала на следующий день с мертвяками и мое грешное тело.

Уже в морге врачи поглядели,— а я еще чуть-чуть теплюсь. Но они подумали, что все равно поздно, дело дохлое. Все же одна взяла-таки и попробовала выходить, Горлова по фамилии. Век ее буду поминать за то, что с того света вынула. Только я с тех пор как-то усох маленько, и стали меня санитары заместо Константина Кощеем величать, да так та кличка и насовсем пристала — Кощей и Кощей. Теперь она мне роднее природного имени сделалась, Константин же — это словно бы и не я. А ноги ничего, посейчас по свету бродят, хоть скоро года́ вовсе перестанут мне прибавляться,— но пока еще через овраг до города, к примеру, сам хожу при помощи одной палки.

Но вот потом вся жизнь наша пошла точно как Троцкий с друзьями, а не как Ехлаков советовал: постоянно норовило начальство на чужих ногах в рай дотопать. Лет через десять-пятнадцать и вовсе стали пускать кровь рекою, тысячами высылали и шлепали. При Хрущеве-поросятнике как будто обратно принялись заворачивать, оправдали кое-кого и пропечатали, но очень, однако, не всех: Тухачевского вот ведь вновь выславили, а про нашего комдива так ни слуху ни духу — словно он и на свете не живал. Нынче же все еще снова переменилось — только людям теперь это как-то и не чересчур любопытно.

Конечно: война, революция — крайние времена, и человек зачастую ведет себя тогда как бешеный. Сейчас пора вроде мирная, и молодые нынешние не такие выперёдчивые и горячие, как мы были, поспокойнее стали и поздоровей. Поэтому я на них в оба глаза гляжу: ну что с ними-то будет?

А видать — ничего особенного. Над Первым маем, например, они потешаются, но и к Пасхе дедовской относятся немногим лучше. Отмечают всё подряд, только празднуют по большей части выпивкою до усёру, а потом еще идут на танцы морду бить. Спору нет, водка тоже впрок может пойти, но ведь

не для себя же самой, для чего-то другого... Этот же выпьет, оборотит да в донышко поколотит: еще давай. И так покуда синими соплями не обольется.

Странно как получилось: и дома у него все вроде ничего себе, с голоду не помрешь, да и на уме заботы невелики — ведь объяснили ученые люди, что для того света оправдание зарабатывать нет нужды. Ну я, допустим, тоже неверующий, вернее, не знаю точно, наверное, не верю и верю отчасти,— но вот они-то как раз в глубине своей уже ничему не верят. Ни в Бога, я имею в виду, ни в безбожие. То есть, подержат смерть перед очами раз-другой, увидят, что она все добро со злом в единую кучу свалит без разбирательства, и как ни тужься, дальше гроба не убежишь,— так сие их на корню и сушит.

Пока послабление продолжается, они от тоски в церковь стали наведываться: зайдут с девицами, постоят минут пять, поглазеют как иностранцы — и вон пойдут. Они в самом деле стали другие люди, которые даже не прочь и еще раз заявиться, крестик купить, чтобы гордыми сделаться от своей независимости; а только попробуй-ка объясни им, что верующему нельзя ни баб почем зря портить, ни напиваться до потери лица в человеке, ни даже матерным матом через слово крыть, раз уж всем нам общая главная матерь Богородительница,— тотчас и разбегутся. Погуляют, правда, посмотрят, что еще есть взамен: газеты, кино, вино, жена, телевизор — маловато. Прибредут обратно, потом опять назад — так и шатаются все где-то между...

В городе, я слыхал, стали для облегчения вместо водки таблетки глотать и веру отыскали серединную — блюдцы вертят, а потом под музыку и свальный грех; ругань и ту на английский язык перевели,— да надолго ли душа человеческая будет такой дрянью захвачена, без конца разве ее мучить-то можно?..

Вот приходил ко мне в позапрошлом году один такой молодец московский. У нас здесь в воскресный день самый большой рынок толкучий бывает в средней полосе России, почти прежняя ярмарка. Особенно вырос он с тех пор, как в других городах, да и на юге тоже, ихние толкучки прикрыли. Я и сам в эти выходные, ежели здоровье не болит, наведываюсь туда погулять, поглядеть и покалякать, конечно, тоже. Вот и пристал он как-то — рыжий, в дубленом тулупе и валенках без калош: мол, нет ли у тебя, дед, иконок? Как нет, говорю, есть в углу — от старых домохозяев остались. Тогда принялся он проситься вроде просто взглянуть для любопыт-

ства,— хотя сразу видать было, что торговать хочет. Ну, показать мне разве жалко — и как вскоре уже и так уходить надо было, то взял я его с собою. Сбегал он даже, вина по дороге купил — будто бы ради знакомства.

Добрались мы до хатки моей, разделись, помянули про то да про се. Выпили, стал он оглядываться и распустился чуток.— А ты верующий, что ли,— спрашиваю.— Верующий.— Иконы собираешь? — Да, отвечает, люблю; и тут же стал о покупке моих речь заводить.— Что ж с ними сделаешь? — А какие понравятся — себе оставлю, другие продам или в оборот запущу.— И часто эдак торгуешь-то?— Часто, сказал, потому что сейчас за них деньгу платят хорошую, особенно из-за границы приезжие негры с арабами. Этим, дескать, живу и кормлюсь.

Но я все же не захотел своих святых выдавать, ведь рассказывают люди, что к беде та скверна ведет, коли кто из дому икону продаст. Он тогда закупил у меня пару старых книжек, лампадку другую небитую да самовар медный. Но что-то у меня все из головы слова его нейдут; больше всего в тот год задумывался, когда еще часто в церковь похаживал, привыкая после пенсии на покойников глядеть. Так вот поп в очередной раз, как храм наш какая-то выездная артель мазуриков обчистила, проповедь произнес про то, что икона есть образ Божий, и самолично Христос на тебя с нее глядит, а не мертвое изображение. И когда ты продашь ее или, того хуже, украдешь, то поступаешь во образ Иудин — значит, тоже сам собой Иудою-предателем сделаешься. Кто начинает, говорил, образами торговлю вести, тому не миновать и веру проклясть, а себе кого-то иного найти посговорчивей для поклонения: и будет это — он так прямо и выговорил вслух — никто инаков, как сатана.

Недаром ведь раньше даже в иконных лавках такой обычай был, что не продавали они свой промысел, а выменивали...

Позже, однако, я там внутри к темноте присмотрелся, и что-то мне неприятно сделалось с церковниками наедине. Больно много и в храме неправильного, да и Бог слишком уж без меры зла в мире попустил,— ну какой он после всего этого Бог? Почему молчит, когда негодяев некому более наказывать и правду в лицо заушают?!

Того парня я потом еще однажды на рынке повстречал, и он мне как доброму знакомому попросился киот на сохранение поставить свежедобытый, который не мог тотчас с собою увезть. Здоровенный такой кипарисовый киотище выше человека ростом, со стеклом, но пустой; до сих пор в дальнем сарае

пылится он за дровами, потому что молодой этот так больше сюда и не появлялся. Наверное, нужды мало, а может даже, поймали на чем-то да на отсидку сволокли — и о таких проделках иногда в статьях пишут.

Ляд с ним, с чужим; а вот взять тех, что у нас на заводе работают. Почему ж они от белого вина с телевизором не отрываются после шести и до отбоя, будто чем-то отравленные? Идешь иной раз по улице — и вон он, пожалуйте, наклюкался, но не пляшет и песен не поет, не дурует из молодечества, а распластался середи дороги и лежит, ужратик, как сом, глаза таращит да лишь усами пошевеливает. И усы-то не усы — чаще рожи босы. Мало в них сока жизненного, что ли,— ведь не сосунки же, и солдатчину отбыли, каждый второй-третий или срок мотал, или по стройкам-химии помыкался,— так что не очки их довели и не книжечки. А вот нате вам, валяются братья и пузыри пускают...

Правда, коли они почти все такие поделались, раз обычно это недоживание, тогда за что же им-то одним беду вменять, пропуская тех, кто заразу к ним перепустил? Гвоздь от молота визжит, от гвоздя стена трещит! Куда ни хватишь — нигде конца нет,— написал Кощей и вдруг понял, что опять возвернулся туда, откуда вышел.— И все друг друга за хвост дергают. Всякий что есть силы на соседа бранится, а собственную-то жопу с места лень двигать: почем знать — может, еще хуже будет. Обволоклись ложью вокруг, от безлепицы на всем свете уже и не обережешься. Те торопятся скорее все в яму угрохать, другие им подносят, третьи лают, а четвертые враньем заправляют,— как говорится, нечем чорту срать, дак угольями».

5

«От безлепицы третьи лают, четвертые враньем заправляют»,— вот оно что, вон где собака зарытая. Кощей даже раздумывать долго не стал, как заглавить пятый свой лист.

«В ЦК от Золотова К.

НА ПЕЧАТЬ ДОНОС».

Непосредственно перед фактами он решил сначала рассказать немного о себе, чтобы они не подумали, что это докучает очередной рёхнутый ветеран, перечитавший на заслуженном отдыхе все исторические книги подряд из городской библио-

теки. Но, занося перо и примериваясь, куда положить первое слово, почувствовал какой-то звон, растущую слабость в голове. Они были даже отчасти приятными, нежными и распускающимися. Легкота быстро усиливалась, а на самом пределе расслабления тело разом склещила боль, крутанула по сердцу,— и все ушло.

Руки обмякли, он опустился на стол всею грудью и только пытался уцепиться за что-то живое глазами, не слыша своего обычно чуть свистящего дыхания. В бороду незаметно утекла струйка слюны. Было тихо.

Наконец, в животе явственно забурчало от преждевыпитого холодного чая. Кощей постепенно перемогся, пальцы потеплели и опять стали отвечать желаниям, в кости вернулась крепость. Он достиг рукою запарник, сцедил из него густо-густо заварки, долил кипятком и выпил, обжигаясь, без сахару. Налил сразу еще. Кровь внутри разогревалась.

Тут он краем глаза ухватил на одном из первых листов внизу выражение «однако не помереть бы слепым», и на сей раз ударение попало отнюдь не на слепоту. Снова голова откликнулась теменью, сердце кануло вниз. Старик быстро схватил недопитую кружку, хлебнул, давясь,— и мрак, чуть погодя, отступил вместе со страхом.

Кощей сообразил, что пора торопиться. Посидев еще мгновение неподвижно, будто «на дорожку», как положено по обычаю, он жадно напустился на писание. Косненье в словах пропадало:

«Соотечественники!

Я не боюсь и совсем не стесняюсь называть свое сообщение вам доносом, потому что чего же тянуть, чего крутиться, когда прямо с души скидывает и выворачивает? Коротко: разберитесь с вредителями в печати, на радио и кино, повыдергайте их вон, заставьте прекратить врать, пока они всех окончательно не распугали.

Ведь когда один брешет, а другие то видят,— над ним просто посмеиваются, так? Коли двое по очереди заливают, делая вид, что верят друг другу, чтобы своему облыжничанью в чужом подпору найти, за вранье враной деньгой получить — то со стороны-то обоих поправить можно всякому здоровому человеку. А что вот поделать, ежели все кругом лгут, в себя самих уже всякую веру утратили, остановиться никак не могут, все дальше роют яму и сыплются туда как горох?! Каждый внутри похохатывает да вслух продолжает

еще пуще свистеть — потому что, единожды позволив выступить лживому языку, поди потом останови словоблуда попущенного...

Так теперь заврались, что и краснеть забыли. И пропаганда с информацией всему этому безобразию голова, они из детства людей безмозглому блеянью учат. Вот вы когда-нибудь хоть пробовали чуток задуматься о том, что бы было, если б и в самом деле все стало таким, как в газетах пишут, а?

Ну и ловят люди Америку, и не по столицам одним, где ее нарочно глушат, только растравляя охоту,— но и у нас по области тоже, хотя здесь получше слышно. Не за то к ней внимание-то, что занятное уж очень радио, а попросту нету там такого неуважения к человеку, когда его за недоумка почитают безглазого, который вокруг себя ничего не видит. Только пропагадина наша, полагая всех тут навроде как пнями дубовыми, сама не успела оглянуться, как придурковатою сделалась. Да что я вам даром толкую про то, чего и сами-то небось давным-давно поняли,— ведь вы-то, конечно, не «Маяк» перед сном включаете, оскомину на душе трепотней натирающий...

Можно, правда, не согласиться из-за того, что ежели б воистину всем не нравилось, то народ тысячьми тысяч писем о том бы писал. Но ведь всяк выпьет, как говорится, да не всяк крякнет: чего даром бучу-то подымать, когда проще взять и перевести влево ручку в приемнике. Но погодите немного, попробуйте хотя минуту послушать, что нам оттуда из ботала этого ботают. Или ненужное вовсе и непонятное из-за того, что понимать его не к чему; или уже про то, о что мы ежедневно боками стукаемся,— такую, простите за слово, хреноватину припустят, что иной раз вникнешь невзначай, позабывшись, проймет тебя, вылупишь очи раком и начнешь соображать: где ж это, в каком-таком тридесятом царстве имена все как у нас, а дела под птичий глаз? Да то, оказывается, про наш передовой опыт передача,— им там так представляется, что залить людям мозгу совсем простое дело: сиди высоко да плюй далеко. Ну уж нет, это нам-то где низко, оно и близко; плевальщик же рано иль поздно дохаркается до того, что кроме разве «попки-дурака» все другие слова позабудет.

Возьмите их, товарищи, в крепкий кулак да повыдавите гнилье. Эка же присосались лгуны со вралями — неужто и спасу от них не бывать? Ведь чем больше дуются, тем скорей лопнут,— так не лучше ли их вперед того в христиан-

ский вид привести, чем охать потом понапрасну? Вырастет непременно про Ипата лопата, и тогда только причитать примутся: как же так, недоглядели да не заметили?! Проще же вправить сейчас им мозги, и пусть нас в нашей собственной стране за иноземцев не числят. А кому охота отраву выпускать, сам ее и ешь, а позже выворачивайся хоть наизнанку на здоровье.

Вот без двадцати лет уже век живу и, знаете, хотя и прежде не все одна правда, конечно, слышалась, всегда человек присочинить горазд,— но так, чтобы один пустобрех днем и ночью без передыху носился, над которым глумятся все, как над старым козлом, а потешившись, сами подпускать помогают — такого бардака не видал. Говорит пословица: бойся вышнего, не говори лишнего; теперь вместо царя у нас вы посажены, и ваша прямая обязанность повытянуть свистунов вороньих из чужой скворешни да закляпить им поганое их каркало. Люди-то верят еще, что начальство московское справедливое, добра и пользы желает,—но связь с населением потеряло, замусорили ее доброхоты незваные. Потерялась она из-за этой вот брехни неответственной, и вам от нее не меньше нашей беда: наверх по кругу-то эта же кривда идет обратно, то же дерьмо и на тех же тележках. Корень горести вверх прорастает и живую правду всю, аки вьюн дерево, душит.

Или еще пример: висит у нас посреди главной площади малоярославской матюгальник и орет что есть мочи круглодень трансляцию. Ну какое он может вызвать к себе сочувствие, кроме глухоты? Добро бы еще кто-то хотел отвратить людей от оперной музыки классических композиторов — так ее и так тут не слишком жалуют. Но только и вместе с источником: что за доверие может быть к тому, кто тебя достигает во всяком углу и без спросу в башку запихивается, вывякивает, вымарщивает, выпрашивает что-то свое,— и не просто так выклянчивает, а еще и выстращивает. Я уж молчу про тот ведьмин ящик, который даже записные телевизорщики, всякий футбол-гандбол-прибытие без рассуждения наблюдающие, называют не иначе, как «говорящая жопа»... Не подумайте худого, человек я старый и отнюдь не ругательный, но тут одна лишь брань и помогает еще отгонять того прилипалу прочь, как настырного какого балбеса, что суется тебе под руку без спросу с дурацкой своей помощью косолапой.

Так и выходит, что истина искренняя сохраняется скрыто в байках, песнях незаписанных, слухах да россказнях,

передаваемых из уст в уста,— да еще в преждеписанных книгах. К современным-то доверие потерялось, налили их густо ложью по самый край, как свиное корыто объедками.

Выплесните все это вон, будьте добры.

Чорт побери, я ведь знаю, что не однажды еще спросите: отчего это мы, те, которые видят все трезво и знают, сидим себе да помалкиваем? Как будто бы мне самому то понятно терпение,— Господи, да что ж мы за крепостные такие остались сердцем по сию пору, что все нас гребут и фамилии не спрашивают?! Не с того ли и надмевается, наглеет всякий чин подчиновный, да и древний народ наш совсем освинел; только никто не знает наверное, где он, этот народ: опираться на него очень удобно, а в руки попробуй возьми — утечет водой между пальцев, рассыплется, так что ни Павлу, ни Савлу».

6

«Древний народ наш совсем освинел... Так что ни Павлу, ни Савлу».

Ага, вот до чего мы досягнули. Кощей вздохнул тяжко и пустился писать далее. С этого места его как бы лихоманка одержала — последующие доносы строчил, не отрываясь, словно тело его, душу и дух накоротко замкнуло с чем-то мощно шедшим через него свыше, и ток этот невидимый при все нарастающем своем могуществе грозил выпорожнить старика без остатка.

«В ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Неужели вы не замечаете, что с русским, основным нашим народом творится что-то неладное? Вот мы обвыкли легко гвоздить чужаков и ясно ведаем их недостатки: немец — это прямоход, тугодум, колбасник и убивец без рассуждения; французик, конечно, блядун; еврей — жид, торгаш, пархатец, лентяй и двурушник. И так далее, и даже обширней — старая Европа отмирает, Америка погрязла в довольстве, китаец еще не выполз из красных подштанников, негры все черные, а аборигены — те сумчатые. Хорошо, пусть это отчасти и верно.

Но оборотимся — кто же судит? Посмотрите так же в упор на нашего брата — славянина теперешнего: разве ладен?

Лицо у него приличное только смолоду, а потом вдруг как раздаст его в ширину, разнесет глаза к ушам, рот повесит на шею, нос покляпнет и один останется от былого образа ососок какой-то — вот вам и красавец, вот и образец! Баба с первых родов теряет общий вид человека, мужики тоже отпускают живот до колен — это ныне зовут зеркальной болезнью, то есть когда живородный свой корень можно лишь в зеркало увидать, сверху он жиром застится. И ведь, между прочим, вовсе едою-то не избалованы, а происходит так от внутреннего безобразия. Но ежели люди заместо того, чтобы собираться и тянуться всем составом кверху, расплываются в жижистый шар,— то, значит, произошла какая-то страшная перемена, подмена основания, которая каждого, не спрашивая имени-отчества, корежит и корчит, подламывая под себя. Про нее-то и речь.

Те, кто род русский в сем веке хулил, вон как Горький Максим в газетных статьях времен революции, которые теперь что-то перестали печатать, вдруг в конце концов оказались правы. Невдолге стал наш земляк верующим ни в земной рай, ни в небесный; и лишь потому еще пьяниц больше, чем наркоедов, что доставать эту дурь заморскую покамест труднее. Даже блудят разгильдяи лениво, девок берут, какие легчей попадутся, а вовсе не встретят, так говорят, что на безбабье и кулак блондинка.

Сделались дети России не просто жестоки, а как-то при том и слезливо-надоедливы в своем зверстве. Не менее часто за ними водится, что от указаний начальства уклоняются они так же шутя, как продают потом свою бывшую братию с прибаутками — «к чертям друзей, я сам себе товарищ», слыхали такую?— взять хотя буянов, что в милицию замели, а хоть и ученых инакомыслов, которые исправно раз в год по телеящику каются. Негодовать и пакостить нынче принято ночью, когда не дадут сдачи; кочевряжится человек, случается и высочайшие имена костит во все дырки — но только за обедным столом в собрании баб при случае выпивки. Причем, конечно, близкодоступные эти бабы его и занимают значительно больше. А врагам своим он простодушно кажет собственные слабости из единой любви к выворачиванию наизнанку, обожая тыкать исподом своих кишок ближнему прямо в нос.

И до обиды понятно становится, что если чужой народ действительно вполне может быть искренне чуж, как ему по его инаковости и полагается,— то сей-то, которому родным быть надлежит, по чести сказать, домашним макаром гадок. Когда-

то земли эти, если верить хотя наполовину энциклопедиям, были во власти первых их населителей: угры, зырян, черемисов и разных мелких кавказцев. Потом прибрали их к рукам русичи, за ними пришли татаре, подмешали им своей крови. Наконец, вроде бы приладились люди к стране, получились с ней друг на друга похожи. Я это от всей души говорю, потому что таких породистых лиц лет пятьдесят-шестьдесят назад еще в довольном числе было. Не верите на слово — поглядите на старые снимки.

А потом опять закипело и, как бабы бают, переварилось — спеклось до того, что ничем уже русского от прочих не выделить, растворилась его живая особенность в общем кулеше.

Теперь вдруг во всяких статьях и предисловиях начали после драки кулаками размахивать — рассуждают о предназначении России судьбу мира перевернуть. Предназначение-то, спору нет, было, но только вот кому его нынче осуществлять? Оглянитесь кругом, разуйте глаза — где он, народ, которому до того дело есть? Скрылся, ушел в норы под камень, как перед тем по преданиям чудь. Многие же бывали на Урале, в Сибири, на Севере русском — почему не сказать вслух правду, что там больше половины изб стылых и брошенных, а то так и целые селения-волости покинуты, заросли́ и поля, и покосы. У белорусов, бывших кривичей, за тридцать лет ни на одного человека населения не прибыло; да что Белоруссия — из черноземельных областей и то люди в города бегут. Или опять же в землю уходят.

А тем временем, невемо откуда, появляются в стране нашей новые существа,— но это уже не русские. Это высадь, накипь горькая, пускай они и ростом продолговатее, и в ладони пошире, и промеж чужих ляжек здоровы пахать чуть не с десьти лет до ста — так ин высок репей, да один чорт ему рад.

И вот, значит, покуда сторона здешняя вовсе не выскудела, надо русских обратно повыманить, на место свое возвратить, сунуть совесть в душу и показать, чего они тут не доделали. Иначе перестанем мы окончательно понимать, что за нужда в нас на свете, и не то что разбежимся — разойдемся спокойно вскоре, скроемся между людей и затеряемся навсегда. А уж с того часа род сей никак не воротишь, сколь ни усовещевай: помирать — не в лаптях ковырять, и как лег под образа, так и выпучил глаза.

Но пока он еще теплится где-то, головы наши бедовые,— ловите. Впору при солнце кричать «ау»! Сачка задавливать,

сами знаете, мы и в отдельности каждый, и скопом все вместе краше других умельцы; поэтому не надейтесь своим бездельем природную славянскую лень пересилить — тут она всегда перехитрит. Бросьте еще привычку сейчас же лупу в руки хватать, когда виноватого ищете, снимите-ка шапки долой с лысины, поклонитесь народу и пригласите по чести: дескать, батюшка, русский наш брат, перестанем-ка прятаться, давай прощения друг у друга попросим, прекратим обиды считать да постараемся вместе, чтобы снова морды наши сделались на человеческий образ похожи. А то спихивают вину с одного на другого; ищут на том или на этом, пока ложь со ржавчиной каждого проедают, в середине и по краям».

7

«Внутреннему министру товарищу Андропову.

И ложь, и гадь в государстве завелись, товарищи оперативники, но только вот что хочу я вам донести: ежели лошадь понесла, то это значит — седок у нее худой, не любовью, а болью взять захотел и застращал до одури.

Если неясно сразу, куда я веду, поясню небольшим примером.

Кстати, предупреждаю, что имя свое и местожительство в конце письма поставляю настоящие, так что читайте спокойно и не подкапывайтесь под каждую строку, ничего там скрытого нет. Просто остатняя моя надежда на вас, и постарайтесь вникнуть в само рассуждение; а ежели донесение мое высоковато заносится, то, опять же, повторно прошу — будьте поосторожнее.

Ну так вот. У нас на швейной фабрике года три назад после капитального поновления поставили новые заграничные станки. Работают тут, конечно, одни почти женщины, трудолюбные и семейные,— потому что те, что поглаже и помоложе, в большие города быстро уносятся. А этим ударницам куда от дома с детьми-то бечь — не далее пригородного погоста. Но они зато упроворились на тех иностранных приспособлениях заместо одного пару станков тянуть, удвоили, значит, выработку; тогда им платили премию пятьдесят процентов за перевыполнение плана — и выходила получка в сто семьдесят в месяц целковых без вычетов. Через полгода начальство поглядело-поглядело, да и увеличило норму

до двух станков. Ну, бабенки поохали, запустили матюком, да тем и выскорбели обиду: что тут еще придумаешь, делать нечего. А на двойные-то деньги уже привыкли расчет в хозяйстве вести,— пришлось тогда помаленьку прилаживаться к четырем приборам; до такого числа, думали, норма никак не досягнет. Примоглись и снова стали получать вдвое рублей. Год прошел тихо, и вдруг опять потолок подняли. Что такое?! Беда,— но вы думаете, они поняли наконец урок? Нет, конечно, и теперь уж на пяти машинах пашут, пока новое приказание не пришло. Мужики ихние, правда, пошли сперва к директору права качать. Но он им с бумажками какими-то в руках битый час втолковывал, что, мол, не виноват сам вовсе, расценки «сверху» спускаются,— и сетку финансовую прямо предъявил пред ясные очи рабочего сословия.

Ну, мы вообще-то его хорошо личность знаем; какой-никакой он вырванец, тут уж навряд ли солгал. И то, что у жадного жажда во время еды растет,— это тоже нам еще бабки наши долбили. Да только что ж это означает такое «сверху»? Какой ради пользы они там такой делают вред? Я и сам помню, что когда на заводе мужском работал, то нам хоть и не так прямо в лоб, нам с боков заходили, а на деле творили ведь очень похожее. Но кто-нибудь задумывался — почему, для чьей же корысти и что от того воспоследовать может? Раньше бы, скажем, забастовка или даже бунт, а теперь — тоска, горечь и безразличие. Уверенность во зле.

Начинаете понимать, куда я клоню, оперативные наши граждане? Вы, значит, ослабили за начальством досмотр, какое высокопосаженное оно ни будь. Занялись они исключительной своей выгодой, а у нас хоть и не рассветай.

Взять вот нейтронную эту бомбу, о которой теперь пошел такой шорох в печати. Вещь в действительности ужасная, и американцам за нее спасибо услышать от тех, в кого они ею целятся, естественно, нечего ждать. Но почему же нашим-то головам черная Африка ближе выходит, чем даже Калуга? Куда у человека руки должны тянуться, когда сердце не в порядке,— неужто к чужой груди? А коли именно так получается,— то, значит, голова закружилась, и тогда надобно или поскорей остановить кружение, или уж отвертеть ее вовсе.

Небось вы-то в командировки не по одним заграницам мотаетесь и тоже видите, что за дела на родине сотворяются. В городе не протолкаешься, а на деревне не докричишь-

ся — кто так устроил? Или вот выступал я недавно на собрании в годовщину, потому что числюсь ветераном еще гражданской войны. Про сражения им поведал, что самовидно помню; Сталина, говорю, видал, вот прямо как вас сейчас, на Красной площади в сорок первом. Тут парни с места орут: «А скажи-ка, дядя, правда, что раньше всякий первый апрель цены снижали?» Народ у нас живет, представляете, не совсем обробелый. Что ж, отвечаю, бывало так, о каждой весне. «Ветеран ты точно,— кричат обратно из зала,— какие времена-то застал живым!» Во как они это все вывернули...

И ведь хлеще яда отравляет помутнение ума.

А поглядеть еще на книжное дело. Я сам почитать про разные века любитель, так что здесь уже не с чужого голоса говорю, своими руками все щупал. Сколько подымают по праздникам крику: мол, издаем чуть ли не больше других, всех вместе забратых, и грамотность у нас полная-безоговорочная, библиотеки с магазинами товаром засыпаны — приходи да бери. Ну, зайдешь в книжный, раззявишь варежку: да, ломятся от товару полки, и очереди не видать. А пустишься глядеть — ин добрецо-то говённое, тетрадки грошовые с призывами в глаза комарьем-гнусом тычутся, или талмудищи наоборот здоровенные, хоть вроде и русскою речью напечатаны, но разве одним талмудакам понятно.

Кто ж такие вышкварки купит, зачем даром деньги губить? И тоже ведь не продавца виноватить приходится и не печатника,— опять-таки «сверху» приказано книгой от книги же охоту отбить: пускай-де их поскучают, небось быстро позабудут еще просить. Как у хохлов присказка есть: нá тебе, Боже, чого мени не гоже.

Ну а что же тогда гоже? Приглядимся теперь к малоярославецкому нашему толкучему рынку. Тут, конечно, цены повыше, дутые,— зато имеется все, что потребно душе и телу. Я помню еще времена, когда толчки эти только нарождались,— пошли они с первой войны мировой, перетекшей в гражданскую; в те поры, понятное дело, враг нас стеснил извне и снутри, жизнь сама на барахолку выталкивала. Но вот уже больше полувека прошло, да все жив курилка, продолжает без перебоя снабжать,— значит, снова кто-то давит людей. Снаружи как будто бы государство стоит тверже некуда; выходит, что расстройство у него внутреннее. Не то где ж это видано, чтобы за один тулуп полгода работать нужно было? За солдатский!

Здесь, не спорю, бывает порою противно, особенно поганы барыги всякого разбора, шпана, спекуляторы — как прикипело

к ним когда-то обличье воровское-кромешное, что как печать в глазах светится, так до скончания века им его не сносить. Но вот что диву подобно: ведь у них любой на свете товар есть, какого только ни пожелают. И у начальства того добра полна коробочка, через край свешивается. У нас вот только нету его. И что же получается тогда в итоге — кто с кем в союзе одном оказался?..

Ну, про Анну Каренину мы все если не читали, то видели, и про то, как Вронский с нею на поезде из Москвы в Петербург по метели ехал, ухаживал. А вот нема там только главы про то, как они битый день на вокзале за билетами в окошко стояли. То ли пропустил Лев Толстой, то ли подвижка была тогда еще в народе не та,— но, лишь поездивши много да проторчавши по хвостам сутками, здорово понятно делается, что запор злостный на дорогах на наших тоже нарочно, тоже для порчи сделан. Ведь что такое и управа в самой сильной стране, которая с собственными своими средствами сообщения в мирное время управиться не способна!

А хлеб, что мы в тринадцатом году Европе миллионами пудов продавали? И в двадцать шестом не знали даже, куда лишки девать? Берем теперь полной горстью из кармана наших детей, высасываем из-под земли драгоценные залежи, которых туда сами не клали,— нефть, газ, руду — и меняем, упрашиваем взять за чужое зерно. Отчего же так вышло?.. Вон гостил я лето у зятя моего старухи в селе Чарозере Вологодского края. Местность там, конечно, северная, и погода самое короткое время теплая,— но ране они себя хлебом обеспечивали, а к тому еще и лес валили, и по реке его на низ сплавляли, и скотинка у всякого собственная была, и на зверя ходили промыслом, и мед бортничали, да еще и ложки резали с плошками зимой на продажу. Потом, чтобы вроде удобней и больше производить, согнали всех в колхоз,— и хлеба, понятно, хватать на всю ораву не стало, пришлось с Украины везти. После войны принялись переводить всю область на чистое животноводство — решили наподобие большого мясокомбината для всей страны сделать. Ну, а что у нас от того сейчас за дела с мясом, наверное, никому уже объяснять не надобно.

Теперь, значит, уезжал я домой, и сидели мы в Ферапонтове, под бывшим прямо монастырем, автобуса ждали. Глядь, везут мимо скот живьем на московскую сторону забивать. Только что-то показался он мне чересчур такой молодой да тонкий, ажно правые ребра сквозь левые светят-

ся. И правда, женщина местная растолковала: взрослой скотины недостает, мало родится их и дохнут еще как мухи, не дорастая до лет; сдавать же изволь каждый год точное число головами — вот и приходится гнать на убой однолетков, которые еще и мычать-то толком не настрополились, а на развод почти что ничего не остается. Головной грузовик вдруг увяз, потом и другие за ним застряли; принялась животина в кузовах беспокоиться. Ну, подошли тоже и мы поближе. Ох, поглядели бы вы в их глаза!

Но не эти печатают фотки в газетах,— а как руководительство наше народу руку дружбы жмет, пальцами на воздухе кренделя пишет. Вот взять бы его под ту белую лапку да свести в сельпо в очередь за костями иль колбасою — хотя там и нет уже глаз, разве на их место кружки жира беленькие,— ин тогда бы оно и послушало, и покушало. Не то выползут на помост-то, нахлобучат шапки барашковые, чтобы издали на мозги было похоже,— и знай себе машут. Махальщики, едрёна вошь...

Неужели сами не замечаете, граждане оперативники, что дыра уже приоткрылась бездонная? Нарочно они население бесят — дождаться, нешто, предела думают? Небось сами иногда дивятся — сколько ж могут люди терпеть. Но полагаю все же, что не дождутся — скорей перемрут.

На вас здесь, проверяющее наше сословие, последнее упование. Надо их рассудительно перебрать. Ведь очень даже хорошо понимают разорители, что творят. Двое-трое там есть, пожалуй, кто на самом-то деле впал в детство — этих пересадить в коечку да в больничку, а с остатних и спросить потуже. Однако посправедливее, посовестливей спросить, не как раньше — для того лишь, чтобы самим к сладкой каше поближе придвинуться; должен же кто-то за всё вместе ответственность понести.

К. П. Золотов. Калужская область,
г. Малоярославец, Красноармейская, 78».

8

«...всё вместе...

В ООН

Господа дорогие!

Говорят, что со стороны все повыпуклее глядится,— так, может быть, хотя вы разобраться подсобите? Я понимаю,

что мелкое обыденное безобразие, которое нам тут ежечасно в глаз упирается,— издалека оно незаметно, да еще нарочно дым подпускает, чтобы лучше спрятаться. Но невеликое сейчас и не важно, главное — это острие извлечь, жало, а нарыв-то потом сам засохнет и отпадет. Так что придется сквозь тот сырой туман око вперить, коли уж правду конечную хочешь найти.

Я было попробовал сам распутаться,— но одна причина за собою на поводу целую дюжину тащит, а концы все как нарочно в комок заплелись. То пощупаешь, это повертишь, за третье потащишь — ин корень-то внутрь пророс, не дается. Тянешь-потянешь — никак не выдергивается. Истинно почитается: та ложка узка, что два носит куска — вот развести бы пошире, выудит четыре. Я это к тому, что время уже попытаться разом целое охватить.

А то еще не окончил писать туда, где последняя надежда была расшевелить, в крутое прокурорское ведомство, как почувствовал, что совсем в успех не верю — просто некуда больше у нас и торкнуться-то, всех по череде перебрал. Да только чем чистильщики эти чище всех прочих — разве тем, что страшнее? Теперешний вон народ еще вялый, непуганый, а кто вживе покуда из прошедших лихие года — те уж никогда не забудут. Я про прощение речь не веду — оно дело совершенно, так сказать, личное. Но о ту пору были воистину лучше братья-узники, чем такие союзники.

Как еще в конце двадцатых проглотили моего Ехлакова генерала, с которым крепость Кронштадт брал, с тех-то пор и начали у меня глаза открываться — куда нас от света сворачивают. Вот здесь кстати от этих лет листовка заховалась мятежная с кронштадтскими частушками, их тогда тысячи по Петру-граду ходило,— и хоть не все там до совершенства верно, послушайте из любопытства: ведь это в самую еще четвертую зиму революции говорилось...»

Дед вытянул, не вставая, из старых бумаг пожухлую желтую страничку, но переписывать ее дотошно не стал, а только перечел и вложил целиком внутрь письма. Нижний краешек последней строки, не уместясь под тесным покровом, высунул наружу тонкие ножки буквиц, подкованных длинными засечками шрифта в стиле «модерн».

«Кое-что тут, конечно, громковато сказано, и вообще крику выше меры,— но есть и места прямо в лоб разящие, точ-

ные. А когда уже среди бела дня хватать стали, это было нам вроде живых картин на ярмарке — как не надо делать и что за то бывает. Но резали-то не понарошке, вполне наяву, и убитый Петрушка не подымался уже в конце действия, прямиком волокли его в яму. Пусть не одни волочильщики так делали, не они только,— но и они тоже. Без них ведь не было бы казней, как не косила бы народ смерть и без тех вождей, которые им приказывали, волю давали. Но какой вот нечистой силой обе эти напасти друг друга на нашу голову спознали-то...

Помню хорошо и посейчас, как они лютовали,— у нас там в войну на уральском заводе сколько зеков работало, невиновно взятых. Тот, что со мной рядом в смену стоял, отходы на горбу отволакивал, сам был из казаков,— так он охрану бесами без обиняков и называл: какие-де люди жестокие ни случаются, настоящий живой человек до подобного зверства докатиться не может; да и вид у них не людской вовсе. Пожмешь сперва плечами от удивления, покиваешь башкой,— а как доведется разок-другой увидать мордобойню, какую над ними конвойные учиняли, да послушаешь бессонною ночью выстрелы в поле на той стороне, что зонами как оспой покрылась, и начинаешь клониться к согласию...

И ежели по самой совести сказывать, то не на соседа нужно мне было сообщать, как сначала хотел,— а может, еще ему-то как раз и жалость свою приносить; только где его сейчас уж доищешься.

...Самое прямое свое дело делали они, как и всю прочую казенную справу, косоруко. Брали-то мимо и пугали совсем не тех, кого след. Помните из щедринской сказки богатыря, которого на дерево врагов стеречь посадили? Стали люди спокойно жить-поживать, а как нажили добра-то, пришли супостаты да все и обчистили. Хватились бедолаги — чего ж это лыцарь-защитник не заступился, забрались к нему в дупло — а он уж там, единых мух ловя, давным сгнил подавно.

Не могут охранники бескорыстно докопаться до истинных виновников безобразия,— ведь не ровён час приведется им собственный свой хвост зацепить, да потом себя ж и пожрать в наказание без остатка. Вот и вы́ходила у нас на поверку не безопасность от опасности, а как раз опасность-то от безопасности. И от той, что в фуражках по улицам ходит, и от той еще, какая внутри человека в виде безразличия ко всему на свете завелась. Знаете, кстати, что у Даля в словаре русском «равенство» и «безразличие» поставлены через запятую? Один у них смысл общий.

Не подумайте, будто я вдруг со злости взял да решил похерить, расхулить здесь все поголовно. Послать, что ли, вам вместе бумаги, которыми в других ведомствах расшевелить люд надеялся — и раней еще, прежде чем запечатать конверт, понял, что зряшно? Вышло наподобие летописи про собственную дурость или памятника погибшему суеверию. Я не отрекаюсь от того, что понапихал туда пропасть всяких возмутительных вещей,— да что с них толку-то: расколотая правда, как песок мелкою зернью, нам не в диковину, ее просто навалом, грузи только вагонами да поспевай отправлять. Большая, великая истина в землю зарыта.

И стережет ее, между прочим, не зверь-горыныч — мы сами. Ведь как дергаемся даже тогда, когда ясно, что петля дает слабину? Неохотно, с оглядкою, словно та баба, которая постылого мужа честит, не бросая: не равно опять замуж выйдется и еще хуже чорт накачается...

Потому-то и представляется издалёка, что тут многим довольны. Нет, мы действительно многим довольны, но наведите взгляд свой на резкость — удовольствия-то те особенного рода, от слова «уд». И тот, кто нынче на царском месте сидит и кто на боярском и воеводском, и всякого разбора смерды, крестьяне и холопы только рады тому обстоятельству, по какому, загорись все в одночасье ясным пламенем и сгори подчистую — хуже уже не сделается. А хоть бы его вообще подняло да гепнуло! Самым же тяжким уроком, никак невподъем была бы сейчас горькая та свобода: отвыкли, да и чего с ней прикажете делать-то? Заведет небось да опять бросит в омут,— бейся потом, выбарахтывайся...

Упаси вас тем более Бог вдруг вообразить такую еще несуразицу, будто я призываю нас попытаться к рукам прибрать. И нельзя это, потому как всякое оружие в болоте таком заржавеет, да и совершенно без пользы, только силы впустую тратить. Лучше уж, как диковинное какое растение, обнести оградкою и внимательно изучать. Лечить еще время не подоспело,— а вот коли исследовать, так потом, может, и врач не понадобится.

Постараться узнать нас поглубже есть множество поводов. Глупо ведь обольщаться, что внешность похожая,— внутри-то совсем не то. У всякого дерева своя порода, и законы роста осины с березою различаются — а людских сообществ и подавно. И притом надобно сердцем слушать: какой крик от боли идет, а который надсаживается, чтобы в ушах иззвенело. Да вы же еще, к слову сказать, очень часто дурацкую ту перебранку с другого боку подхватываете, и выходит

без всякой пользы замятня. И вот одни доброхоты вторых овиноватить тужатся, пузырятся, как назём в жиже,— но не вся то правда до конца, время целиться выше».

9

«А когда целиться выше,— то почему и не в вас, господа хорошие. Не чересчур вам, должно понимать, самим-то лучше, коли сидите себе далеко и нас в свой рай никак зазвать не умеете.

От вас ведь многого ждут почему? Потому, что видят здесь вкруг себя все по большей части кривое; а на вашей половине, слыхать, дело наоборот. Ну и полагают, что раз тут косо, так хоть у чужих-то обязано оно стать прямиком. Ин как бы не так! Кажется мне, что другая сторона тоже корявая, только на свой уже лад. Но, пожалуй, врать пустое далее позаочи не стану: чего сам не видал, про то лучше молчок. Правда, толком узнать про дела за бугром и из воздушных-то голосов трудновато,— знаете, вроде слова у них правильные, и стоят по порядку, но вот звучат они зачастую как-то так, что ли... нечестно. Полагать же попросту, что успей только из своих в иные пределы забраться — и там встретишь счастье и волю, естественно, короткого ума прыткость. Тут надо по крайней уж мере за собственный кругозор вылезать, а не ширину с высотою путать.

Думаю я, что ежели и есть что-то общее между нами, так это желание отыскать посреди всего мира такую крепкую ось, кругом которой все на свете обстроилось бы, потянулось вверх хотя относительно ровно, и беспорядок приобрел бы вид благообразия. Боюсь только, что теперь крякнул тот стержень и расселось здание. Но само желание крепости и единения неизбежно,— ведь, может, мы внешне всего лишь мухи заоконные, ан крылышками-то чесать хочется; следовательно, крылышки эти для чего-нибудь нарочно придуманы».

10

«Может, мы внешне всего лишь мухи заоконные, ан крылышками-то чесать хочется — значит, крылышки эти для чего-нибудь нарочно придуманы. Пускай же не Запад с Востоком, пускай тогда наука ответ держит — почему она мысли, как осенняя грязь сапоги, увязила, чавкает под ногами и двигаться вперед не дает. Да-да, это я в первую голову имею в виду то «обществоведение», которое отовсюду в зубы пихают

колбаской,— ну ладно, не буду дальше браниться; почему оно все, что в него из живого-то общества не вмещается, отсекает и подальше от глаз прочь мечет? Наше-то мнение оно о том спросило? А после того много ли веры ему, всех других за единую их инаковость выхаивающему...

И нисколько не сдвинулось в той науке ничего еще с тех времен, как ее нам пристегивали, надо и не надо, в сельскохозяйственной академии, садя где ни попадя,— так и длится мартышкин парад: вдруг чего в мире случится подходящее — сразу начинает звать закономерным поступательным движением к давно указанным целям; а коль что неладное — значит, временное уклонение и вражьи козни, усугубляемые загниванием и обострением. Словом, не вылакает собака реки, так всю ночь стоит над ней да лает.

И сколько уже накатали всячины, так что любой шустрый пролаз может тащить охапками с видом ученым подтверждения своей болтовне! И льют, и льют почем зря: чего захотят — оплюют, а чего понравится — оближут до зеркального блеска. Понятно, что без насилия эдакая наука не сумела б пристроиться,— но ведь для нее-то сие не оправдание, верно? Одно дело заявить, что все бабы у нас путанки, а другое — учинить на таком основании всероссийский разврат. Но начать, соблазнить и на средства указать — очень даже существенно.

И вот еще что выдумали: ссылаться почаще на тех, что давно уж примерли и никак не отзовутся. Безответные, они поправить не в силах, да и спросу теперь никакого. «Глядите-ка,— воркует эдакий пузан в очочках,— какое учение непобедимое!» И перстом в небо иль землю, ему они всё заодно, тыкнет для убедительности: дескать, не правду ли я говорю? Да, неправду.

Какое лицо у той «непобедимой борьбы», я воочию помню — стравили людей в конце двадцатых годов, открыто ж науськивали: пойди, ударь и забери себе. А самим на чужой спине заохотилось кататься, да так им, видать, это по нраву пришлось, что просто в нее вросли. Непобедимость заключалась в избирательном уничтожении: сперва давили бывших офицеров и дворян, потом казаков, попов, торговцев, кулаков названных — а на деле крепких крестьян, и всё как по очереди. Но вот в чем же состояло «учение», когда то был чистой воды разбой,— ума не приложу. Разве во всполошном брехливом треске, чтобы плача не было слышно.

Само по себе ученое знание начальству, как говорится, было до лампочки: которые пониже заботами насущными

заняты, им не до неведомой прибавочной стоимости; а те, что поверху, как слышно, давно уж его забросили — это даже по глазам по пустым видать, а по делам и подавно. Теперь оно начинает все чаще даже мешать, так что стараются где можно потихоньку избавиться,— но совсем выбросить нет возможности. И не потому, что жаль, как любимую старую шляпу с полями; а оттого лишь, что попробуй откажись напрочь — и объявишься на весь честной мир лысым да голеньким. Эдак хоть завсегда сослаться можно, подпереться в случае крайней нужды на цитатку; а что поделать, когда вслух наконец скажут — братцы, да ведь они нам лапшу на уши вешают! И неоткуда больше будет изречение выудить про объективную закономерзость — тут уж придет пора складывать манатки да деру давать...

В последние годы у них детишки подросли, те вроде позаковыристей излагают, что раз навсегда вычисленная истина непременно будет вечнозеленая. Но только всякий ведь знает эту примету: собачий вой — он на вечный покой, в какую сторону несется, там жди назавтра покойника.

Полагаю все же, что доподлинные ученые — не те, которые за кус хлеба с маслом, и чтобы масла, будьте добры, погуще, а настоящие,— разобрали давно этот подвох, не могли просто не разобрать в конце-то концов за целый кровавый наш век, в чем же главная вышла ошибка; но не дают им сказать о ней нам явно из страха. Я по-человечески рассуждаю: когда ты дойдешь до ручки, когда невмоготу терпеть и сидишь один-одинешенек — то к кому обратишься? Политэкономии, что ли, молиться будешь или ее сочинителям, которые что ни год всё меняются? Ин не дозваться, сколько их поколений уже в земле, и подыматься оттуда они не торопятся. Бессмертие-то они отрицали, и вот, как писал один старый мудрец, каждому воздается по вере — должно бы не миновать то и их. А жаль немного, так бы хотелось взять за бородки да потягать что есть силы и сказать внятно каждому: проснись-ка, дядя, и раз уж ты все это допустил, вставай помогай расхлебывать; а ежели с самого первоначала ошибся, не на свое место, знать, влез и выпустил вожжи, когда без наказания такое безобразие происходит, что от боли сердце запекается в кровь».

11

«И раз кто-то все это допустил, то пусть помогает расхлебывать; а ежели с первого дня ошибся, то не на свое

место, знать, влез и выпустил вожжи, когда без наказания такое безобразие творится, что от боли сердце запекается в кровь...

Стоит ли теперь труда прятаться? Конечно, никаким не председателям коротким и длинным, как бы они ни тулились подсесть на чужое место, назначаются эти слова — какой с них по чести-то спрос, когда мы их сами снизу из-под себя выпихиваем! Но был ведь еще самый высокий, всевышний, кого почитали причиною и началом всего на свете — кто по совести чтил, а кто и насильством. Ну, теперь, благодарение Создателю, принуждение упразднено напрочь; так пусть на полной свободе этот Создатель и даст ответ.

Вот я сейчас жизнь свою так и эдак разворачивал, а все к делу пристроить не получается. Ну, лады.

Ежели в погожую ясную ночь, когда луна сияет, поглядеть с моего угора вокруг, то вниз и далее раскрывается весьма просторное зрелище. Нету в нем ни гордости, ни величания, ни греха — одна только соразмерность, устроенность всех частей. И уже как будто бы всю вселенную почитай видать, действительно скажешь: ночь тиха, пустыня внемлет Богу—

— и звезда с звездою говорит!

В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом...

А поутру придешь туда же — делается заметно и дым, и гарь, и стрекот машинный тут и там, разве еще не добравшийся до преждебывших староверских починков в глубокой чаще, что не все пока обезлюдели, как-то теплятся, кроясь от чужих глаз. Да не обратиться ли умом в эти мои записки, доносы так называемые,— и что же тогда получается? Как мог Бог допустить столько скверны в мире — или, если сам ее создал, то какой он после того Бог? Откуда такая тьма ненужных страданий — болезни, свирепство людское, грозы, ненасти, старение, несправедливости всякого толка и самая из них несправедливая — смерть? Но ведь смерть-то никак уж не человек изобрел. Значит, давит его начальство всех степеней, вплоть до самой степенной — небесной.

Вон у писателя Соловьева — еще допрежнего, прошлой азбуки письма,— в одной повести, я сейчас не припомню названия, выведен героем Владимир Святой, тот, что и земной князь, и церковный. Начинается с того, как сидят вечером на берегу Днепра рыбаки у костра, а с ними еще молодой

казак Дулебко. И он им рассказывает, как нареченную его невесту, Светлану, кажется, забрали княжьи дружинники в хоромы высокие, в этот, понимаете, гарем. И там снасилили под него, то есть под Владимира. Ясное дело, что силен тот бес блудный так, что горами качает, а уж людьми-то просто как вениками трясет,— но пристало ли такого человека небесным вождем народа ставить?!

Хорошо, пусть с ним сам Бог и разбирается, а я лично не согласен. Но вот ко мне тут бабка соседская наладилась хаживать, вычитывает вслух себе, да чтоб зря голос не тратить, и в мой слух доносит истории из Четьих Миней. Ну, стал поневоле я сравнивать: один за другим целая гурьба мучеников, и какое ж у всех них убеждение твердое! Только разве так уж необходимо нужно было позволять их толь страшно резать, пилить да строгать; ведь стоило Богу пожелать хоть чуть-чуть — и тысячи людей, безо всяких там пыток в него крепко верующих, живы-здоровы остались бы. А сколько среди них молодых, красивых, полезных обществу было!

Потом я глубже попытался вникнуть: с чего же вдруг вера-то начинается? Душно неожиданно делается человеку, душа его душит, мечется он за правдой — тут-то и признает своим Богом Христа, потому что некуда более деться. Кажется, тогда и самая пора полному счастью прийти — ин куда там! Дом, службу привычную, у кого есть — и богатство, здоровье свое без остатка, близких, ни в чем, кроме сродства ему, не повинных,— все на свете он по очереди теряет, чтобы погибнуть в конце лютыми муками. И опять же виной тому Бог: обещанный им вначале смысл жизни утягивает на самое ее дно, прямо в смерть. Да еще не так, чтобы виновного покарать, а убогого вознаградить, нет; бьет всех подряд — и выходит, что христианство есть, коротко говоря, погибель всего, что есть еще у несчастного горемыки, полное и невозвратное крушение.

Бог забирает данное им ненадолго обратно — все сполна и без остатка, причем подносишь своими же руками. Да что древние сказания тревожить, вон парень — соседский друг из Москвы, мягкотелый такой юноша, даже усы еще жидко-жидко росли: стал он после лекций в своем математическом институте в ближнюю церковь заглядывать, втянулся, да и крестился. И что тут началось, батюшки-светы: выгнали его самого с курса, родителей сняли с работы, поперли из членства, забрили наконец мальчишку в армию в строительные части, где две трети бывшие «химики». Уго-

нили, значит, в Азию, а там, уж наверное неоплошно, всыпали еще по безвестному поводу и запихали в дисциплинарный батальон на полтора года, то есть с судимостью. Ну и, конечно, дома его после возвращения тоже ад караулит,— и хорошо ли теперь у него на душе, тепла ли мысль о Боге и людях?

Правда, иные как-то так устраиваются, умея не все отдавать кесарю, не все и Христу. Приспособились, чтобы не до конца пропадало имущество внутреннее и внешнее. Только получается это какая-то песья вера, просто избу выхолаживать: воруют у себя, воруют и у других. А можное ли то дело, зная о чем-то высшем, стараться скрыть от него хотя малость — неужели думают, что ответа не спросится?

Нет, не понятно ничего ни на земле, ни на небе, неверно и неправедно. А уж сколько я той кривды видал, и не перечесть. Молодой когда был — глаза горели, меньше замечал, будто подслеповатый ходил; теперь же яснее вижу — то ли оттого, что смерть при дверях косу отставила, войти целится, то ли меру свою наконец собственную узнал. Да сейчас уже сил неоткуда было б взять, хотя бы и понял вдруг, что же в мире исправить перед уходом нужно. Но ведь я даже и не ведаю толком, что тут в связях Бога с человеком долой сковырнулось; последнее мое достояние стариковское, покой от забот, и тот стратился. Давно все это началось, но надеялся, что, как выйду на пенсию, хватит времени разобраться. Какое!— наконец и правда душевная вон упихнулась. Раскорячились мысли; просто раньше как-то не умел сказать о том внятно, и вдруг вот сегодня как будто кто-то подмог. Хотя кому пособлять — некому, я один.

И все же опять повторяю: не только люди ту дрянь деют, что свет затопила, но и тот, кто их слабыми сотворил. Зол, жесток оказался Создатель — и что же он, в третий раз спрашиваю, Бог милосердный, после всего этого? Нет, говорю, не Бог.

Страшно.

Ведь все это написанное кругом меня вышло доносом на Творца, а кому на него-то обиду принесть? Людям?— да что сами-то люди, лучше? Так, может, вообще никому или разве себе лишь... Помилуйте, я не закрываю глаза на то, что рядом со злом часто добро пробивается, и немало,— но не стало теперь в нем вида победного, пропала вера в пущую его силу среди нашего насквозь продувного мира. Вон и у Лермонтова, как оно дальше: что же мне так больно и так трудно?..

Ну, вот и сделал почти сполна, что мог. Как гово-

рится: пошел по вязьё, да и сам завяз. Не надо только думать, что я тут проклял все вкупе, будто конец света настал, а после того сяду и стану тихо свой чай допивать. Не так, конечно, дело плохо, чтоб тело сдохло, но сердце внутри все в язвах — потому-то от меня и брань многая. Да сходно хоть то, что я вынул это из души наружу,— оставлю другим, пускай разбираются. А они не потянут — все равно кому-то же надо было сказать. И лучше уж я, кому не миновать скоро помирать, назову тут губителей поименно, пора наконец выложить, что им причитается, а посверху посадить их руководителя, как его отсюда видать».

12

«Лучше назвать губителей поименно, пора наконец выложить, что им причитается, а посверху посадить самого главного, как его отсюда видать. Всех, кажется, уже представил, перебрал от восхода к закату, из надира в зенит, и один лишь сам сохранился покуда нетронутым. Значит, пришла моя очередь...

Долго я чаял, да мало вычаял. Но смысл в этом, пожалуй, все-таки был, иначе не таскался бы в небо и под землю, не скакал по скатам, шитая рожа — вязаный нос, простреленными своими ногами с начала века и даже до самого почти его скончания,— а давно бы на дне оврага где-нибудь кучей костей валялся. Ведь почти каждый раз, как поселялся на новом каком-нибудь месте, почему-то оно непременно оказывалось на высоте — на уральской горе ли, донском откосе, малоярославном холме или новой московской башне; будто указывал мне кто: глянь-ка, брат, сначала сверху, да опустись вниз и еще проверь, а когда вернешься обратно, запомни хорошенько, что видел».

Дед сдвинул локтем в сторону мешавший писчей руке ворох своих исповедей, покосившись на них недовольным взглядом, словно на неслуха-сына.

«И коли было бы мне все безнадежно не по душе,— застрочил он далее,— я бы и за бумагу не брался. Легко, конечно, вопить: вяжи да путай, мотай да кутай! А потом такая бестолочь получается, что хоть плачь. Одно это недовольство внутреннее выручает надежду: раз недоволен — значит, еще не отчаялся. А может статься, со стороны-то кажется, что все на месте, и один только я не прав. Как в загадке:

встал не так, умылся не так, лошадь запряг и поехал не так, заехал в ухаб — не выехать никак. Кто таков? Ну, загадке-то разгадка — покойник; а моим пеням —?

Неужели же недостаточно всего уже написанного, чтобы признать: мир во зло лег. Я согласен сам повиниться и сказать еще так: и мир не хорош, и я не особенно,— потому что смысла в нем ни черта не нашел и никак не могу остановиться ругаться. Зло за всем светом, зло и за мной,— взять хотя то, что пусть на гражданской войне, а все-таки и я убивал людей, в лицо им стрелял, в образ Божий.

...Вот чего хотел я в жизни моей — от современного общества высторониться, думал, что теперь такой в нем приходится положить для себя закон, чтобы не угодить в мясорубку. Потому-то, быть может, и довелось мне дожить до того, что чужой век заедать начал — я же девяносто девятого года рождения. Ну, хорошо, мир, по-видимому, действительно не много стал стоить — но сам-то я, человек вне его: нарожал детей, распугал людей и в конце концов един перед смертью остался! Да кто ты таков и с чего это вздумал, будто внутри тебя есть отмер, проверяющий все? На чем основано упование в его-то верную точность?

Никогда не след забывать про собственную горбатость, лучше постараться надмение смирить — иначе истины не сыскать, помешает пристрастие. Легко на словах супостата бороть, заранее уже зная — как при игре с самим собой в шашки,— что всяко не продуешь. Да и враг настоящий, как прочтет то, что мною написано, щелкнет зубами — ан не укусишь; и я возражений его не услышу, будь он хоть трикраты правей меня. Так и не сойдемся, а внутри все гореть будет.

Заблудился, потерялся.

Я понимаю прекрасно, что пора перестать навсегда духом выситься и, как бы это сказать поточней, одернуть себя, что ли, окоротить, не то так до гроба одной своей мере верить и будешь. Но беда-то в том, что сам себя не сокрушишь, тут помощник требуется — такой, рядом с которым почувствуешь силу свыше. А так что за толк сравнивать, коли все кругом тебе подобные, все худы-плохи, если вокруг только ты сам и есть размноженный. Вот, значит, в чем штука — помощи-то не у кого просить, потому что помогателей всех перепробовали и отвергли, одни в пустоте остались или без себя даже.

...Ну да, грешен, а — кому? Ни в Бога, ни в людей, ни в

себя нет теперь полной веры. Всех Кощей невзлюбил, на всех написал обвинение,— мало ему показалось, он их всех в одну кучу сбросил. И что же? Разобрался окончательно?— Да, разобрался вконец, прибрел — дальше некуда — ко смерти прямо наяву. Нелепица, чушь, и утешения никакого. Навряд ли даже это мне добром обернется,— но силы перемогаться вышли, мочи не терпеть и той больше нет».

13

«Утешения тут никакого...»— неуверенно появилось в начале тринадцатого листа. Дальше писать уже было, казалось, нечего.

Кощей снова принялся за чай, от четвертой за ночь кружки которого тело скоро стало покрываться волнами пота.

Утешения. А вдруг прошел-таки мимо чего-то в горячке погони, недоглядел за общей хулой счастливое решение, хотя намек на исход — и поголовное обличение всего подряд просто самою вещью загородило высвобождающий путь? Да что-то не похоже.

Он приподнялся, медленно подошел к шкафу и стал там искать в груде дочкиных рисунков ту единственную книгу, что оставалась еще от родового наследства,— ибо все прочие, не считая двух пришлому старателю запроданных, зять утащил в город по нынешнему поветрию на старину. Эту же последнюю, хотя и не открывавшуюся годами, он не выдал, потому что по ней именно его в детстве учили читать. Внутри нее был заложен снимок отца с матерью, стоящих подле их старой ярославской избы. Сделан он был, кажется, в начале десятых или двадцатых, и Кощей потом сам напечатал его с пластинки — в ту пору, когда увлекся фотоделом, сразу после войны; еще заржавелый увеличитель с грозным именем «У-2» посейчас, должно быть, на чердаке гнил.

Он извлек теперь книгу из-под кучи папок, взял карточку, принес ее и поставил перед собою на стол. С непожелтевшего вовсе куска картона глядели в упор невысокий бородатый его родитель, тогда лет пятидесяти, и совсем низенькая мать, оба наглухо затянутые в тугие выходные одежды, отчего казались более напряженными, чем наряженными: стать, лица, глаза — все было настороже. Позади них выглядывали такие же строгие мордочки-торцы бревен в

венцах избы, под ногами рассыпалась побитая скотом трава, сбоку у крыльца прикорнула коса, а на ступенях лежала полведерная ложка в добрую сажень длиною, вырезанная из единого куска березы с капом и предназначенная для общинной варки праздничного пива.

«Когда мне было шесть лет,— без видимой связи написал далее Кощей,— у меня вырос на горле нарыв. Детей нас в семье набралось к тому времени восьмеро: две девчонки, а остальные шесть сыновья. Болезнь моя шла неважно, стал уже помаленьку отходить. Когда и совсем подступил конец, батя сколотил гробик, обрядили меня и положили в него полумертвого на лавку под образа; в руки воткнули восковую свечу. Я еще дышал, но глаза закрыл, не двигался и обмяк. Мать надо мной тихо скорбела, падала на колени, плакала, причитала. Пришла к ней соседка и говорит: ну что ты, Васильевна, убиваешься-то? Одного приберет, дак еще впятеро народишь. А та ни в какую: сын, отвечает, родное мое, не хочу, чтобы мер-от,— да, видно, поздно о Боге-то вспомнила, опоздавши молитву начала. Тут я и закричал. Вышло это потому, что нарыв вдруг прорвался, а как больно-то сделалось очень, я голос и пустил. Вот, и с того часа хворь почала убывать, а жизнь опять пошла в рост.

Так что, ежели прибавить чахотку с Кронштадтом, троекратно я на тот свет оступался и, однако, трижды назад выходил...»

Писание вновь приостановилось. Был уже, наверное, пятый час мутной осенней ночи. От кромешной темени за окнами маленький огонек лампочки словно бы высветлялся еще ярчей. Дед налил себе остатки крепкого чая из одного запарника, заметно подостывшего. Потягивая суслистую жижу, нуждою обмакивал в нее кончики усов с выцветшей околоротной бородою.

Вытянувши жидкость до дна, принялся сцеживать последние капелюшки — все казалось, что мало. При этом он забыл придержать крышку чайника, она вывернулась из лунки, ударилась о край кружки и, отломив от нее кусок, опрокинулась на стол вместе с влагою; сверху на маленький содом шмякнулась влажной водорослью гуща. Готово.

Что-то внутри сердца вдруг возбудилось, губы дернулись вверх, глаза стали расширяться. Комнату как будто

еще яснее осветило каким-то желтым, преображенным огнем, и сквозь него старик увидел окружающее не под своим углом, как всегда, но совершенно прямо, с не совсем даже человеческой точки зрения.

Ощущение это было такого свойства, которое слова́ уже не захватывают: оно уходит сквозь буквы, как живая влага через решето. Тогда ему остро захотелось выйти тотчас вон поглядеть — какой предстает в подобном отвесном освещении город с окрестностью; и в то же время склониться скорей над листом, чтобы теперь же занести на него заключение, пока все не изменилось опять совершенно и непоправимо. Действительность выполнила оба его желания: Кощей выбрел из дому и принялся писать разом, разойдясь как бы надвое. Даже верней — натрое, потому что еще один дед возвратился к той книге, в которой хранилась родительская фотография, взял ее в руки, распахнул наугад — и, как полагается, открылась она на самом сейчас потребном месте. Старик прочел начальные слова, потом следующие за ними, затем еще и еще стал вникать в нее далее. Тут вернулся дед, выходивший глядеть, и заспорил со вторым, целившимся вывести на бумаге вывод «виной всему Бог».

Читавший нетерпеливо отодвинул их от листа и начал списывать туда подряд из книги только что усвоенное, начиная с самого первого слова:

«Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием.

Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небо, как шатер; устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огнь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее; на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят; восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины: между горами текут, поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голоса. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, и зе-

лень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил; на них гнездятся птицы: ели — жилище аисту, высокие горы — сернам; каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил Луну для указания времени; Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь: во время ея бродят все лесные звери; львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища; выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих. Это море—великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими; там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им — принимают; отверзаешь руку Твою — насыщаются благом; сокроешь лице Твое — мятутся; отнимешь дух их — умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах своих! Призирает на землю, и она трясется; прикасается к горам, и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душе моя, Господа. Аллилуиа!»

И тут они, трое дедов, стали снова сходиться. Перед концом тот из них, что глядел на окрестность, сказал, что все равно это напоследок получился уже не донос, а как бы поднос, подношение себя и мира мудрости Творца, и потому он, пожалуй, даже согласен с дедом-хулителем во всех его обвинениях, нужно лишь попространнее разъяснить три ключевых слова. И приписал пояснение спереди вывода: «ВИНА есть начало, причина, источник. Подлинный СТРАХ, поворачивающий внутренность души к добру,— страх не людской, а Божий, первый шаг на пути к чистой любви. ЕСЛИ же — есть знак полной свободы человеческого выбора».

Вслед за тем, у самого слияния, Кощей-обвиняющий заключил за них всех:

«Исчерпалось доверие, и вот, заложив ближних и дальных, я прямо говорю, что страшно виноват в нас Он, главизна всему, Кто все сотворил и крутиться пустил, Тот, Кого называют Бог, если Он все-таки есть или хотя бы был и немножко остался; а коли Его и вовсе нет, то что за толк нам всем прочим здесь выплясывать, извиваясь, как хвост от раздавленной ящерки».

14

«...а коли Его вовсе нет, то что за толк нам всем прочим...»— прочла рядом с его ухом, приняв в сторону упавшие на последние слова очки, косогорбая одинокая старуха-соседка, пришедшая через два дня за каким-то там огородным советом или просто так погуторить. Она нашла Кощея уже остывшим, лежащего, подмявши бороду и растворив маленький рот, лицом на столе с бумагами. При этом она в первое же мгновение по прочтении произнесла, не думая, нечто вроде того, что «вещее слово петухом пропело, резвы ноженьки подкосилися»,— и попыталась заголосить, но быстро же и осеклась. Смысл сказанного был ей самой не очень внятен, но звук собственного голоса просто понадобился на помощь от неожиданности и страха покойника.

В отличие от Кощея, дом его не успел еще выстыть, и дыхания старухиного воочию не было видно. Пролитый дедом перед смертью чай подсох в липкое пятно, о которое она тотчас же измазалась пальцами, когда ткнулась было закрыть высохшие глаза. Они пугали ее тем, что словно глядели еще сквозь полупритворенные веки; стало быть, подумала соседка, верно говорят, что на погибель свою, как на солнце, в упор не взглянешь, приходится щуриться. Еще она заметила, что от умершего как-то сладковато пахло.

Кроме самых последних написанных Кощеем слов, весь остальной ворох листов не вдруг привлек к себе ее внимание. Поначалу она думала сразу бежать звать людей, но не пошла все же, а присела на кровать и немножко подумала. Оглянулась кругом на грязноватые стены, открывшийся шкаф, застрявший в углу костыль с повешенной на нем шапкой. Заметила выставленный родительский снимок, и тут куча записок наконец заняла ее. А там стоило только мельком посмотреть на адреса, как старуха собрала бумаги в охапку и решила прежде всего унести к себе домой, что-

бы на досуге спокойно расчесть, что с ними делать дальше.

Дело в том, что соседка была исключительно любопытна до чужих тайн. Бывшая курсистка, а потом всю жизнь завуч начальной школы, жила она теперь на пенсии одна-одинешенька и сгорала с тоски: мужа убили еще на финской войне, а мужик, которого она впустила к себе заменить его, несколько лет уж как помер. Рассудивши, что в руках выносить неудобно, могут потом худые речи пойти, она быстренько положила все обратно на стол, разгладила ладонью, свернула потуже и запихала под пальто в карман передника, поймав при этом на воздухе попытавшийся было улепетнуть желтый комочек кронштадтского воззвания.

...Позже, скликнутые первою вестовщицей, явились прочие соседи, участковый и врач из больницы. Затем прикатила из Москвы зарыдавшая уже при выходе из поезда дочка. Деда обмывали, обряжали, клали в доставленную прямо с базы домовину. Торопились прибраться и обзакупиться к поминкам; при этом час-другой спустя, поначалу стесняясь, а вскоре и позабыв неловкость, принялись делово обсуждать между прочим свои обыденные заботы и тягости.

На следующее утро приглашенный после обедни батюшка вместе с полудюжиной клирошанок отпели Кощея, положив ему на лоб венчик, а в руки молитву, и закончили «Вечною памятью». Гроб заколотили прямо здесь же — потому что погода развезла на улице грязи и склизи, нести нужно было под гору и мало ли чего, не приведи Господи, могло приключиться, подвернись у кого-то нога или рука соскочи... Осторожно ступая по мокрой глине, кривою тропкой сошли вниз по оврагу к дороге, а там перебрели по мосту над Лужей и без лишних слов положили старика в неглубокой могиле на пригородном погосте.

Помогая дочери, на похороны и поминанье знакомые сложились кто сколько возмог: по рублю, по трёльнику, дали даже пару пятерок. Выпили весьма круто, поговорили о Кощеиче так да эдак, в голос и шепотом, но никак не могли сразу решить вопрос о том, кому покупать освободившиеся наконец-то полдома. Новая их хозяйка ночевать тут одна побоялась и, забравши ключи, отправилась еще засветло на Москву,— догуливали, следовательно, уже без нее.

А не минуло после смерти и тех девяти дней, в которые, по поверию, душа еще остается с близкими и не покидает стен, где умерло тело, как пошла гулять по городу молва. Тринадцатиголовый дедов донос читали, разложив по порядку, и кто-то, видимо, сдуру, чуть было не отправил его по

указанным получателям. Удивлялись, конечно, немало; кое-что хвалили, другое вызвало возмущение,— словом, все, как и обычно водится. Потом, прежде чем слух о бумагах достиг еще выше, появились из-за реки староверы, прослышавшие у себя о Кощеевых трудах, и все их дословно переписали,— оказалось, что обычай сохранения на будущее подледного течения истины до сей поры еще не утрачен. «Без веры Создатель не избавит, без правды не спасет»,— пояснил один из пришедших, на что державшие тогда у себя письма женщины одобрительно и вместе испуганно закивали.

Двоесмысленная сплетня принялась было распространяться далее, однако, делая списки, по лености или сознательно люди многое в них исказили или вообще выпустили, отчего местами вскоре стало совсем уже неудобопонятно. Вразумительность нарушилась еще более, когда неизвестный человек то ли для вящей краткости, то ли выискивая скрытый от других потаенный смысл, взял да занес на отдельный лист первые-последние слова каждого доноса,— и вышло как раз то загадочное послание, что положено теперь при них в начале. Поскольку внешнее его направление получилось как будто бы противным всему духу полного сказания Кощея, принялись еще пуще дивиться и гадать; некто нашел в этом сатанинскую кознь, еще один лукавым нарек самого деда, пятые-десятые просто недоумевали без слов, и, наконец, кое-что даже попало в речь заезжего просветителя, прочитанную в клубе кирпичного завода. Выступивший там ученый офеня, пропустив львиную долю, зачитал уже выдержки из самой выборки вместе с подписью, заявив, что, видать, теперь и Кощеи бессмертные становятся вольнодумцами.

...Судя по тому, что слова доносов использовались уже противною стороной, можно догадаться, что сведения о них проникли и куда следовало. Там тоже предприняли некоторые шаги, чтобы не допустить разгула воображения и беспорядка. Хотя мероприятия сии, как заведено, были и действенные и неуспешные одновременно, московская наследница мгновенно перепугалась и перестала до поры казать свой нос в городе.

Однако не следует через меру преувеличивать успех предсмертной Кощеевой выходки; волнение в рассудках она поселила едва ли многим большее, нежели злая судьба хмельной девятиклассницы, задавленной в следующую субботу недалеко от того же кирпичного клуба канареечного цвета «Жигулями»: представляете — алая молодая кровушка на желтом капоте средь бела дня и т. д.

Поэтому неудивительно, что на сороковой день помянуть на

могилку пришло совсем немного людей — как любил говаривать Достоевский про ту же кровь: всего с горстку. В большинстве это были пожилые женщины, с тою лишь оговоркой, что за пределами больших городов «пожилым» у нас почитается для них всякий возраст от сорока и до конца.

Они не сразу сумели сыскать Кощеево вечное жилище, а когда все же его обнаружили, то поначалу никак не могли поверить своим глазам. Но возможностей для ошибки попросту не было — и, как ни крути, приходилось признать за правду, что там, где чуть более месяца назад зарыт был старик, опять зияла открытая могила: словно она подавилась, проглотив Золотова, выплюнула его обратно и вот, голодная и разозленная, ожидала вновь уже следующей, легче перевариваемой пищи.

Кто-то, ойкнув, запричитал; другие, молча взглянув на небо, перекрестились. Постояли недолго в недоумении.

Среди смятенных поминальщиц затесался еще молодой незнакомец в серых брюках и двубортном плаще, которого перед тем несколько раз видели в церкви и около домов местной общины баптистов. Поначалу он следовал тихо позади, ступая след в след и вперед не высовываясь, но тотчас заметно было, что пришел человек глазопялить на кладбище неспроста. Некоторые, правда, предположили, что это забытый уральский сын или даже внук, но спросить не отважились. Подбредя незаметно поближе, он заглянул из-за спин внутрь ямы, присвистнул и вдруг, покачнувшись, чуть было в нее не сверзился, так что сзади испуганно в голос охнули. Виновато улыбаясь, молодец развел руками и снова отошел прочь.

Потомившись еще, да так и не разобрав толком случившегося, люди наконец потянулись назад. При самом уже выходе, невдалеке от деревянного нужника, через редкие стенки которого сквозил ближний лесок, они неожиданно заметили лежащие под опавшей оградою поломанные, но еще свежие, измазанные в земле доски от знакомого гроба и скомканную пелену с венчиком. Рассматривая их с возрастающим удивлением, каждый случившийся тогда при сем происшествии — и молодой топтун, и соседки, и богомолки,— хотя и имея в виду совершенно разное, подумал одними и теми же словами: должно быть, Кощеев донос действительно попал по назначению.

1978

КОЗАЦКИЕ МОГИЛЫ

Повесть о пути

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

(На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.)

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как [неродящая?] пустыня
И как алтарь без Божества.

А. С. Пушкин

ТОЧКА ОТСЧЕТА

— находится в самом средокрестии мировой истории, на краеугольной грани времен, в тот единственный день рождения, после которого «не наша» эра сделалась уже совершенно «нашей». Как свидетельствует почти современная этим событиям рукопись, в некий самый сокровенный миг всякое движение на свете остановилось:

«И вот я, Иосиф, шел и не шел; и взглянул на воздух и видел воздух оцепеневшим; взглянул на свод небесный и видел его остановившимся, и птицы небесные остановились в полете; посмотрел на землю и видел чашу, поставленную с пищею, и делателей возлежащих, и руки их у чаши, и вкушающие не вкушали, и берущие пищу не брали и приносящие к устам своим не приносили, но лица всех обращены были к небу. И видел гонимых овец, но овцы стояли. И поднял пас-

тух руку свою, чтоб погнать их, но рука его оставалась поднятою. И посмотрел на поток реки, и видел, что уста козлов прикасались к воде, но они не пили, и все это мгновение задержано было в своем течении...»

А спустя еще девятнадцать столетий другой сын человеческий, по всей видимости никогда не читавший той рукописи, вглядываясь сердечным оком в пространство утекших времен, сумел разглядеть это событие с еще более возвышенной точки зрения. И назвал он свое видение наяву коротко —

«ЖИЗНЬ.

Бедному сыну пустыни снился сон.

Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы.

Стоит в углу над неподвижным морем древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.

Раскинула вольные колонны веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами; киннамон, виноградные лозы, смоковницы помавают облитыми медом ветвями; колонны, белые как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитая гроздиями, с тирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске. Жрицы молодые и стройные с разметанными кудрями вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу, тимпаны, мусикийские орудия мелькают, перевитые плющом. Корабли как мухи толпятся близ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и всё, и не тронется львиными членами.

Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный.

Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы все царства предстали на Страшный суд перед кончиною мира.

И говорит Египет, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков: „Народы, слушайте! я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение. Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование".

И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов, слышалось дыхание цевницы: „Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и вместе с нею ее наслаждения. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как все дышит согласием. Все в мире; все, чем ни владеют боги, все в нем; умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обитатель мира; венчай дубом и лавром прекрасное чело свое! мчись на колеснице, проворно правя конями, на блистательных играх. Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницею их — красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную голову и прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения — умей быть достойным наслаждения!"

И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: „Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека; оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек! В порыве нерассказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов! Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира? Все, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно; нет границ миру — нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир — ты завоюешь наконец небо".

Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

Камениста земля; презренен народ; немноголюдная весь прислонилася к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец; над ним склонилась непорочная Мать и глядит на него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли...»

Таков зачин второй части «Арабесок» двадцатипятилетнего Гоголя.

...Но время наконец стронулось с неподвижного средоточия, потекло по направлению к нам, и начался

ПУТЬ.

Родившийся в яслях первым ступил на него, сказав: «Аз есмь путь, истина и жизнь». В урочный час заданное им движение достигло пределов нашего Отечества, и с тех пор мы тоже всегда в пути, на дороге поисков истины и жизни.

Спервоначала путь этот понимался в природном, пространственном смысле паломничества — «хожения»; и потянулись русские странники средневековья в Палестину, Царьград, на Афон, иногда волею иль неволей достигая то Индии, то Флоренции.

В послепетровскую пору поток их сократился до невеликой речки или даже ручья, но так никогда и не иссякал совершенно вплоть до нынешних лет. Еще в бытность Петра на царстве, в 1724 году, вышел из Киева путник Василий Григорович Барский, сумевший обминуть за четверть века все Средиземноморье и Ближний Восток; по возвращении домой принес он с собой только дневник своих странствий с полутора сотнями зарисовок, прожил месяц на родине и отошел в лучший мир на руках архитектора-брата. Собственноручное описание этого путешествия сделалось излюбленным народным чтением; а век спустя славянофилам и западникам пришлось на время прервать свои распри, чтобы с удивлением обнаружить рядом с собою вовсю живое это «третье» течение отечественной словесности, на сей раз представленное «Сказанием о

странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» инока Парфения.

Но все же Петров перелом, разделив собственное время с прошедшим, расколол и прежнюю общность самосознания народа: с осьмнадцатого именно века дворянин принимается путешествовать по своей стране, будто за границей. И покуда сентиментальный странствователь Карамзин знакомит просвещенных любителей чтения с новой Европой, уязвленный пилигрим Радищев составляет свое чувствительно-яростное описание дороги из Петербурга в Москву.

В начале следующего столетия Пушкин пройдет, пусть и не до конца, тем же маршрутом в направлении строго обратном не только географически, но и духовно. Вслед за ним Гоголь призовет сородичей «проездиться по России» — пока наконец безостановочная передвижка не сделается в наставшем веке почти что всеобщей.

Куда как показателен для текущего состояния всего этого брожения путевой дневник души Венички Ерофеева, озаглавленный по крайним точкам поездки «Москва — Петушки». В нем сочинитель вместе с прочими приемами и ухватками своих предшественников перенимает весьма кстати наименование глав по станциям — на которых он, впрочем, не останавливается, а потому указывает перегоны — и, как говорится, поставив последнюю копейку ребром, довольно похоже показывает родную страну словно несущийся сквозь просторы вселенной электрический «бювет», как в строгом смысле именуется французским наречием придорожная забегаловка, где не едят (это как раз «буфет»), а пьют...

Впрочем, не все еще, конечно, столь уже безнадежно; но тут следует скорей обратить внимание на то, что в наступившем столетии сдвинулись с места даже те самые неподвижные прежде цели, что служили точками притяжения путникам. Вот разительнейший тому пример по имени древнего русского города

АРЗАМАС.

В 1815 году петербургский литератор с достаточно знакомой фамилией Блудов написал направленный против «Беседы любителей русского слова», возглавлявшейся Державиным и Шишковым, фарс «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Из этой затеи выросло

известное пересмешническое литературное сообщество, среди всех именитых членов которого едва ли один видел воочию Арзамас доподлинный. А попался он на язык оттого лишь, что Блудова с товарищами весьма потешала мысль: в уездном городишке, славившемся разве что своими гусями, местный живописец Ступин, окончивший в Петербурге академию, открыл школу художеств с целью облагородить иконописное дело.

Между тем почти в то же самое время живший неподалеку от Арзамаса помещик Мотовилов свел знакомство с одним из сокровеннейших русских подвижников по имени Серафим Саровский. Человек этот долгими трудами доспел высочайшей степени просветленности — облик его в состоянии духовного восторга Мотовилов описывает так:

«Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажень кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда?

— Что же чувствуете вы теперь? — спросил меня отец Серафим.

— Необыкновенно хорошо! — сказал я.

— Да как же хорошо? Что именно?

Я отвечал:

— Чувствую я такую тишину и мир в душе своей, что никакими словами выразить не могу!»

...Однако большинство образованного сословия того века предпочитало не видеть этого света; а если кто-то и следовал по своим путям через Арзамас, то все-таки ехал во всех смыслах мимо. Сквозь Арзамас прошествовал однажды и Лев Толстой, который за одну проведенную здесь ночь нечаянно пережил столь острый приступ души, оскорбленной резкою недостачей чего-то чрезвычайно важного в собственной сердцевине, что на всю жизнь запомнил его под именем «Арзамасский ужас»:

«Мы подъезжали к городу Арзамасу.

— А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?

— Что же, отлично...

— Нет ли комнатки, отдохнуть бы?

— Есть нумерок. Он самый.

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон, и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно... Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавят и не убавят мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя.

...Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было.

„Да что это за глупость,— сказал я себе.— Чего я тоскую, чего боюсь?“

— Меня,— неслышно отвечал голос смерти.— Я тут.

Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника,— все говорило то же. Ничего нет в жизни, есть смерть, а ее не должно быть.

Я попробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска и тоска,— такая же духовная тоска, какая бы-

вает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть; все тот же ужас,— красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало.

Что меня сделало? Бог, говорят, Бог... Молиться, вспомнил я. Я давно, лет двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться: „Господи, помилуй", „Отче наш", „Богородицу". Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня,— развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали.

На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое легло мне в душу и отравило всю прежнюю жизнь».

Было движение и в обратную сторону. В места подвижничества Серафима Саровского неподалеку от Арзамаса пешком брели со всей обширной России люди, и продолжают приходить до сего дня. Время, однако, многое переменило здесь, где старец Серафим провел в бдении тысячу ночей у источника целебной воды, открытого им.

Взамен них люди нашли другой ключ по-над речкой Сатис и новый камень среди дремучего бора, перенесли на них славу первых — и так святые места как бы тоже тронулись в путь, а путешествующие к «родному пепелищу» и «отеческим гробам» оживили своей любовью и поклонением безгласное доселе вещество.

Дороги в пространстве, переплетаясь с путями во времени, образуют некое целокупное странствие духа, которому приличествует и свое особое имя. Венчая знатное семейство «писаний» — летописания («хронографии»), землеописания («географии») и других, появляется наконец наш главный герой —

КОСМОГРАФИЯ,

то есть описание красоты и мудрости устройства Вселенной. Древние русские космографы начинались с переложения греческих и византийских образцов, а затем уже переходили к самородной отечественной части. Называли они свои труды пространно, например так: «Космография, еже глаголется описание всего света, изыскана и написана от древних философ и преведена с Римского языка на Словенский».

Открывается космография, как и положено, с начала начал, называвшегося тогда «сотворением мира»,— то есть того предначинательного мига, в который родились пространство и время; а затем появился на свет их царь и одновременно подданный — человек: «Искони всемудрый Бог, создав человека от земли, умна, словесна и рассудительна, и самовластием почтил его, покорив же ему видимые твари все, еже есть скоты и звери и птицы и вся, яже ходящая и в водах пребывающая, и повеления положил ему: да творит, яже на угождение Богу, потом же и на промышление своему жительству да смотрит полезная и лучшая, и о том да приносит хвалу премудрому хитрецу Творцу».

Затем следовали сказания о грехопадении, потопе, Персии, Вавилоне, Египте, но всего более о премудрых Еллинах, которые были хотя и служители идолов, но не бессмысленные — ведь многие их «философи быша воздержницы, и житие чисто имеша, всячески удаляющеся женского смешения и винопития, и воздержание излиха возлюбиша, от них же многих человеколюбивый Творец попустил со прочими изысканиями и истине косутися, и мнози мужие и жены пророчествваху о Христе, и нарицахуся смотреведцы, от них же нецыи реша яко философия глаголется любомудрие и составляется седмию мудростьми:

еже есть первая — многосложная орфография;

вторая же — ритория, рекше многая сказания в мале словеси объяти ясно и показати вся;

третия — диалектика, еже есть во многих препинательное толкование, от них же взыскуется истина;

четвертая — богословные сказания, глаголемая софистика, яже суть едва постижно человеческому естеству;

пятая — сладкопеснивая мусикия;

шестая — еже устроити зелия на врачевание человеком;

седьмая же — геометрия, еже есть землемерие, в ней же и арифметика скорочисленная и многопамятные сказания;» — а поверх всей семиглавой премудрости высится еще и —

«осмая, превысшая философия, именуемая путь ко спасению, еже отбегнути всех мирских похотей и во плоти ангелом сожительствовати, еще общею речию зовома память смертная, ея же мнози вожделеша, мало же сподобишася получити».

От общих корней мироздания дорога ведет к описанию «света и его населения человеческим множеством»:

«Земля есть посреде округов небесных яко точка во окружалном колеси в равном расстоянии от небеси до земли: со всех сторон составлена, дабы равные долгости ко умножению дождей из себя испущала и мокроты восприяла, сего ради все воды в себе и на себе держит, понеже убо стихии меж небом и землею есть сии: вода, воздух и огнь, которые людям и всякому животному прирожденную живость подают, как нам, тако и тем, иже мнятся быти под нами, понеже земля своея ради круглости нигде книзу не висит, точию посреди небеси во своем равном состоянии содержится, а имеет на себе горы и холмы великие, но ничтоже ея округлости не измешает, точию в своем кругловидном существе пребывает, яко же видим на перечном зерне горы и холмы и долы, но ничтоже его округлости не вредит. Премудрые люди, во окружных премудростях искусные, совершенно выписали и землю размерили, но паче же Птоломей Александрийский, пустые страны такоже, как и живущие... Но еще ныне обретаются иные мудрецы, совершеннейшии Птоломея — аще и не в науках, которые с древних лет готовые имеют,— но во искушениях, понеже после Птоломея не в давних летах изыскали на некоторых островах новых людей, которые в прежних временах неведомы были древним космографам».

Прародичи наши верили — и, как теперь выясняется, не вовсе оплошно,— что вся земля некогда была поделена между тремя сыновьями Ноя: Симу с семитами досталась Азия, Хаму с хамитами Африка, а Иафету с яфетическим племенем — «третья часть Европия, начинает же ся от моря Белого Византийского и протязается к Западу до Великого окияна моря и до земли Ишпанской и иных западных стран и до Америки, ея же нарицают Новый Свет, и паки взимаяся к северным странам до Ледовитого моря, в ней же страны и царства многи и различны, яже суть первое царство и великое княжество Российское, и словенские, и иные народы различны: Русь, Поляки, Литва, Угры, Чехи, Моравы, Волохи, Мутияне, Албаны, Сербы, Германы и Немцы, Испания, Италия, и Рим, и Веницея, Франция и островы Вританские и Албанские и королевство Португалское, Геополитанское, Новарское, Датцкое, Аглицкое и Шкоцкое, Свейское и иные великие княжества и страны,

прилежащие к великому Окияну, иже прежде все едину веру и истое крещение приемше еще при великом Константине Флавияне и все равно содержаху православную веру многая лета.

Ныне же по навождению диаволю в западных странах, яже суть в Италии и во Испании и в Германии и во иных Немецких странах разсеяшася различные ереси, приемше учителей по своим слабостям и кождо своя мудроваху, яко же хотяху: от них же и имена верам своим изложиша, и друзии убо нарицаются Папежницы, и иные же Люторы от некоего еретика лютого именем Мартына Лютора, и иные же Колвинцы и Гусати от неких еретик Колвина и Яна Гуса, и от Филиппа некоего рекомого Мелентора, и иные же Арияне, приемша Ариево беснование, друзии же новокрещенцы, иже дважды крещаются — первое точию водою, второе же маслом помазуются и двумя именами нарицаются, к сим же мнози народы совратишася слабости ради, и отеческие предания и церковное пение и посты премениша, точию Российския страны народ содержит прежнее православие, яже прияша от Грек.

Зело же преизобильна часть Европия всеми благами земными, хлебом и овощми различными, и златом и серебром, и воздух имеет тепел и хладен, яко умерен, и люди зело премудры, и всякой хитрости уметельны, и князи и держатели имеет многи, и грады прекрасны и зело тверды, яже последи сказать бысть по различию земель, языцы же имеют различны, но верные все, аще и ереси многи суть в них, но обаче все крещены и поганство в них на идолослужение не обретается, и сия часть яко же глаголют премудрые лучшая есть на вселение».

Посреди сей наилучшей земной части, под январским знаком Водолея помещается наш «Московский край, Российское царство, Красная Русь...

Царство и великое княжество Российское христианское благочестивое, народ давний, иже обитати начал во странах оных по разделению языков, глаголет же славенским языком. Земля велика и широка, пространство же свое имеет меж всех частей вселенной, даже до Азии и до моря, глаголемого Каспис еже есть Хвалынское, и до стран Перских, к полудню же даже до предел Херсонских и до Крымского царства и до украин Турских, до моря глаголемого Черного, на запад же даже до предел Немецких, Лифляндской земли и до моря глаголемого Варяжского, на север же даже до Великого Окияна и до земли Лопской и Норвецкой, и паки к востоку даже до Ледовитого моря и до земли

Сибирской и до пределов Китайского и Богданского царства. Имеет же под собою и Сибирскую всю землю с прилежащими к ней ордами, и царство Казанское, и Астраханское, яже прияша от поганых, и к ним прилежащие многоразличные роды Татарские, Ногайские и Калмыцкие, и Черкасские, и Черемису, и Мордву, и иных поганских народов немало, и сих имеют в повиновении, с них же дань емлют серебром и медом и коньми и скотом и зверями различными.

Людие же земли Российской изначала живяху в лесах и в полях, яко же поганые народы, ни начала над собой имуще коего же, ниже́ градов, но яко звери в горах и в лесах скитающеся, питаяся стрельбою лучною, зверми и птицами; потом же научившеся от окрестных стран, начаша строити домы, и грады соградиша, и нарицахуся Скифия многочеловечная; потом же избраша себе князя от Немецких стран Прусской земли именем Рюрика от колена Августа кесаря Римского и нарицахуся Россия великая, и тако управляемы бываху сих властию, людие же зело воинственны беху и брани любяще и находяще на христианские страны, пленяюще сих. Некогда же и на Царьград пришедше, повоеваша его и дань емлюще не однажды.

Обладаху же российские народы прежде и Литвою, и Угры, и Болгары загорскими и Волжскими и иными странами прилежащими окрест и дань на них емлюще, и житие имуще сурово и бесчеловечно; потом же прияше святое крещение от Грек начальный их великий князь Владимир, правнук Рюриков, во дни Василия и Константина царей Греческих, и митрополита и епископов во градах устроиша, и оттоле на лучшее пременяхуся, но аще и крестишася, рати все не осташа и Греческие пределы часто нахождаху и пленяху зело. Потом же Греческий царь Константин Мономах, видя от них пределам своим утеснение, сотвори с ними мир и любовь и великого князя их Владимира Всеволодовича почтил царскою честию, прислал к нему царский венец и диадиму, и скифетр царский и яблоко златое с драгим камением, и сотворил его честью равным себе.

Имеша же страна та многих князей от колена Рюрикова и Владимирова, и каждый владел своим градом и страною, и оттого бысть в них нестроение и мятеж, и за несогласие и несовет пленена бысть Российская страна от некоего поганского царя Златыя орды именем Батыя, иже многие страны попленил на востоке и на западе, и обладаемы бяху от царей Златыя орды время не мало. Потом же князи их от всех

градов избраша себе град Москву, его же и главу всем градам сотвориша, и начаша поставляти у себя царей яко же в Греческой земле, но и еще многие быша князи по различным градам; обаче видя себя насилуемых от поганых, совет между собою сотворше и все повинувшеся единому старейшему от всех князей царю и великому князю Владимирскому и Московскому. Потом же все совокупльшеся воедино и примиривше к себе поганского Крымского царя и, сего взем в помощь, Златыя орды царя изгнаша из царства его: Златую орду и Казань и Астрахань приемше и до них прилежащие языки поработивше, и ныне держат под своим повелением, сами же никем не обладаемы.

Земля же Российская хлебом зело преизобильна и скотов всяких и коней имеет множество, кони же не велики, но зело крепки и твердоуздны, и пажити имеют скотам зело пространные. Имеет же Российское царство многие грады каменные и твердые, паче же всех Москва, град царствующий, зело велик и крепок, тремя стенами каменными огражден, ему же величеством и крепостию едва во всей Европии подобен град обретается. Имеет же и реки великие: Волгу, и Двину, и Каму, и Оку и иные великие реки и озера многие, и всеми благами, иже износит из себя земля и воды, наполнена, и птиц множество и, спроста рещи, всем преизобильна, точию злата и серебра и винограда нет, людей же имеет в себе множество, паче же купецких и поселян, много же и воинских людей, и против недругов своих стоят своими людьми.

Потом же изрядного ради православия по совету четырех Патриархов Вселенских и своих митрополитов и епископов, благоверный царь Феодор Иванович всея России устроил в царствующем граде Москве Патриарха, якоже в Константине граде и во Ерусалиме, по градам же митрополитов, архиепископов и епископов учредил многих.

Во всем обладаемы и повелеваемы люди страны той своим царем, и никогда противления не кажут, а цари и святители их зело благочестивы и христианскую веру держат крепко и непреложно, и как приняли святое крещение, так доселе ни един от них не бысть еретик; елицы же от простых людей хотя мало в вере поколеблются, таковых казнят заточениями дальними, а непокоряющихся и смерти предают — и ереси отнюдь никакой плодиться не допускают. По чужим государствам не ездят, точию в посольстве, боясь — да не от них навыкнув, в ересь впадут, потому и от своих государей воли о сем не имеют, из-за чего наветуемы и

ненавидимы от многих стран, яко веру христианскую, яже приняли от Греков, держат крепко и непреложно и ереси отнюдь ненавидят. Ученых людей и дохтуров и философов имеют у себя мало, для того, что книжному писанию учены не все, только вельможи и воинские люди и купецкие лучшие люди, прочие же поселяне зело неученые и грубые и мятежные и ропотливые, и сего ради от государей своих попремногу наказуемы и злые люди казнимы злыми смертьми.

Некогда же сих множество несмысленное, превознесясь собою и грабления ради и самовольства, избраша себе некоего от злодеев в начальники и царем его именовавше, многую пакость государству своему сотворило и царство оное великое в великую беду и тщету привело. К ним же приставшие окрестные народы, глаголемые Поляки, и Литва, и Немцы, много зла христианам сотворили и едва в запустение царство не положили; напоследок же паки все, совокупившись, инородных от себя изгнали и грады расточенные взяли назад.

Но аще и не все люди книжному писанию учены, зато верою все зело благочестивы суть и возрастом сановиты и бородами украшены и одеяние носят разноцветное, но нрав же у них в правде не постоятельный и корысти желательный, друг друга лукавством превосходят, к тому же льстивы, упрямы же и прекословны суть, и церквей и монастырей имеют множество, подобно звездам, иноков же бесчисленно, от них же и многие святители чудесами просияша и от гробов миро исцеления источают, яко же древле в Греческой земле и во Ерусалиме и в Риме. Есть же и дальние монастыри на море на Соловецком острову, и во иных странах, и пустынники многие, житием и чудесами яко столпы сияющие, и многие святые святители и иноки телесами яко живые лежат в раках. К церквам же и монастырям весь народ он податливой и церковное благолепие и красоту излиха любяще, и имеют во храмах честные иконы и сосуды зело украшены златом и бисером и всеми потребами, яко небо солнцем и луною, и во всей Европии красотою подобных им не обретается. К нищим же зело милостивы, и святительский и монашеский чин имеют в великой чести, и посты держат по древнему преданию крепко. Ризы носят долгие, особным обычаем рознично от иных стран.

Жен же имеют по единой, и второго и третьего брака не отрицаются; четвертой же брак отнюдь у них не именуется. Зело же имеют в покорении жены свои, до толика, яко ничто же могут сотворити в дому своем кроме воли мужа

своего. Девы же зело хранят чистоту, великое бо в них стыдение и поношение, еже которая дева обрящется не сохранившая девства своего до законного сочетания — таковую муж ее аще оскорбит или и смертию убиет, не зело жестоко ему осудится. И сего ради девы вельми хранят чистоту не точию воздержания ради, но и страха для; елицы же обретаются в них не сохранившие девства своего до сочетания брака, многие покоры и раны бесчисленные от сродников своих терпят. Мнози же от них, мужие и жены таковые, иже от юности своея иноческое житие возлюбиша и чистоту телесную хранят до дне смерти своея. Обретаются же у них и таковии жены, иже слабости ради своея отделили себя на всякую нечистоту и невоздержание, похотения плотские исполняют,— обаче таковии великое мучение подъемлют, пред всеми обнажаемы и водимы по торгу и биемы людьми. Елицы же помышляюще на убивство мужа своего, смертьми казнимы и в землю живыми закапываемы.

Пити же народ Российский, наипаче же простые и поселяне, любят много, понеже воздух имеют вольной — ни вельми горяч, ни студен.

Имеют же некие страны, где мразы великие и нестерпимые; обаче человекам те страны на здоровье и болезней там мало, яко мразом изводится от них телесная мокрота. На бранях Российские люди терпеливы и мужественны, и нужу великую терпят, многие дни пребывающе без пищи. Государям же своим повиновение и послушание имеют зело великое, иже и во обычай приемше речь сию, глаголюще: волен Бог да Государь. Цари их зело самовластны и все творят по воле их; общий же народ самовольства ради его блюдом и востязуем вельможами, и судиями градскими, и господами своими, не попущающими им ото обычных преданий ни мало.

Народы языческие, яже суть Татарове, и Черемису, и Мордву, и Лопь, и иные языки зело имеют в порабощении, да не паки возмогут и воспротивятся. Разделено же было прежде сего великое Российское царство на многие княжества, яже суть сии: великое княжение Владимирское — начальное и главное всея России, с ним же общо и Суждольское великое княжение, великое царство и великое княжество Московское, государство и великое княжение Новогородское, царство Казанское, царство Астраханское, царство Сибирское, государство Псковское, великое княжение Смоленское, великое княжение Тверское, великое княжение Черниговское и Северское, великое княжение Резанское, великое кня-

жение Нижеградское, великое княжение Ростовское и Ярославское.

К сим же великим княжествам быша и грады мнози, по разделению коегождо княжества покорные и служат Российскому скифетру».

Словно два голоса, переплетаясь, перебивая один другого посередине предложения и через запятую то славу неся, то журбу, ведут вперед разноликое повествование. А нет-нет вклинивается еще и третий, обезьянничающий:

«Глаголют же некие, яко за тою рекою Обью великою под самый Север есть человецы дикие безгласные, только зычат да сипят, зимою же, егда морозы наступят, человецы пускают из ноздрей своих сморг или соплю; а егда сии замерзнут, тогда стоят ови яко о древесах. К весне сии сопли растаивают, и человецы паки оживают; егда же кто сих соплю преломит, таковии уже не оживают,— но не вем о сих, аще истинно суть...»

Подобное передразниванье — это тень подлинной космографии, влекущаяся за нею по придорожной пыли. О такого разбора вещах сказано было в древней притче о сеятеле — про зерна, упавшие при дороге, которые были потоптаны или склеваны птицами, что в сокровенном смысле означало тех, кто сперва внимательно слушает голос истины, но не умеет удержать слова в сердце; приходит враг рода человеческого и уносит прочь не успевшие укорениться ростки спасения. О теневом мире речь еще будет впереди, но с тем бо́льшим усердием прислушаемся к последним словам космографии:

«Слово совершительное книги, в нем же предлежит о воспоминании и разрушении многих государств сильных.

Ведающий хитроумные словеса да скажет о чудных делах миротворения Создателя, давшего изначала телесам нашим чувственный свет солнца, а душам светоумное учение святым книгам! Дан нам вдобавок и царский страх строительный на человеческую жизнь чувственную, и духовные правители на пользу желанию души к небесным восходам. Мы же от душевного существа красоты нисходим и прилепляемся к долу влекущему и пепельному бессловесному лику самоизволением скотского естества...

Возведем очи мысленные, и посмотрим разумным видением, и побеседуем душевным рассуждением о превращении престолов сильных, еже есть страх велик, и державств и царствий преславных. Где Вавилон великий, первый во слове, где же Индия многостяжательная, и Персида многонарод-

ная, и Ефиопия, и тех великое пространство со отоки морскими, где же Ассирия боголюбивая, где Палестина достохвальная, в ней же избранный святый град Иерусалим, идеже прославися Христос во плоти и все святые пророки и апостолы, где Антиохия великая — град Божий, и обетованная святая гора Синайская, и Александрия преименитая, где же и многомудрая Афинея и грады Еллинские многофилософные, где Египет с Фиваидою, да в них же богоизбранных мужей духоносцев со иноки яко песок вскрай моря, где же и пресветлый Царьград, иже телес святых наполненный, где же и над вселенною властвующее Римское величество, с ним же вкупе и Италия и Германия многочеловечная, где же и благочестивая Испания и Вританские островы, где многоплодная Болгария, и Сербия, и Солунь, и святая гора Афонская, в ней же иноков яко звезд на небеси?.. Все же сии приснопамятные грады от великих войн разрушением, иные же опустением осиротеша, овии же обсилованием страха смирены до конца, иные же данями тяжкими от неверных царей усмирены, и златокованые их палаты еще не падошася, но душа злопогибельными ересьми поверготася. Оле дивства! О колика сила греховная, како премудрый Приточник рече: содрогнуша бо ся кости и мозги, и кто даст главе моей воду и очам моим источник слезный! О, немощнейшие самой слабости человеческие немощи, и лукавые блудницы, и многомятежная мира сего жизнь! Но слава единому премудрому зиждителю Творцу, устрояющему недоведомым своим судом праведным о всякой чистительной человеческой вещи, еже к жизни нашего душевного естества полезная, о нем же мы живем и движемся и есмы во уповании жизни вечныя. Аминь».

...В нашей космографической повести три главных действующих лица. Путь, по которому движется странствие; тень, отбрасываемая идущим,— и цель, к которой он устремлен. Сам же путник вовсе не герой — им в конечном счете может быть каждый.

Хотя все, что рассказывается в ней,— правда и сочинено не мною, это все же должна быть отнюдь не вереница отрывков, но живое «художество» — коль скоро художественность есть необходимое условие, тот самый «вольный воздух» духовного пути.

Пространство для путешествия уже определено; коротко скажем и о времени — две тысячи лет, тысячелетие, три века. История, как выясняется, особенно привержена к этим «кратным» своим числам. Два тысячелетия, как человеческий

род тронулся в новый путь; тысячу лет назад в общий круг христианских народов вступила Россия; триста лет тому в ней самой столкнулись такие силы, эхо борьбы которых еще по сю пору гремит. Но теперь по порядку поведем речь о том, как за десять веков до нас происходил знаменитый

ВЫБОР КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА.

Народ его вырос уже из тесных языческих пелен, и вот наступил час избрать для него спасительную веру. Стали Владимира навещать купцы по духовной части, каждый выхваливая собственный драгоценный товар.

Первыми явились болгары «веры бохмиче», то есть магометанской, и на вопрос о том, какова она, отвечали весьма складно: «Веруем Богу, а Бохмит ны учит, глаголя: обрезати уды тайныя, и свинины не ясти, вина не пити, а по смерти же, рече, со женами похоть творити блудную.Дасть Бохмит комуждо по семидесят жен красных, исберет едину красну и всех красоту возложит на едину, та будет ему жена. Зде же, рече, достоит блуд творити всяк. На сем свете аще будет кто убог, то и там». Конец речи Владимиру приглянулся, и он ее «послушаше сладко», в первую голову потому, что «бе бо сам любя жены и блуженье многое». Однако обрезанье удов, отказ от свинины, а особенно от вина вызвали его отвращение, и он запрощиков Магомета отверг, изронив вдогон ту самую поговорку, что «Руси есть веселье питье, не можем бес того быти».

Следом его навестили «немцы от Рима», сиречь католики, рассказавшие, что заповедь их такова: «Кланяемся Богу, иже створил небо и землю, звезды, месяц и всяко дыханье», и исполнение ее нетрудно — «пощенье по силе; аще кто пьеть или ясть, то все во славу Божью». Но послы Владимировы, посетившие множество храмов и служб «немецких», доложили ему, что в церквах тех «красоты ни видехом никоея же» — и великий князь отказал католикам, добавив, что веры этой отцы не принимали.

Услыхали про то в свой черед и «жидове козарьстии», добрались до Киева и рассказали, что христиане веруют тому самому Христу, которого они позорно распяли, а посему следует поклоняться лишь единому Богу Авраама, Исаака и Иакова. Владимир, успевший оценить «веру» магометанскую и католическую «заповедь», вновь поставил свой вопрос весьма

точно: «Что есть закон ваш?» Ответ был таков: «Обрезатися, свинины не ясти, ни заячины, суботу хранити». Он спросил еще: где их земля? — «В Иерусалиме». Князь не поверил и еще раз переспросил: да точно ли там? Тогда им пришлось сознаваться: «Разгневася Бог на отци наши и расточи ны по странам грех ради наших, и предана бысть земля наша хрестеяном».— «То како вы иных учите? — возмутился Владимир.— Или и нам того же хотите?!»

А уж четвертым пожаловал философ из Греции, в пространной речи по канонам византийской космографии изложивший воплощение премудрости в мире от его сотворения и вплоть до грядущего Страшного суда, живописное изображение которого всего более подействовало на князя-язычника.

Но все-таки он по былинным законам предпочел, прежде чем окончательно решиться, трижды взвесить и отпустил любомудра с дарами, сказавши: «Пожду и еще мало». На следующий год он держал новый совет о том же деле со своими боярами и градскими старцами, после чего десять «мужей добрых и смысленных» отправилось в путь по белу свету, чтобы оценить все сказанные веры незаочно. Их тоже более всего покорил Царьград, а в нем главный храм Софии Премудрости, про который мужи отозвались, что попав в него, не знали, «на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такаго вида, ли красоты такоя».

И лишь на третий год Владимир, взяв осадою у византийцев град Корсунь, добыл в обмен на него у императоров-соправителей Константина и Василия себе в жены сестру их Анну, крестился там же и венчался — а по возвращении в Киев крестил уже страну и народ.

Во время совершения таинства крещения князю был прочитан и изъяснен символ православной веры, а вслед за тем главные деяния вселенских соборов, первый из которых, Никейский, «прокляша Арья и проповедаша веру непорочну и правду», а второй, утверждая его постановления, увековечил исповедание единосущной Троицы.

В основных своих чертах рассказ о выборе вер уж куда как общеизвестен, и — за вычетом некоторых потребностей, в которых все-таки тоже хочется скорее воротиться к согласию с летописцем Нестором, нежели принять сторону сомневающихся «совопросников века сего»,— самая суть его представляется вполне достоверной. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляется иное, совершенно противоречащее свидетельство —

ПИСЬМО ПОЛОВЦА ИВАНА СМЕРЫ,

состоявшего как будто бы лекарем и краснобаем при Владимире Святом. Еще будучи язычником, князь отправил его в 980 году в Константинополь и Грецию для испытания вер; после десятилетнего странствия Смера достиг Александрии, откуда написал в Киев следующее послание:

«Могущественнейший царь Владимир, знаменитый герой, дражайший мой господин, наследственный обладатель славянских стран, населенных после строения башни вавилонской народами из Афетова племени!

Бог живый, всемогущий и един мудрый да правит тобою, как сам знает, на многие годы, храня тебя в силе, власти и славе.

Теперь уведомляю тебя, что я постоянно и глубоко оплакиваю то, что ты отправил меня в страны греческие для исследования веры и нравов, разлучив меня с собою, дорогой царь, и с землею русскою. В этом моем странствии я очень часто недалек был от погибели. И теперь для меня нет более способа возвратиться в твою землю. Сообщу твоему величию обстоятельно обо всем этом.

С большим трудом перешел я пустынные горы в Паннонии и затем Паннонию. С большими неприятностями переправился через Дунай. Затем прошел я Сербию, Болгарию, Мизию, также великую и знаменитую империю греческую с пятью царствами ее,— был в Антиохии, потом в Иерусалиме. Из Иерусалима пришел сюда в Александрию. Здесь я повсюду увидел божницы, построенные роскошно, и людей, нравами похожих на аспидов и василисков. Но видел я также немало молитвенных домов христианских, в которых нет никаких идолов, а только столы и скамьи. Люди, которым принадлежат эти дома, говорят о божественном; они честны, выше всего любят мир и тишину; это подлинно как бы ангелы Божии. Ежедневно они, по повелению Божию, сходятся для научения; на молитвы сходятся перед восходом и потом после заката солнца, иногда также в третий и девятый часы дня. Здесь все люди повсюду называют их народом святым и новым Израилем. Учению их следуют здесь и некоторые цари со своими учеными, и сам я часто посещаю их с целию научиться. Я уже и возрожден у них водою и духом во имя Отца, Бога всемогущего, и Сына его Иисуса Христа и Святаго Духа, происходящего из того же Бога. Посылаю при этом тебе,

царь, и книгу их, называющуюся „евангелием“ с учением апостолов: прими ее.

Да будет известно твоей державе еще и следующее: видел я во владении кесаря, что этим честным и благочестивым людям делаются большие обиды, потому что здешние греки хитры в словах, надменны, ложь могут выдать за дело справедливое, подражая в этом некоторым учениям и учреждениям римлян и стараясь своим коварством завлечь простых людей в свои синагоги и церкви... Люди, о которых говорю, учат, что Бог есть един всемогущ, и единородный Сын Божий есть Иисус Назарянин, действием того же Святаго Духа, согласно древним обещаниям о нем, после известного времени зачат в чистой Деве Марии, бывшей от племени Давидова, и рожден от нее. Престол его пребудет в вечное время, потому что он, по справедливости, называется Сыном Божиим, Спасителем, Богом крепким, Отцом будущего века; сверх того, он поставлен от Бога Израилева царем и судиею всему миру, как все это мне давно уже достоверно известно от моего учителя.

И вот греки, оставя учение всемогущего Бога и истинное, в Нем самом заключающееся истолкование его,— греки, а именно кесарь и патриарх с своим сенатом, повелевают называть себя новым Израилем, приказывают это и тем бедным братьям, и сами, будучи сильны, приневоливают их служить себе и платить дань. Кроме того, они запрещают им иметь жен и пользоваться средствами пропитания по своей воле, с благословением Бога; запрещают им также свободные искусства и оружие, хотя то верно, что христиане могут с честию иметь все это, не употребляя, однако, без крайней нужды, но оберегая себя от зависти других и вражды внутренней. Между тем греки удерживают все это в своей власти, запрещая иметь то же другим, чтобы держать великий народ в рабстве у себя. Наконец они велят, чтобы по смерти были почитаемы изображения их; дают по собственным именам названия домам словно храмам, чтобы таким образом их поминали и славили на вечные времена. Они приказывают, чтобы в сказанные дома люди собирались на молитвы с фимиамом и свечами и всякого рода яственными жертвами, называя это чествованием, и такое чествование, учреждаемое для нарочитых дней, они оградили привилегиями на вечность.

Но я знаю, что последнее поколение блистательно освободит себя от всего этого, когда заметит, что в этих, насилием созданных церквах, вопреки воле всемогущего Бога, люди слишком оскверняются объедением. Ибо собирающиеся в этих

церквах, после служения идолам, топают ногами, плещут руками, издают разноголосое пение наподобие музыки, ведут себя без стыда до такой степени, что нельзя об этом ни говорить, ни писать. В сказанные же нарочитые дни свои они одних одаривают своими милостями, как бы за их достоинства,— других, после этих праздников, наказывают, как преступников закона. Поэтому некоторые христиане собираются в укрытых местах, в гробах, в горах, в лесах и в пропастях земли, говоря, что избегают нечестивого рабства, при чем и пророчествуют: „Погибнут надменные греки в вечном огне, да и те, которые приняли их нравы, суть также бесчестны, бесславны, лжецы, достойные отвращения!"

Сказано мне, царь, господин мой, что ты и твой род будете такими же, и о нынешних людях такого рода они выражаются, что глаза и сердца их ослеплены. Поэтому последнее поколение этих людей осудит их, называя их псами, изобретателями басен, отпадшими от Бога, заблудившими от истины. Однако же и те самые, которые так будут осуждать их, не избегнут многих опасностей, ради позорного разногласия и нечестивой гордости своей. Лишь некоторые из них, кроткие сердцем, по призванию от Всемогущего, ради Сына Его, действием Святаго Духа исследуют все писания закона себе на спасение.

Начав от сотворения мира, я, следя за учением веры, исследовал, будет ли хорошо тем твердым людям, хранящим предания мудрости, при богатых греках и однонравных с ними поколениях других людей. Я разумел, что в скором времени греки и их последователи увидят всецелый позор над собою и свою гибель. Идолы их войдут в притчу у чужих народов, потому что они не устоят против гнева Бога живого, будучи глухи и немы. Сверх того, некоторые из христиан и иудейского племени говорили, да и сам я узнал из некоторых писаний, что последнее славянское поколение соединится с великою ревностию для похвалы и исповедания единого Бога Израилева, Творца видимых и невидимых вещей, который освободит свой верующий народ от грехов его послушанием Сына, действием Святаго Духа. С ним и последний иудейский род познает вместе с прочими народами учение Христа, единородного Сына Его, и, хваля и благословляя Его, получит спасение, потому что покорится воле Бога своего. Тогда-то и тем избранным возможно будет получить всякую честь и могущество за свое учение и образ жизни, как это указывается в древнейшем писании. Итак, царь, не должно тебе принимать обычаев и веры греческой. Если же ты примешь ее, то я никогда

к тебе не возвращусь, но здесь усну смертию и буду ждать суда Сына Божия.

Писал я это железными буквами, вырезав на двенадцати медных досках, в египетской Александрии 5587 г. Фараона, 1179 г. царствования славного Александра, в год пятый; индикта 1, луны 7, ид 14. Это тебе верно объявляю врач и ритор твой —

Иванец Смера Половлянин».

Впервые письмо было издано по-латыни во второй половине XVII столетия с примечанием, что оригинал писан «языком булгарским по древнему учению руссов», с которого «русский диакон Андрей, бывший после слугою пана Собека, королевского подскарбия», перевел его на польский в 1567 году. У этого диакона послание Смерово приобрел писатель польской секты ариан Станислав Будзинский, переложил на латынь и «оставил потомству, как памятник, достойный прочтения».

Таким образом, является своеобразнейшее свидетельство о том, что Владимир Святой как бы сделал свой выбор оплошно! И выбрал, оказывается, не веру, а ересь — кстати сказать, в исходном смысле сло́ва греческое «ересь» и означает не что иное, как «выбор»...

Откуда же взялось странное это письмо, кто таков «половец» Иван Смера — в чьем имени явно отдается эхом «Смерть Ивана» — и где в конечном счете здесь истина? Вопрос отнюдь не даром встает прямо посередине нашего мысленного пути, потому что разбирательство его корней, уводящее как будто бы далеко в сторону, затем окажется кратчайшей дорогою к искомой цели. Оно даст один из наглядных уроков премудрости, хотя для того и придется до поры погрузиться с головою в

ТЕНЬ.

Собственно говоря, неопустительное ее бытование рядом, обок с нами, и постоянные встречи на жизненном поприще настоятельно требуют создания особой отрасли знаний — но только не ученой в тесном смысле, а широчайшей и художественно-показательной, которую можно назвать «теневедением». Вопрос о тени постепенно вырастает до глубинных понятий о зле как таковом, собственно и являющемся тенью Добра; и вот пристальное изучение его сущности и проявлений в истории как раз призвано послужить самым твердым

посохом в руке путешествующего космографа. Причем бояться здесь не след хотя бы уже потому, что от тени все равно никуда не скроешься — разве что в сказке; зато отчетливое знание сообщает такую чистоту сердцу и оку, что при соприкосновении самом тесном зло не оставляет на них пятен. Об этом есть такой замечательный короткий рассказ в «Азбучном Отечнике» — древнем собрании сказаний о старцах, подвизавшихся в пустыне, расположенном в алфавитном порядке их имен:

О ЮНОМ МОНАХЕ, ВХОДЯЩЕМ В КОРЧМУ.

Некий старец, живший в ските, во един от дней отправился в Александрию продать свое рукоделие и увидел там молодого монаха, зашедшего в корчемницу. Он этим весьма оскорбился и, подождав, когда тот выйдет, отвел его в сторонку и стал наедине поучать.

— Ты ведь, дорогой братец,— наставлял он,— облечен в ангельский образ, понимаешь, что много у диавола сетей, и ведаешь, что, уже просто заходя в город, мы повреждаемся очами, слухом и образом. Ты же, юноша, часто навещая корчемницу, не только слышишь и видишь все там творящееся, но и с нечистыми женами и мужами пребываешь! Но молю тебя, чадо мое, беги в пустыню, где лишь и сможешь спастись...

А юный монах ему в ответ: «Отойди от меня, черноризец: ничего иного не ищет Творец, кроме чистого сердца!»

Тогда старец поднял руки свои к небу и воскликнул:

— Слава Создателю, объявляющему свою премудрость! Я уже пятнадцать лет прожил неизбывно в скиту, но сердца чистого не стяжал — сей же, в корчемнице пребывая, достиг таковой чистоты!

...Так, на всяком месте, в любом времени и положении есть возможность нам выбрать искомую

ПРЕМУДРОСТЬ,

которая на языке ветхозаветных писателей звалась «Хохмой», а в созданном по-гречески Новом Завете именуется «Софией». Сама же она прелестна и обоюдоостра, так же как и слово «прелесть» — для кого верховная красота, а для кого и высшего разбора лесть. В одной из немногих поздних книг Ветхо-

го Завета, написанных уже прямо греческим языком, ей возносится целая хвалебная песнь от лица царя Соломона:

Она есть дух разумный, святый,
единородный, многочастный, тонкий;
удобоподвижный, светлый, чистый,
ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый,
благодетельный, человеколюбивый,
твердый, непоколебимый, спокойный,
беспечальный, всевидящий
и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.
Ибо премудрость подвижнее всякого движения,
и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает.
Она есть дыхание силы Божией
и чистое излияние славы Вседержителя:
посему ничто оскверненное не войдет в нее.
Она есть отблеск вечного света
и чистое зеркало действия Божия
и образ благости Его.
Она — одна, но может всё,
и, пребывая в самой себе, все обновляет,
и, переходя из рода в род в святые души,
приготовляет друзей Божиих и пророков;
ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростию.
Она прекраснее солнца
и превосходнее сонма звезд;
в сравнении со светом она выше;
ибо свет сменяется ночью,
а премудрости не превозмогает злоба.
Она быстро распространяется от одного конца до другого
и все устрояет на пользу...

Премудростью было то самое Слово, которое «в начале всего»; воплотившись в зримый образ, премудрость обрела и личные видимые черты. Недаром именно созерцание цареградской Софии победительно решило выбор послов князя Владимира — и главный храм столицы Руси был освящен тем же именем. Она же составляет сокровенную основу того видимого образа, который один может служить лицом русского Средневековья, семи столетий нашего исторического бытия — творения инока Андрея Рублева

ТРОИЦА.

Положивший жизнь на защиту идеи Троицы, в которои он видел залог духовного единства Руси, Иосиф Волоцкий говорит о ней в своем «Просветителе»: «Тако веруем, и тако мудрствуем, и в сих довлеем, и се премудрость наша и разум наш!»

А почти пять веко́в спустя современный ученый, отнюдь даже не богослов, а знаток средневековых общественных движений, носивших знамена ересей, рассказывая о том, что Троичность служила основой миропорядка для русских людей этих времен, сам того не желая, подхватывает самый слог древней словесности, говоря: «Вселенная дышит духом божественной Троичности, которая составляет ее конечную причину и сквозит во всех ее проявлениях».

Именно благодаря этому единению в век Андрея Рублева и Димитрия Донского выстояло против внешних врагов государство, направившее силы не на разрушение отечественных заветов — как в единовременной Европе, обратившей взоры вспять, в пустые глазницы мертвого язычества,— а на обновление полученного из рук Византии духовного наследства.

Античность создала некогда учение о триаде, где «один» было символом оставленности и замкнутости в себе; «два» означало разделение и бесконечный разлад, а «три» воплощало соборный совет и любовь. «Наша» эра принесла превращение умственной триады в сердечную, сердцевинную для нее Троицу, совершенное живоначальным Словом. Но вслед, пыхтя, торопилась поспеть, не отстать за краеугольной чертою зыбкая тень, всею силой стремясь вновь обратить высокую прописную Софию в ветхую «хохму» со строчной. И главным оружием для себя она выбрала собственно «выбор», то есть ту самую

ЕРЕСЬ.

Исключительное своеобразие, отважимся даже сказать, единственность исторических судеб Руси состояла не только в том, что вместе с верой она одновременно приобрела книжность и письменность, накопленную человечеством от века. Дело в том, что в ней изначально получила воплощение мысль о единстве, о цельности — в пору крещения Владимира и его государства как раз окончилось исполненное христологическими, тринитарными и иконоборческими ересями тысячелетие и на несколько веков в христианской культуре воцарился духовный мир. Его не смогла поколебать даже произошедшая вскоре «схизма» — то есть раскол между католическим и православным исповеданиями, потому что в отличие от яростно-противоречащей ереси раскол есть разделение куда меньшего порядка, разводящее в стороны все-таки единомышлен-

ников: по обе его стороны миропорядком продолжала править идея Троицы, и это было главней всех прочих вероисповедных и обрядовых отличий.

А следствием этого мира было то, что, хотя на Русь и забраживали редкие еретики, собственно ересей у нас не было более трехсот лет, отчего ощущение духовного единства спокойно окрепло и укоренилось.

Первыми душевную тишину нарушили объявившиеся в половине XIV столетия во псковско-новгородских пределах «стригольники». Начавши с возмущения поставлением священных чинов «на мзде», они постепенно от исправлений перешли к искажению и наконец вовсе отвергли Троицу, все новозаветные писания и церковь с ее таинствами, предпочитая исповедоваться сырой земле. Бунт этот длился почти что век, а потом сошел на нет, хотя окончательно не угас.

Следующими тлеющие головни черного пламени раздули еретики, известные под именем «жидовствующих». В 1471 г. Новгород посетил проездом ученый иудей Схария — князь Таманского полуострова Захария Скара Гвизольфи, имя которого писавший против него инок Спиридон-Савва обыгрывал, говоря, что и учение его тоже «якоже некое скаредие». Он успел обратить в ветхозаветную веру нескольких местных священников и отбыл восвояси; а те разошлись вовсю, вновь отвергли Троицу, воскресение, христианские писания, предания и даже искусство, потопив в нужниках иконы вместе с самою совестью, ибо учили говорить одно, а думать и делать обратное. Борьба с быстро расползшимся чужебесием отняла на сей раз у государства куда больше сил; пока ему своротили рог, протекло полстолетия,— но и тут угли былого пожара чадить еще не перестали.

Огневщиком третьей пáли стал беглый холоп Феодосий с показательным фамильным прозвищем

КОСОЙ,

который, обокрав своего господина в Москве, постригся на Белом озере и начал проповедь нового, а на деле вполне ветхого учения. Сосредоточивалось оно опять на отрицании Троицы и отвержении церковных таинств, взамен чего «столповою книгой» провозглашалась Тора — Моисеево Пятикнижие.

В 1554 году Косого вытребовали в Москву в связи с розыском по делу сходномысленного с ним Матвея Башкина, тоже

отрицавшего Троицу и иконы. Башкина допрашивал сам Иван Грозный — «начат испытывати премудре, хотя уведати известно, как убо сии лукавии и каково имуть свои мудрования». После долгих запирательств Башкин вдруг «богопустным гневом обличен бысть, бесу предан и, язык извеся, непотребная и нестройная глаголаша на многие часы», вслед за чем ему послышался обличающий голос Богоматери и он сознался, назвав своими учителями жидовствующих и лютеран. Башкин был осужден на покаяние и неисходное монастырское заточение; больше о нем ничего не известно. Приговоренный вместе с ним к тому же наказанию Косой оказался не в пример пронырливее.

Сидючи в одной из московских обителей, Феодосий сумел хитро приласкаться к своим сторожам и, воспользовавшись послаблением охраны, бежал на Запад, где, по словам его учеников, «идяше учаше новое учение, и браком законным оженися, появ вдовицу жидовиню, и есть честен тамо и мудр учитель новому учению, познал истину паче всех, имеет бо разум здрав».

По краткому определению историка прошлого столетия Николая Костомарова, «учение Косого было отрицанием всего, что составляло сущность православия»,— а именно, говоря словами тех же учеников ересиарха: «кресты и иконы сокрушати, и святых на помощь не призывати, и в церкви не ходити, и книг церковных учителей и жития и мучений святых не прочитати, и молитвы их не требовати, и не каятися, и не причащатися, и темианом не кадити, и на погребение от епископ и от попов не отпеватися и по смерти не поминатися».

Около 1555 года Феодосий, пройдя Псков, Торопец и Великие Луки, поселился со своей «чадью» — то есть приспешниками, вблизи Витебска в местечке со звучащим как определение именем «озеро Усо-Чорт». Здесь они, для пущего успеха прикрываясь видом правоверия, и взялись за распространение «нового учения» — проповедуя, что «не треба Троицу именовати», а «к Моисейскому закону обратитися и вместо евангелия десятословие прияти», добавив еще к тому признание равноценности всех вообще вер и отрицание всякой государственной власти.

Затем Феодосий с ближайшим наперсником своим расстригою Игнатием, тоже оженившимся на польке из местной секты противников Троицы — «антитринитариан»,— были из-под Витебска изгнаны и ушли из Белоруссии во внутреннюю Литву. Конец жизни они провели на Волыни — о них, как еще вполне живых противниках, упоминает в 1575 году

в одном из своих писем известный Андрей Курбский, опрометчиво полагавший, что стали они врагами веры отцов ради своих «зацных паней». Конечно, дело обстояло куда основательнее и грозней — хотя по внешности и выглядело бытовым кощунством, когда в имении волынского шляхтича, обращенного Косым и Игнатием в «новую веру» из православия, они за кубками мальвазии, ведя речь на «польском барбарии», забавлялись над священными писаниями «с жартами и шутками».

Но еще в Витебске в число «ближней чади» попал бывший белорусский диакон Козьма Колодынский, который, сменив исповедание на Феодосиево, переменил и имя на «Андрей». Вместе с учителем ушел он впоследствии во внутреннюю Литву, сам в свой черед сделавшись проповедником новоизобретенной ереси, разнося ее по Белоруссии, Польше, Галиции и Подолии.Он-то и сочинил подложное письмо «половца Смеры», а в 1567 году сообщил его арианскому историку Будзинскому. Намерением его было, подорвав доверие к преданию «Повести временных лет», расчистить в сердцах место для водворения новой сектантской веры.

Еще Николай Карамзин в «Истории государства Российского», приведя ради наглядности строку писанного сущей абракадаброй «подлинника», указал на разительнейшие несообразности в хронографии — например, что «половцы сделались известны в России уже при внуках Владимировых» — и определенно заключил: «Не будем глупее глупых невежд, хотящих обманывать нас подобными вымыслами. Автор письма,— говорит он,— хотел побранить греков: вот источник!»

Вслед за ним дотошные знатоки разобрали подлог и двигавшие поддельщиком побуждения с ученой колокольни до косточки,— хотя, к прискорбию, и по сей день приходится натыкаться на такие вот рассуждения: «В числе русских духовных писателей значится Иоанн Полоцкий, врач и ритор великого князя Владимира Святославича, он ездил по разным странам для ознакомления с различными религиями. Не он ли оставил описание путешествия к волжским болгарам, „немцам“ и грекам для выбора веры, которое впоследствии в переработанном виде вошло в состав „Повести временных лет“?» И ведь доносится подобное из уст отнюдь не посторонних, а мужа науки...

Но предметом нашего расследования служит все-таки не отвлеченное знание, а живая нить происшествий. И в ней-то как раз Кузьма-Андрей Колодынский со своею подделкой служит прелюбопытнейшим связующим звеном между самород-

ными отечественными еретиками и наступавшей тогда с Запада до чрезвычайности схожей ересью под древним именем

АРИАНСТВО,

родиною которого действительно была в четвертом веке нашей эры названная «Смерой» местом своего пребывания Александрия Египетская. Лжеучение ерисиарха Ария и его сочувственников состояло в отрицании богочеловечества Христа и вело тем самым к разрушению идеи Троицы; оно и было дважды осуждено на соборах в Никее и Константинополе, о которых рассказывали князю Владимиру при крещении греки.

Но вот на волне Реформации на католическом прежде Западе в шестнадцатом столетии возникло самое крайнее учение тех самых «антитринитариев», с которыми очень скоро свели дружбу в Речи Посполитой Феодосий, Игнатий, Козьма-Андрей и прочая «чадь». Первые семена арианства привез на самую границу католического и православного миров из Италии Фауст Социн, по которому местные ариане весьма часто и именуются «социнианами». Впрочем, ересь эта настолько здесь укоренилась, что наряду с другими схожими названиями (например, «унитарии» — единобожники) приверженцы ее нередко были известны как «польские братья».

К сожалению, приходится признать за российскими выходцами прямое первенство в распространении у соседей духовной порчи — Косой явился в Литве на два года раньше, чем пришло первое свидетельство об открытии антитринитарианства в Вильне, относящееся к 1557 году. Однако временной разрыв сей довольно-таки краток, и мнение польского хрониста о том, что «когда уже однажды брошены были семена лжеучения, чорт принес московских чернецов, которые подлили того же яда»,— также не лишено вероятия.

Западного извода еретики, путешествуя по духовной стране на самых окраинах протестантства, порою вовсе покидали душой христианские области, возвращаясь в ветхозаветный мир, к которому тяготело и учение Косого. Да и не мудрено было — мостом, соединяющим их, несмотря на множественные различия, было отрицание четырех христианских столпов: Троицы, воплощения, искупления и воскресения.

Но всем таким невидимым парениям мысли был и зримый вещественный образ, который воплотился в судьбе польского города с опять-таки символическим названием

РАКОВ.

В шестнадцатом столетии богатый кальвинист Ян Сенинский, побуждаемый своею женой — ревностной антитринитарианкой Ядвигой Гноенской (тоже ведь неслучайная фамилия), закупил в Опоченском уезде Сандомирской области обширную полосу земли, представлявшую собой унылые неродящие песчаные пустыри, и основал на них в 1569 году местечко, названное по родовому гербу жены с изображением рака — «Раковым». Заселил он его приверженцами любезной супруге секты, поляками и иноземцами,— и вскоре многолюдная община, как обычно водится на первых порах в сообществах еретиков, достигла цветущего состояния. Заложенный на песке Раков сделался богатым городом с отлично обработанными полями и огородами, ремесленниками, промыслами и фабриками.

В 1575 году здесь была основана типография, для нужд которой завели и бумажное производство, а ее издания стали распространяться не только в самой Польше, но достигали единомышленников в Германии и Венгрии. Год спустя состоялся первый антитринитарианский собор, постаравшийся объединить все течения противников Троицы. Постепенно среди всех них стало преобладать учение Фауста Социна, в особенности после переезда его в Польшу в 1579 году. Сын основателя Ракова Яков Сенинский состоял уже в числе чистых социниан, и раковская община заняла настолько главенствующее положение, что последователей Социна иногда так даже и звали просто «раковскими». И именно здесь ересь достигла своего полного развития, резко отодвинувшего ее от всех прочих христианских церквей.

В 1602-м в Ракове была учреждена антитринитарианская академия, в которую, однако, привлекали учеников из семей всех исповеданий, в том числе католиков, протестантов и православных русских; учителя, преподававшие в ней, съехались со всей Европы, причем обучали не только наукам, но и ремеслам. Число учеников быстро росло, достигнув в самую счастливую пору трех сотен человек из дворянских родов и семисот — из других сословий. Раков приобрел у сектантов громкое имя «Сарматских Афин» — и в 1630-е годы здесь можно было действительно встретить слушателей родом от Волыни до Эльзаса.

В 1638 году раковские академики разбили и опрокинули Распятие, стоявшее за городом. Дело получило нежелательную огласку, комиссия на месте происшествия обвинила ан-

титринитарианских учителей и пасторов в подстрекательстве к святотатству; заседавший тогда в Варшаве сейм постановил закрыть раковские академию, типографию и молельню, а проповедников и профессоров осудил на «инфамию» — лишение чести — и изгнание.

Учителям пришлось покинуть насиженное убежище; за ними потянулись прочь остальные сектанты, продав свои дома за бесценок нахлынувшим на поживу купцам Моисеева закона,— и довольно скоро от великого имени Ракова осталась одна лишь тень. Наследовавшая владение им сестра Якова Сенинского Александра вернулась в католичество, выстроила к 1644 году каменный костел в честь Петра и Павла и повесила над входом в него плиту с надписью, увековечивавшей поражение арианского нечестия и восстановление исповедания Святой Троицы.

Раков продолжал запустевать и постепенно обратился в жалкое, кишащее гешефтмахерами местечко. В конце прошлого столетия это было уже совершенно захолустное поселение с одноклассной школой, в которой состояло ничтожное число учащихся. «Глядя на песчаные пустыри Ракова и лачуги,— сетовал его летописец,— трудно поверить, что некогда здесь кипела торговля и процветали науки. От прежнего благосостояния остался лишь заброшенный, опустелый костел, одиноко стоящий на песчаных сугробах».

И не только ему одному приходило при этой мысли на память евангельское сказание о двух домах, рассказанное Иисусом:

«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и возвеяли ветры и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое...»

Но падение Ракова не было еще поражением противников Троицы в Польше и Западной Руси, ибо на защиту арианства встал чрезвычайно любопытный деятель, которого звали

АНДРЕЙ ВИШОВАТЫЙ.

Его отец Станислав был женат на единственной дочери Фауста Социна Агнесе, затем был диаконом раковской общины «польских братьев», а дядя Венедикт — один из основателей раковской академии. В 1619 году в эту школу был отдан и сам Андрей, где десять лет спустя он окончил курс среди наиболее успешных учеников. Молодой человек двадцати одного года от роду с детства готовился и в семье, и в академии к роли вожака.

Пробыв два года домашним учителем в доме люблинского воеводы, он затем предпринимает заграничное путешествие для довершения образования с несколькими товарищами по секте из числа польской и русской молодежи, среди которых были Александр Чаплич и Юрий Немирич — впоследствии тоже первые лица антитринитарианской истории. В Голландии они не только посетили университеты в Амстердаме и Лейдене, но и повстречали социнианина-земляка Христофора Арцишевского, отправлявшегося основывать сектантскую колонию в Америке и чуть было не завлекшего их с собою. Из Голландии перебрались в Англию, а оттуда во Францию, где побывали в знаменитой парижской Сорбонне.

Возвратясь в Польшу, Вишоватый продолжал трудиться на пользу секты. Когда случился раковский разгон, он явился к самому королю со словами защиты единоверцев. В 1640 году вместе с молодым социнианином Адамом Суходольским в качестве его воспитателя вновь отправился за границу; они объехали Германию, Францию, Бельгию и в 1642-м воротились в родовое местечко Суходольских Пески. Здесь Вишоватый по определению социнианского собора был поставлен пастором местной общины и, надеясь на покровительство воспитанника, уповал воссоздать раковскую академию. Но юный шляхтич неожиданно перешел в кальвинизм, и вожатый с паствой вынуждены были покинуть новые песочные владения; взамен, однако, постановлением социнианского церковного совета Вишоватый был в следующем же году назначен миссионером всей Украины.

Его давно уже звал сюда к себе Юрий Немирич, старый друг и спутник в заграничном путешествии, а нынче киевский подкоморий и владелец обширных «маетностей» — то есть имений — по обе стороны Днепра. Сам Немирич тоже был раковским выучеником, где по всей вероятности и свел дружбу с Андреем Вишоватым. Теперь он встретил его на днепровском берегу и, переправляясь вместе с дорогим гостем в свое

поместье Орел, торжественно воскликнул: «Предание гласит, что апостол Андрей, соименный тебе, проповедовал в сих странах скифам и соседним народам: иди и ты со мной в эти страны и делай то же!»

Пожив некоторое время у одного доброго украинского приятеля, Вишоватый направился затем к другому — родственнику Немирича Чапличу, в его имение Киселин на Волыни. Именно здесь, у деда нынешнего владельца Кадиана Чаплича, еще в 1575 году провели последние годы жизни сподвижник Феодосия Косого расстрига Игнатий, да скорее всего и сам ересиарх, в качестве наставников по борьбе с Троицей. Сей самый Кадиан Чаплич сделался родоначальником целой династии антитринитариев и, хотя сын его Федор еще оставался православным, дружественные Вишоватому два старших внука Мартин и Юрий были уже на челе социнианской знати, пройдя обучение опять-таки в том же Ракове.

В 1640-е годы, о которых идет сейчас речь, семейство Чапличей имело во Владимир-волынском уезде несколько соседственных владений. Юрий Чаплич со взрослым сыном Александром обладали родовым Киселиным; а в нескольких верстах от него, по другую сторону речки Стохид, находилось имение Береск, где после смерти старшего брата Юрия — Мартина — проживали его сыновья Андрей и Александр, получившие образование за границей и подобно отцу беззаветно приверженные к своей секте. Беглые раковские профессора, постепенно скопившись в маетностях Чапличей, совместным тщанием возвели уже существовавшую социнианскую школу в степень академии с открытием особого богословского курса для приготовления пасторов в Киселине и дочернего отделения в Береске.

Прибыв на Волынь в 1644 году, Вишоватый оставался тут до 1648-го, попеременно проживая в принадлежавших Чапличам Киселине, Береске, Галичанах, Шпанове и других местечках. Здесь же он вступил в брак с дочерью囗 берестского социнианского пастора Александрой Рункевской, и свадьба была отпразднована в Галичанах в доме Александра Чаплича по новоизобретенному антитринитарскому обряду.

Однако ближние католические бискупы Луцкий и Владимир-Волынский еще в 1640 году призвали Юрия Чаплича с племянниками Андреем и Александром Чапличами-Шпановскими на суд, обвиняя в самовольном укрытии бежавших из Ракова академиков и распространении «декретами сеймовыми забороненной и за чортовскую деклярованной секты арианской». Посредством разнообразных судебных проволочек со-

цинианам удалось отложить рассмотрение дела почти на четыре года, но все же в 1644-м последовал строгий трибунальский декрет о закрытии школ в Береске и Киселине, причем Чапличи обязывались разрушить их здания, изгнать учеников вкупе с прочими еретиками, сверх того уплатить штраф в тысячу червонцев и представить в суд богохульствующих пасторов с учителями. Приговор довольно-таки трудно было привести в исполнение, поскольку почти все киселинские мещане поголовно состояли в числе антитринитариев, но наконец им пришлось выехать прочь, а за затяжку в повиновении на Юрия Чаплича насчитали уже десять тысяч червонцев и присудили к лишению чести. Вишоватого тоже вызывали в трибунал, обвиняя в публичном отправлении еретической службы, и чуть было не подвергли его «баннициии» — изгнанию из отечества, но ловкому пастырю удалось-таки на сей раз снова вывернуться.

Еще одним средоточием противников Троицы на Волыни было недалеко расположенное от Береска — отчего их до сих пор иногда соединяют даже в одно по созвучию имен — соседнего Дубенского уезда местечко

БЕРЕСТЕЧКО.

Некогда оно появилось на свет как предместье княжеского города Перемиля, разоренного татарами в 1241 году и с тех пор по нынешний век остающегося заурядным селом. Село Берестки Перемильской волости упоминается в грамоте великого князя литовского Казимира Ягеллоновича от 1 червня (июня) 1445 года; название оно получило, очевидно, по росшим вокруг большим берестяным лесам.

В XV — начале XVI столетий владели им Боговитины, происходившие, по всем вероятиям, от древнерусских князей Крокотков. В 1544 году в качестве приданого за одной из Боговитиных Берестечко получил киевский воевода Федор Пронский — из южнорусских князей Пронских, ведших род от дома Святого Владимира. В 1547 году привилей великого литовского князя Сигизмунда I Августа даровал Берестечку магдебургское право, и оно стало городом.

Наследник Федора, луцкий староста Александр Пронский, будучи православным, посетил в 1595 году Рим, где отрекся от родительской «схизмы» и принял католичество. Этого ему показалось недостаточно, и по дороге домой он сделался уже кальвинистом, а вернувшись, отдал новым единоверцам ка-

толический костел в Берестечке. Он же поселил здесь и ариан, а под конец жизни, около 1600 года, по некоторым сведениям и сам перешел в стан врагов Троицы. В XVII веке в Берестечке были уже антитринитарианская община и школа; около 1644 года здесь проживал и сектантский интендант Волыни Андрей Вишоватый.

Но сделалось оно тогда в истории знаменито отнюдь не этим,— а произошедшим подле него трагически-славным побоищем народной войны, зачинщика которой простолюдины называли запросто:

ХМЕЛЬ,

полное же имя было гетман Зиновий Богдан Хмельницкий.

После поражения поляков на Желтых Водах, а особенно под Корсунью, восстание казаков и поселян охватило разом Украину, Волынь, Подолье, Червонную Русь и Белоруссию. Государственное здание «королевской республики» потряслось до основания, и вся польская, а с нею ополяченная униатская и социнианская шляхта бежала в пределы коренной Польши и Литвы. Бежала она не зря — война шла за отечество, свободу и веру; переметчивость шляхетского сословия привела к тому, что защитниками коренной народности в русских областях Речи Посполитой остались лишь «поп да хлоп» — и их победа ничего доброго предателям веры отцов не сулила.

Вместе со своими противниками-католиками в пламени казацкого гнева гибли и неприязненные для православных антитринитарии, ибо, как образно выразился Хмельницкий, «при сухих дровах горят и сырые». Особенно много социниан погибло при взятии казаками в сентябре 1648 года Староконстантинова, где укрывалась бежавшая с Украины шляхта. Даже в исконно польских Люблинской и Сандомирской областях восставшие чинили разгром общин «польских братьев»; сам Вишоватый вынужден был удалиться к границам Пруссии. Ходил слух, говорит его жизнеописатель, что народ с особенной жестокостью расправлялся с антитринитариями, видя в них «ариан, образоборцев и нехристей».

Наконец война достигла самой Вислы в Польше и Случи в Литве. По взятии Збаража Хмельницкий вступил в Галицию и осадил Львов. Главным защитником города оказался давний приятель Вишоватого и Немирича Христофор Арцишевский, который некогда приглашал их ехать в Новый Свет. Он дей-

ствительно побывал в Южной Америке, где завоевал даже Рио-де-Жанейро, и возвратился со славою совершенных подвигов, благодаря которой его, открытого арианина, держали на коронной службе как отличного артиллериста. Он и на родине отчаянно ввязался в борьбу, однако навряд ли бы смог устоять, если бы гетман Богдан — ради находившихся во Львове «благочестивых», как он сам сказал,— не удовольствовался большим откупом. Затем казацкое войско двинулось к Замостью, чем освобожденные из осады социниане воспользовались для того, чтобы бежать еще далее прочь. Вишоватый в это время обосновался близ Гданьска у родича Христофора — Яна Арцишевского.

И вот в 1651 году главные силы сторон сошлись на границе Галиции и Волыни, у верховья реки Стырь близ арианского местечка Берестечка. Польское «посполитое рушенье» — всенародное ополчение — прибыло сюда первым. Дожидаясь противника, в шатре короля Яна Казимира вели о нем различные речи, строили предположения и козни. Среди всех сохранившихся подлинных свидетельств об этих беседах для нас сейчас могут сослужить полезную службу два, хотя и в несколько необычном качестве — как

ПРОСЕЛОЧНЫЕ ДОРОГИ ИСТОРИИ,

по которым не прошел ее главный путь; но ведь и отрицательный опыт заслуживает самого пристального внимания.

Личная война Хмельницкого с Польшей, превратившаяся затем волею судеб в народную, началась по довольно-таки житейскому для тех времен поводу. Наследственный хутор Богдана в его отсутствие разорил сосед Чаплинский, силой сведший с собою женщину — имени которой мы не знаем,— заменившую будущему гетману супругу по смерти первой жены Анны Сомковны. После того, как шляхтич обвенчался с нею по католическому обряду, даже польский король, к помощи которого прибег Хмельницкий в своем оскорблении, смог дать ему один совет: у тебя есть оружие — вот им и добейся правды!

Тот лукавому подущению внял — и отбил не только подругу, но и свободу и веру своему народу. А покуда многие годы продолжалась нелегкая война, начавшаяся наподобие Троянской, семейная трагедия Зиновия-Богдана восприяла совсем не античный конец. Некто часовщик из Львова, имени-отече-

ства коего мы опять-таки лишены (правда, на полях одной старой книги мне попалась против упоминания о нем отметка «Кройз» — но подтверждения ей пока не находится), — вошел постепенно в такое доверие к часто отсутствовавшему из дому гетману, что тот наконец сделал его своим управляющим. Незадолго до битвы под Берестечком в казне казацкого войска открылось отсутствие одного бочонка с золотом, зарытого в укромном месте для будущих расчетов с союзниками. Хмельницкий послал расследовать пропажу сына своего от Анны Сомковны Тимоша; тот дознался до причастности к краже часовщика, а часовщик на пытке не только признал за собой воровство, но заодно показал и... о своем сожительстве с подругою гетмана. Тогда разъяренный Тимош повесил их вдвоем голых на воротах «в том положении, в котором они грешили», как пишет обстоятельный дворянин Святослав Освенцим в своем дневнике и затем добавляет: «Все сие рассказал нам за ужином сам король, весьма потешаясь этим происшествием». Богдан узнал о нем 10 мая 1651 года и, по отзывам враждебных польских хронистов, от горя предался тому самому горькому хмелю, что дал некогда его предкам родовое прозвание...

Та́к начатая за собственное счастье война, еще не окончившись, привела к гибели его от единокровной руки; затем погибли и сыновья — казнивший мачеху Тимош при жизни отца в Молдавии, а младший Юрий, не удержавший по смерти его гетманскую булаву, передался на польскую сторону, затем в руки турок, которые наконец и задушили его, бросив труп в реку Смотрич, текущую вокруг крепости-города Каменца-Подольского. Вместо счастья добыта с бою оказалась воля и слава, ибо воистину неложно говорит пословица, что человек предполагает, располагает же не он, а Он.

У польского короля Яна Казимира, царствование которого ждала впереди иная печать — бесславия, случилась в шатре в эту пору и еще одна занимательная потеха. Как записал в путевом журнале шведский агент Иоганн Майер со слов бывшего в Берестецком лагере брата начальника польской артиллерии Пшиемского, всего за семнадцать дней до битвы явились пред высочайшие очи представители арендаторов, корчмарей, перекупщиков и прочих того же разбора людей, да всем кагалом и «обратились к королю, прося, чтобы когда он поймает Хмеля живого, то позволил бы выдать его им. На вопрос: что же они хотят с ним сделать, ответили, что они освежуют подольского вола и зашьют Хмеля голого, как мать родила, в ту воловью шкуру, так, чтобы наружу высовывалась

одна только голова. Будут его содержать в теплом месте, кормить вкусной пищей и поить напитками, а в свежей воловьей шкуре заведутся хробаки (черви) и станут питаться его испражнениями. Начнут заживо поедать его тело, а чтобы он от вони и боли не умер быстро, то жизнь его будут поддерживать подольше наилучшими лекарствами, блюдами и питьем, покуда черви не проедят насквозь до самого сердца. А уж тогда сожгут его перед казаками на костре и пепел дадут выпить пленным в горилке». Веселый король, как сообщает агент, опять-таки над этим очень смеялся, удивляясь подобной мстительности...

Впрочем, справедливости ради следует сказать, что доведенные до отчаяния казаки тоже уличенного врага казнили жестоко — так, для примера, повествует следующий

ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ,

в котором речь идет о том, как в охваченном восстанием городке украинские женщины врываются в «кляштор» — католическую обитель:

«— А ну, святые кнуры́ (хряки), вылазьте-ка из норы! — кричали жёнки.— Мы на вас при солнце подивимся.

Но двери оставались закрыты.

— Открывайте! а не то сейчас до святого духа живьем отправим! — и стали кидать в окна зажженные пучки соломы и сена.

Дверь наконец отворилась, и из здания, озираясь по сторонам, сторожко начали выходить поодиночке ксендзы и чернецы.

— Сюда, бабоньки! вот они! — кричали женки.— Идите сюда! Акулька!.. Параска!.. Горпина!.. Узнавайте своих святых.

— Вот этот вот! — вскликнула худая молодичка с пылающими как в горячке глазами.— Не добром же он мне запомнился!

— Этот? — переспросила дородная тетка.

— Точно он!..

Наружу показался молодой ксендз, высокий, но уже изрядно дебелый. Он вышел, понурившись и опустив долу очи. Не успели казаки оглянуться, а уж их женки обступили

ксендза со всех сторон, вмиг ободрали как липку, раздев донага, и завязали ему руки-ноги, чтобы особенно не ерепенился.

— Иди-ка сюда, Акулька! Пусть он тебе поцелует ту цацку, которой тогда силой добился, слизень! иди, иди!..

— Господь с вами, теточки! что вы меня на этакий срам зовете! Пускай сучку лижет!

— Вот это правда, так правда! Подавайте его сюда! Ну, чего зажурился и на людей не глядишь?! Выбирай любовниц!.. Подымай давай свою пику! — и били его в бритый подбородок так, что клацали челюсти.

— Мы тебе сейчас дадим отведать, каково наших девиц портить! Вот!.. Тащите его к молодому ясеню.

И повлекли всей толпою, подталкивая с боков.

Пилой подрезали на два локтя пенек, расщепили его секирой и сбоку заколотили клин.

От страху ксендз побелел, как туман, и глаза его заволокло настоящею пеленой. Его схватили за туловище, подняли и усадили на пенек, выбивши разом клин. Нечеловеческий вопль перекрыл весь людской гомон.

— Ну, теперь у тебя пройдет охота чертям служить! — потешались женки, глядя, как он корчится, егозя на пеньке.

— Поддержите его, девоньки! А то еще упадет, да и оторвётся — чем ему тогда к нам тулиться?! — поддразнивали другие.

А в соседнем месте та самая дородная тетка хозяйничала подле привязанного к столбу чернеца.

— Покрепче, потуже вяжите его, голубч[illegible]а, да за плечи, а не за пояс — там-то как раз не нужно. Ось так! А теперь вот! — приговаривала она.— Да где же мазница?

Схвативши палку, она тряпкою обмазала грешное тело дегтем и подпалила, так что тот зверем заверещал на весь двор.

— Ничего, ничего, родимый. Поджаришься — вкусней будешь!

Некоторых же просто, не теряя время на выдумки, били до смерти чем ни попадя,— во всей округе кипела людская ненависть и праздновала пир мести...»

Впрочем, точнее сказал об этом тот же историк прошлого века Николай Костомаров; отец его был великороссом, а мать украинкой — так что зрение получалось в этом отношении вполне объемным. «Южнорусс,— заметил он проницательно,— не мстителен, но злопамятен ради осторожности».

...Страшная сеча у Берестечка оказалась необыкновенно длинна: начавшись со среды Петровок — Петровского летнего поста — 18 червня (июня) по старому юлианскому календарю, она продлилась целых двенадцать дней и окончилась в самое разговенье июня 29-го. Разные историки на несхожие лады оценивают численное соотношение сил, в среднем называя количество польского войска в полторы сотни тысяч, а казаков и их долголетних союзников-предателей крымских татар в полторы или две. Так что налицо было примерное равенство, и вновь не число решало судьбу сражения.

Но здесь вместо прежних письменных свидетельств очевидцев лучше всего взглянуть на события в их поворотный час оком художественной словесности, которая, уважая каждую подлинную подробность, все-таки способна дать наиболее многомерное изображение. Вот как рассказал бы о Берестечке писатель доброй старой исторической школы:

ПОД ПЛЯШЕВОЮ.

Ген-ген! насколько видно глазу, раскинулись табором вереницы нагруженных возов, но в них еще вливаются все новые и новые. Ревут и рыкают волы, хищно ржут кони, покушаясь ринуться в битву, гукают и бранятся возницы. Мужчины седые и средовеки собираются кучками на подводах и под телегами, гомонят, звучно перекликаясь, и курят трубки. А кое-кто, не тратя даром времени, крепко заснул.

...Вот, раскинув ноги в лаптях, почивает кряжистый человечина с одной левой рукою; не мешают ему ни докучливые мухи, ни нестихающий людской говор. Кто-то, шедши мимо, зацепился за него и смачно выругался: «А ну, подбери уды!» — он и не моргнул. Рядом молодой погонщик, совсем безусый, одетый по-казачьи, в высокой шапке, накрывающей волосы, которые упорно пытаются из-под нее высунуться наружу. Брови тоненькие и длинные, словно девичьи; длинные пушистые ресницы окаймляют темно-серые озерки очей. А подымется — стан гнется легко, как лоза. Он не встревает в чужие разговоры, но ежели кто в него назойливо вперивается — смущенно отводит взгляд; зато подолгу дивится на небо, иссиня-голубое и манящее своей бездонностью, так что заходится сердце, а по воздушному полю резвятся тучки, клокастые и проворные...

Покой нарушил внезапный лязг оружия: вблизи табора,

встречаемые с великим почетом казаками, проехали двое полковников. Погонщики, даже те, которые спали, вскочили посмотреть на них; кое-кому оказался слышен и разговор.

— Многовато мы под Зборовом потеряли времени, поджидая того хана,— королевское войско уже проминуло болотистые места. Вот где было б ударить! — сказал один.

— Это дело Хмеля,— уклончиво ответил другой.

— Хмель Хмелем, а войско и дела-то наши!

Кряжистый человечина, спавший под возом, тотчас подхватился и удивленно уставился на тех, кто глядел вслед проехавшим.

— Настя! Настя! — кликнул он того молодого погонщика.— Чего ж ты меня не разбудила, когда они тут ехали?

— Кто? те полковники или другой кто?

— Горюшко ты мое! да еще ж и полковники! — закручинился мужик.— Про что хоть они гуторили?

— Да не кричи! Хорошо сделала, что не разбудила,— отозвался с соседней подводы возница.— А то, глядя на твои грязные онучи, еще бы полковничьи кони понесли. Вымыл бы их хоть вон в луже!

— Добре, добре! А ось, сдается, и дружок твой поспешает, Настенка...

Та глянула и вспыхнула вся, как заря. Выкроив немного времени, заскочил в обоз из полка повидать ее Левко.

— Настя,— сказал,— скоро поход будет.

Она, растревоженная подслушанной беседой полковников, начала ему пересказывать их слова. Левко в шутку обозвал ее за это полковничихой, но мира на душе от тех вестей не было: он и сам ведал, что излиха долго ожидали крымского хана, а казаки злились, что татары не поспешают, да к тому же отдельные загоны их по дороге набегом грабили соседние села. Но Левко смолчал; а Настя, угадав его настроение, поспешила отвлечь от худых дум.

— Погоди, ты такого еще не видал! Возьми-ка! — она подала парубку лозину.— Держи стоймя!

Левко повиновался, а Настя, стянув с воза саблю, вдруг рубанула ею сплеча. Лозина на мгновение зависла в воздухе и, перебитая пополам, упала наземь.

— Вот так-так! — выдохнул Левко.— Да ты, что ли, надумала в казаки подаваться, чи шо?!

— Ну! Не блеять же овцой, когда волк резать придет.

Левко пристально осмотрел ополовиненную лозу, тронул кончиком пальца лезвие сабли и довольно присвистнул.

Тут на них наконец набрел Левков побратим Микита; ему

тоже предъявили скошенный чисто прут, но он, подначивая дивчину, выказал недоверие:

— Э, Настена, это ж ты его о грядку на телеге переломала. Признайся!

За нее вступился невосприимчивый к шуткам сосед:

— Да це не диво. Она уже сколько дней эти штуки выкидывает.

— Бог дай здоровья! — похвалил довольный Микита уже взаправду.

— Собирайся тогда в поход, Настя. Чтобы и воз, и кони — все было добром: идти будем ходко. А покуда сама отдохни,— сказал опять озаботившийся Левко.

«Пить пидем, пить пидем»,— закуковала где-то перепелка.

— Вот, гляди-ка, еще веселье накликает,— улыбнулся Левко.

— Точно приглашает,— отозвался Микита.— Говорят, недалеко Ярема Вишневецкий околачивается, выкормыш гадючий. Вот отловим — и будет потеха. Пойдем, что ли.

— Бывай здорова, Настена. В пути еще свидимся...

Казаки пошли прочь, а Настя все слушала, дивясь, перепелиную песню; потом, оглядев еще раз поле, возвратилась к ближнему своему спутнику, обронив в недоумении:

— И когда это люди здешние все поспевают — и в поле управиться, и с домом, и с острой саблей?

— А куда же деваться,— спокойно ответил сосед,— когда захочешь на волю выбраться? Волюшка-воля, только задарма тебя добывать! Вишь, десницу-то отсекли напрочь под Пилявой, а то разве б ходил я в извозчиках — ан все же не на печке сиднем сидеть...

«Пить пидем! Пить пидем!» — весело кликала перепелка. Настя принялась за поверку своего воза: покрутила колеса, посмотрела, крепок ли шкворень, исправны ли оси, подмазала их, и тут услыхала, как на третьей от них подводе, смеясь, рассказывали про что-то, как будто бы до нее касавшееся. Она, не оставляя дела, прислушалась. Гулкий как ерихонская труба голос смачно выводил:

— Сама-то женка была и ладная, и удалая, и ухватистая, а вот мужичок-то любил «того»... И как-то раз, ворочаясь в подпитии с праздника, понесла его нелегкая через мосточек, а тот был дуже узенький, чуть разве пошире кладки. Казак оплошал — да и в воду бултых! а речка-то хоть и неглубока, зато уж илиста. Ну, обыкновенно, как все наши речушки сельские — только ракам плодиться. И покуда он из нее выка-

рабкивался, то сделался прямо на чорта похож — домой прибрел красавец хоть куда. Жинка как поглядела, аж испугалась, а потом, не разобрав дела, как накинется: «Где ж это тебя бесы таскали?!» — «Да с мосточка в воду упал, чуть не потонул».— «А лучше б уж потонул,— в сердцах вылаялась она.— И откуда ты на мою голову взялся!» — «Точно, Парасю! Уже и тонул, да вспомнил, что с тобою не попрощался — вот и пришел...» — Ажно и жинка расхохоталась!

Мужики тоже издали дружный гогот — метко пущенное словцо все покрывает, даже обиду.

— А наша-то красавица писаная,— кивнул балагур в Настину сторону,— так ей-Богу, дай только волю, и скалкою б воевала!

Последние слова покрыл опять общий хохот, да и Настя сама, спрятавшись за возом, прыскала от смеха в ладони.

Потом другой голос пожиже ввернул: «Любопытно б узнать, женат той казак на дивчине или так себе, самоходом...»

— А тебе не одно и то же ли?

— Да я просто так...

— То-то ж!

Еще подальше послышалась песня под бандуру:

Ой бачь, ляше, як козак пляше
На вороним коню за тобою.
Ты, ляше, злякнешь и з коня спаднешь...
Ой бачь, ляше, та й по Случ наше!
По костяную могилу...

Тут музыка сразу оборвалась.

— А ну, хлопцы, подымайтесь, живо! Поход объявлен, поход! — покатились взамен нее по-над станом крики.

Отряды охраны занимали места при обозах. Повсюду заскрипели повозки, заржали кони, поднялся в небо дым. Тронулся и тот табор, в котором была Настя. Стороной проехал невеликий загон татар, сидевших верхом как-то по-обезьяньи, с высоко подтянутыми стременами. Они оглядели возы и возчиков, остановившись глазами на Насте — приглянулся басурманам молодой «казак»; дивчина отвернулась.

— Не таращь, не таращь так, а то повылазят,— бросил ее сосед и плюнул им вслед.— Не терплю я этих изменников-злодияк!

— Да то ж тугайбеевские,— заметил кто-то.— Приятели Хмеля.

— А все одно злодейское кодло.

Двигались поспешая и уже за первый день путь прошли

немалый. В одном месте взъехали на высокий пригорок, с которого стало видно далеко вокруг. Настя взглянула и с восторгом испуга охнула:

— Дядька Степан! А дядька Степан! Подивитесь-ка, сколько войска идет!

И спереди, и сзади целыми тучами шли конные, пешие и обозы, так что поле казалось покрытым сущею тьмою.

— Что ж, опять поднялась Украина,— молвил сосед.— А чего это ты, дивчина, все меня дядькою кличешь? Мне еще и тридцати нету, это я только давно не бритый!..

Иногда ветер гнал дымку вдоль идущего войска, и она вставала над ним густою темной завесой.

К одному из передних возов подъехал казак с перевязанной головой и стал что-то запальчиво говорить. Настин сосед спрыгнул наземь и побежал слушать. Через минуту он воротился и сказал, что таки прискакивали харцизы Яремы Вишневецкого, но напоролись на дружный отпор брацлавской конницы.

— А знаешь, Настя, три года назад был я в отряде Перебийноса, и мы с тем Яремою встретились под Константиновым, да так накрыли гада, что едва-едва утек. Что тут поделаешь! Конь был под ним как ветер... Но и он тогда наших залучил в ловушку — так и погиб в ней побратим Перебийносов, Полуян. Ох, да и беда с этой отрубленною рукою.

Настя кивнула головой и спросила:

— А как опять налетят ляхи, чем же вы будете обороняться?

— Ну уж не кнутовищем,— сказал Степан и, нагнувшись с воза, выдернул вдруг люшню — упорку телеги, прикрепленную к ее оси.

— Смотри!

Нижний конец был значительно тоньше, чем обычно, и крепко окован железом. Сосед левой рукой вскинул свое оружие над головой:

— Вон я как научился; а саблюкой уже не могу!

Он опять замолчал, вставил люшню на место и пошел рядом с Настей, придерживаясь за грядку воза.

— ...Вот уже и рожь поспевает — побелела, как лунь. И сено косят — вон по-над речкой сенные угодья, и косцов даже видно. Глянь-ка! а еще подальше идет чья-то конница! Не пойму толком — пыль глаза застит... Вот бы ветерок... Ну! Эвона, да это татары! Страх сколько их, как саранчи. Эх, кабы не были они такие перемётливые, собаки! Говорят, и под Желтыми Водами всё назади ошивались, а потом выскочи-

ли на готовенькое; под Пилявою тоже нашкодили,— а уж что было под Зборовом и вспомнить тошно: да только Бог один знае, що Хмельницкий думае-гадае...

Настя прислушивалась, тоже пытаясь что-то разглядеть у самого небозёма.

— А вот наша конница обходит татарскую,— пояснил Степан,— и чуть ли не сам гетман на челе!

Девушка обиженно воскликнула:

— Да где ж вы все это видите?! — хотела еще прибавить «дядя Степан», но вовремя вспомнила его замечанье.— Я сколько нарочно ни щурюсь, ничего не заметно, только черное что-то движется.

— Эх, молодица,— спокойно разъяснил сосед.— Да вот же они как на ладони! Так-таки гетман, и бунчук гетманский.

— Ну, Степан, у вас глаз, что ли, ястребиный?

— Что правда, то правда — в нашем селе никто так зорок не был.

— Это и хорошо,— согласилась Настя,— когда понадобится!..

— Ничего, я и тебе Левка того за три версты угляжу.

... Когда проезжали селом, навстречу выбежали крестьяне: дети, женки, старики, вынесли молоко, сметану и хлеб, кидали цветы, угощали черешней. Девчата были наряжены хоть куда — пышные спидницы, обшитые понизу в два-три, а то и больше рядов широкими лентами — красными, зелеными, синими или золотым позументом. Обоз приостановился, и Степан спросил у какого-то дедуся:

— Диду, а куда ваши мужики задевались? всё женки да женки...

— Знамо куда! Которые здоровые, те в войско подались, а кому и ляхи век укоротили, как стояли тут после Зборовского перемирия — с той поры немало домов заколочены. Да здесь еще ничего, а вон в Луцком повете есть целые села порожние — люди все покидали и подались на Московщину. У нас-то ляхи боялись нечаевцев, что были с той стороны Горыня и вмиг прилетали, если какое-то село пожалуется. Мир — он миром, а сила-то силою: кто одолел, тот и панует...

Дед замолк и, опершись на грушевую клюку, кручинно поник головою.

— Бог вам в помощь,— наконец вымолвил он.— А скажите-ка за верное — где тот полковник Нечай: неужто и вправду положил голову?

— Правда, дидусю. Порубили его ляхи в Красном на мас-

леницу, одна только голова и осталась — загинул казак.

...Рядом с Настиным возом собралась ватажка молодиц, разглядывавших хорошенького «юнака». Одна, осмелев, заметила:

— Посмотрите, девчата, хлопец такой гарный, а что-то не манит к себе — да и глядит как-то стыдливо...

— А может, это девица? — отозвалась другая.— Давайте-ка мы общупаем!

— Да вы, чай, сдурели: а никак, все-таки парубок?!

Тут вдруг раздалось тревожное: «Тикайте, татары!» — и только юбки захлопали: обозные не успели оглянуться, а молодиц будто водою смыло.

— В самом деле татары,— подал голос Степан,— и какой чорт их принес! Сколько страху нагоняют, злодияки паршивые — девчатки шугнулись, словно перепеленята от коршуна.

По улице мелкою рысью ехал татарский загон. Подводчики тоже насторожились, но сразу следом за басурманами шла казачья сотня, которую вел молодой полковник. Едва лишь татары с казаками миновали Настин воз, как от всего их гурта отделился Микита и приостановился около перекинуться парою слов.

— Это наш новый полковник Богун. А Левко с куренем послали разведать дорогу,— бросил он второпях и заспешил далее, но Настя еще его подзадержала.

— Погоди, погоди, Микита! А это что за полста конников с вами, в синих чумарках, да всё с пиками — русые чубы?

— Ты бы поменьше заглядывалась на чубчики, а то тебе Левко самой волосья дыбом поставит,— грубовато отшутился он.— То донские казаки, с Дона — слыхала про такую речку у москалей? Пришли с атаманом Разей. А послы их как раз с нашим полковником гетмана догоняют. Да бывай здорова, я и так тут с тобой замешкался!

Микита припустил коня во весь опор — только пыль поднялась.

Чем дальше продвигались возы, тем раздольней по сторонам дороги разворачивалась косовица, несколько запоздновшаяся в этот год из-за дождей; зато трава уродилась щедро и стояла прямо стеною. Вот невдалеке на сеножати полным-полно женок, девчат, парубков — косят, копнят: хороши покосы, аж завидно.

Обоз остановился.

— А ну, мужики, подмогнем! — крикнули сзади.

Все, кто способен был работать, повыскакивали на поле,

косы из женских ладоней перешли в мужские руки — и только звон пошел по равнине. Расходились плечи, соскучившиеся по привычной работе. И сколько ни видел глаз — все оживленно задвигалось, даже солнце жарило сильней, словно приговаривая: «Так, так, хлопцы!» — и выгоняло из них седьмой пот. А благоухание скошенной травы разлилось от земли до самого неба.

Долго стоял на месте обоз, долго косили мужики без роздыха, без истомы, только иногда тонко взвизгивало точило. Но тут внезапно разнеслось грозное: «Паня-яй, паняяй!» — и все, побросавши косы где стояли, бросились к подводам, потому что казаки охраны уже бранились на чем свет стоит. Женки и девчата, каждая с охапкою сена, догоняли их и кидали его прямо в возы: «Берите, казаки, кормите животину — сено ж как мята!»

Чья-то тороватая рука чуть не полкопны зашвырнула на Настин воз, так что она едва выбарахталась наружу и еще долго над этим по дороге посмеивалась.

— Скоро Иван-Купала,— вздохнула потом и потупилась.

— А который сегодня-то день? — окрикнула вдруг соседа, уже никак его не величая.

— Кто ж его ведает,— отозвался тот,— в эдакой кутерьме не только что дни, а и имя родное посеешь! Как окончим поход — тут и сообразим.

Настя стала вспоминать последнюю Купальскую ночь у себя на селе. До чего ж любо — и зори полыхают, и огни горят, и очи дивочи — как те зори с огнями. Бегут Настя с Теклею в паре, прыгают через костер — дружно мониста побрякивают. А песни — даже лес отдается эхом! Позабывшись, Настенка начала напевать вслух:

Ой, на дорози спориш порис —
Чому же ты, Левку, бильший не рис?
— Ой, не рис, не рис и не буду —
Кохаю Настю, не забуду...

— Чудно: где-то девчата заспевали? — подзадоривая ее, прикинулся обманутым шедший рядом с подводой Степан, но Настя не откликнулась на шутку.

...На третий день еще с полудня дали долгий роздых скоту. Возчики кучками расположились в тени подвод, засмолили трубки, стали болтать и смеяться, вспоминая дорожную косовицу. Степан пригорюнился — он бы тоже не прочь ударить косою, ан чем ее взять?

— Вон и наши хлопцы,— вглядевшись под горизонт от досады, вдруг заметил он Насте.

И действительно: через какое-то время подъехал Левко с Микитою, который всполошенно пересказывал что-то:

— ...да ей-же-ей, видел в упор, только он как заметил — вмиг отворотился и растворился в толкучке середи полка Крысы.

— Неужто-таки реестровый?

— Да как вот тебя сейчас вижу! Не то зачем ему и прятаться-то? Заховал, гадюка, от людей панские гроши — правду говорили. А теперь опять в войско втерся. Ну и змеюка он, прихвостень ляшский!

Настя переспросила, чтó это его так задело.

— Видел он как будто,— ответствовал Левко,— нашего бывшего куренного атамана Даниленка, который после повстания скрал все те деньги, что люди в замке захватили, да и пропал с ними вместе.

— Занятно! А недурно бы изловить его, злодияку!

Все трое ненадолго замолкли — было слышно лишь, как в придорожном бурьяне безостановочно стрекочут кузнечики.

— Давай-ка сходим, Микита, к полковнику! А вы почивайте, люди добрые, да поберегите себя, потому что час уже близок — все чаще и чаще попадаются конные ляхи. Поутру донцы налетели врасплох на загон коронной конницы, да и распотрошили в пух.

...Не сразу казакам удалось отыскать шатер Богуна, который отличался от прочих лишь тем, что стоял на пригорке посередине других. Полковник стоял подле него, одетый как обычный казак, разве только сабля поблескивала дорогою отделкой да краснели сафьяновые сапожки с серебряными подковами и длинными шпорами на шляхетский пошиб. На его загорелом продолговатом лице заметно выделялись иссиня-черные, висевшие книзу густые усы. Безо всякого колебания раздавались наказы сотенным атаманам, вслед за чем их сотни гурьбою выезжали в ночную мглу. Остальные казаки располагались на отдых; только последние удальцы, не найдя угомону, упражнялись в рубке саблей подкинутой влёт кошмы.

— Да знаю я,— спорил с ними курчавый казак из москалей,— что вы мастаки бить десницей; а вот ты попытай-ка, что с левой выйдет!

Но и от удара мощною шуйцей кошма разлетелась надвое. Под общий хохот хозяин ее, виновато ухмыляясь, почесывал затылок.

Левко с Микитою подошли прямо к Богуну, который наблюдал за правильностию исполнения приказов.

— Пане полковнику,— обратился к нему Микита,— я казак вашего полку, Полторак Микита, имею важную справу.

— Говори.

— Нынешним вечером близ расположения Белоцерковского полка я натолкнулся на бывшего атамана реестровых казаков Петра Даниленка, про которого ходит неложная молва, что он, перевозя панскую казну, прихватил деньги себе.

— Знаю. Говорил уже мне седой казак по прозвищу Спека,— при звуке этого близко знакомого имени парубки молча переглянулись.— Но есаулы, перебрав белоцерковцев, не нашли такого по имени. Может, переменил он его или еще как-то сховался. Будем искать — отдыхайте с миром. Трубач, отбой! Да разослать вестовых, чтобы все точно спать легли...

Левко и Микита отошли от шатра и решили отправиться на поиски земляка Спеки. Кое-где виднелись лишь огоньки люлек да теплились незагашенные костры, а по краю табора ездили по двое конные дозоры. Где-то послышалась, отличная от общей, московская речь — там, должно быть, расположились донцы. Разговор их делался все громче и громче:

— Нельзя, бабуля, здесь войско стоит!

— Да я знаю, что войско,— а все ж своему Миколе пирожочков принесла, тут наше село совсем рядом.

— Не годится, старая, рядом чи не рядом: теперь все Николы равны, так что можешь и нам оставить.

— А вы-то кто будете?

— Да мы, бабка, с Дону пришли.

— Ну и наши тоже ведь с дому,— подтвердила тугая на ухо старушка.— Все-все из дому поутекали.

Донской дозор и просительница, не сумев столковаться, ненадолго примолкли.

— Ин ладно, хлопцы,— опять принялась за свое бабуся,— нате уж вам пирожки, а там передайте Миколе нашему или сами съешьте на доброе здравьице — это как знаете. Бери, сынку, вместе с платком бери, да бей крепче иноверца. У вас-то небось нету таких супостатов...

— Помогай Бог, старая, нашими молитвами и Николиными. Мы уж им подсыпем на славу — было б куда укласть. Да и у нас в дому вражин своих в достатке, только каждому свой час и срок!

Разговор угас. Стерегут табор и конные, и пешие, не дремлют. Издалека послышалась песня «Эй, душа, добрый конь...»

Потом оттуда стал приближаться верховой и вдруг разом остановился. А чуть позже пронеслось решительное: «Первая сотня, по ко-оням!» И через пару мгновений непроглядная темень поглотила тяжкий топот сотен копыт — это побратимы-донцы понеслись, разбуженные тревогой. Неспокойна июньская ночь!

Левко да Микита проминули уже стоянку своих, где стреноженные кони шумно жевали сено и влажно блестящими в багровых сполохах глазами чутко высматривали хозяев, фыркая и бия ногами о землю. На поднебесном раздолье, накрывшись кто свиткою, а кто чистым воздухом, разметались пешие казаки и загоны крестьян. Только в одном месте еще не почивают, и горсточка людей, встревоженная или расторможенная, прислушивается к чьей-то речи. Посреди народа высится боком к огню сивоусый старик в черной чумарке, еще куда как крепкий для своих немалых лет; он стоит, опираясь на саблю, как на костыль. Что-то знакомое почуялось в могучей стати, нечто сурово-непреклонное в обличье и широких плечах, хотя и согбенных житейскими невзгодами. Пламя бросило отсвет в лицо, и на виске ясно обозначился длинный шрам.

— Да вот он, дед Спека-то! — вскричал Левко.— Гляди, Микита, а с ним и еще наши!

Старик разом обернулся на голос и тотчас попал в объятия молодых казаков.

— Левко! Микита! вот так свидание! — гудел он.— Ты посмотри, Алексейка, то наши беглецы, что когда-то дважды пану петуха красного подпустили!

Он пустился тискать их, на что и они, кряхтя, старались отплатить тою ж монетой.

— Ну, подросли хлопцы, нечего молвить,— довольно заключил, отдышавшись немного, бывший их сельский атаман. Сын его Алексей и земляки-парубки даже пустились с ними целоваться. А старому все мало:

— Ого-го! — кричит.— Да в эдаком разе, хоть полковник и заказал накрепко, все одно выпить надобно! Матери его чтоб клюку на руку!

Тут он шасть куда-то вбок, а через мгновение, глядишь, появился с полною сулеёю под мышкой:

— Клюкнем, хлопцы, клюкнем, молодцы, чтоб и там дома у нас не тужили!

— Ты гляди,— говорили кругом,— ну и хитер бывалый человек: где он только ее прятал, да сам терпел и не пил?

— Не отхлебнул, ребята, ну ни капельки. А вон оно и

пригодилось, теперь с сынками нареченными разделю. Маттери его грошей кошелка, а выпью!

Он налил добрую чарку вскрай, так что кто-то сбоку аж крякнул: «Вот уж полна-широка — собака не перескочит!» — и пустил ее по кругу...

— Ан и довольно. Оно не мешало бы усугубить, да кабы еще полковник не пожаловал на угощение. Не годится по древнему казацкому закону пить на походе. Ну, расповедайте, как жили-поживали! Ох ты, Микита, и раздался, чисто медведь — посейчас кости скулят от таких лапищ. Попадет кто под горячую руку — и не почуешь, как дух пустишь на волю.

— А чего особенно говорить,— заскромничал Микита.— Как убежали тогда от панской челяди, так помаленечку до Запорожья и довлеклись. Вот разве что не позабыть молвить: мы ведь наскочили совсем ненароком на вашего побратима, Нестора Недолю.

— Братишка мой! Да каков он теперь, что поделывает? Господи Вседержитель, сколько лет не видались — как раз после Хотина! Вот уж не чаял радости еще раз услыхать.

— Глядится вполне ничего — крепкий, даже не так чтобы поседел. На его собственном хуторе и застали, да еще три дня он нас припрятывал. А больше уже не попадался — из-под Желтых Вод минули стороною. Ну, а что из дому слыхать?

— Эх, то долгая сказка, и не весьма счастливая — хоть кое о чем и вовсе бы позабыть. И ляхи после Пилявы, и татарва невдолге от Зборова — много лиха натворили. Но батьки ваши оба, благодаренье святой Троице, здоровешеньки — всё хозяйничают на покое.

А от степняков этих вместе отбились. Вот и тут мы целым своим загоном — и из Вербовцев наши, и лелюковцы с мытищинцами, и из иных соседних сел, всё гуртом веселее. Дома еще плечо друг другу подставили. Ну и наделали журбы те вражины! Подстерегли раз на рассвете — да и шасть в село, так что люди запереться толком не поспели. Кого где застиг изгон — там и прятались. Спасибо, из Лелюков на подмогу примчались, да тут и свои опамятовались и выставили-таки басурман за околицу,— но только спервоначалу они немало кого в полон увели. Где-то уж по дороге чужие казаки отбили да домой повернули, кто еще живой остался. Да только такая беда стряслась, Левко, что и сказать сразу тяжко — дивчину-то твою, Настёну Кучеренкову, степняки прямо из горницы подхватили — и поминай как звали. А уж краса-

то была на всю округу, и вон оно что с нею сталось — может, даже навел кто-то нарочно...

— Да не печальтесь, диду Панасе, не загибла она, тут с нами — можете посмотреть, жива-живехонька.

— Как так?!

— Да просто,— довольно ответствовал Левко.— Раз отправили нашу сотню спешно в Чигирин. И уже далеконько от войска, ажно на Киевщине, наехали мы на татарский отряд, который прятался тишком в лесу. Увидали они, что их приметили,— и тотчас выслали богатую встречу. Посудачили мы и поспешили далей, но сотник, бывалая голова, и говорит: «Чтой-то очень мне сдается, что та стая злодейская. Давайте-ка, хлопцы, проверим — чего они там в роще заховали? Хоть и есть от полковника наказ не встревать в стычки с союзником,— да ляд с ним на расстоянии. Только глядите в оба — чтобы ни один не ушел!»

В долине разбились мы на три загона: один побольше спрятался в придорожной балке, а два поменее стали заходить с боков оврагами да буераками. И разом наскочили! А там, в рощице, людей наших повязанных да добра — видимо-невидимо — матушки! Татары врассыпную, мы за ними и давай бить...

А один одвуконь, да кони такие славные, на втором спутанная ремнями дивчина. Он наутек, я за ним,— но не достаю, хоть плачь. А он нагоняет все жарче, да еще какой-то мешок кожаный сбросил — может, я около него попридержусь и отстану. Да чорта мне в том добре, а тут еще откуда ни возьмись наперерез басурману Микита, и конь под ним тоже гонористый — поприжал, вижу: догоняет, и уже стремя в стремя идут, ноздря в ноздрю. Тут татарин развернулся и ятаганом на пленницу замахивается, но клинок у него раз! — и зацепился за ветку. Микита хвать его за голову, да и стянул с коня, только шея хряснула!

— Вот, я же говорил,— одобрительно хмыкнул Спека,— что кому даст хорошенько, тот враз окочурится. Чтоб его матери денег мешок! А чего ж ты его саблей-то не полоснул?

— Да где там! Так близко съехались, что негде было и размахнуться.

— Тут уж и я подскочил,— продолжил Левко.— Смотрю, у дивчины руки перевязаны сыромятным ремнем и к седлу приторочены, а сама наполовину уже сознания лишилась, откинула голову. Путы мы ей тотчас перерезали, опустили на траву; гляжу — а то ж наша Настя! У меня и сабля из

рук вон. Пресвятая Троица! ну, как бы той Микита не подоспел? А он смеется и говорит: «Эй, на! забирай добро-то своё!» И Настя то хохочет, то плачет — совсем потерялась. Да от холодной воды маленько пришла в себя, и на том же коне ее обратно повезли к нам. А всех остальных сотник назад по селам разослал под охраной. Мешок же, который татарин подкинул, полнёхонек оказался серебряных да золотых — все на товарищество пошло. Хорошо, что я на него не позарился!

— Не то продал бы свою Настю вчистую,— прибавил Микита.— А татарин-то знает смак, выбрал вместо грошей красулю. Поди не глуп — такая дивчина впору и самому султану, на золотой вес!

Левко весь вздрогнул.

— Да ты не серчай! Это ж я так, для примерной стоимости.

— А куда вы ятаган его подевали? Небось ведь дамасской стали? — спросил внимательный Спека.

— Ятаган Микита мне тоже отдал,— признался Левко.

Кто-то сзади обронил: «Это за Настей в приданое».

Левко сперва нахмурился, но скоро сообразил, что это подшучивают беззлобно, по-свойски. Вынул из ножен ятаган, и лезвие аж засверкало.

— Нате, полюбуйтесь.

— Вот так-так, чистый дамасский клинок! Ну и сабля! Вельможный был басурман — такую вещицу носил,— ахал да нахваливал старый казак.

— Диду Панасе! Раз уж она вам так по сердцу пришлась, то дарю на память.

Спека на миг закаменел, а потом пришел в сущий восторг.

— Сыне мой, да такое мне только снилось! Тут и умирать не надо! Ну, чем мне тебя отдарить-то? Разве вот возьми-ка в обмен мою — тоже доброго каления, обух запросто перерубит,— сказал он благодарно.— Как раз под Хотином со мною была.

И от радости снова пустился обнимать своих хлопцев.

— Эх, вот бы нам на панов таких сабель, да твердых рук, да толковых голов!..

Потихоньку в таборе все погружалось в сон, и кучка людей, собравшаяся около земляков, стала таять — люди укладывались спать, полагая рядом с собою оружие: кто самодельное копье, кто секиру на длинном топорище, тот косу, прикрепленную к древку наподобие пики, а который и простую дубину.

Левко и Микита с тревогою впервые вгляделись в оружие крестьян. Старый Спека тотчас приметил их озабоченность:

— Не дивитесь, что не сумели получше добыть. Полная справа есть лишь у тех, кто в прошлых битвах с бою достал, а так — кто во что горазд...

— Почему ж так? В одном нашем селе кузнецов было вдосталь! — оскорбился за земляков Микита.

— Эге, хлопче, было да сплыло. Счету нет, сколько народу в боях полегло. Вон под Пиляву люди шли толпами, и не перечтешь — и крестьяне, и бондари, и плотники, и кузнецы — никто не остался дома, особенно из ремесленников. А которых паны заманили — да и поминай как звали, ни слуху ни духу от них не осталось. Помнишь Петра-коваля, которого еще однажды батогами выпороли, а как он отлежался, то силою забрали в замок,— так и не вернулся больше. А уж каков был мастер! Ежели что закалить надобно, на всю округу никого лучше не сыщешь. Так что где уж этого доброго оружия было набрать — спасибо еще топоры с косами нашлись...

— Секира — то справное дело,— отозвался сбоку один парубок.— Коли ее на хорошее древко приладить да сделать сподручной, так и наилучший панцирь немецкий с головой вместе рассечет, надо только толково вогнать, чтобы не соскользнула.

— А что на твой разум крепче: немецкая башка или панцирь?

— Смотря какой попадется немец... Мы до этого дела привычные. Вон из нашей волости есть такие ловкачи, что один положит руку на пенек, растопыривши пальцы, а другой из-за плеча между ними рубает — и хоть бы царапина. Добрые воины, что и говорить,— сыздетства ведь при секире.

— А до ложки, видать, еще больше охочи! — подзадорили сзади.

— И ложкою тоже ничего, была бы пошире.

— Да чего ж это вы еще пилу не прихватили, как надыбаете пузатого ляха?

— А мы его и топорами кучкой, как старую сосну,— отшутился хлопец.

— Откуда же вы такие лихие рубаки? — спытал старый Спека.

— Да из-под Острога. Там у нас одни пески, зато лесов тьма, так в лесу живем, лесом и кормимся. А теперь по гетманскому наказу вот и сюда тронулись целыми селами. Но, по правде сказать, под Зборовом двигались не в при-

мер проворней. А кого дома громада оставляла порядок стеречь, чуть не в драку лезли: «Не хочу,— говорят,— над бабами казаковать, они и сами управятся!» Да и действительно женки наши до всего горазды, хоть на коня сажай.

— Ну, это ты перегнул! Посади только — они враз свои запаски порастеряют.

— Тогда будет на что подивиться! Во все глаза!

— Ну, ты не особенно зарься: там же еще сорочки останутся!

...Из темноты на раздавшийся в круге смех выглянуло несколько чужих и подошли к костру:

— Чего это вы не спите да женкам кости перемываете?

Кто-то сбоку сдавленно шепнул: «Гляди — полковник!»

Старый Спека посмотрел и сразу поднялся:

— Это мы, пане полковнику, с земляками из своего села повстречались да и заговорились за полночь.

— Я вижу, и сулея с полведерца,— приметил Богун,— так что коня можно напоить.

— Коня-то вполне, а вот доброму казаку еще и мало,— бросил кто-то из сумрака, надеясь остаться незамеченным.

Богун, однако, лишь усмехнулся, а потом усмотрел Левка с Микитою и обратился к ним:

— Это ж вы, казаки, под вечер ко мне приходили, зрадника реестрового искали, да вместо горя на горилку набрели!

— Так мы на радостях. Целых три года не виделись!

— Ладно уж, коли так. А теперь сулею припрячьте, не рушьте войскового обычая, да и ложитесь почивать.

Богун двинулся прочь со свитою; а когда он отошел подальше, бывалый Спека сказал:

— Хороший полковник, храни его Бог! Самый лучший после Нечая. А тот так и сгинул ни за козлиную душу. Одну голову казаки и похоронили... Был ведь я в его полку под Пилявой. Просто гром атаман! Как ударит к бою — бежишь, будто из камня тесан, ничего не страшно. Эх, куда ж те мои силушки подевались!

Погрузился старый казак в думы о минувших делах, вереницею проносившихся перед душевными очами; а потом, спохватившись, что позабыл вовсе про хлопцев, молвил им:

— Треба-таки поспать, молодцы, пусть и хочется еще рассказать кое о чем, да на все и недели не станет. А все ж таки... Как воротились домой из-под Пилявы, сколько радости было! Хоть и многих не досчитались, да некогда словно и вспоминать — во всем селе одно веселье: и пьют, и

льют, и гуляют! Что в самый Велик-день! Уже горилке и дна не видать, никто ни о чем не хлопочет, разве чтобы животина с голоду не пала. Кажется, все будто только что на белый свет родились — днем и ночью песни да пляски, даже у тех, где были убитые-покалеченные. Девчата, ровно маковые головки, в обнимку бродят по селу трошечки в подпитии — да когда еще такой праздник будет; а парубки за ними вьются, как хмель,— прямые казаки! И вправду, каждый в поле был, всякий панам закалку давал. Женки и старые, и молодые, те уж пьяным-пьянесеньки, которые и очепки порастеряли — просто сором! Лекарку нашу, бабу Мотрю, три раза до дому отводили. А про мужиков и речь нейдет! И добра, правду молвить, принесли на дворы без счету. Да и про вас мы слыхали, что живы-здоровы, кто-то ту весть славную батькам вашим донес. А еще, под самый конец прибрели откуда-то двое чернецов с саблями, нарезавшиеся в дым, да такое пустились спевать отнюдь не божественное, что и женки закосевшие разбежались кто куды. Ох, и радости было, Господи! Где-то с неделю, а то и больше пировали, поверив, что и детям, и внукам добыли воли...

Кто-то из тех, кого еще не совсем сморил сон, горько охнул. Спека немного помолчал — и опять заговорил:

— Так протекло с полгода, и вдруг видим — тащится панова жинка, а с нею дюжины три жолнёров. Поселилася опять в замке, который остался цел, показавши гетманский универсал о том, чтобы отнюдь возвращенным панам не делали зла. Дружбу завела с самыми покладистыми, говорила — мужа-де дожидается, вот-вот приедет. Будто черный сон нагнал на нас тот универсал, а тут еще и кое-кто из своих потихонечку шепчет: «Да что, давай дадим пану упряжку волов и мерки четыре солоду — лишь бы не умер с голоду...» А я как посмотрю на тех жолнёров, вижу — тут солодом и не пахнет! Так оно и сбылось...

Ну, довольно-таки, хлопцы, идите спать — вон уже на востоке алая полоска себя кажет. Коротка июньская ночка — хорошо, некому сейчас жениться.

...Да, а еще через год дождались-таки Зборова и пустили там ворогу крови немало; но не успели отдохнуть — ан опять почитай что все шляхетство надвинулось: каждый лаком до чужого куса, и чтоб был пожирней. Ну, хватит наконец, ступайте, а то этим речам точно переводу не будет. Главное, держитесь, казаки, наша все равно возьмет!..

Левко и Микита пошли к себе, а откуда-то издалека, будто продолжая слова старого Спеки, слышалась песня:

Ой, бида, бида чайци небози,
Що вывела чаеняток при битой дорози...

Они добрели туда, где стояли их кони, которые, почуя хозяев, засуетились и тихонько заржали. Хлопцы подкинули им еще сена и в молчании сели подле; потом, как бы повинуясь единой мысли, разом вынули сабли, каждый с силою резанул тонко запевший под лезвием воздух и попробовал остроту наточки. Один из соседей буркнул спросонья:

— На кого это вы примериваетесь, а? — и тотчас вновь откинулся на бок.

Друзья еще посидели немного, потом склонились все так же сидючи и задремали. У Левка перед самым погружением в забытьё промелькнула думка, съели ли донцы пирожки, принесенные старухою, и он заснул с улыбкою на устах. Привиделась ему тогда в сонном видении Настя, укорявшая, что во весь вечер не зашел суженый ее навестить, напевая свою девичью заплачку:

Ой, пусти ж мене, полковничку, до дому —
Бо вже скучила, вже змучилась дивчина за мною.

...С восходом все вновь двинулись вперед; а ночью уже стояли на широченном, казалось, почти что бескрайнем поле. Позади него вплоть до деревни Пляшевой раскинулись болота и текла сообщившая поселению имя речка Пляшевка. Лунное серебро под утро потускнело, покрывшись патиной болотной мглы, а рассвет встретил такой густой пеленою туманов, что всё кругом словно снегом окутало и только вблизи можно было разглядеть смутные очертания людей да темные вереницы возов, соединенных в три ряда цепями и растянувшихся, опоясывая войсковой табор. Настя узнала от соседей, что четвертая его сторона упирается в топкие речные берега. Под плотной белесой завесою дымки поле двигалось и дышало, будто единое живое существо,— там слышался приглушенный гомон, тут резкое ржание и топот множества копыт, и за множеством выкриков, перебранкой и бряцанием оружия словно пряталось нечто невидимое, но ощутимо могучее и величественное. Насте порою делалось неизбывно жутко, и она тогда жалась к ближним подводчикам, уже соединившимся в боевой гурт.

Мгла заполонила собой всю окрестность, и только солнце, как далекий прозрачный кружок, слегка пробивалось через нее к людям; но чем выше оно подымалось по небосклону, тем сильнее просвечивало через дымчатую кисею. Вот пелена наконец разорвалась на воздухе, и дневное светило яр-

ко блеснуло в прогалине,— но тут же все опять затянуло мутной завесою, словно между двух природных сил происходила своя собственная молчаливая битва, предваряющая людское побоище.

Однако солнце, упрямо забиравшееся круче и круче в зенит, все-таки взяло верх; оно залило лучами пространство поля и победно огляделось вокруг — во всю широту окоема расположились тысячи людей, лошадей, возов, дюжины пушек, поверх отрядов реяли боевые знамена и сталь блестела полосами, как речная волна. Ряды подвод как бы обрезали край поля, а около них кучились возчики. Вот на одной из телег поблизости стоит на коленях мужик, и лицо его застыло — он пристально вперивается в расположение польского войска, в голос пересказывая стоящим внизу:

— Прямо против нас всё черные пятна — ляшские пушки, а чуть подалей стоит немецкая пехота, такая же темная и неподвижная, в железных шапках с высокими гребнями и стальных панцирях. За нею позолоченные брони и шлемы со страусиными перьями — то выстроенные полукругом королевские гусары, с диковинными крыльями за плечами и пиками на красных древках, а уж кони — масть в масть, дорогие седла да вышитые чепраки. Сбоку от немцев — уланы в сетчатых панцирях с длинными копьями; пехота краснеет, как маки, в разноцветных колетах. А там еще посполитое ополчение, пешее и конное, собранное по воеводствам и поветам, у каждого из которых свое особое убранство и цвет...

И все это, Настюша, наше пóтом добытое добро, с кровью оторванное,— недобро закончил Степан и выпрямился в полный рост.

— А уздечки-то шелковые,— завистливо добавил кто-то.

— Уж наверняка не Степановы из веревок! — отозвался другой.

Перед войском изумрудным ковром зеленели хлеба, вдали белелась рожь и торчали рассыпанные кое-где копенки сена. Насте подумалось, что вот и здесь тоже недавно звучала девичья песня, шумел мирный сенокос, куковала над своими перепеленятами хлопотливая мать-перепелка...

Она оглянулась назад: посередине табора ровными рядами помещалась казацкая пехота с мушкетами на плечах, сабли набоку, в черных коротких свитках, грозно молча, будто густая хмара перед бурею; за нею — крестьянские отряды в простых холщовых одежках, вооруженные кто чем горазд, угрю-

мые лица устремлены навстречу вражескому войску, поверх всех них полощутся на ветру малиновые прапоры. А там и казацкая конница на добрых степных конях; по левую руку от нее серая полоса — то татары.

Внезапно по полю понесся главный казацкий клич «Слава!», и с другого конца с великим почетом, верхом на драгоценном аргамаке выехал гетман в горностаевой мантии, опоясанный ярким поясом, с освященным мечом и гетманской булавою, осыпанной самоцветами. Он громовым голосом, отдававшимся по всему полю вплоть до польского стана, крикнул: «Казаки! настал час навсегда утвердить свободу веры и отечества!» А в то же время по рядам в сопровождении сосредоточенного духовенства проходил в торжественном облачении Коринфский митрополит Иоасаф, посланец вселенского Константинопольского патриарха, благословляя войско на бой за волю.

Одновременно у поляков заиграли боевые трубы и послышался гимн: «О, господзя увельбьона...»

Тут по левой руке вырвался боевой возглас «Алла! алла-а!» — там загрохотала земля, и тысячи татар в полотняных чекменях и бараньих шапках, выставив вперед клинки, кинулись в битву, а с ними пошли и сопровождающие казацкие полки...

Зеленый ковер хлебов под копытами конницы стремительно сокращался, словно сворачиваясь,— а позади открывалась уже совершенно другая, кромешно черная земля... Заволновался и вражий стан — навстречу лавами тронулась королевская конница. Вот они все ближе и ближе... Еще!.. еще!.. И наконец грянули одна о другую, будто две стальные стены...

Настя с соседями аж нагнулась в ту сторону. Из казацкого табора летел галопом на подмогу своим еще один полк, потому что татары на несколько гонов подались назад,— но подмога прижала поляков, и было видно, как уже в свой черед изготавливаются к бою ляшские уланы.

У Насти впереди других все вертелась в голове забота — где-то там наши парубки?..

Быстрее верхового вестника пролетел по полю и покатился далее слух, что в первых стычках убит личный друг гетмана Тугай-бей, а против татарского стана все плевали огнем без роздыха польские пушки...

Справа заиграли к бою сурмы, и двинулась казацкая пехота. Против нее выступали королевские конные хоругви, все ускоряя свой бег; вел их со знаменем в левой руке и мечом

наголо в правой видный собою шляхтич без шлема, волосы которого дразняще разбросались в стороны по плечам.

— Браточки мои,— закричал Степан,— да это ж предатель Ярема, панский выродок! Вот где мы ему зацепим веревкою рог!

Конные хоругви Вишневецкого с ходу разрезали наискось украинскую пехоту, разорвали ограждение из возов и ворвались в самую середку табора. Уже прямо рядом с Настею отдельные вершники врубались в расположение крестьянских отрядов. Один, подзадоривая, кричал: «Бей свинопасов, чтобы забыли, как воевать палками!» — «Вот я тебя батогом-таки угощу!» — отозвался Степан и въехал ему своей люшнею прямо между глаз. Но другой лях, извернувшись, с плеча рубанул Степана по голове, и тот рухнул, не поспев даже охнуть; тогда забившаяся было сперва от непривычки под воз Настя, позабыв от накатившего горя испуг, схватила двумя руками свою саблю и сзади полоснула убийцу соседа по шее — полусрезанная голова его отвалилась набок, повиснув на уцелевшем позвонке.

Тут, на ее счастье, откуда-то сбоку разом ударил на прорвавшихся конников свежий крестьянский загон и потеснил их в сторону. Настя заметила, что вел их бывалый Спека с разметавшимся длинным чубом, и ятаган в его руке блистал молоньей.

Она обратилась к Степану — он был уже безвозвратно мертв, из раскроенной бритой головы кровь и мозг разлетелись далеко в стороны по земле, и пронесшийся рядом конь хлюпнул в теплую еще лужицу по копыто. Настя вновь подняла голову, борясь с дурнотой, и с живейшею ненавистью встретилась глазами с разъяренным каким-то злым счастьем Яремою Вишневецким, совсем недалеко, шагах в полуста размахивавшим по ветру своим гордым прапором,— плохо вооруженные селяне, как ни тщились, мало могли нанести урона закованным в латы боевым конникам.

Вопли, стоны и лязг от металла неслись по всему пространству поля, а солнце теперь начало опускаться, словно стараясь вникнуть в подробности происходящего среди людей смертного пира. Тут в расположении татар стряслось что-то неимоверное: все там закрутилось, забурлило, и белые чекмени со всех ног пустились наутек, показав врагу спину, а вслед им все били и били королевские пушкари. Чья-то властная рука двинула на подмогу казакам еще один большой конный полк; Настя нутром почуяла, что повел его Богун, и сердце ее

еще сильней защемило, дыханье зашлось. А тем временем через табор проползла лютая весть, что будто басурмане и вовсе бежали, оставя сражение на извол судеб, а с ними позорно ушла часть казаков Белоцерковского полка...

Настя с нарастающим ужасом наблюдала во временном бездействии, как справа и слева казаки под натиском шляхты медленно подавались назад, и лицо ее заметно темнело; оно оживлялось лишь иногда, когда казацкое войско разворачивалось как сжатая до предела пружина и било в лоб наседающего врага,— но потом вновь медленно откатывалось обратно. И все-таки подоспевшие конники помогли вооруженным селянам вытеснить хоругвь Вишневецкого — выходца из православной украинской семьи, переметнувшейся в чужой стан и веру, чей отпрыск Ярёма — то есть Иеремия — сделался наконец злейшим палачом собственного народа.

То тут, то там будто смерч налетал на отдельные кучки бойцов, закручивая их в своем вихре,— а когда через несколько мгновений схватка отодвигалась прочь, на месте оставалась лишь грядка безгласных тел...

Бой затихал; на поле пал туман и наконец хлынул долгожданный ливень. Мимо Насти, с гетманским бунчуком и частью его охранной сотни, проехал, отдавая направо и налево наказы, кропивенский полковник Джеджалий,— а вслед за ним пролетело худое известие, что Хмель бросился догонять татар, силясь повернуть назад хана, да не вернулся и сам, потому что переметный лжец-крымчак задержал его у себя силою. А с польской стороны, несмотря на дождь и вновь выползавший сквозь поры земли пар, полетела хвалебная песнь «Те Деум лаудамус». Но торжествующее это песнопение вселяло в сердце украинского войска не только горечь — сил для сопротивления у них было еще куда как вдосталь.

— А ну-ка, хлопцы,— распоряжался появившийся невредимым из жерла сечи Спека, сопровождаемый сыном Алексеем,— чего вы уши развесили да слушаете папежскую музыку?! Крепите-ка друг к дружке снова возы, обсыпайтесь рвами, хороните павших... и чтоб к утру всё тут было чисто, как на току! А шляхту поглубже зарывайте — она на жирных мясах вскормлена, так кабы не было чересчур много вони...

Старший Спека все еще был без шапки, и седой чуб его, растрепавшийся во время боя, от дождя и пота крепко прилип к голове.

— Соседушки, давайте-ка прежде похороним нашего Степана,— взмолилась пришедшая в себя Настя.

— Давай! — отозвался тот, что третьего дня про купанье хмельного казака в речушке рассказывал.— Только не разом со шляхтой, а то ведь Степан упорный хохол, он и на том свете станет пихать их ногами. Пусть уж один себе почивает.

Выкопали кто чем мог яму. Настя своим платком закрыла соседу очи, чтобы земля их не запорошила; на мгновение все благоговейно склонились над последним прибежищем друга, затем молча засыпали могилу, а несколько поодаль в общей яме зарыли вражьи тела.

Сквозь дождь и приглушенный гомон Насте почудилось, что ее кто-то кличет.

— Да тут она,— взаправду отозвался вскоре один из подводчиков.

— Ау! — крикнул знакомый голос, и вот уже Левко с Микитою стоят рядом с ней.

— Ну что, Настюшка, ты не совсем перелякалась в том пекле?

— Да нет,— вздохнула дивчина.

— И «да», то есть, и «нет», как понимать прикажешь?

— А чего ей бояться-то особо? — добавил тот же возчик.— Как порубали нашего Степана, то она так хватила сзади клятого шляхтича, мало что с концами ему голову не оттяпала.

— Ну и мы тоже хлебнули! Когда побегла татарва-то — гетман наш полк поставил отбиваться от ляхов...

— Ой, хлопцы,— всклинула Настя,— я ведь сразу сама догадалась, что то Богунов полк. И тут уже точно страшно стало так, аж за сердце взяло...

— И не диво: там такое началось, что голова кругом пошла. Донцы, обошед нас, бросились вперед с кличем «За Неча-ая!» и врезались в самую чащу шляхетскую — так что их навряд и половина вернулась; но первый напор они остановили.

— Погоди-ка, Микита,— разглядела наконец его толком Настя,— так и у тебя же ж голова перевязана!

— Э, пустое, якойсь дурный лях, как летел с коня наземь, чуток палашом чиркнул.

— А мы, Настя, по твою душу. Отведем назад, до семей казацкой старшины — там все-таки поспокойней, а тут прямо как на выгоне.

— Мне бы-то здесь и лучше,— я уж привыкла с ними, как со своими...

— Иди, дивчина, иди, коли там чуток тише,— угова-

ривали ее подводчики,— а то мы правда, будто горох при дороге: кто ни пройдет, тот и дёрнет.

— Ну, бывайте тогда здоровеньки,— прощалась с ними казачка.

— Это уж как получится, Настёна,— ответил кто-то горькой присказкой, и все вокруг ухмыльнулись уже не так весело, как прежде.

Ночь и туман накрыли Настю и ее поводырей; только кое-где месяц прорезал крошево туч и светил людям, прибиравшим поле битвы.

Не вернулся гетман ни на следующий, ни на третий день — захватил его зрадливый хан, а табор тем часом со всех сторон намертво обложили враги.

Настало двенадцатое утро сражения, под великий летний праздник у православных — Петров день. Вновь густою дымкою заволокло все вокруг сверху донизу, аж темно сделалось, только множество костров пробивалось к небу дымом и кое-как освещало табор. Истомленные и обессиленные долгим ратным трудом люди грелись около огня, обсушивая сырую одежду и вдыхая запах яств, которые варились в казанах, дразня изголодавшиеся желудки. Кто-то в нетерпении молча жевал хлеб; другие проверяли и точили оружие. Было тихо, хотя невеликий шумок слышался издалека сквозь дым. Но вот около Пляшевой гомон вдруг стал возрастать и усиливаться, словно приближающаяся гроза... и уже посреди табора действительно разразилось будто раскатом грома: «Люди! нет ни одного полковника в таборе — все поутекли!!!» — «Куда сбежали? когда успели?!» — спохватились кругом. Страшная весть не тотчас доходила до сознания: ночью через болота и Пляшевку тайком проложили три гати, и казацкое войско, оставя селян, перешло на другой берег топи.

Поднялся страшный гвалт и крик. Мужики бросились к воде с озверелыми перепуганными лицами, а сзади, почуяв добычу, уже начали просачиваться в табор польские жолнёры. Лишь кое-где последние казаки и посполитые еще продолжали держаться на месте, как островки посреди морского прилива. На спешенную для охраны сотню, которую Богун оставил по эту сторону гатей для переправы селян, люди враз наперли с неодолимою силой. На краю переправы обозный поставил еще для острастки толпы пару пушек — но около них

закрутился угрожающе мятеж, и орудия пришлось убрать.

Из табора несся непрестанный галдеж: «Где Богун?! Давай его сюды, курвина сына!» — «Чтоб его сто чертей подрало!» — переливалось по обезумевшей толпе. Над нею торчали еще пики, косы и топоры — но вместо отпора врагам все это вразлад разнобоем перло на гати. «Утёк Богун, сучий потрох!» — «Убежал, собачий гад!» — «Продал нас на погибель ляхам!» Даром надрывалась охранная сотня, стараясь овладеть положением; по другую сторону топи разъезжал сам Богун верхом на коне, размахивал полковницкой булавою и кричал надсадно: «Да вот же ж я тут. Уймитеся, бестолочь!» Его не слышали и не слушали, а сослепу и не видали — все неслось к налаженной на живую нитку переправе, лишь бы скорей перебраться на тот берег. Переправа, набросанная в один слой чем только можно было разжиться в осажденном таборе, стала уже прогибаться посередине, и люди брели там по пояс в воде, кое-где проваливаясь в трясину; а края совсем потонули в жиже. Вместе с ними шли ко дну и неосторожные, вопия из последних сил: «Охриме, подай же руку!», «Ой, братки, помогите, пото...»,— а потом голоса обрывались, захлёбываясь; разве лишь голова еще вынырнет из трясины, схватит ртом последний глоток воздуха — и вновь исчезнет, чтобы уже никогда не вернуться. Вот поднялся середи болота один, сумевший за что-то зацепиться, пошатнулся, выронив секиру из рук будто пьяный, и рухнул вниз лицом. Болото словно бы кипело, а гати прорывались всё больше и больше, и окна в них выстилали собою сами люди, по которым бестрепетно шествовали новые беглецы. Кому удавалось целым добраться до твердой земли, тех сотники поспешно вновь сбивали в ряды.

Там распоряжался взявший сторону казаков незаможный шляхтич Навроцкий со своею конною сотней; он то и дело вглядывался в сторону гибнущего табора искаженным от злости челом. Часть казаков охранной сотни под напором селян перебралась тоже на спасенный берег, но другую хлынувшая толпа сбила на сторону. «За нами, казаки, за нами»,— кричали они, отходя вбок от гиблого скопища на плотине. Тут уже составился целый загон, во главе которого оказался Спека с сыном.

— Гей, хлопцы, до нас! — кричал он тем, которые еще набегали из лагеря.— Сюда, вербовцы, мытищинцы, лелюковцы! Ну!

Они послушно становились в гурт, а к ним присоединялись и другие.

— Вперед, братва! Берегом идём, тут не топко! Поспевайте, только не бегите — а то за вами и лихо примчится,— кричал атаман.

Конные хоругви поляков уже рассекали табор на части, врезаясь в обеспамятевшее скопище, потерявшее всякий вид войска.

— Кто с косой или с пикой, становись по бокам! — управлял не утративший присутствия духа Спека,— а с мушкетами во второй ряд, клади на плечи передним и пали, не подпускай шляхту! Держись, не поддавайся!

Разрозненные королевские конники пытались было с лету наскочить на этот отряд, но добывали себе только смерти.

— Вот это дело, хлопцы, вот так и треба! Один раз мати породила!

Следуя краем болота, загон упрямо пробивался вперед, уходя от топи и отрываясь от врагов. Левко с Микитою помогали обессилевшей и притомившейся Насте, изведшей почти все силы на борьбу с цепкой трясиной и изранившей руки, хватаясь за чахлые кусты.

— Надо было тебе, дивчина, уходить сразу с казаками,— выговаривал ей Левко, но Настя упорно мотала наперекор головою, а потом молча, собравшись в комок, снова двинулась вслед за другими. Солнце уже поднялось на полдень, а они все шли, отбиваясь от ляхов, как от пчелиного роя, который наседал то с боков, то сзади, а когда и залетал вперед. Немало селян полегло в этом походе убитыми и ранеными — последним было тяжелей умирать, ибо на подбитых не до смерти, будто мухи, сбирались гурьбой супостаты и, измываясь, кололи так, чтобы не умерли сразу, а хорошенько помучились, прежде чем испустить дух. Но и мужики не давали шляхте спуску, когда она попадалась под вооруженную руку.

Неожиданно весь отряд словно вздрогнул и остановился — спереди среди людей пронеслось всполошенное «Стырь...». Речка напрочь перекрыла дорогу.

— Ничего, хлопцы, ничего, не журись! Алексей, беги назад, возьми полсотню добрых молодцов и стойте крепко, сколько выдюжите, пока мы с передним отрядом не переправимся вон на тот островок. Эй вы, кто может — плывите, а кто выше, переходи вброд. Только не мешкайте! — наказывал атаман.

В камыше отыскали челн и, как когда-то в детской игре, стали переплывать протоку, держась в несколько рук за его края, а потом осторожно передавали обратно. В то же время

на подступах к переправе не переставая кипела битва с наседающей шляхтой — в этом заслоне полегли все до единого; загинул и Алексей Спека — некого будет поховать в землю жене его Евдокии: далеко от родной хаты раскроил ему лицо надвое королевский улан.

Увидал старый атаман гибель внука, да только пошатнулся и уже с последними селянами вступил в воду, отправляясь к остатнему своему убежищу. А солнце как ни в чем не бывало весело взблескивало на волнах, разбивавшихся о прибрежный камыш и рогозу, густою стеною стоявшие вдоль заболоченных берегов. Середина же островка выдавалась кверху пригорком, словно насыпанная нарочно, и поросла осокою с черноталом. По другую сторону текла быстрина, бурлившая маленькими воронками, и кто-то самый спорый уже успел обнаружить, что дальше на тот берег брода нет. Двое мужиков остановились около самой воды, а один даже вошел в нее по пояс, вздымая донную муть.

— Чего ты подался туда, Грицко? — спросил его товарищ.

— Как это на что? Сегодня ж Петров день. Вот бы мне жена задала трёпку, приди я сегодня до дому сухой! — бросил ему в ответ неунывающий купальщик, припомня старый обычай, гласивший, что окунанье на этот праздник отгоняет от женатых блудный помысел.

— Да тебе же домой аж до Подолья тащиться!

— Наш дом теперь уже тут — вишь, ляхи как туча, а нам отступать некуда. Ну, идем до кучи. Пока будем дело кончать, тут и высохну. А гляди, какая грязь липкая — шел по воде и не отмылся...

С обеих сторон готовились к решающей схватке. На том берегу протоки вперед выступил дородный шляхтич и принялся задирать противника по древнему обычаю единоборцев:

— Гей вы, крысы! Ну-ка вылазьте на свет. Попались-таки в капкан?!

— Ежели тебе повадно заглянуть в то место, откуда у казака ноги растут, так мы тебе его и отсюда покажем в подробности.

— Посмотрим-посмотрим, а потом еще и батогами проверим!

— Пробовали уже проверять и под Пилявою, и под Зборовом, ажно портки поразорвали. Да где-то, видать, и ты их продырявил — чтой-то мне твоя пика знакомая!

— Но-но! Тебе уж не до меня было, потому что ты рожу свою из кустов не казал!

Из-за спины шляхтича на его плечо тихохонько поместил-

ся мушкет, но казак был внимателен, тотчас присел — и выстрел прогремел вхолостую. Одновременно с ним отряд коронных вершников бросился вплавь по воде. Казаки встретили их ружейным огнем, а когда кони выбрались наконец на мель, навстречу бросились храбрецы-добровольцы — и ни один поляк не вышел живым на сушу: всех они побили или потопили.

— Не поддавайся, молодцы, не поддавайся супостатам! Лишь бы до ночи продержаться: ночь казаку мати! — подбадривал Спека.— Да челн переправьте на другой бок.

Шляхта беспрерывно палила из мушкетов, но между приступами обороняющиеся прятались за песчаный холм и отдыхали, а потом вновь выскакивали и кидались в бой. Солнце уже начинало клониться к западу, но врагам так ни разу и не удалось ступить крепкой ногою на казацкий берег. Ляхи сызнова заметались, когда к ним на дорогом породистом коне, встреченный с подобострастием, подъехал какой-то пан в серебряном панцире и начал что-то выговаривать. «По нашу душу совещаются»,— сообразили казаки.

На той стороне вышел вперед блестящий рыжекудрый гусар и поднял руку, давая знак, чтобы перестали стрелять. Среди казаков один низкорослый, но бойкий на слово хлопец в белой холщовой сорочке с синею лентой, указывая рукой на шляхтича, весело крикнул:

— Гляди-ка, какова сиворакша! А ну-ка послушаем, что запоет эта птица?!

Стрельба действительно на время утихла.

К гусару приблизилось еще трое соратников; на этом берегу тоже показалось открыто несколько голов.

— Казаки! — пробасил он.— Пан краковский дивится вашему мужеству и не хочет даром лить кровь храбрецов. Положите оружие — вам будут дарованы жизнь и воля.

Селяне задумались, а тот, что приглашал послушать птичью песнь, аж охнул и скривился, словно проглотив что-то кислое: «Ну и сиворакша! ну и голосиста! Чтоб ее подняло да гепнуло!»

С ответом выступил атаман Спека:

— Передайте тому пану Потоцкому, чтобы он не воображал ничего подобного про казаков. Нет уж, панове ляхи, нас не возьмете обманом! Нам не жизнь дорога, да и золото за ничто — а милостями врагов мы гнушаемся. Дороже всего казаку воля.

С теми словами он вывернул карманы и все гроши и драгоценности на глазах посланцев Потоцкого покидал щедро в воду, а за ним то же самое сделали остальные.

— Так и передайте своему пану всё, что слыхали и видели,— а другого ответа не будет!

Как только посредники отъехали прочь, с казацкого берега вновь ударил залп под могучий крик «Слава!».

Со стороны табора, из которого они вышли, уже не было слышно ни звука. Шляхта опять засуетилась, стали доноситься приказы к приступу — и ляхи с новою силой бросились на островок. А по речке под прикрытием нападавших к осажденным подбирались челны.

— Ну, грядет буря,— громко заметил Спека.— Собирайтесь, хлопцы, ударим на них разом.

Схватка началась прямо в воде, которая заклокотала, как заправский котел. Секирами рубили и челны, и сидевших в них жолнёров; под их пиками и саблями сами падали в воду, сделавшуюся бурой от своей и чужой крови. Еще один приступ был отражен — и защищавшиеся прилегли отдохнуть, кто ненадолго, а которые уже и навеки.

Спека кликнул Настю с Левком:

— Веди дивчину на ту сторону речки. Соберите из камыша два снопа, привяжитесь к ним и плывите. В осоке до ночи и перепрячетесь — негоже, чтобы ворог надругался над молодицей.

— Я не покину товарищества, атаман!

— Ничего, обойдется оно и без тебя.

Настя стояла посеревшая, как мертвец, и руки у нее обвисли, словно неживые.

— Свой ятаган возьми-ка обратно, Левко: не хочу, чтобы наша слава досталась ляхам. Трубки из камыша срежьте, будете дышать из-под воды, коли они наскочат ненароком...

— Прощай, Левко,— молвил Микита,— и ты, Настя, прости ради святой Троицы, ежели не увидимся уже на сем свете...

— Прощайте, товарищество,— еле слышно выдавила из себя Настя.

— Скорей устраивайтесь с перевозом,— настаивал Спека,— вон они уже внове собираются. Во время битвы и двигайтесь, тогда некому будет особо присматриваться, да и солнце ляхам в глаза.

А там уже снова зачинался бой под последние выкрики «Слава!»,— но осажденным опять удалось отбиться. Тем временем на той стороне островка подле самой быстрины зачернела пара камышовых снопов, а меж ними едва-едва замаячили две казацкие шапки.

Солнце садилось за небозем, высвечивая косыми лучами

островок, где собрались последние казаки, поляков, готовившихся к очередному приступу, и камыши, качавшиеся на вечернем ветерке, умиротворенно шепча: «Чшш... чш... чш...» — «Шу-у... шу-у... шу-у...» — отвечала им тихо рогоза, наклонявшаяся до самой воды, чтобы заглянуть в последний раз в глаза телам, проплывавшим вниз по течению: вот вода унесла шляхтича, которого казак обозвал птицею-сиворакшей; а вон и сам казак, в распахнутой до пояса сорочке и уже навеки замолкший.

Тем временем на островке наконец пал последний защитник и победно вскричали ляхи. Бой окончился.

Солнце спряталось, и в наступивших сумерках двое беглецов тишком пробирались в прибрежных зарослях, шелестевших, скрадывая шум их шагов.

— Берег! — выдохнул еле слышно Левко, схватив за руки Настю, и оба они молча упали на твердую землю. Несколько мгновений лежали, не в силах подняться от накатившей истомы; но вот Левко все-таки подхватился первым, дико озираясь — не выдал ли их врагам минутный сон. Легкими толчками разбудил подругу, и они пошли крадучись лугами к недалекому лесу, настороженно напрягая все чувства.

Настя внезапно очнулась и удивленно повела очами. Она лежала на полу, где было обильно настелено сено, прикрытая куском рядна; в головах помещалась подушка. Дивчина закопошилась, пытаясь приподняться и сообразить, что с нею и где она.

— Лежи, лежи смирно,— сказала придвинувшаяся к ней нестарая еще женщина и опустила на горячую голову свою прохладную ладонь.

От мягкого звука родной речи Настя немного успокоилась.

Она припомнила все еще в полусне, как они мертвецки уставшие добрели до укромной хатки середи леса, как их пустили в сени... и больше уже ничего не поспела сообразить, снова погрузившись в забытьё.

Потом опять пробудилась, села на полу, глядя перед собою невидящими испуганными очами. Хозяйка все так же заботливо склонялась над нею, охраняя тревожный покой.

— Боже мой, Боже мой,— тихонько заголосила Настя.— Посетили-таки нас журба да лихо! Не доведи Господи еще раз увидать, что я за эти дни насмотрелась. Сдавалось, что сердца не станет терпеть, изойдет оно вместе с братскою кровью...

Она в отчаянии припала к своей скорбной товарке.

— Погоди, дивчина, вспоминать, да и говорить еще не час!

— Нет, тетушка, я хоть конец расповедаю — авось легче сделается,— безнадежно возразила Настя. Она ненадолго примолкла, а потом вновь пустилась рассказывать.— Ой, тетушка-тетушка! на том бою, где мы были, ужас что поделялось; а под конец обманули нас полковники, утекли через гати, покидавши крестьян. Да туда же за ними с утра бросились и селяне такою толпой, что страх сколько людей погинуло; а человек с три сотни — наш загон — вырвались из самого пекла и пошли, отбиваясь, повдоль Пляшевки. Не могли нас никак одолеть вороги, пока не загнали на островок у Стыри, откуда некуда было дале податься,— да там уж и бились все до последнего. Меня с моим Левком атаман выпроводил — мы переплыли и в камыше запрятались по эту сторону. А там такое творилось, что не доведи Боже!

Шляхта, как туча, кинулась на ту жменьку казаков, и воевали в конце не саблями и топорами, а просто ломали, грызли, душили один другого; да где уж было одолеть, когда ляхов по три — по пять на одного нашего. Атаман Спека — старый человек, но дрался как бык!.. Нам из камышей было хорошо видно — только ничем уже им не поможешь. Зря он нас отослал, славнее было б со своими вместе костьми там лечь! — Настя опять горько всхлипнула.

— Потом атамана обсела целая куча ляхов, и он упал, да и не поднялся больше. А наших все меньше и меньше. Смотрю, уж один только Левков побратим Микита остался, тоже из нашего села парубок. Забрался на челн и никого не подпускает, а шляхта с берега в него палит да пиками тянется,— но он еще держится, хоть и раненный дважды в голову, и никак не сдается, наклоняется да отмахивается косой на длинном древке. Мне, тетушка, даже лестно стало, что он такой крепкий,— но тут подкрался позади к челну здоровущий шляхтич и такою ж косой достал-таки его со спины. Глянула я — а у Микиты из перерезанной шеи кровь хлещет струёю, зашатался он, как тот кряжистый дуб, и упал навзничь в воду, раскрывши смерти объятия. Вот тогда уже никого не осталося!

Настя вся содрогнулась, как в жестокой лихорадке, и зашлась в беззвучном плаче. Женка осторожно опустила ее голову на подушку и легкой рукою ласково прикрыла глаза. Постепенно девушка успокоилась и задышала ровнее, а хозяйка молча любовалась на нее: иссиня-черные косы разметались по полуобнаженным грудям, колыхавшимся под сорочкой вместе

целомудрием и грехом, густые вии-ресницы трепетали, пряча глаза от чужого взора,— недаром, видать, выслал ее атаман с поля боя, потеряв за то целого казака.

...На другой день солнце уже поднялось в зенит, когда Настя проснулась и встала. Хотела сперва одеться, но не нашла своего старого платья и потихоньку вышла из хаты в чем была. На дворе оглянулась кругом отрешенно и вдруг залюбовалась: пели дневные пташки, слабо веял ветерок, шумел густой бор, где-то вдалеке куковала неутомимая зозуля-кукушка, а ближнее дерево хлопотливо долбил работяга-дятел. Вот он, блеснув перистыми подкрылками, перелетел на другой ствол и стал что-то по-хозяйски рассматривать в коре; а полянка вокруг хаты вся цвела и зеленела — матерый лес прочно укутал ее от недоброго глаза в своих крепких объятиях.

Настя пошла по стежке, которая была еще холодна и сыра после ночи. По бокам ворсистым ковром раскинулась широкая луговина, сплошь покрытая сочной травою; искрясь отраженным сиянием солнца, поверхность ее усеяли росы-самоцветы, переливавшиеся цветами радуги в утреннем блеске. Настя восхищенно вглядывалась в них, как будто бы видела впервые в жизни.

В конце тропинки приветно журчал ручеек, приведший ее к невеликой горушке, около которой пробился источник, чьи струи были столь чисты и прозрачны, что граница между воздушной и водной поверхностями словно исчезла вовсе; а на самом дне, устланном белым песком, будто живые нити, играли ключи. Настя опустилась на колени, чтобы напиться, да так и плюхнулась всем лицом о воду. «Чтоб тебе!» — вырвалось у нее ненароком, и тут она впервые после боя усмехнулась, а с ней вместе, тоже как бы веселясь, заволновалась ключевая влага. Рядом таким же беспечным смехом отозвался кто-то третий — Настя испуганно оглянулась мокрым лицом и увидала хозяйку хутора, исподволь наблюдавшую за нею.

— Вот так-так: напилась, да разом и умылась,— улыбнулась она.— А что это ты, дивчина, щеголяешь в одной сорочке?

Настя смешалась и покраснела, позабывши про свою легкую одежу, споро осмотрела окрестность — не видел ли кто ее беспечного промаха; но вокруг не было другой живой души, кроме разве дятла, который вновь перепорхнул со ствола на ствол.

— Я, тетушка, платья своего не могла сыскать.

— Да я же тебе свое положила рядом на соломе,— а твой казачий убор запрятала в сухой колодец: не ровён час недруг набредет...

— Разве и сюда могут ляхи пробраться?

— Нет, сюда и тропинки в этот год травой заросли, но все-таки — береженого Бог бережет. Сами-то мы ходим до села по особым приметам. Вот и твоего Левка моя невестка повела туда коней добывать, а с ними пошел еще тот казак, что после вас прибился,— и как раз говорил, что по окрестным лесам рыщут шляхтичи, выискивая беглых. Он тоже сперва шел вдвоем, ну и наскочили прямо на конный дозор. Этот парубок догадался сразу в кусты сигануть, да тотчас на дуб взобрался,— а товарищ его как дурной заяц побег по дороге. Они его, конечно, быстро нагнали, а он когда увидал, что попался, со всего маху влетел в дуб головой, так что темя расселось,— не хотел опять идти на панов горбатиться. Ляхи только руками развели, всё дивились. А как они отъехали, он поховал мертвого, да и подался вперед наугад лесом — и вот к нам приплелся такой изголодавшийся, что от ветру клонился, почти неделю одними ягодами да заячьим щавелем жил... Пойдем, горемыка моя, ты же ведь тоже почитай третий день постишься, хоть я тебя сонную и поила с ложки молоком.

Стол в хате был застлан тонким полотном, расшитым узорами по краю.

«Прямо как у нас»,— подумалось Насте.

— Поешь немного, дивчинка, вот жаркое с картошкой запеченное, да еще испей молока со свежей пшеничною паляныччкой. Только сразу чересчур наедаться не след, худо сделается,— как же ты похудела, бедная, смотри, глаза прямо провалились.

— Чего тут странного, тетушка, там под Берестечком такое творилось, что не до красивого лица было. А наши-то давно уж в село отправились?

— Два дня тому. Да ты не пугайся, что позадержались,— не так-то просто сейчас коня достать, и вообще достанут ли еще, как знать? Деревни совсем запустели — то панщина, то жолнёрский грабеж, а тут еще хлеба не уродились — и пошли люди куда глаза глядят. Слух есть, что сейчас на Московщине наших хорошо принимают,— говорят еще, будто нарочно кордон на Донце поставили против татар и зазывают туда селиться. Ну и, конечно, немало мужиков с хлопцами подались в казаки, да под Зборовом и Збаражем полегли. Там и мой сынок бывал, и вернул-

ся цел-невредим — а теперь отправился под Пляшевую, да вот назад-то нейдет который уж день...

— Тетушка, милая, неужто ж вам сына не жалко?

— Как не жалко? Так жаль, что от жали той сердце плачет; еще неделю обожду и тоже пойду шукать, быть может, хоть косточки до дому принесу.

Она склонила голову и задумалась; потом, словно самой себе отвечая, добавила:

— А совсем уходить со своей земли не хочу... Ну, лады: ты уж подкрепилась немного, приляг теперь, набери силы.

— Нет, тетушка, я лучше с вами на огород пойду поработаю. Давно я нашего бабьего труда не видала, кабы совсем не отвыкнуть!

Целый день помогала Настя хозяйке и несколько поуспокоилась. Под вечер, вместе с первой усталостью, почувствовала, что окончательно приходит в себя — только тревога за Левка не позволяла расслабиться, но она и о ней до поры помалкивала.

— Повечеряем-ка засветло,— сказала ей тетушка,— лучину зажигать небезопасно: ночью огонь далеко видать, оборони святая Троица, выглядят ляхи да налетят напрасно.

— А мне что-то вспомнилось,— невпопад ответила погрузившаяся в свои думки дивчина,— ведь за походами да хлопотами я сей год и соловьев не слыхала...

— Ничего, девушка, тебе-то они еще не раз споют. Смотри, даже в смертный час люди о тебе позаботиться не забыли, уберегли.

Насте сделалось стыдно за свои мелкие обиды, она опять воскресила в памяти последнюю схватку, всхлипнула и спрятала лицо в подоле передника.

— Погоди плакать, молодица, зря это я, старая, тебе про горе напомнила, прости меня, бабу дурную...

— Боже ж мой, тетушка, я ведь и у татар в руках побывала — да казаки выручили, отбили.

Хозяйка только руками всплеснула.

...Поднявшись с восходом солнца, Настя опять не нашла ее рядом с собою — видно, по крестьянскому обычаю поднялась тихонько прежде зари, а гостью беспокоить не стала.

«Чисто мати родная»,— благодарно подумала дивчина и принялась одеваться. Только завязала запаску, как послышался близкий разговор двух мужчин. Она застыла на месте в полном онемении, а потом бросилась бегом в сени и выскочила вон через другие двери, ведшие на огород. Припала к притолоке, прислушиваясь к доносившейся с той сторо-

ны речи, но всполошенное сердце колотилось как будто прямо о косяк, мешая слуху. Потому-то она не сразу разобрала такой знакомый голос своего Левка,— но только что опамятовалась, опрометью помчалась на двор и, не видя никого, кроме своего суженого, не чинясь кинулась ему на шею.

— Левко! — и приникла к нему всем телом.— Я за тебя так боялась — ты ж у меня один!

— Ничего, рыбонька, все добром кончилось,— ласково гладил ее парубок.

Постепенно Настя угомонилась, и ее темно-серые очи вновь ожили. Левко глядел на нее и любовался — какая его подруга ладная, да только уж исхудала и осунулась, совсем как лозиночка стала. И он снова прижал ее к себе, выдохнув: «Серденько ты мое!..»

Настя тоже смотрела на него во все глаза и не могла оторваться: гордая стать, широк в плечах и крепок телом, через левое плечо перекинута казацкая свитка, правая рука покоится на шее коня; мышцы рук играют, набухнув силою под рубахой, а темно-русый чуб выбился из-под шапки и свис по высокому лбу. Длинное лицо загорело до красноты под ветром и солнцем; карие очи, наружно усмехаясь, прячут за собою какую-то тяжкую думу.

Настя обернулась на остальных и сперва наткнулась взглядом на заброжего казака, ходившего с Левком в село, а потом внимательно присмотрелась и к невестке — хорошенькой, резвой молодичке в запаске и очипке, повязанном так ловко, что он напоминал небольшой венок; кофта ее была вся расшита букетами маков и васильков. Опрятная, словно голубка по весне, а башмачки держит в руках, ступая на босу ногу,— видать, бережливая.

Они пришли усталые, но почти невредимые, если не считать нескольких царапин, и привели с собою четверых коней, оседланных по-казацки. Левко рассказывал:

— На селе уже ничего нету — второго дни стояли польские уланы, теперь там не то что коня — и шкуры конской не сыщется. Так мы ни с чем назад и ворочались, да около ветряка запнулись на пригорке пути разведать — глядим, вдалеке кто-то скачет. Мы молодайку на мельнице спрятали, чтобы не мешалась, а сами обминули ее кругом, потому что дорога проходит прямо рядом, под боком. Видим: жолнёр коней ведет, и только он подъехал, что-то такое про себя насвистывая,— я как прыгну , да промеж плеч ятаганом: он даже и не кашлянул. Вот и досталась добыча, а этот вот светло-гнедой, увидавши меня, чуть не выдал, зар-

жал — уж не Микитин ли часом? Эге, а где ж наш кобзарь? — мы еще и певца дорогою подхватили...

Из хаты показался наружу старый слепец, нащупал рукою завалинку и присел.

— С нами хочет ехать на Украину,— сказал Левко.— А войско, люди говорят, двинулось к Белой Церкви — через Острог, Заслав, Полонное и Житомир. Вот к ним и надобно пробиваться. Тяжко, что скажешь! Кругом поляки рассыпались жировать, как те гуси по осени. А еще раньше татары прошли...

Кобзарь сидел, наклонившись, а потом снял шапку, поднял незрячее лицо к небу; волосы его зашевелились на ветру, и он тронул, словно сам того не желая, струны, запев тихо-тихо:

Зажурылась Украина, що ниде ся диты —
Вытоптала орда киньми маленькии диты;
Малых потоптала, старых порубала,
А молодым середушним руки повьязала —
Пид хана погнала...

Замолк старец, прикрывши бандуру рукою, опять обратил к небу невидящее лицо; погодил немного, будто припоминая слова, и, склонив голову, повел далее в голос:

Бодай тебе, Хмельниченку, перша куля не минула,
Що велив орди брати дивки, молодици.
Парубки йдуть, гукаючи, а дивчата спиваючи,
А молоди молодици старого Хмеля проклинаючи:
Бодай тебе, Хмельниченку, перша куля не минула...

Все обступили кобзаря, сумрачно слушая песню; а когда он окончил, Левко поглядел на него с укоризною и недовольно молвил:

— Не годилось бы вам, батьку, петь подобное про того, кто сам каждый час кладет голову за вызволенье людей от татарской беды и ляшского ярма.

— Да разве ж, сынок, я свое — я народное пою...

И он снова сокрушенно склонился к струнам, ударив по ним руками, но уже без слов, ту же самую мелодию, она понеслась прямо в поднебесье, и там само солнце, как бы устыдившись человеческой беды, спряталось за тучу.

— Тетушка! — обратился к хозяйке Левко.— Дозвольте нам еще эту ночь у вас переночевать, а с утра мы и тронемся.

— Да оставайтесь, люди добрые, сколько хотите — вы уже мне как свои стали...

Молодичка разом встрепенулась.

— Матусенька! может, и мы с ними пойдем? На селе почти души живой нет — да и села-то почитай что нема: одно пепелище. Сами люди спалили, чтобы панам не досталось, да и подались куда глаза глядят. Пойдемте, матусю, чего нам тут делать?

Женка начала отвечать медленно, видимо сильно колеблясь:

— Да не знаю уж, доню, как же своих-то покинуть: тут деды, тут батька мой лежит, тут молодость отгуляла. Вот придет наш Павло — он пусть и решает; а не вернется — тем паче не могу уходить. Сынку мой родный! — запричитала она и замолкла; а потом уже решительно повторила: — Нет, доню! Ежели желаешь, иди пока сама — хоть на Украину с ними, хоть на тот берег Днепра, а с добрыми спутниками пускай и на Московщину. Там в Острове, у дядьки Пилипа, подожди еще Павла, а коли не появится уже — то делай что знаешь. Я тут остаюсь!

— Матусенька вы моя, да как же вы одни-то здесь будете? — молодичка припала хорошеньким заплаканным личиком к плечу свекрови, обнявши ее руками.— До смерти страшно нашей сестре на безлюдье-то...

— Иди с ними, не журыся, доню. Бог подай тебе счастья!— ответила та твердо, будто бы поклялась.

В лесу весь вечер напропалую куковала зозуля; кобзарь вновь задел пальцами струны, словно прислушиваясь к ее унылой песне, а затем высоким голосом начал выводить закликанье:

Не плачь, не плачь, Морозиха, не журыся —
Иди с нами, козаками, мед-вина напийся...

Солнце высунулось напоследок из-за череды облаков и осветило распевающего слепца, молодайку, склонившую голову ко свекрови, казаков с Настею и все их наличное добро — четверых коней. Женка встрепенулась, пытаясь согнать с души неотступную свою кручину, и повернулась к гостям:

— Пойдемте-ка, дорогие мои, до дому, посидим напоследок — когда-то еще доведется православных побачить!..

За обедом хозяйка спохватилась наконец спросить у другого казака, как его имя и прозвище.

— Да Петро Гаркавый — вот шляхта и справила мне именины! — даже теперь нашел над чем подшутить парубок.

— А что-то ты не рассказываешь, где сам побывал у Берестечка...

— Ин лучше б вовсе не вспоминать. Правда, в нашем загоне все до поры было путем, покуда не зачалась та треклятая заваруха около гатей. На людей как дурману напустили! Но мы еще как-то держались, а у соседей такое закрутилось, что шляхта наконец отрезала всех напрочь от табора. Да и наши-то тоже хороши: одна половина зовет биться, а другая тикать. Сколько людей в суматохе порубили, никто уже не сочтет... Шляхта войсковую казну захватила; коринфского митрополита копьем прокололи — страх что робилось! А там в полон начали забирать, схватили и меня с прочими — да в тот же день нарядили гуртом прибирать поле, ховать побитых. Под утро, как выступили туманы, затеяли мы бежать и переползали через те адовы топи, будто ужи. Кого стража не успела словить — в лесах перепрятываются; а ляхи до сей поры по их душу здесь рыщут.

Поговорили еще немного, выпили в память полегших по чаше домашней браги и, притомившись, замолкли. Кобзарь сделал пару переборов на бандуре и завел раздумчивую:

Дозволь мени, мамо, корчму збудуваты,
Чи не прийдет дивчаточка питы та гуляты;
Уси дивки прийшлы питы та гуляты,—
А моей милой не пускае маты.

Вечером уже стояли под Острогом и сделали привал около монастыря в лесочке. Долго осматривались настороженно — нет ли где в округе поляков; а потом Петро направился к монастырским вратам, внимательно прислушался, нет ли внутри какой свары, и стукнул костяшками пальцев три раза. Оттуда тотчас отозвались: «Кто пришел?»

— Филин-пугач,— казачьим присловьем ответил Петро тихо-тихо.

— А сколько вас?

— Три парубка да две жинки. Пустите Христа ради переночевать.

— Погоди! — из-за ворот донесся шорох удаляющихся шагов, но кто-то второй остался выжидать — Гаркавый острым ухом степного воина слышал чуть свистящий звук его дыхания.

Спустя немного времени первый привратник возвратился снова и спросил:

— А где остальные?

— В лесу, с конями.

— Иди, зови! Да пусть гуртом не идут через поле.

...Плотно закрытая калитка чуть приотворилась, и сквозь зазор выглянуло двое чернецов. Тени пришедших поодиночке проскользнули внутрь; коней ввели, пригибая им головы, с завязанными глазами. Изнутри вновь пришедшим высвечивал дорогу монах, но незрячий кобзарь оплошкою зацепился-таки за верею бандурой, и она зазвенела всеми своими струнами.

На дворе один из чернецов завел странников под навес и сказал, что атамана игумен кличет к себе, а остальным велено идти в трапезную на ужин.

— Нет у нас атамана, все сами по себе. Ну уж давай, что ли, ты, Петро, оставайся около коней,— сказал Левко, в ком его спутники заглазно признали главного среди них.— Как остальные вернутся от стола, то и тебе принесут, или сам туда сходишь. А я покуда пойду до отца-настоятеля.

Левко отправился вслед за молчаливым поводырем по каменным коридорам, придерживая рукою ножны ятагана, и стукот его шагов гулко отдавался под сырыми низкими сводами. Шедший впереди монах держал небольшой фонарь, внутри которого мигала тоненькая свеча; смутные тени, порожденные ею, то прятались по углам, то снова выползали наружу, следуя за ними по-за спиною. Наконец остановились подле обитых медью дверей.

— Слава Господу Иисусу,— произнес чернец, не притрагиваясь к замку.

В ответ за стеною ясно послышалось: «Навеки слава!» Чернец открыл и впустил казака в келью, сам оставшись снаружи.

Света внутри тоже было немного, и потому Левко не враз разглядел пожилого настоятеля, сидевшего в кресле обок большого Распятия. Освоившись в полутьме, казак подошел к нему, почтительно опустился на колени и поцеловал руку, произнеся:

— Благослови, святый отче!

— Бог благословит,— отозвался монах. Лицо его было по-стариковски бледно почти до желтизны; сивые тонкие волосы окаймляли виски, кустистые брови нависали над живыми очами, пристально глядевшими на пришельца.

— Что ж, сыне, не удалось ваше дело?

— Порушилось, отче. Перемогли нас паны — опять татарва предала: утекла с поля, а гетман бросился за ней, да не возвратился уж больше. В таборе начались передряги: то селяне между собою, то крестьяне с казаками, а пока суд

да дело, кое-кто из старши́ны и на сторону шляхты перекинулся, как вон полковник Крыса,— и даже Лысенко перебежал к Вишневецкому, но тот его вместо ласки запытал до смерти. Чуть не каждый день выбирали наказного гетмана: одни стояли за Джеджалия, другие за Богуна, третьи еще за кого-то. Иногда все-таки вместо смуты соберутся с силами, ударят по ворогу — как оно было в туманную ночь после Ивана Купалы,— и уже немало хоругвей разбили наголову, да на беду вылез ясный месяц и шляхта опамятовалась. И разве только однажды то было! А уж как Богун перевел тайком казаков через гати, тут такое зачалось...

— Знаю!.. Слышал уже,— бросил монах, чтобы приостановить горькую повесть, во время которой он незаметно привстал, а теперь опять опустился в кресло. Потом, словно подвигая пришедшего к совместному размышлению, заговорил в свой черед:

— Не в ту сторону вы подались, сыне. Семеро веков назад, при князе Владимире Святом и его наследниках, крепко было наше русское княжество. А чем держалось оно? Единением всех земель на Руси да святою Троицей. А как почался раздор, наказал Творец междоусобною бранью, нашествием иноплеменных, разделением вер...— он сделал небольшую остановку в речи, давая чуткому слушателю собраться с мыслями; а затем повел ее далее.— Пришла пора вновь обращаться к единству. Вот уже на моей памяти Байда подымался было за это дело, но только еще начал разворачиваться — и не сдюжил; не потягнул, Бог ему прости, и гетман куда более крепкий — Конашевич-Сагайдачный Петро. Говорит народ — до булавы треба еще головы!..

— Да неужто вы, отче святый, и самого Байду знавали?

— Нет, про него только слышал, а вот Подкову — того видал. Да сказать по правде, и под Яссы с ним молодым ходил. Ан все это ничего в одиночку Южной Руси не сулит — одна только с того погибель.

Левко кручинно поник.

— А что это еще за женки с вами? — переменил разговор настоятель.— Чтой-то вы себя не по-казацки ведете...

— Нет, отче! Одна — молодица с хутора вблизи Пляшевой, у нее, должно быть, там муж загинул; едет к своему дядьке — потому что дома совсем край обезлюдел. Другая — моя нареченная невеста, от татар прошлый год отбили, с самого нашего села дивчина. За походами и повенчаться не успели. Да еще треба у Бога прощенья просить — грех со-

вершили, не потерпелось, слюбились уже...— признался Левко и, засоромившись, потупил глаза.

— Закон нарушили. Вот заутра будет обедня, идите первым делом покайтесь,— молвил игумен довольно-таки сурово; но потом куда добрей кончил: — И хотя по уставу в монастырях венчать не положено, да тут гостит один мирской поп — так чтобы завтра ж и обвенчались; и грамоту еще о том дадим в вашу церковь, как доберетесь до дому. А пир горой уже где-нибудь в другом месте справите — вы куда от нас держите путь?

— Думаем сперва на Житомир, потом в Белую Церковь — идет слух, что там все войско собирается снова... А позвольте спросить, ваше высокопреподобие, как же ваш-то монастырь от поляков спасается?

— То еще давняя справа. Блаженной памяти князь Константин Острожский перед самою кончиной добыл от короля охранную грамоту. Но только вам все равно треба прятаться — казаков нам крыть не дозволено. Ну, ступай покуда, сынок, устал уж и я не столь от заботы, как от горьких тех мыслей. Скажи келарю, чтобы принесли тебе повечерять, да ложись почивать. Служба начнется с восходом солнца; очистите совесть перед Господом, примете таинство — а как придут сумерки, братия выведут вас на верную дорогу, чтобы в песках не увязли, да и ворог не наскочил. Ангела-хранителя в путь!

...Перезвон колоколов на малой звоннице понесся навстречу сполохам зарниц, возвещая начало утрени. Когда первые лучи солнца заглянули в летний монастырский собор, высвечивая бодрствующих чернецов, в их косом сиянии стали видны подымающиеся кверху клубы ладана, воскуряемого в кадильницах диаконов.

Позади, в мирском левом притворе стояли Настя с молодою вдовой Оленой; справа, в мужском приделе находились Левко в сопровождении Петра и кобзаря, выбранных в дружки жениха. Настины косы Олена еще загодя обкрутила вокруг головы, покрыв скромным венком из полевых цветов, набранных рядом с обителью. Левко в казацкой свитке, одолженной из монастырского скарба, стоял внешне покойно и с удовольствием внимал черническому хору, одноголосо певшему на клиросе. Они уже исповедались и ожидали причастия...

После окончания обедни к ним приблизился сельский священник в небогатых ризах, взял за руки епитрахилью — и начался в опустевшем соборе непривычный здесь чин венча-

ния. Когда же невидимый за колонною хор грянул извечное «Исайя, ликуй!» — чья-то октава от усердия вырвалась, трепеща высокою нотою, из общего созвучия голосов. По совершении таинства священник поздравил от игумена новоженов, и Левко уже совершенно законно поцеловал свою Настю прямо в уста.

В уединенной келье, предназначенной для гостей, все участвовавшие в обряде в праздничном настроении уселись за стол. На нем помещались две объемистых макитры с постными пирогами, пара полумис жареной рыбы и могучая сулея крепкого монастырского меду. Старый келарь, бывший здесь за хозяина, разлил питье по чашам и, согласно обычаю отцов и дедов, возгласил:

— Дозвольте попотчевать молодых и гостей!

Он важно поклонился на обе стороны и добавил:

— Да не посетуйте: чем богаты, тем и угощаем!

Все осушили до дна, монах выплеснул остатки под потолок.

— А теперь еще по одной, чтобы домашние не кручинились и молодым хватило счастья на весь их век!..

В келье постепенно сделалось шумно; раз или два сквозь приотворенные двери показались привлеченные редким зрелищем лица молодых послушников. Бандурист, уже немного вросхмель, ударил веселую, подпевая струнам:

По дорози жук, жук, по дорози чорний —
Подывыся, дивчинонько, який я моторний!
По дорози галка, по дорози чорна —
Подывыся, козаченьку, яка ж я моторна!

Мед и песня изрядно веселили застолье; но тут двери внезапно распахнулись и внутрь вошли трое незнакомых чернецов.

— Что это еще за музыка? — сердито вопросил передний,— однако, не договорив своего упрека, кинулся вдруг к Левку так споро, что тот от неожиданности вздрогнул.

— Вот уж где я тебя не чаял, казаче, повстречать-то! Да ты забыл или что — как вы на хуторе-то у меня колысь ночевали?!

Левко как сообразил — кто перед ним стоит, то подскочил так, что чуть не опрокинул весь стол:

— Дядьку Несторе! Довелось-таки еще свидеться! — и пустился его сжимать в своих налитых силою руках.

— Полегче, полегче, казаче: плечо-то мое порублено, и рана не заросла. Схватились насмерть с панами по дороге на

Берестечко — так вот меня сюда подбитого и принесли; а теперь от ляшьего глаза сховали, покуда волосья опять не отрастут,— он снял долой клобук, и стала видна совсем еще коротенькая чупрына на бритой голове.— А где же второй, твой дружок?

— Погиб, батько, у Пляшевой, а вместе с ним и старый наш Спека,— сокрушенно поведал ему Левко.

— Царствие им Небесное,— наклонил мнимый чернец свой голый лоб.— Значит, не придется мне уж на сем свете с побратимом моим свидеться. Так нехай идет его душа до чистого престола Святой Троицы!.. А у вас, я гляжу, пир тут свадебный? Ну, так налейте и мне чарку меду за здоровье малженов — и пусть молодая угостит!

Настя наполнила его чашу вскрай.

— Вот гарно! Чтобы еще сверху лилось! — он выпил досуха, крякнул и аж ногою притопнул от удовольствия; но от сильного движения вновь напомнил о себе незаживший рубец, и Недоля слегка сморщился, посетовав: — Эх, запеть бы, да тут вроде не годится...

Подумал еще, махнул здоровой рукою и говорит напрямки Левку:

— Вот что, казаче, ты же видел мой хутор? Так дарю его тебе с женкой навечно — а коли Бог даст еще мне дом свой увидать, будете уж тогда до смерти за мною ходить. Как тебе это покажется?

— Батько,— опешил Левко,— хутор ваш мне не надобен нынче: что впереди будет — кто ведает; но уж ежели все-таки приведется, то приходите-ка лучше к нам на село — примем за второго отца!

— Ну, то еще треба побачить, что там назавтра ждет. А грамотку на хутор я, однако, тут же вам выправлю, да чтобы монастырь печатью своей утвердил. А нынче магарыча всей громаде!

— Стойте, батько, прежде магарыча скажите: ваши-то дети где? — все не мог согласиться с даровым счастьем Левко.

— Дети? — сразу затужил Нестор.— А я не говорил разве, еще когда вы у меня гостевали?.. Сын — он уж не сын, ушел он с панами, отрезал себя от казачества; а дочка в замужестве от первых родов померла... Ну да хватит кручиниться — лучше выпьем так, чтобы нашим там всем легко икалося! А ну, кобзарь, вдарь такую, какую наяривал, когда сам молодым был...

И кобзарь завел плясовую:

По опёньки ходыла — цить-те-но!
Козубину загубыла — цить-те-но!
А попович мимо йшов — цить-те-но!
Козубину ту знайшов — цить-те-но!
Ты, попович, вражий сыну — цить-те-но!
Оддай мени козубину — цить-те-но!
А попович не оддае — цить-те-но!
До серденька пригортае — цить-те-но!

Под такие слова, совсем уже к духу места, где они произносились, не подходящие, Петро пустился поводить плечами, а потом не утерпел и сделал несколько прыжков вприсядку. Двери в келью раскрылись наполовину, и из прохода теперь, не прячась, глядели безотрывно несколько пар глаз. Монах-келарь понимающе кивнул головою, но, следуя уставу, послал молодого чернеца к игумену за разрешением:

— Скажи высокопреподобному, что казаки на прощание просят трошки погуляти.

Посланец прибежал обратно довольно скоро и с порога доложил:

— Отец-настоятель махнули рукою, дескать — нехай веселятся; только наказал, чтобы выставили добрый дозор смотреть за дорогой.

Казаки, приободренные разрешением хозяина, разошлись вовсю; щеки молодиц запылали ярым пламенем, а кобзарь выводил все хлеще и забористее:

Як бы мени зранку кавы филижанку,
Тютюна да люльку, и дивчину Ганнульку:
Кавоньку бы я пыв, люлечку бы курыв —
Дивчину Ганнульку до серця бы все тулыв!

Гаркавый наконец откровенно принялся отплясывать гопака, выкрикнув как бы в оправдание:

— Ох и грает гарно старый кобзарь — сами ноги ходят!

Тут слепец вдруг резко оборвал песню, обвел всех вокруг будто вновь зрячим лицом и сказал, положа ладонь на стихшие струны:

— Тяжко вспоминать, товарищество, но, видно, придется. Не такой я вовсе, казаки, старый, як воно кажется. Это меня попотчевал выродок наш гадючий, Ярема, прямо в родном селе на Полтавщине. Налетел он со своими харцизяками, а между ними и из своих кое-кто был,— да во время набега убили до смерти маленькую мою доньку Олесю. Вот понес я ее на погост, света белого не взвидевши, и наскочил ненароком на того изверга, а он мне орет:

— Ты чего это, подлый хлоп, шею вытянул и не кланяешься?

— Не приметил я вас, прощенья прошу, пане ясновельможный...

— Ну так и вовек тебе меня не видать! — гаркнул он и тотчас наказал вынуть мне ножом очи. Так-то! А лета мои еще самые что ни на есть середние. Не знаю, кто тогда и поховал Олеську мою... И пошел с той поры кобзарем людей на месть созывать.

Едва он произнес последние свои слова, как духом влетел дозорный чернец:

— Там какие-то чужие с оружием подъезжают, около полусотни!

Кто где был, все повскакали с мест и вылетели на двор. Петро помчался с монахами в какой-то чулан за оружием и вышел оттуда при немецком бандолете, догоняя опередивших его Настю с Левком. Молодой муж вынул свой ятаган и проверял пальцем остроту лезвия; Настя тоже тащила саблю поменьше, словно и она готовилась к бою.

Остановились около ворот. На обеих башнях толпились насельники монастыря с мушкетами; несколько монахов, оказавшихся заправскими пушкарями, разожгли фитили и высунули из бойниц жерла небольших гаковниц. Приезжие казаки стояли под самою брамой, а старший над защитниками всматривался во все глаза через щель наружу.

— Ляхи! — сдавленно крикнул он.— Выкидывай на башне знамя!

На самой верхушке справа взреял широкий белый прапор. Загон чужаков приосадил коней. Навстречу им вышел через калитку посланец, несший в руках королевскую грамоту с привешенной книзу большой золотой печатью. От отряда отделился высокий шляхтич, должно быть старший, и подъехал не спеша к чернецу. Просмотрел наискось универсал, увидал подпись — и, махнув своим рукою «отбой», понуро отправился назад.

— Раздери тебя сатана! — выругался черным словом Гаркавый, позабыв, где находится.

...— Вы особенно не дивитесь,— рассказал вернувшийся посол тем, кто ожидал его с трепетом внутри обители.— Они ведь не бумаги этой спугались. Это ж сброд из воеводского ополчения, что из-под Берестечка по домам разъезжается. Верно, надеялись поживиться у «схизматиков», да как завидели перед носом готовые жерла — разом и повернули.

— Лакома шляхта цапать на дармака,— бросила Настя Петру.

— О! Ты смотри, и молодичка тут как тут: ты что это — от шлюбу та и на сгубу?!

— Мне не впервой,— запальчиво возразила Настя. Чернец недоуменно повел глазами на мужа.

— Да, чтоб вы знали,— вступился тот за нее, довольно глядючи на расхрабрившееся свое «подружие».— А до нашего стана дорога отсюда неблизкая.

Настя гордо оперлась на свою саблю, не размеривши силы, ажно лезвие согнулось; солнечный луч скользнул по нему зайчиком и глумливо наехал на чернецовы очи, так что тот с отвычки даже прикрылся ладонью.

...К вечеру Петро Гаркавый поспел отвезти в город Олену, оставшуюся ожидать последней надежды у дядьки, и вернулся в обитель еще с двумя парубками.

— С вами в полк,— коротко объяснили они.

Путники в полном сборе стояли за воротами, когда к ним подбежали двое могутных молодых чернецов:

— И мы до вас!

— А что скажет отец-игумен?

— Да вот что: благословил, как Ослябю и Пересвета,— твердо ответили новые казаки, предъявив выданное самим настоятелем оружие.

Уже совсем затемно весь гурт, минуя по указанию монахов коварные вязкие песчаники, двинулся вдоль леса на Плужное. Дубрава приветно шумела ветвями, сквозь прореженные верхушки сосен выглядывали далекие звезды,— а впереди стелился на полдень заветный и вольный путь.

ДРУГАЯ ДОРОГА

лежала перед победившею под Берестечком шляхтой: она вела на полночь и запад; судьба же и тех, и других шествовала одной ей ведомыми, невидимыми стезями. И есть какой-то не до конца оцененный разумом, но внятно воспринятый душою урок в том, что именно эта битва — проигранное сражение победоносной войны — крепче других, счастливых запечатлелась в народной памяти и сказаниях.

Простые селяне звались по-польски «посполитыми», то есть «заурядными», «общими», «всякими»; «ржечь посполита» — «общее дело», точный перевод латинского «рес публика» — было именем всего государства. На Южной и Западной Руси, составлявших более половины польско-литовского «республиканского королевства», пути-дороги шляхетства дейст-

вительно пролегли в направлениях, совершенно противоположных тем, куда тянулось душою и телом крестьянство-христианство — казаки, селяне и духовные: это и стало залогом грядущей государственной катастрофы.

По беспощадному закону, гласящему, что предательство являет собою не просто переход в чужой стан, а становится неостановимым шествием все вперед и ниже в преисподние бездны, наиболее беспощадным гонителем «веры и животов» православных посполитых людей стала именно бывшая же своя единокровная шляхта — все эти Вишневецкие, Огинские, Тышкевичи, Ходкевичи, Чарторыйские,— решившаяся обменять предания отцов сперва на унию, затем переходя в чистый католицизм, а кое-кого тянуло и далее — в разные протестантские толки и секты, да даже и иноверие вплоть до магометанства и ветхозаветного закона.

Учение и участь противников Троицы — антитринитариев или ариан — в сем отношении особенно показательны, как путевой знак «смертельно опасно» на развилке дорог истории, которые хотя и кажутся иногда давно пройденными и быльем поросшими,— но в возмездие за подобное забытье как нарочно способны вновь подвести к почти что такому же выбору, в коем идущий не вправе уже ошибиться: ценою решения станет не единая отнюдь голова.

Со всем тем удивительно невнимание, с каким упущено до сих пор упорное возникновение антитринитариев во всех поворотных точках отечественных Средних веков. О временах до пресечения Рюриковичей на троне речь уже заходила вкратце выше: припомним лишь еще раз, что как «правде» противоположна ломающая прямоту «кривда», так и вынесший в Литву хулу на православие ересиарх носил достойное имя «Косой». Однако долго ждать возвращения в родные пределы «новое учение» не пожелало: и вот еще один беглец, Григорий Отрепьев, сбросив чернеческое платье вместе с народною верой, направляется сперва ведь отнюдь не к иезуитам — он находит прибежище на русской Волыни у ариан в местечке по имени Гоща, где учится в антитринитарианской школе и отправляет обряды секты. В 1603 году ариане направляют его к «своим» людям на Запорожье, стремясь возмутить казаков против Москвы. Причем и впоследствии выучка социнианская не прошла Лжедимитрию даром, а связь с руководством секты сохранилась до самого дня его казни московским людом. В первый еще поход на Россию он поставил во главе передового отряда известного арианина Яна Бучинского. Сей самый Бучинский с братом остался главным

советником самозванца и в захваченной им столице — даже после того, как по требованию народа от двора были удалены все католики. Именно Ян Бучинский был на челе посольства, отправленного в Польшу высватать на поприще всероссийской Смуты Марину Мнишек; зато его же униженные показания, данные после убийства Лжедимитрия, доставили множество никому более не ведомых тайн расстриги-предателя.

Но еще более выразителен в поистине художественной завершенности жребий русского антитринитария с неизменно присущей высокому языку истории, выбирающей самые подходящие слова для своих летописей, «говорящей» фамилией

НЕМИРИЧ,

о коем, как нарочно, покуда не написано не то что книги, но ниже́ и отдельной статьи; а уж в художественной словесности появление его на полях главного действия, как кажется, вообще единично.

Родовой герб Немиричей венчал шлем в шляхетской короне, над которым располагалась еще серебряная лилия с росшими из нее кверху четырьмя павлиньими перьями; под всем этим навершием помещался фигурный щит, где на червонном поле перекрещивались две серебряных же «клямры», то есть скобы. И ежели отвлечься от полузабытых уже аллегорических толкований различных предметов в древних гербовниках, то скрещение это видится теперь сущим перекрестком двух погибельных путей — перемены своей веры и природного отечества,— которые сознательной волей народа Украины были вынесены за скобки его исторической судьбы.

Немиричи происходили из древнего новгородского боярского рода, о почтенности которого свидетельствует уже то обстоятельство, что в некоторых грамотах фамильное прозвище их пишется не через «е», а через «ять», входившую только в состав исконных славяно-русских слов. Похоже, что «немирное» прозвание, данное родоначальником в наследство потомкам, наложило действительную печать беспокойства на их житейские обстоятельства. В XV столетии Немиричи переселились в Литву. В 1539 году великий князь Сигизмунд позволил Ивашку, сыну Николая Немировича, выстроить замок; получили они и большие владения на принадлежавшей Литве Украине.

Первоначально Немиричи держались дедовского православия, были записаны в Луцкое братство на Волыни, боровшееся с окатоличиванием и унией среди русского населения края; а в начале XVII века Самуил и Криштоф Немиричи, последний с собственным полком, пристали к казацкому восстанию против Польши.

Первым преступником веры в семье сделался Стефан Андреевич Немирич, подкоморий киевский и староста овруцкий, живший в первой четверти семнадцатого столетия. Главным имением его, как бы столицею громадных маетностей, разбросанных в Киевском и Волынском воеводствах, было местечко Черняхов Житомирского уезда, где уже в 1611 году заведена была социнианская община; с переходом владельцев в стан антитринитариев Черняхов сделался таким же средоточием секты на Украине, каким был на Волыни Киселин Чапличей.

Стефан Немирич состоял в обширных родственных связях почти исключительно с социнианскими же фамилиями; в 1625 г. он участвовал в комиссии, назначенной польским правительством для устройства казаков после их поражения под Куруковым. С самого детства в антитринитарской вере воспитаны были и три его сына, впоследствии выросшие в крупных деятелей секты: Юрий, Владислав и Стефан. Наиболее громкую известность приобрел старший из них — Юрий.

В молодости он учился в раковской академии, где, как уже поминалось, свел дружбу со внуком Фауста Социна Андреем Вишоватым и ездил с ним в компании единоверцев для довершения просвещения за границу. По возвращении, обладая обширными связями в сенате и при дворе, он стал могущественным патроном противников Троицы, всячески пользуясь своим положением блестящего и европейски образованного пана. В 1637 году его выбирают депутатом от Киевского воеводства в люблинский трибунал, где благодаря его содействию устроено было принародное прение между социнианскими начетчиками и иезуитами.

Оставшись после кончины отца опекуном младших братьев, Юрий Немирич сосредоточил в собственных руках управление всеми многочисленными родовыми имениями и принялся самым действенным образом покровительствовать единоверцам. Благодаря именно Юрию Немиричу секта достигла на Украине в 1640-е годы наибольшего расцвета: он основал несколько новых общин в своих имениях по обе стороны Днепра, приютил у себя часть изгнанных после раковского погрома ученых, да и сам писал философские и богослов-

ские сочинения, слагал даже для социнианских служб молитвы и гимны — правда, на польском, а не русском языке.

Немирич выхлопотал себе звание подкомория киевского — высокий судейский чин в польско-литовском государстве; но получение его связано было с обязанностью принять католичество. Тогда Немирич принес потешную присягу на житомирском сеймике, в большинстве состоявшем из тех же антитринитариев, и на вопрос, не гнушается ли социнианин клясться враждебным для него именем Троицы, лихо ответствовал на все собрание, что ради своей цели охотно готов присягнуть не только что «тройкой», но и «четверкой».

Потом, правда, ему довольно долго пришлось улаживать склоку, поднятую из-за игривого святотатства католическими недругами; но благодаря деньгам и знакомствам удалось-таки подкупить киевского бискупа, который, рассмотрев направленное против почитания Троицы сочинение Немирича — по словам противников, «скрипт блюзнерства страшливого, противно Пану Богу пелный»,— решил, что писан он с единственною целью узнать: чем же могут быть опровергнуты римскими богословами подобные еретические заблуждения. В 1646 году другой приговор суда по новому делу о поддержке Немиричем сектантства был не столь для него удачен: в нем содержалось приказание закрыть в своих имениях арианские общины и выплатить штраф в десять тысяч червонцев; впрочем, в смутной обстановке казацких войн могущественный пан не торопился его исполнять. В 1647-м он принял на службу сына Андрея Вишоватого Венедикта.

Но уже в следующем году Немиричу пришлось бежать от войска Хмельницкого с Черниговщины, покинув тамошние свои маетности, в коренную Польшу. Однако здешний сейм также принял его весьма дурно: католические депутаты подняли крик, что если уж можно еще кое-как терпеть протестантов, худо-бедно обладающих понятием о Всесвятой Троице,— то «безбожников, подобных пану Немиричу», переносить в своей среде нет никакой способности.

Тем временем Хмельницкий, разбивши польское ополчение под Пилявою, осенью 1648-го двинулся ко Львову и занялся осадой Замостья. Немирич воспользовался его уходом с Волыни и вместе с другими южнорусскими дворянами возвратился в свои имения в этом крае. Здесь он собрал собственный отряд как бы для защиты от казаков, но на самом деле, припомня недавние обиды, полученные в Варшаве, совершил попытку переметнуться к общим по крови повстан-

цам, отправясь тайком через Полесье под Збараж, где и встретился с гетманом Хмелем.

Обстоятельства этого свидания таинственны; мало того, прямых доказательств о самой его доподлинности не существует. Однако, по косвенным свидетельствам, Немирич как будто передал Хмельницкому просьбу от тогдашнего королевича Яна Казимира — того самого, который, сделавшись все-таки королем, разбил гетмана под Берестечком,— содействовать его избранию на польский престол, в обмен на что обещал в случае удачи удовлетворить требования казаков о самоуправлении. Ходили также слухи, что, сойдясь с будущим преемником Богдана на гетманстве, а покуда генеральным писарем Иваном Выговским (знакомство это впоследствии перешло в тесный союз), Юрий Немирич убеждал колеблющегося предводителя восстания не порывать окончательно с Польшей. Толки об этих переговорах донеслись до самой Москвы — гонец Кунаков сообщал туда, что Немирич получил звание полковника и сделался даже у Хмеля «найвысшим писарем».

Но до поры арианин-магнат предпочел возвратиться в привычный польский стан. В марте 1649-го он состоял уже генеральным полковником, избранным киевской шляхтой для усмирения казацких бунтов и защиты панских имений. Немного спустя дворянство обратилось к королю с ходатайством о награде и возмещении убытков Немиричу, «который всегда с великой похвалой выступал на защиту отечества и много потратил на то из своего состояния». И в самый разгар междоусобия, в 1653 году Немирич сыскал время для издания отдельной книжкой своих сочиненных на польском социнианских песен и молитв.

В 1655 году союзная Хмельницкому Швеция вторглась в самую глубь Великой и Малой Польши, заняла обе столицы королевства — и тут-то обрадованные протестанты всех мастей поспешили толпами передаться под власть шведского короля-единоверца Карла X. Вместе с братом Стефаном, перенявшим теперь от Юрия должность киевского подкомория, а также родственником и приятелем Александром Чапличем перебежал и Немирич. Одновременно он выполнял кое-какие задания Хмельницкого, осуществляя посольскую связь между гетманом и владетелями Швеции, а также Трансильвании.

В январе 1657-го Немирич с венграми семиградского князя Ракочи разорял шляхетские гнезда. По его поручению он принялся было убеждать сдаться воеводу Замойского в За-

мостье, на что получил убийственный ответ: «Не пиши ко мне, пока не омыл своей измены более благородным делом: я стыжусь иметь сношения с гадинами, терзающими внутренность своего отечества». После неудачи этого похода Немирич распростился в Варшаве со шведским королем и снова пристал к казакам, теперь уже возглавляемым после кончины Богдана и отречения от булавы молодого его сына Юрия давним приятелем Выговским.

Еще в самом начале нового гетманства московское правительство спрашивало у украинских послов: «Кто у них в войску лютор Юрья Немирич, и для чего гетман подавал ему городы: Кременчук, Переволочно, Кишеньку, Кобеляк, Белики, Санжаров, и сколь давно ему гетман те городы дал, и для чего люторов в войску держит?» Посланцы Выговского говорили в ответ, что-де «лютор Юрья Немирич пришел в войско еще при небожщике при прежнем гетмане Богдане Хмельницком, а нынешний гетман ему тех городов не давывал, а называл он те городы прежними своими наданными маетностями и хотел о тех городах бити челом великому государю». Рассмотрев сие дело, из Москвы прозорливо указали: «Гетману того лютора в войску не держать, и говорить, чтоб он его выслал...»

Однако в неблизкой Великороссии покуда еще не догадывались, что и сам Иван Выговский, вкупе с ближним своим советчиком Немиричем, сделался уже душою самостийной партии, поведшей дело к разрыву решенного на Переяславской раде воссоединения Руси.

Юрий Немирич состоял довереннейшим лицом при зрадливом гетмане в самую острую пору скрытого отхода от Москвы — ему поручалось принимать царских послов и вести с ними переговоры, в ходе которых он во всем блеске показывал свое европейское обхождение, даже подымая здравицы в честь государя Алексея Михайловича. Когда же война с московитами началась в открытую, Немирич возглавил отряд, действовавший против войска воеводы Ромодановского, разбил стрелецкую конницу, осаждал русских в Лохвице, покуда сам Выговский был занят расправою с той частью казаков, которая осталась верна принесенной Хмельницким клятве.

Наиболее полным выражением чаяний противников единства России в казацком стане стал заключенный в 1658 году в Гадяче договор с Польшей, составленный лично Немиричем. По нему Малороссия вновь примыкала к Речи Посполитой на правах самобытного государства под названием «Великого Княжества Русского», со своим верховным трибуналом,

сановниками, казначейством, монетой и войском. Предполагалось создать в нем две академии — одну в Киеве, другую в неназванном пока месте, где это впоследствии окажется удобным, а также множество школ со свободным преподаванием и совершенно вольное книгопечатание. Стремясь привлечь сочувствие казачества, Немирич предусмотрел в соглашении полное упразднение унии в новом государстве; для соблюдения внешних приличий он как будто бы тоже вернулся в отеческое православие, составив обращение к прочим польским «диссидентам» — то есть буквально «раскольникам», как именовались в Польше все некатолики от русских до кальвинистов и антитринитариев, за исключением придерживавшихся отъявленно нехристианских исповеданий,— последовать его примеру. Но вместе с тем чрезвычайно показательно, что и в Гадяче, и на последовавшем для утверждения договора польском сейме Немирича сопровождал его давний товарищ по секте, владелец Киселина Александр Чаплич...

Весной следующего, 1659 года Немирич с двумя сотнями значных казаков прибыл в Варшаву. В сенатской зале, где посреди старейшин восседал сам король, он выступил вперед и произнес на изысканной латыни велеречивое слово:

«Мы являемся в настоящий день перед престолом его королевского величества, перед собранием всей Речи Посполитой послами светлейшего и благороднейшего гетмана всего войска Запорожского и вместе с тем целого русского народа — признать пред лицом всего мира, пред грядущими веками его величество повелителем нашей свободы, Речь Посполитую и корону польскую нашею отчизною и матерью. Держава вашего величества во всем свете славится свободою и подобна Царствию Божию, где как огненным духам, так и человеческому роду даются божеские и человеческие законы, с сохранением их свободной воли без малейшего нарушения, на все времена от сотворения мира. Пусть другие государства и державы славятся своим теплым климатом, обилием земных богатств, избытком золота, драгоценных перлов и камней, роскошью жизни; пусть красуются перед целым светом, подобно дорогим камням, оправленным в золотые перстни,— их народы не знают истинной свободы: забывая, что одарены от Бога свободною волею, они живут как будто в золотой клетке и должны оставаться рабами чужого произвола и желания. В целом свете нельзя найти такой свободы, как в польской короне. Именно сия неоцenимая, несравненная свобода и ничто иное привлекает нас теперь к соединению с вами: мы

рождены свободными, в свободе воспитались и свободно обращаемся к равной свободе. За нее, за честь достоинства вашего величества, за благосостояние всеобщего отечества, готовы положить жизнь нашу. На ней да созиждется наше неразрывное единство, как и на сходстве религии, жизни и прав наших народов; свобода и братское равенство да будут основою нашего соединения для потомков наших.

Государства поддерживаются теми же средствами, какими они созидаются. Быть может, всесильная рука устрояла наше соединение для того, чтобы другие народы последовали нашему примеру, преклонились пред вашим величеством, обняли и облобызали этот драгоценный талант и клейноды польской короны. Да возрастает Речь Посполитая великою и могущественною державою, Божиим благословением, счастливым царствованием и попечением вашего величества и благоустройством соединенных земель. С нашим подданством приносим мы вашему величеству, королю и государю, свои просьбы и желания, в которых мы не могли быть удовлетворены посредством комиссаров на предшествовавших переговорах — только королевское величество и Речь Посполитая могут дать этому делу совет, окончательно решить возникшие вопросы, успокоить озабоченные умы верных подданных его величества и кроткою королевскою десницею привлечь их всецело к себе в объятия.

Мы не надеемся, чтобы нашелся кто-нибудь в Речи Посполитой, кто стал бы смотреть на нас с завистью и недоброжелательством: благородные души свободны от этого порока, а низкие обвыкли скрывать свои постыдные побуждения!»

Здесь речь была приветствована общим плесканием рук, несколько запнувшим ее гладкое течение; обождав, покуда плески утихнут, Юрий Немирич продолжил ее искусными уподоблениями, позаимствовав для них распространенные евангельские образы-притчи:

«Вот блудный сын возвращается к своему отцу... Да примет его отец поцелуем мира и благословения! Да возложит золотой перстень на палец его, да облечет его в нарядные одежды, да заколет упитанного тельца и да возвеселится с ним на зависть другим!..

Обретается потерянная драхма, возвращается овца к пастырю, нашедшему ее: да возложит он ее на рамена свои, и понесет, и возрадуется великою радостью!..

Не тысячи — миллионы душ стремятся к подданству его величеству и всей Речи Посполитой! Радуйся, наияснейший король! Твоим счастием, верностью и трудом совершилось это

дело! Радуйся, наияснейшая королева, прилагавшая свою заботу об этом деле! Примите эту богатую землю, этот плодоносный Египет, текущий млеком и медом, кипящий пшеницею и всеми земными плодами, сию отчизну воинственного и древлеславного на море и суше народа русского! Радостно восклицаем от полноты души:

Пусть живет и да здравствует сиятельнейший король Ян Казимир! Да здравствует республика Польская!»

Засим послы были допущены к королевской руке. Спустя месяц договор получил утверждение, и 22 мая в сенаторской избе произнесена присяга. При этом по личному ходатайству Выговского Юрий Немирич получил «привилей» на должность канцлера Великого Княжества Русского.

...По возвращении из Варшавы он принял еще начальство над «затяжным», то есть постоянным, войском в качестве его «рейментаря» и расставил его на постой в Нежине, Чернигове, Берзне и других местах.

Но уже в сентябре столь трудно выстроенное здание согласия между Украиной и Посполитою Речью дало осадку: лишь только казаки и селяне узнали о содержании договора, они восстали и начали избивать польские отряды по местечкам. Немирич пытался как-то усмирить поднявшийся пламень; затем понял безнадежность попыток и бежал,— однако был пойман казаками за Кобизчею, близ села Свидовца Козелецкого уезда на Черниговщине и изрублен в куски...

Второй брат Юрия — Стефан, преподававший в социнианских школах, в 1649 году под его же рукою в чине ротмистра воевал с казаками, затем так же вместе они переходили ко шведам и Выговскому. После гибели Юрия Стефан с его сыном Федором и дочерью третьего их брата Марианною бежал за границу. В 1665-м он, однако, выпросил у короля прощение, перешел в католицизм и по возвращении в Польшу сделан был воеводою киевским.

Сам же третий брат Владислав, староста овруцкий, умер еще в несозрелые годы, причем посмертная судьба его оказалась в истории более известной, нежели прижизненная, благодаря проделке иезуитов, обративших внимание на чрезвычайную заботу, проявляемую арианами к своим захоронениям. Владислав Немирич скончался около тридцати лет от роду, отрекшись как будто бы от ереси перед отходом в лучший мир, и собирался причаститься по католическому обряду,— но тут русская кровь в последний раз заговорила, по-видимому, в его душе: он не захотел приобщиться пресной облаткой вместо принятого всеми православными причастия

под двумя видами — евхаристического квасного хлеба и вина, преложенных в кровь и плоть Христову. Тогда ловкий патер согласился в случае неистинности римского чина взять весь грех на себя, выдав в том формальное удостоверение, гласившее:

«Я, Михаил Кисаржевский, из ордена иезуитов, удостоверяю настоящим Божие Величество в том, что если благородный Владислав Немирич потерпит какой-либо ущерб перед судом Господним вследствие принятия католического причастия под одним видом, одобренного церковию в течение всех веков, то я весь этот ущерб принимаю на себя и на душу свою и готов буду отвечать перед Величеством Божиим вместе с матерью моею, святою католическою и апостольскою церковью, и со всеми верными. Дано в Люблине, в иезуитской коллегии, 11 апреля 1653 года. Михаил Кисаржевский».

Истощенный смертным трудом умирающий вроде бы удовлетворился странноватым сим пропуском в инобытие, принял облатку и опочил. Иезуитское писание перед закрытием крышки гроба вложили в руку покойного и перенесли останки в храм для отпевания.

Когда же через пять дней собрались уже было опустить бренную плоть младшего Немирича в склеп, устроенный внутри люблинского костела, то, приоткрыв напоследок домовину, обнаружили кроме известной расписки в деснице покойника еще и другую бумагу, положенную на его грудь:

«Я, Владислав Немирич, освобождаю превелебного Михаила Кисаржевского, ксендза иезуитского ордена, от обязательства, принятого им на свою душу: ибо я получил полное удовлетворение, по безграничной милости Божией, и отпущение всех моих грехов в страшную минуту суда, вследствие исповеди и св. причастия, принятого мною по обряду римской церкви в минуту смерти, в чем и удостоверяю настоящим свидетельством. Дано в Долине Покаяния, 16 апреля 1653 года. Владислав Немирич». Оба документа для вящей достоверности и сохранности внесены были в актовые книги люблинского трибунала за текущий год ректором иезуитской коллегии, под началом коего трудился предприимчивый ксендз, а оригинальные списки положены обратно в склеп.

...Около того времени противникам Троицы арианского толка на Украине положен был конец, а сама она прочно воссоединилась с единоверною Русью; и причина для двух этих явлений была одна — как коротко заключает историк прошлого столетия: «Все социнианские общины были сметены с

лица Южной Руси казацким движением и уже никогда более не восстановлялись в ней».

В 1660 году за предательское поведение при шведском нашествии социниане были извержены и из Польши; они рассеялись по Европе, и постепенно остатки их перелились в унитарианские секты сходных с раковским толков. Перед самым уже растворением в них последние социнианские ученые успели выпустить в Голландии несколько книг, посвященных истории и верованиям «польских братьев». А сам Андрей Вишоватый, окончивший свои дни в Амстердаме в 1678 г., на склоне дней пришел к мнению, что истинными предшественниками антитринитариев следует считать даже не ариан, а «евионитов» — иудействующих христиан второго-пятого веков, крепко державшихся прежде всего Моисеева закона, включая обрезание и почитание субботы, напрочь отвергших писания апостола Павла, а с ними и три из четырех Евангелий.

Среди эмигрантов известны также два Немирича. Один из них — Кшиштоф, был сектантским поэтом; а второй — некто «Д. Немирич» — оказался и вообще последним из писателей «польских братьев»: в 1695 году он издал в Германии по-французски трактат «Правда и Религия в гостях у богословов, где они разыскивают дочерей своих — Милосердие и Терпимость».

Помимо печатных книг, единственными вещественными памятниками антитринитариев долгое время оставались их диковинные, «не людские» по понятиям современников, захоронения. Иезуиты недаром обратили на них хитрый взор — ариане отказывались полагать свои останки на освященных временем христианских кладбищах рядом с предками; напротив, вырывали могилы на отшибе — в пустынных местностях, на горах, в садах, на «фольварках», то есть в своих имениях, насыпая поверху курганы или воздвигая одинокие башни. Впоследствии при полевых работах или раскопках находили эти гордые уединенные останки с вложенной в руки непременной металлическою дощечкой, надпись на которой по-латыни гласила: «Я знаю, кому поверил»; а сбоку помещалась закупоренная стеклянная бутылка с кратким жизнеописанием умершего.

Постепенно русские и польские крестьяне стали суеверно звать «арианскими могилами» всякое вообще нехристианское погребение, почитая их за места нечистые. Да и за что было хранить благодарную память, скажем, о приведшем в арианство все свои имения Александре Прон-

ском, владетеле Берестечка, если он передал маетности во Владимир-Волынском уезде арендатору Абраму Турейскому с правом казнить крестьян смертью «за ослушание, неповиновение и упорство при отбывании повинностей»...

До нашего времени на Волыни дошел всего лишь один такой «нечистый памятник» как раз над костями этого самого человека: он высится посреди поля на западной окраине Берестечка и представляет собою изрядно повыщербленный ветрами кирпичный монумент в виде узкой пирамиды. С одного боку в нем кто-то из гробокопателей продолбил через стену дыру — но по-за кирпичом оказалась лишь крепко схваченная раствором забутовка. Местные жители зовут его «Мурованый столп»; на одной из граней сохранилась доска с надписью по-польски:

«Александр Фридрихович князь Пронский, каштелян Троцкий, умерший в 1631 году в последних днях марта».

Всего в сотне шагов от него по направлению к дороге есть еще часовня, называемая «Святая Текля»: на ней в отличие от арианского столпа водружен крест, а возвышается она на кургане, где по преданию погребены пятьсот украинских девушек, замученных татарами.

Путь от этих двух памятников к месту битвы у слияния Стыри и Пляшевки проходит через площадь местечка Берестечка, где по одну руку стоит брошенный костел начала осьмнадцатого столетия ордена тринитариев с обрушившейся внутрь крышей, а по другую — огромный православный собор Святой Троицы, выстроенный на полтораста лет позднее и обращенный посреди нашего века в склад.

Следуя далее на восток, мы оставляем по правую руку небольшую, сумевшую сохранить жизнь кладбищенскую церковку Георгия-Победоносца, любимого святого Южной Руси, и через пять верст попадаем почти к цели нашего путешествия — но, идучи к ней, неминуемо придется ступить прямо на

ПОЛЕ БИТВЫ НЕ НА ЖИВОТ, А НА СМЕРТЬ...

Во все времена и у всех людей отношение к смерти было одним из основных вопросов жизни, и каждый народ, как и отдельный человек, решал его на собственный лад. Особый взгляд на него имели и наши предки, о чем чрезвычайно наглядно свидетельствует такой стародавний обычай.

Человек еще при полном здоровье записывался своею волей в «помянник», по которому его имя читали в храме «за упокой», заказывал по себе непрерывную сорокадневную церковную молитву — сорокоуст и требовал начать такое отпевание заживо немедля. Затем отправлял поминки в третий, девятый день, в полсорочины и сорочины, сидя во главе стола с друзьями и знакомыми на собственной печальной тризне, самого себя провожая чашею и кутьей... Когда же смерть действительно навещала его, родичам оставалось всего-то хлопот, что снести в храм, прочесть прощальную молитву и похоронить. Чудное сие обыкновение известно на Руси уже с двенадцатого века, причем, как гласит памятник той поры «Вопрошание Кирика», священнослужителям поддерживать его отнюдь не возбранялось. И конечно, цель его вовсе не была в том, чтобы отнять у алчных наследников возможность прокутить похоронные деньги, как могло полагать подозрительное ко всему духовному девятнадцатое столетие,— на самом-то деле после подобного чересчур красноречивого торжества неминуемо рождалось или оживлялось в душе чрезвычайно ответственное внимание к соотношению временного и вечного.

...Спустя полтора века после воссоздания южной и северной Руси Польшу постигло государственное крушение, и после троекратного раздела она надолго перестала существовать как самостоятельное целое. Но по несчастной русской наклонности меньше заботиться о домашнем и ближнем, нежели чем о дальнем чужом, «поп да хлоп» на Украине остались в положении отнюдь не завидном. Вот как скорбно заключает свое обширнейшее исследование «Последние годы Речи Посполитой» называвшийся ранее не раз украинско-русский историк Николай Костомаров: «Нас в школах заставляли содрогаться при описаниях гонений и поруганий, какие чинили поляки над православною верою; а народ в своих песнях, никому кроме него не ведомых и не понятных, заявлял о том, что и теперь православные церкви стоят пустыми, потому что паны-ляхи гонят его на работу в воскресные дни... Речь Посполитая исчезла с географической карты, шляхетские поколения метались во все стороны, отчаянными средствами пытаясь поднять из могилы и воскресить своего мертвеца, еще заживо сгнившего; а между тем для миллионов русских хлопов, для той русской массы, за которую шел многовековой спор России с Польшею, проливались потоки крови,— для них одних продолжала существовать эта Речь Посполитая».

Костомаров неоплошно зовет здесь тех, кого мы привык-

ли знать как «украинцев», русскими — и не только потому, что в веках они носили различные имена, поминавшиеся уже в этой повести: «южноруссы», «малороссы», «хохлы» и так далее. Более коренной причиною является та, что об руку с радостью единения шло и тяжкое иго всех трудов и несчастий, которое приходилось теперь нести сообща. Сходное во многом положение складывалось и в других подобных случаях; о нем убийственно точно выразился летописец в концовке «Повести о псковском взятии». Рассказавши дотошно про обстоятельства болезненного вхождения Пскова в русскую державу, перечислив правды и вины обеих сторон, он сухо говорит в последних строках, что житье-бытье поселян лучше после того не сделалось, иноземные торговцы город вообще покинули, и остались горе мыкать одни природные псковичи. А почему? — Да потому, что «земля не расступитца, а и уверх не взлететь».

Начало возрождения русской крестьянской Волыни было положено при Александре II; оно во многом связано с именем сводного брата поэта Константина Батюшкова Помпея. Труды его продолжил назначенный в 1902 году волынским архипастырем Антоний Храповицкий — а восстановленная в народе память о славном прошлом отнюдь не случайно обрела свое видимое воплощение на поле битвы под Берестечком.

Здесь уже на протяжении двух с половиной столетий беспрестанно находили казацкие останки и оружие. В начале нынешнего века при строительстве шоссе к Берестечку от Дубно под верхними слоями земли откопали кремневые ружья, пистоли, ядра, кресало, ножи, пороховницу-натруску. Тогда начались уже целенаправленные раскопки, которыми руководил наместник знаменитой не только в крае, но и по всей Руси Почаевской Лавры Виталий.

Тела погибших лежали на небольшой глубине — всего до полуаршина. Средоточием находок оказался холм, называемый Журавлиха или, несколько по-иному, Журалиха — что кое-кто не столько научно, сколь по сердцу производил от сложения «журбы» (кручины, грусти, печали) с «лихом». Здесь, в возвышенной части поля на дороге от села Пляшевого к селу Остров, полегли убитые в первый день сражения казаки. Далее, на двух лесистых островах в урочищах Волицы и Монастырщина (на последнем некогда стоял по преданию православный монастырь) обнаружили множество останков селян, погибших в последний, двенадцатый день боя.

Раскапывать поле продолжали и в последующие десяти-

летия; с 1970 года работы проводятся каждое лето. В совсем недавнее время обнаружили, например, два скелета на месте переправы через болото, в ребрах которых застряли пули; до тридцати сабель, пики, мушкеты, самопалы, пулелейки, навершия бунчука и знамен, трубки-люльки, сапоги, казаны для варки пищи, даже часть походной канцелярии Войска Запорожского. Помимо казацких и селянских вещей, в земле оказались нательные крестики, по которым безошибочно определили останки уже не запорожских, а великоросских казаков с Дона — на Украине той поры крестов-тельников еще не носили; а также ушные серьги, бывшие в обиходе у щеголеватых донцов. Мало того, здесь отыскалось оружие, перстни и игральные кости московских стрельцов, тоже к удивлению историков входивших в Богданово войско. Попался и кошелек с серебряными монетами — словно в подтверждение знаменитого свидетельства польского хрониста о том, что последние триста смельчаков в ответ на предложение сдаться в обмен на жизнь выворотили карманы на глазах у шляхты и побросали все ненужные отныне сокровища в воду. А подле урочища Гаёк (лесок) доныне существует болотное озерцо по имени «Казацкая яма», где, по народным сказаниям, утонул последний казак.

...Но вернемся покуда к заре нашего века, когда Дмитрий Менделеев в завещательной книге

«К ПОЗНАНИЮ РОССИИ»

на своем смертном пороге предрекал отечеству в близком будущем чрезвычайно ответственные судьбы:

«Если в противоположении „Старого Света“ с „Новым“ роль России была незначительна, то в предстоящем противопоставлении „Востока“ с „Западом“ она громадна, и я полагаю, что при умелом, совершенно сознательном, т. е. заранее обдуманном и доброжелательном — в обоих направлениях — участии России в этом противопоставлении должны выясниться многие внутренние и сложиться многие внешние наши отношения, особенно потому, что желаемые всеми прогресс и мир между Востоком и Западом не могут упрочиться помимо деятельного участия России...

Не по славянофильскому самообожанию, а по причине явного различия „Востока“ от „Запада“ и по географическому положению России, ее и Великий или Тихий океан должно считать границами, на которых должны сойтись интересы Востока и Запада. Желательно, чтобы и нашему отечеству

придано было со временем название Великого или Тихого. Первое название Россия уже заслужила всею прошлою своею историею, а второе ей предстоит еще заработать. Но заметим, что Китай и Япония только для нас и Западной Европы лежат на востоке, а для Америки и Великого Океана ведь это — западные страны. Объединить всех людей в общую семью без коренных противоположений — составляет задачу будущего, и дай Бог, чтобы при решении этой задачи России пришли разумные мысли и достались хорошие роли».

Книга-завет так и осталась недописанною — последними ее словами были: «В заключение считаю необходимым, хоть в самых общих чертах высказать...» Что касается «мыслей», то они, как известно, приходили куда какие разные; «роли» достались такие, что о титуле «Тихого» остается покуда мечтать — проследив же мысленно путь, который прошел в завершающем вторую тысячу лет «новой» эры веке воздвигнутый на холме Журалихе

ХРАМ-ПАМЯТНИК,

можно в разительном сокращении увидеть в нем всю судьбу нашего края.

У истока столетия урочищем Волицы и окружными землями владел некто Ф. Лесько; затем он задолжал процентщику Гершу Шмуклеру 4200 рублей, и луцкий окружной суд по иску последнего вынужден был назначить угодья к продаже в удовлетворение векселя. По счастью, владение приобрел генерал Красильников, выхлопотавший Высочайшее разрешение подарить его Почаевской Лавре для устройства здесь скита в поминовение павших на битве казаков.

Объявлен был всероссийский сбор, и довольно скоро скопилось достаточно средств для начала строительства памятника: размеры пожертвований уместились в створ между царскими двадцатью пятью тысячами и «четвертаком» — то есть двадцатью пятью копейками волынской крестьянки. Основным же «храмоздателем» выступил москвич Иван Андреевич Колесников, главноуправляющий фирмой Саввы Морозова, выстроивший на собственный кошт более дюжины церквей по всему лицу Руси, в числе которых были и два памятных казачьих храма.

Чертеж сделал студент петербургского Высшего художественного училища при Академии художеств Владимир Максимов; руководил созиданием на местности епархиальный архитектор Владимир Леонтович.

Торжество закладки состоялось в девятую пятницу после Пасхи — то есть, по передвижному церковному календарю, первую пятницу Петрова поста, которым произошла в 1651 году Берестецкая битва; в 1910-м, когда в основание храма на Журалихе положен был первый камень, эта дата как нарочно кстати совпала с годовщиной сражения по неподвижному юлианскому счету — или «старому стилю» — 18 июня. И с той поры «девятая пятница» сделалась главным днем поминовения на Козацких могилах, как вскоре стал называться прославившийся по стране скит, где под нее собирались отовсюду великие множества странников-доброхотов. Закладную доску с датой от сотворения мира — 7418 годом — положил сам Антоний Храповицкий в присутствии в точном смысле древнего слова «тьмы» — то есть десяти тысяч паломников.

А уже 10 июня следующего, 1911-го была освящена здесь подземная церковь великомученицы Параскевы. 4 апреля 1912-го в соседнем селе Остров разобрали деревянный Михайловский храм 1650-го года, где по преданию молился перед битвою гетман со своею старшиной,— и 25 мая его освятили на новом месте, в полусотне шагов к северо-западу от строящегося памятника. При разборке у восточной деки престола обнаружили два замшелых каменных креста из известняка с надписями «Зде лежаще Орения» и «Настасия».

22 мая 1915-го, уже в ходе подкатившего под самый порог мирового побоища, освящен был придел князей-страстотерпцев Российских Бориса и Глеба на хорах,— но главный престол великомученика-победоносца Георгия остался неосвященным до окончания войны.

Так в общей сложности за пять быстротекущих, хотя и переломавших много исторических вех лет на прежде убогом холме посреди чистого поля, где лепилась невеличная хатка с двумя старыми чернецами, вырос храм-памятник, имевший особенный облик, нигде более во всей Великой, Малой, Белой, Червонной и Черной Руси не повторившийся.

...Пришедший сюда путник спервоначала подступал к 97-метровой стене скита, где в череде ниш располагались одиннадцать картин «Казацкой панорамы» Ивана Сидоровича Ижакевича, которому судьба отмерила срок жизни в целый век без двух лет — он дожил до 1962 года, став народным украинским художником.

Первая изображала Люблинскую унию 1569 года, окончательно объединившую Литву с Польшей, вследствие чего западнорусские земли, в том числе и Волынь, попали под власть

панов, отдавших коренное население на откуп пришлым арендаторам, начавшим притеснять его жизнь и веру.

Вторая показывала «орендаря», который разоряет семью хлопа, отбирая за долги его дом и скарб.

Третья представляла его соратника-откупщика в пантофлях и ермолке, требующего деньги у попа и крестьянки с младенцем за то, чтобы отворить церковь для совершенья крещения.

Четвертая — казнь гоголевского Остапа на площади в Варшаве.

Пятая — смерть в огне Тараса Бульбы.

Шестая — Богдана Хмельницкого со старшинами, благословляемых киевским митрополитом на борьбу за волю.

Седьмая — сражение у Зборова.

Восьмая — разгром казацкого табора под Берестечком, гибель митрополита Иоасафа и трехсот защитников острова.

Девятая — последнего воина, названного здесь Иваном Нечаем, держащего в руках косу и отвечающего насевшим ляхам: «Жив я козаком и умру козаком, а пид вашу паньску конституцию знов не пиду».

Десятая — скорбный вид поля после битвы, со стихами Шевченко:

Ой, чого ты почорнило, зеленее поле?
Почорнило я од крови за вольную волю:
Круг мистечка Берестечка на чотыри мили
Мене славни запорожци своим трупом вкрыли.

И, наконец, одиннадцатая являла вид Переяславской Рады.

Пройдя через святую браму — врата — внутрь скита, странник первым делом направлял свои шаги в старую деревянную казацкую церкву предводителя небесных воинств архангела Михаила. Сюда были собраны со всего света памятные святыни — икона Троицы, написанная на доске от Мамврийского дуба и присланная из Иерусалима, икона и одежды великомученицы Варвары из Киева, частица мощей победоносца Георгия. Среди известных всякому православному образов в левом нижнем углу иконостаса был и один необычный, запечатлевший местное предание: посреди некоей храмины в деревянной кадке плачут три обнаженных отрока; слева седой арендатор с длинною бородой, в зеленом лапсердаке, тянущий к ним алчную руку — но ей не дает достать беззащитных детей появившийся справа вверху Никола-заступник, держащий в шуйце епископский жезл, десницею же

благословляющий попавших в беду страдальцев. Устное сказание повествует, что некогда изуверный злодей, взявший на откуп у пана православный Никольский храм, задумал было принести в нем сектантское жертвоприношение — заколоть трех невинных отрочат; но преступление пресек чудесно явившийся небесный покровитель церкви, справедливо покаравший изверга и спасший детей.

Посреди храма у амвона, под огромным образом архистратига Михаила начинался спуск в подземный ход. Пройдя по нему в полутьме шагов пятьдесят, поклонник попадал в пещеру, в стены которой были вмурованы полки, где за стеклом нашли свой последний покой долготерпеливые казацкие косточки. Но главное их вместилище помещалось перед глазами; обойдя его справа или слева, по пяти ступенькам пришелец попадал на паперть подземной Парасковейской церкви — однако сперва торопился войти по новым ступеням уже с другой стороны в столповидный склеп. Здесь как бы в прозрачном гробе покоились черепа павших в битве; многие из них от векового лежания в торфе почернели, а сверху сквозь прозрачный купол на них изливался солнечный свет.

Вновь спустившись в подземный храм, где хранились две присланные в дар из монашеской столицы в далекой Греции — святой горы Афон — иконы Богоматери «Слезоточивая» и «Провозвестница», внимательный странник мог заметить продолжение хода вбок — он вел в Троицкую часовню над выходом к речке Пляшевке, где хранилось найденное оружие; из нее можно было выйти на береговую луговину к подножию холма Журалихи.

Но обычно все направлялись отсюда вверх — в главный Георгиевский храм, а потом по лестнице в башне подымались в верхний придел, Борисоглебский. Отсюда лучше можно было разглядеть помещенный в церкви Георгия дар самого Иерусалимского Патриарха — трехраменный крест из кедра, кипариса и певга, утвержденный на подножии из кедрового же пня, в средину которого вставлен был еще малый золотой крест с подлинною частицей Животворящего Древа Креста Господня, а внизу вложен настоящий камень из Голгофского холма.

Высота всего храма-памятника была двадцать восемь метров. Стены его имели белый цвет, крыша — зеленый, шесть же глав были голубыми с золотыми звездами и крестами. На отдельно стоявшей колокольне висел пожертвованный русским воинством самый большой на Волыни колокол в 855 пудов, отлитый из стреляных гильз; его подняли в самый канун войны,

и звон этот слышен был даже в Австрии, до которой тогда от Козацких могил было всего несколько верст.

Но самым большим чудом трехъярусного собора, делавшим его ни с чем на Руси не сравнимым, было его обращение как бы в единый алтарь. Западная стена храма-памятника была сделана в виде еще одного иконостаса: шестисаженная арка венчалась образом Нерукотворного Спаса, под ним было написано Распятие с балдахином и лампадами, по сторонам Креста широко раскинулся иконный город Иерусалим. Голгофой здесь служила арка входных врат, превращавшихся тогда в царские, по бокам коих в киоты из красного кварцита и черного лабрадорита, воплощавших кровь и скорбь, вплетались символы воинской доблести — Георгиевские кресты и ленты; создателем этой живописи был тот же художник Ижакевич.

И вот, когда в особо торжественные дни весь холм заполнялся народом, Георгиевская церковь делалась алтарем, наружная западная ее стена становилась завесой — а собственно храмом служило все широкое поле, увенчанное высоким куполом небес!

Одним из таких особенно запечатлевшихся в общей памяти праздников было освящение весной 1915 года верхнего Борисоглебского придела. Накануне, 21 мая, несмотря на близкое присутствие фронта, линия которого проходила всего в пяти верстах от Берестечка, за всенощной присутствовало несколько десятков тысяч человек. Продолжалась она до самой полуночи, после чего сразу началась всенародная панихида — во время которой на солею алтаря-храма вышла полная сотня священников с кадилами, провозгласивших «Вечную память» защитникам веры и отечества. А в шесть утра это воистину всенощное бдение сменилось раннею обедней. Для православной евхаристии обязательно потребен «антиминс» — плат, в который вложены мощи мучеников. На сей раз из далекой Москвы были доставлены подлинные святые останки уморенного голодною смертью в 1612 году в подземелье Кремля Патриарха Всея Руси Ермогена, загубленного польскими захватчиками за отказ призвать народ и страну к подчинению. Архиепископ Евлогий возложил их поверх алтаря-склепа, в подножие которого легли кости мучеников-казаков, и совершил службу как бы в соприсутствии воинства небесного и земного.

Тогда же всем пришедшим раздавали листовки с нотами и словами песни, начинавшейся так:

Не пушками козаченьки Украину боронят,—
На кургани, де их кости, да все дзвоны дзвонят.

Дзвонят дзвоны, гудут дзвоны, витры висти носят:
Вбыты батьки-козаченьки — да помынок просят!

...Но на исходе этого мая-травня австрияки прорвали фронт, и вскоре скит подпал под их имперское владычество. Иноки были изгнаны прочь, знаменитый колокол украли, кто-то снял картины «Казацкой панорамы» и распорядился ими так, что до сей поры следов ее не нашлось; в самом соборе чужаки завели спервоначала конюшню. Несколько позже надзор за ним был поручен хотя и австро-венгерскому офицеру, но родом из Чехословакии, и славянское сердце его дрогнуло — храм-памятник кое-как привели в порядок, а лошадей вывели вон. Брусиловский прорыв следующего лета принес вновь свободу — в 12 часов дня 8 июля 1916 года, на память Казанской иконы Богоматери, следуя давнему обычаю воевать в «священном порядке», русская армия заняла скит Козацкие могилы. С северной стороны Георгиевского собора, бок о бок с предками, похоронили тогда тридцать солдат новой войны, павших при освобождении Берестечка.

Дальнейшая участь памятного казацкого храма тоже была единой со всем западнорусским краем. В лютом (феврале) 1918-го их опять прибрали к рукам австро-германские войска; весною 1919-го немцев сменили поляки, а 2 серпня-августа двадцатого сюда ненадолго вошла 1 конная армия. Ў Исаака Бабеля в его «Конармии» есть особый, хотя и чрезвычайно короткий, рассказ «Берестечко» — он начинается именно с описания Козацких могил, за которыми конный писатель проследил, впрочем, краем глаза и вряд ли с большою долей сочувствия:

«Мы делали переход из Хотина в Берестечко... Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами... Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко».

Городок новому казаку тоже пришелся не по нраву: «Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки». Население довольно-таки разноязыко: «Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой».

Чтобы уединиться от всего этого сброда, Бабель забрался в замок последних владельцев местечка, которых он, как

торопливо проезжий человек, неточно именует «графами Рациборскими» (на самом деле в канун войны Берестечко делили пополам Чесновские и Витославские; «дворец» их дошел до наших дней — в нем ныне располагается приют для престарелых). А покуда он ностальгически разбирал чужие, писанные по-французски письма, в окна залетал снаружи голос военкомдива, страстно убеждавший «озадаченных мещан и обворованных евреев: „Вы — власть. Все, что здесь,— ваше“...»

Спустя несколько дней поляки вновь выбили конников из местечка, которое по Рижскому мирному договору 1921 года почти на два десятилетия вместе со всею Волынью отошло к возобновленной Речи Посполитой. Скит пережил и это лихолетье, хотя подозрительные народные сборы на «девятую пятницу» были тогда запрещены под угрозою наказания и денежных пеней.

19 вересня-сентября 1939-го Украина воссоединилась, но пока ненадолго — с 23 червня-июня 1941 года по 3 квитня-апреля 1944 на ней правили германцы; когда их выпроваживали восвояси, снарядом был сбит крест над северо-западной башней, который лишь в наше время собираются вернуть на осиротелую главу...

Скит перенес вживе вторую войну, как и первую; понемногу в нем собралось несколько старых почаевских иноков, наладивших хозяйство и службу. К 300-летию Переяславской рады в «Журнале Московской Патриархии» появилась небольшая заметка о храме-памятнике славного прошлого. В 1957-1958 местный художник Корецкий расписал внутри верхнюю часть церкви, до которой не успели дойти руки Ижакевича,— но тут как нарочно настали новые тяжелые испытания.

Занявшийся разбором сталинского наследства Хрущев неожиданно напустился на православную церковь, начавши шестилетнюю полосу гонений, которые нанесли ей урон вполне сравнимый с погромом, содеянным столь нелюбимо-близким «царю Никите» предшественником. Возникший на волне противокрестового похода орган «Наука и религия» призывал тогда, ничтоже сумняшеся, развенчав культ личности Сталина, покончить и с «культом личности» Христа. А всего двадцать лет с небольшим назад в нем же на все государство распространен был еще и такой совершенный перл про старинный храм 1687 года у озера Неро на речке Ишне, которую сочинитель укоротил для понятности в «Ишу»:

«КАК ВОЗНИКАЕТ „ЧУДО“

Подъезжая к Ростову-Ярославскому, нельзя не заглядеться на деревянную церковь Иоанна Богослова на Ише. Воздвигнута она безвестными зодчими около трехсот лет назад, срублена одними топорами: ведь в ту пору строители еще не знали пилы и рубанка. От основания до кровель из осиновых плашек (лемехов) предстает церковь как шедевр деревянной архитектуры».

Далее изложение говорит несколько обиняком, но для нашего привычного к подобному языку ума вполне внятно, что в сем строительном произведении, использовавшемся до поры несознательными гражданами для отправления своих религиозных надобностей, случилось «обновление иконы» — древний лик безо всякого человеческого вмешательства засиял как новый. Произошло это в августе 1959 года, и из-за широко разошедшейся по народу молвы пришлось вдруг запылавший очаг мракобесия потушить принудительно. А потом в него пришли ученые люди — и запросто объяснили, что виною всему происшествию обыкновенная шаровая молния:

«Сам факт не редкий: шаровая молния нет-нет да и объявится. Но здесь она „явила чудо“ — обновила икону, сняла позднейшие наслоения, открыла первоначальную, очень интересную живопись.

Огненный шар проник сквозь потолок. По иконостасу скатился вниз, опалив лики ангелов, написанные на дверях, исковеркал металлическую утварь и железные пруты, вделанные в древесину. Затем шар проплыл над полом, поднялся по стоящему в углу Распятию, расщепил его и через окно вылетел вон.

Обновление древней иконной живописи произведено шаровой молнией на удивление чисто и, конечно, не может не изумлять. А то, что произошло это в церкви, что обновленными оказались иконы, казалось бы, особенно благоприятствовало созданию ореола „чуда“, „знамения“ вокруг такого происшествия.

Однако этого не случилось. Благодаря разъяснениям местных атеистов этот случай стал еще одним доказательством того, что каждое явление, даже такое необычное, как обновление икон, вполне объяснимо научно».

Неудивительно, что под гнетом множества подобного разбора доводов, раздававшихся хором со всех сторон, более двенадцати тысяч храмов по всему государству переданы были под использование для более насущных нужд, в числе коих и казацкий

а предприимчивый председатель местного колхоза имени Богдана Хмельницкого по фамилии Пастух устроил в нем птице- и кроликоферму. В 1958 году, когда это произошло, достойнее и сдержанней всего отнеслись к случившемуся выселяемые иноки: ведь еще ровно за три тысячи лет до сей выгонки был сложен псалом, начинающийся скорбным сетованием на то, что черствые душою люди «оскверниша храм святый», превратив его в «овощное хранилище». За протекшие века церковь накопила ни с чем не сравнимый опыт выживания в самых чрезвычайных обстоятельствах — и вновь подтвердила его на наших глазах. На следующий же год другой почаевский скит, уже в одной версте от самой Лавры, обращен был в прибежище для умалишенных хроников; чуть спустя гостиница для странников посереди обители также сделалась доподлинным сумасшедшим домом — каковым пребывает она и по сей день — но все-таки сам монастырь выжил.

Не так скоро, но все же опамятовалось и мирское сообщество. Председатель Пастух сгоряча предлагал селянам раскатать древнюю казацкую святыню — деревянную Михайловскую церкву — аки «опиум народа» по бревнышку, но желающих не сыскал. Покуда кролики обживали храмовые палаты, неуемный преобразователь выпрямил речку Пляшевку, осушил часть поля на месте селянской переправы близ урочища Гаёк и вознамерился высадить на его благодатном торфе капусту. При первой же вспашке из тела земли показались наружу во множестве казацкие «кистки», черепа, сабли, останки коней, оружия и сбруи. Едва только по соседним селам пронесся слух о Пастуховых раскопках, набежал стар и млад и принялись подбирать кто что горазд, пытаясь хоть что-то выручить из пасти забвения.

Толки о совершаемом кощунстве достигли наконец и неблизкого Киева. 95-летний старец Ижакевич отыскал спустя почти полвека тоже еще вполне живого архитектора Леонтовича, и вместе с другими растревоженными людьми им удалось в 1960-м году достучаться в саму Москву. В писательском повременном издании появился возмущенный призыв спасти памятный храм Берестецкой битвы; а год спустя в нем же помещен и немногословный ответ, что-де вопрос рассматривается и будут приняты должные меры. Прошло всего пять лет, и на самом деле бывшие скитские здания переданы были краеведческому музею Ровенской области, который на следующее лето, в 1967-м,

открыл в них свое отделение, работающее поныне.

...Сам я узнал об удивительном этом соборе, словно насквозь пронизанном прозрачным склепом с мощами казаков, по видимости вовсе ненароком, случайно — просматривая сплошь патриархальный журнал по совершенно иной, исторически-московской надобности. Чудная заметка о храме-алтаре запала, однако, в память — но воочию взглянуть на него удалось много позже, проезжая мимо в 999 год крещения Руси Владимиром.

Дело было на Великую Субботу — то есть в самый канун Пасхи, выпавший на 18 апреля; но хотя на Волыни уже почти месяц вовсю праздновала возвращение тепла весна, в день приезда откуда-то из стран полунощи принесло могучий снежный заряд, кружившийся по сторонам дороги и временами вовсе накрывавший только что буйно зеленевшую долину Стыри.

Когда мы уже подобрались к самой скитской стене, внутренность за ней была настолько укутана летучим прахом, что и думать нечего стало пытаться делать какие-то снимки, ради чего и был совершен неблизкий поворот с направления, казавшегося тогда основным. Церкви тоже были заперты на замок, но рядом, в бывших кельях удалось-таки отыскать музейного голову, отдыхавшего после предпраздничной уборки.

Он доброхотно провел по веренице храмов, показал все, что удалось сохранить от былого живого великолепия, а напоследок пригласил к себе в особную комнатку и предъявил словно бы для опознания большой фотографический портрет. Судя по его изъяснениям, снимок обнаружился вчера внутри каменной тумбы — то есть основания главного Георгиевского престола. Впериваясь сколь возможно упорно, вместе разобрали дарственную надпись в «Почаевский казацкий скит», а под нею и скромный росчерк изображенного — «Кронштадтский протоиерей Иоанн Сергиев»...

Спустя еще ровно четыре месяца и одну ночь я летел по воздуху на землю полудня; в голове крутились колючие мысли о совсем близкой кромке небытия, неминуемо возникающие в подобных обстоятельствах, сколько к ним ни пытайся привыкнуть. И среди них вдруг выплыло вовсе без приглашения вновь то знакомое лицо с найденной в скиту фотографии, а потом, почти без перехода, я все-таки вспомнил — будто мгновенная вспышка осветила — чем же сам-то связан со случайно попавшимся в стороне от пути Берестечком.

...Двенадцать лет тому назад мне досталось как единственное наследство от деда по отцу небольшое собрание его руко-

писей. Самого Михаила Ивановича Паламарчука я ни разу в глаза не видал: будучи человеком крайне своеобразным — хотя и проработав почти всю жизнь в непривлекательной должности банковского служащего,— он чуждался родни, с нашей семьей вовсе почти не общаясь, и умер в далекой Самаре, когда мне было всего пять лет от роду.

Судя по тому, что в одном из рассказов, почти неприкрыто жизнеописательном, речь идет о событиях 1905 года в гвардейском саперном батальоне, стоявшем тогда в Петербурге на углу Кирочной и Преображенской улиц, дед появился на свет в 1884 или 1885-м: согласно тогдашнему закону, воинскую повинность «под знаменами» простые люди начинали отбывать с двадцати одного года. А из скудных воспоминаний потомков известно также, что родился он как раз в юго-западной Руси, на восточном Подолье, в нынешней Винницкой области.

Прожив почти весь отпущенный ему на земле срок в великороссийских пределах и в них же положа свои кости, дед Михаил Иванович писал исключительно украинскою мовой; причем занялся он тем сокровенным трудом, уже перевалив на восьмой десяток — по крайней мере, к этим годам относятся все сохранившиеся доселе произведения его пера. Лучший и самый короткий рассказ я перевел на русский язык под несколько измененным заглавием

«КАНУВШЕЕ В ЗАБВЕНЬЕ.

Осеннее солнце старалось нагреть землю впрок на всю долгую зиму. Под его приглушенным сиянием, нисколько не опасаясь раскоряченных чучел, тучами носились туда-сюда суетливые воробьи; пара щеглов, изящных и ловких, присела у одинокой конопли в огороде и поспешно лузгает семена, оглядываясь сторожко вокруг.

На застрехах хат, выпятя животы, греются сочные арбузы; а под ними заботливые дивчины развесили низки красной калины: знак любви и свадебных надежд. В садах на зависть гораздым к выдумке хлопчикам кое-где виднеются еще поздние яблоки.

За речкою на пригорке золотится, прощаясь с увядающей своею красой, березовый лес, а посреди него один широколиственный клен вовсю запламенел червонным бархатом. Все беспокоится, все поспешает воспользоваться драгоценными часами последних теплых дней.

По воздуху на крыльях легкого ветра длинными прядями паутины снует бабье лето. Вот оно опутало все лицо рез-

вой молодички, которая торопится куда-то улицею, вместе смеясь и бранясь. Из-за плетня отозвалась другая:

— Куда это ты бежишь, Килино?

— Да к волостной управе. Туда, говорят, повели моего Максима.

— А с чего так?

— Да батьку ударил...

— Ой горюшко, ну беги же скорее!..

По пути еще попадается безмятежная стайка ребятишек в длинных полотняных портках: одни верхом на палках, как на скакунах, другие, взнузданные веревками будто взаправдешной упряжью, играют ногами не хуже добрых извозчичьих лошадей,— а их погонщики, вооруженные набитыми комками сошниковыми ружьями через плечо, гонят за собою облако пыли. Крик, гам и воинские клики оглашают окрестность...

Но вот все вдруг притихли, охваченные любопытством,— с волостного двора, закутанного в тополиную зелень, кружок людей шагает к навесу по другую сторону улицы. Посреди них двое: один лет тридцати, дюжий; другой старый и совсем седой, без шапки. Не сдержав тотчас охватившего их порыва, детишки сыпанули наперерез идущим и перемешались со взрослыми.

Те продвигались медленно и чинно, как бы совершая нечто торжественное. Безмолвно и важно ступая, они пересекли дорогу, так же молча вошли в поветовое правление, в тишине осмотрели его внутренность и стали вдоль стен. Земляной пол был покрыт трещинами, в уголку лежала кучка дров, посреди повети протянулась широкая низкая скамья.

Хлопцев на середину не допустили.

— Ну, что скажешь, Максиме? — спросил один из мужиков, по всей видимости главный над прочими.

Младший крестьянин встрепенулся и, оборотясь к сивому старцу, поклонился ему до земли:

— Прости меня, батьку!

— Бог простит, сыне!

Еще один поклон:

— Прости меня, батьку!

— Бог простит, сыне!

И в третий раз, покорно:

— Прости же, батьку!

— Бог, сыне, простит... ложись!

Молодой на мгновение заколебался, а потом с видимым спокойствием повернулся и лег ниц на скамью.

Один из окружающих уперся ему руками в плечи, дру-

гой — в ноги, оголивши зад до пояса. В руках третьего появился пучок березовых розог, поднялся вверх и с силою опустился на обнаженное тело. Оно шевельнулось и издало тихий стон, а поперек кожи вздулась кровяная черта.

— Раз! — сосчитал старший.

Снова пук поднялся на воздух — и опять багровая полоса обозначила место его падения.

— Два!..

Хлопчики врассыпную бросились вдоль по улице.

...Воздушное светило ласково пригревало и поветь, и летящую паутину, и малышню, которая без памяти от страха наяривала прочь во все лопатки, вздымая пыльную тучу. А издалека тягуче сочилась протяжная девичья песня:

Ой и вдарив Семен та й об полы рукамы —
Дитки ж мои дрибнесеньки, пропав же я з вамы...»

Это и все другие свои сочинения дед подписывал не собственным фамильным прозвищем: на титульных листах сборника рассказов и романа он вывел:

МИХАЙЛ ЧЕЧЕЛЬ.

Слово довольно-таки загадочное: напрямую оно ничего не означает ни по-украински, ни по-польски, ни по-церковнославянски.

Но на восточном Подолье до сих пор сохраняется поселение под названием «Чечельник», еще прежде того именовавшееся на тюркский пошиб «Чачанлык». Можно полагать, что либо само оно, либо ближайшая его окрестность послужили местом рождения деда Михаила, и он по стародавнему обычаю позаимствовал у него литературное имя.

(Впрочем, истории известен еще один Чечель — в 1696 году полковник Таванского полка, с 1700 года возглавлявший уже целых три полка сердюков, то есть личной гетманской стражи,— Дмитрий Чечель или Чечела. Сему человеку выпал жребий охранять наиболее неприглядную личность среди обладателей гетманской булавы — пресловутого Мазепу; впрочем, он и ему остался верен — даже после бегства самого гетмана из своей столицы Батурина Дмитрий Чечель руководил обороной города от подступившего царского войска под командою Меншикова. После взятия крепости штурмом он бежал, но был пойман и казнен в том же Батурине 13 ноября 1708 года.

Навряд ли дед Михаил Иванович желал иметь что-либо общее с этим малоизвестным казацким полковником — ско-

рее всего, тот так же взял за фамилию имя родного города: и все здесь о нем рассказанное в круглых скобках поведано лишь для очистки совести путешествующего космографа.

Так вот, главным же произведением деда был роман под названием «Берестечко»; а судьба его явственно приобрела нечто общее со своим прообразом.

Судя по сохранившейся переписке, взаимоотношения деда-писателя с печатью складывались следующим образом.

В апреле 1957 года он получил отзыв из издательства «Радянський письменник» на первую половину романа и несколько рассказов. В «Берестечке» рецензент нашел множество «недоликов», рассказы же похвалил, в особенности как раз переведенное здесь «Канувшее в забвенье»,— ему присоветовали продолжать в том же духе. Такое отношение, видимо, Михаила Ивановича задело — полтора года спустя, 6 января 1959-го он направил лично писавшему на него «отлуп» свое собственное возражение, впрочем грустно оговариваясь, что «звычайно трудно потрапити на смак кожного читача».

В августе 1959 года он посылает в Киев в то же издательство уже весь роман в два десятка печатных листов и еще пятилистовую книжку из дюжины «Мелких рассказов». В октябре до Самары-Куйбышева доходит ответ. Сочинитель обвиняется в том, что «вин явно любуеться, кохаеться в диалектизмах, застарилых виразах» — например, в местных прозваниях птиц; между тем как, хотя «птахи в ризных мисцях и називаються по-ризному, якби кожний домагався вставляти у свий твир тильки свою назву, то вийшла б звичайнисенька дурниця». Общий же вывод нового рецензента обратный по сравнению с предыдущим:

«1. Збирку „Дрибни оповидання" друкувати не можна.

2. Роман „Берестечко" заслуговае на увагу, але в такому выгляди, як вин е, ще також не можна друкувати. Авторови слид над ним уважно попрацювати, усунути вказани недолики, попрацювати над мовою, и тильки тоди може йти ричь про його надрукування».

В июне 1960-го дед пробует пробиться в другой киевский источник печати — «Державиздат». Ответ за подписью его главного редактора гласит: роман не годится по целым четырем пунктам, из коих первый и главный состоит в том, что «змальовуючи життя селян и ремисникив украинцив у перший половини XVII ст., Ви не показуете всией складности тогочасных суспильных и економичних видносин. Селяни й ремисники украинци у Вашему виклади, виходить, жили добре, заможньо, в мири та злаго-

ди, аж поки не стали их визискувати польски магнати».

Отчаявшись, Михаил Иванович делает несколько малодушный шаг в сторону, за который вряд ли можно осудить семидесятипятилетнего старика: он вычленяет из первой части «Берестечка» детскую линию и превращает ее в повесть для отрочества под названием «Карпо». Судьба тоже совершает некоторое движение ему навстречу: по крайней мере, на чистовой рукописи по всем листам насквозь сохранились корректорские пометы и подписи — а это значит, что ее чуть было не сдали уже в производство. Однако что-то в последний миг и здесь послужило препятствием — в итоге «Державное видавництво дитячой литератури», подслащивая отказ признанием, что «оповидання» его «зацикавило», охая признается:

«Але, на превеликий жаль, таким, яким зараз е Ваш твир, ми його видати не можемо... Дуже багато натуралиэму. Ви детально описуете рани, калицтва, кров. Не варто цього робити, особливо у творах для дитей. Отже, нам здаеться, оповидання треба грунтовно допрацювати. Бажаемо творчих успихив!» Сие не весьма искреннее пожелание пришло в мае 1961 года; следующая и последняя бумага, венчающая далеко не полную подборку переписки,— это телеграмма от середины июня того же 1961-го:

«Выезд бесцелен к похоронам не успею скорбим тяжелой утратой. Иконниковы».

Четырнадцать лет спустя, в октябре 1975-го объемистая папка с рукописями и письмами попала в руки двадцатилетнему внуку Михаила Ивановича, то есть мне. Полистав по диагонали и не найдя желания разбираться в полузабытом украинском, он отложил ее в неблизкий сундук — и вот, следовательно, еще через 12 лет срок все-таки наступил.

Возвратясь из полуденного края, я проследил весь этот путь в обратном направлении вплоть до истоков, только теперь тем самым знаменитым нашим «задним умом» догадавшись, насколько его, по видимости, случайные повороты были оправданны. Затем переложил на русскую речь заключительную главу дедовского сочинения и, взявши ее за основу, в третий решающий раз пошел по той же дороге снова вперед и остановился чуть не доходя до конечной цели — точно в то мгновение, когда вглядывался в необычайно знакомое лицо на снимке, найденном под престолом Козацких могил.

Еще целый день оставался, прежде чем по всей Руси запоют о победе жертвенной любви над всепожирающим тленом «смертию смерть поправ», или, как звучали эти же слова в дониконовском, чересчур даже наглядном и вещном изводе:

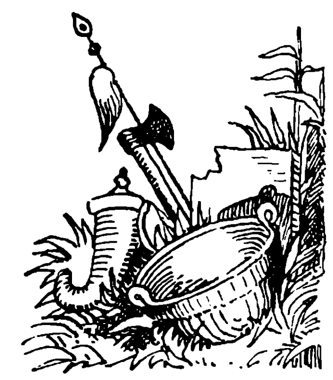
СМЕРТИЮ СМЕРТЬ НАСТУПИ!

А покуда мы вышли из дома на чистый воздух. Снег как будто под землю скрылся — кругом расстилалась прозрачно-зеленая молодая трава, в которой светившее прямо в глаза солнце потопило влачащуюся под ногами тень. Впереди возвышался храм памяти — он был опоясан лесами, его чинили, и потому даже при нагрянувшем наконец счастливом освещении оку он был вполне внятен, а фотоаппарату нет.

У солеи возвышался стеклянный столп — та самая пушкинская «животворящая святыня», без которой земля мертва, как.......пустыня («неродящая» — конечно, всего лишь моя догадка) и как алтарь без Божества. На сей раз алтарь не был пуст, что, собственно, и было главною целью пути по космосу пространства и времени.

К нему, к этому алтарю обращены были сказанные за шесть веков до начала всеобщего движения и в «нашу» эру ежегодно читаемые на утрени Великой Субботы пророческие слова, перед которыми произносится призыв к исключительному вниманию — «ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам»:

«...и постави мя среде поля, се же бяше полно костей человеческих. И обведе мя окрест их около, и се многи зело на лицы поля, и се сухи зело. И рече ко мне: сыне человечь, оживут ли кости сия? и рекох: Господи Боже, Ты веси сия. И рече ко мне: сыне человечь, прорцы на кости сия, и речеши им: кости сухия! слышите слово Господне! Се глаголет Адонаи Господь костем сим: се Аз введу в вас дух животен, и дам вам жилы, и возведу на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам Дух Мой в вас, и оживете, и увесте, яко Аз есмь Господь. И прорекох, якоже заповеда ми Господь: и бысть глас, внегда ми пророчествовати, и се трус, и совокупляхуся кости, кость к кости, каяждо к составу своему, и видех, и се беша им жилы, и плоть растяше, и восхождаше, и протяжеся им кожа верху,— духа же не бяше в них. И рече ко мне: прорцы о Дусе, прорцы, сыне человечь, и рцы Духови: сия глаголет Адонаи Господь — от четырех ветров прииди, Душе, и вдуни на мертвыя сия, и оживут. И прорекох, якоже повеле ми, и вниде в ня Дух жизни, и ожиша, и сташа на ногах своих собор мног зело».



1988

Три истории
из числа
„Современных
московских
сказаний"

КРАДЕНЫЙ БОГ

...Мне отмщение,
Аз воздам...
Рим. 12:19

— Действительно, был раньше такой способ печатать книжки, и я сейчас объясню, что это еще порой встречается за тонкая тетрадка в бумажной обложке, где узор из остролиста или чертополоха обвивает невесомую глазастую барышню в искусной легкой прическе-модерн; а внутри прямо на полуслове — совсем как мое вступление в теперешний разговор — начинается незнакомая быстрая повесть, через сотню-полторы страниц столь же внезапно обрывающаяся без конца. Дело в том, что в те относительно бесхитростные времена тиснили разного рода сочинения не целиком, а постепенно, по нескольку печатных листов, которые по дешевке продавались в рассрочку; так, например, вышли почти все знаменитые приложения к журналу «Нива» в издании Маркса — другого Маркса, непосредственно занимавшегося торговлей,— достающиеся еще кое-кому иногда в наследство от двоюродных бабушек и других родственников из отдаленных колен семейного дерева. Мне в таком виде однажды попалась замечательная середина собрания стихов Алексея Толстого — но не того «красного графа», что на самом-

то деле никакой и не граф, а именно настоящего и, так сказать, вполне в этом смысле белого, несмотря даже на то, что жил он и похоронен в своем имении под названием Красный Рог.

Правда, собственная моя родня, доложу вам, далеко не книжная и вовсе уж не княжья, и поэтому сей огрызок чужого приданого я попросту украл в одном северном русском городке, потихоньку вновь обращающемся в деревню, из пустой местной библиотеки — да, как сейчас сами увидите, грех, кажется, было бы не украсть.

Прошлым летом я проторчал там здоровенный беспутный день в ожидании пересадки на катер. Посетил в порядке их расположения по пути от пристани к погосту клуб позади клумбы с бронзовеющей статуей пионера, напоминавшей подгоревшего при свержении с небес падшего ангела со сломанной дудкой вместо трубы; столовую леспромхоза; магазин «Товары ежедневного спроса», где сразу купил оба, четвертинку водки и банку купавшегося в собственном томате снетка,— а затем заглянул и в избу-читальню. Поначалу казалось, что ничего, против ожидания, привлекательнее содержимого предыдущего заведения найти тут не удастся, и только уже при выходе я будто нарочно споткнулся о стопку книг, которая, рассыпавшись от удара, предъявила две-три явно еще дореволюционные. Как оказалось, все они, будучи за ненадобностью или ветхостью списаны, отправлялись в расход — на растопку; и, хотя я всячески увещевал, ластился и высокопарно балагурил чуть ли не полчаса, благо времени было не жалко,— библиотечная сиделица не только не позволила забрать чего-нибудь даром, но и продать также спокойно отказалась, руководствуясь циклопической одноглазой заповедью «не положено». Ну, вот тогда-то я с легким сердцем и позволил себе ловко подтибрить томик, ничуть уже не сомневаясь в своем на то праве,— напрасно ведь погибало добро, что очевидно, как говорится, и колючему ежу. Напротив, погибавшую ценность требовалось некоторым образом спасти...

Листая свежее приобретение, добрел я до конечного пункта движения в этом местечке — кладбища, наглядно и вместе образно обозначавшего край обжитой земли; и нужно же было случиться такому соблазнительному совпадению — не последнему, сразу оговорюсь, из всей их бесконечно тянущейся, будто из шляпы фокусника, связки,— что поэма, которую тогда пробегал глазами наискосок, бросила отблеск на одну из первых же могил: надгробие ее буквально отозвалось послед-

ним двустишием только что прочитанного куплета, полностью звучащего так:

Какая сладость в жизни сей
Земной печали не причастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Всё то превратно, всё ничтожно,
Что мы с трудом приобрели,—
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Всё пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет всё, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба.
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!

Замечательно бодро сказано, прямо крышкой гроба да по лбу. Но там на севере все же эти так нам здесь неприятные заведения, прошу прощенья, телесных свалок несколько иначе устроены и в другом, что ли, ключе воспринимаются. Вот, к примеру, тот же самый крест, на котором красовалось помянутое выше стихотворное не то прошение, не то требование, на поперечной перекладине был прорезан глубокой строкой:

«КРЕСТЬЯНИН ФЕДОР ЗЛИЩЕВ ОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ В ЛЕТО ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА 7403».

И если пристальней прислушаться к ее испорченному ямбу, то выступит уже не двойное, а перекрещивающееся — четверичное, по числу концов памятника, совпадение: под крестом лежит крестьянин,— оба слова-то, по-видимому, не случайно общего происхождения. К тому же на тех могилах нет принятого теперь обозначения года рождения, из-за чего всякий пришедший сюда живым не мучается невольно в уме дурацким вычитанием первой цифры из второй, как будто величина остатка может когда-то получиться бесконечной.

Кстати, вы вообще обращали внимание, насколько современная, так внешне уверенная в себе секулярная, то есть по-русски обмирщенная, культура панически боится упоминаний о смерти, до того суеверно, что обычные в старину сцены с кладбищами почти устранены не только из литературы, но и по мере возможности — вон из наших городов? У меня рядом с домом еще стоят остатки бывшего села

Дьяково, входящего в музей «Коломенское»; так вот когда к Олимпиаде стали благоустраивать берег Москвы-реки, забрали в трубу впадающий в нее ручей и выстроили тут пристань, то решено было также, что пришлым туристам ютившиеся на дьяковском пригорке старые могилы будут *портить настроение* — и все их раннею весной почем зря сковырнули трактором. Я уж не говорю о том, что предкам устройство такого блага в голову бы не взошло,— не уважили даже чуть ли не трехтысячелетнего возраста кладбища, так торопились поскорее убрать его с глаз долой. Правда, кое-что Обществу охраны памятников удалось отвоевать — в итоге две дюжины известковых резных саркофагов стащили с належанных мест и выложили рядком у дорожки: устроили, так сказать, «Могилу неизвестного отца».

Конечно, чересчур сосредоточиваться на всем этом тоже опасно, может так занести далеко, что и хода обратно не найдешь, сам ляжешь костьми. Вот тут недавно кто-то рассказывал про один такой систематизированный кошмар: будто бы на горе Афон в Греции монахи через три года нарочно отрывают скелеты умерших и складывают в особую библиотеку — череп с надписанным именем к черепку, берцо к берцу, тазы и ребра каждое на свое место в отдельные шкафчики; и притом по цвету их определяют, какой был жизни покойник: если праведной, то косточки его должны сделаться чисты и медвяно-желты, а коли тело еще не успело истлеть, то, значит, не приходится оно по нраву матери-земле за грехи. Чересчур это дышит дотошностью в выяснении тайн, хотя, согласитесь, не вовсе лишено смысла, и даже любопытно было бы кое-где покопать и в миру, а?..

Ну да ладно, оставим до поры; главное, я тогда порадовался — пусть и не слишком подходящие окрестности для подобного чувства — той простоте, с которой справляли в этой части России последнюю земную заботу и выводили заключение:

«ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ТЕЛО ИВАНА СПАСЁНОВА ЖИТИЯ ЕГО БЫЛО 88 ЛЕТ».

Слышите, какое в одном предложении дышит достоинство? И существует, между прочим, такой крест-голбец, покрытый от дождей двумя пологими дощечками поверху, ровно столько, сколько обычно помнят на свете людей в лицо,— три-четыре поколения, примерно до правнуков.

Потом, дочитывая графскую поэму уже с большей осторожностью, я добрел до конца густого, славно удобренного леска на пригорке, или, как называют их там, «горушке», ут-

кнулся в подпиравшую ее с другого бока стенку из валунов и тут, оторвавшись от книги, привстал на цыпочках и застыл. Впереди плавно раскрывалось могучее поле пространства, видимого оттуда по самый предел способности человеческого глаза; все оно было нетесно, но плотно наполнено лесами и перелесками самых разных родов деревьев, связано жгутом узкой речки с венами ручьев, начисто прочищено гудящим на «ля» ветром и повенчано вогнутым небом с облаками в сорок оттенков серого цвета. То есть это была словно живая карта совершенно родной по взаимному общему чувству страны; для сравнения, ежели вам когда-нибудь приведется встретить такую рукопись — Даниил Андреев, сын писателя Леонида, «Роза мира», то обратите внимание на происшествие, с которого начались у него откровения о природе — как однажды близ приднепровского городка Триполье он бросился с прихолмка в поле обниматься с подсолнухами, потому что почувствовал, что они его *любят*...

А на самом уже краю зрения, далеко-далеко показывалось одно-единственное село; не понять только было точно — село оно в самом деле или, так сказать, осело, выселo да и стало невесело. Сами знаете, чем по определению отличается оно от деревни — тем, что имеет свой собственный храм; ну а там хотя церковь и явно была видна, но по всей вероятности затворенная, и что тогда тому поселению имя, угадать не умею — не поселок же городского типа при двух-трех жилых-то домах? Однако, зря врать остерегусь, мне совестно вскоре сделалось за кладбищенское настроение о родине,— разве можно так с первого взгляда мрачно судить. Кто знает, вдруг и село многолюдное, да и постройка древняя еще не при смерти: пусть купол покосился, просел к востоку, но шатерок колокольни как будто бы ровно вверх тянется, держится бодро и даже поблескивает. Или это всего лишь солнце садилось и играло последними лучами в крестики-нолики по верхушкам,— а все же очень хотелось, чтобы там взаправду оставалась жизнь: я и в детстве всегда почему-то болел против ноликов.

Улегшись прямо под стенкою, немного прикорнул, раз уж до прихода катера оставалась еще прорва пустого времени, занять которое более было нечем; но спалось мне на пропитанной покойниками земле довольно-таки беспокойно, постоянно внутри век поперек сновидений носились какие-то огненные тени. Проснулся, а все лицо горит, и руки сами невольно принялись сначала поглаживать его, потом чухаться, почесываться и в конце яростно скрести ногтями по щекам. Ока-

залось, что лежу подле самого подземного муравейника, и за час-другой рыжие пройдохи, обшаривая пришельца, все открытые части тела успели порядочно изъязвить.

Скоростное судно речного пароходства, как не по чину пышно именовалась небольшая посудина на воздушной подметке, явилось, уже когда начинало темнеть. Чапало оно к тому же еле-еле, потому что река служила сплавною дорогой для леса; сосновый-еловый топляк то и дело бухал в дно, чуть не тараня его насквозь, так что от непрестанной мелкой дрожи палубы под ногами ныли коленки.

Я пристроился наверху, на открытой корме около двух теток, натянувших поперек себя плед и что-то тонко мяучивших из очков в очки. То есть, возможно, они в чем-либо ином ходили, я не помню досконально подробностей,— только носили такие босые морды поверх лица, что выставлять их наружу неодетыми было бы попросту неприлично.

С тоски и безделья мы постепенно разговорились, и, слово за слово, выяснилось, что они тоже путешествуют по Северу где пешком, а где водой или иным попутным средством. Тут-то я их и спросил про то, что вы сейчас небось собрались у меня нетерпеливо пытать: можно ли где достать иконы. Надеюсь, что, как и мне, вам они нужны не для продажи или какой другой вещественной выгоды; просто както сложилось теперь так, что из деревни — а из архангельской да вологодской в особенности — всякий приезжий старается притащить эту старину, называя ее порою по-свойски досками или даже, учась помаленьку хамить, дровами. Сделалось как бы стыдно возвращаться оттуда без них порожним, словно с юга без загара и фруктов; такой это стал ценный наш русский народный диковинный плод — прадедовский образ в резном киоте. Достать же его с каждым годом все труднее: число охотников растет, а местные жители и законы сильно посуровели. Мне тогда это было и совсем впервой — не удавалось начать ну никак, хоть прямо тресни с натуги; а изнутри уж принимался сосать червь недовольства собственной неловкостью и нерасторопностью, отпугивавшими охотничье счастье. Но спаренные попутчицы в ответ поглядели мне подозрительно в лицо и сказали, что ищут другую, гораздо более древнюю живопись — петроглифы, то есть рисунки первобытных людей на камнях вдоль рек или в пещерах.

Увидав, впрочем, что вопрос мой был искренним и навряд ли опасно хищным, они попытались утешить принесенное разочарование диковинной повестью про то, как недавно неожиданно наткнулись на как будто бы выклубившуюся из недр

средневековья деревню-колонию тяжко увечных инвалидов, которых свезли туда для взаимного житья подальше от пугливых обитателей городов, чтобы они своим видом не тревожили — как в известной сказке про царевича Будду,— каламбурно выражаясь, не *пробуждали* лишних недугов в их расхристанных душах. Эту историю я позже дома передавал уже как свою — не от какой-либо особенной любви ко вранью, а сама собой она как-то в первом лице с языка слетела да потом при повторениях ради простоты изложения вместе с авторством и приросла.

Вообще же очковые туристки настолько невыносимо умильно вели беседу, величая себя примерно так: «Что вы на это, Ириночка Петровна, скажете?» — «Да ничего против вашего, Еленочка Сергеевна, добавить не нахожу»,— что трудно было долго сдерживаться как-нибудь не нагрубить, и я поэтому ушел от греха да и от усиливавшегося ветра подальше внутрь, в душный нижний «салон».

Там среди сгущавшегося сумрака медленно переваривалась куча остро разящего прелым носком дорожного люда, посреди которого, словно языческая богиня вокзалов, сидела обязательная при всякой почти транспортной сцене беременная молодуха с мечтательным рыболицым мужем, кормившиеся толстой домашней снедью так же отталкивающе-притягательно, как пахнет забродившая летом помойка. Мне, глядя на них, самому тоже до страсти захотелось поесть и выпить; вынув предусмотрительно приобретенные «ежедневные товары», я их давясь потребил, и чуть ли не тотчас же меня сморила вторая серия недосмотренного на кладбище тягостного сна. Продолжение его развивалось в том навязчивом, неоднократно повторяющемся в сновидениях срамном ключе, когда, например, чувствуешь себя стоящим голяком посреди гогочущей толпы и никак не удается куда-нибудь ускользнуть от нее прочь или хотя бы прикрыться рукой. В этот раз мне ярко представилось, что я кого-то убил и с часу на час жду исполнения неминуемого высшего наказания; причем жалкий страх перед ним усугублялся еще обидой на самого себя: я отлично помнил, что меня не раз предостерегали от такого дикого поступка, и в то же время никак не мог сообразить — как все-таки умудрился его совершить. Получалось, что происходившее до и после него я ясно воспринимал, а вот именно момент убийства прошел мимо сознания — будто оно приключилось мгновенно в ходе отчаянной пьянки, когда на следующий день никто не помнит второй половины вещей. Друзья и знакомые, окружившие меня перед

казнью, у которых пытался что-то выяснить, в ответ только становились в гордую позу «а мы говорили!..» — и мне одному предстояло сполна расплачиваться незнамо за что; все это напоминало происшествие с первородным грехом, кару за который должны нести сгорбившиеся поколения ни в чем вроде бы не повинных потомков, совершенно чистых детей.

С болеющей остатками такого морока душой я проснулся на следующий день в городке чуть покрупнее предыдущего, но ничуть не более отрадном с виду; оборотивши пословицу с конца на начало, можно сказать — забытом всеми, кроме Бога. Имя его тоже происходило из числа тех нешуточных совпадений, наваждений и уловок, какими природа любит подпихивать человека к пропасти: и «тать» в нем слышался, и вместе «тьма» — тать-и-тьма,— что легко превращалось в уме в сочетания типа «мракобес», «волкодлак» и тому подобные. Вы уже, наверное, заметили, что слова у меня сами вскипают на языке, играя, перетасовываясь и поминутно меняя смысл на противоположный; это как раз идет с тех времен, о которых речь. В тот день, правда, я их еще только начинал перекатывать вверх-вниз по нёбу, как морская волна мелкие камешки: тать-вор-кат-каторга-воробей-вора бей! — а уж к ним откуда-то издалека художник Татлин спешил навстречу; в общем, чорт-те что.

Набережная злоименитого поселения была вся уставлена брошенными церквами с заколоченными накрест окнами, напоминавшими путевые знаки какой-то огромной прошедшей тут любви — или орды? Меня и самого пугает их какое-то усиленное мелькание среди картин всей этой истории, но, как ни крути, приходится признать за голую правду, что в путешествиях или еще, чем я недавно занимался, при разборе привезенных из них путеводителей и зазывных листков на поверхность неожиданно властно выступает непременно что-нибудь вроде собора или часовни; получается так, что суетились люди, старались, строили и стирали в прах, страдали и старились, а после всего того снаружи остаются кресты да забытые храмы. Теперь городок с его деревянными домиками откатился от зачавшей его реки, и, словно покинутые командой корабли-крестоносцы, они рядком вытянулись вдоль нее, сиротливо отражаясь в медленном течении потока. Из подвалов их через пустынную дорогу к воде и обратно прыскали только голодные египетские звери кошки.

Ко внутренним неудобствам — чесотке в лице, поташниванию от бултыхавшегося в желудке снетка, испорченному приснившейся пакостью настроению — постепенно начинали при-

ходить в гости и внешние неприятности. Первым был мелкий холодный дождик, не дававший додремать часа, ранним прибытием украденного у ночного покоя. Я попытался все же пренебречь несонной погодою и примостился в укромном скверике на скамейке под сенью неканонического бетонного памятника без постамента, изображавшего сидящего в креслах нога на ногу тонколицего субъекта с дужкой от стекол над глазами и бородой-эспаньолкой; но тут вдруг втесалось в мозги пустое желание выяснить, кто таков этот увековеченный. Прохожие, сколько я их ни расспрашивал, лишь неуверенно качали головами и вообще удивлялись, увидав его сознательно как будто впервые: нешто Дзержинский? Луначарский?..Чацкий? В таких ненужных хлопотах я совсем потерял необходимую для грез беззаботность мыслей и окончательно убедился, что здесь мне уже вздремнуть не удастся. Так что, как видите, в наскучивших позах привычных монументов скрыта немалая польза для нашего душевного спокойствия; запросто расшифровываемые символы неспособны морочить голову, и я почти уверен, что под каждым из них при необходимости безмятежно засну в любое ненастье — хотя, конечно, лучше бы все же не доходить до подобной нужды.

Протомившись среди осадивших вхолостую работавшее соображение напрасных помыслов довольно долго, я достиг только того, что слегка отсырел. Пришлось снова вставать и, вычистив пальцем зубы, которые ломило от непрекращающейся зевоты, продолжить одинокое в-пути-шествие, отправившись на полуневольный осмотр городских достойнопримечательностей.

Лучшей среди них я считаю жуткий музей — жуткий тем, что за все время моего блуждания внутри этого увесистого двухэтажного строения я так и не встретил там ни единой души. А в самой глубине, после зала с выставкой изделий кустарной промышленности — заметьте, что край этот настолько въелся своим холодом в характер населяющих его людей, что даже главным местным промыслом стало наведение «мороза по жести», прямо как по коже,— завернув за угол, я услышал в ушах свистящий крик. Но это, как оказалось, внутри охнуло от испуга сердце: посреди темной комнаты, куда я с разбегу влетел, сидел громадный бородатый мужичище, молча, не шевелясь, глядевший мне в лицо тяжелым паучьим взором. От неожиданности я не сразу сообразил, что он не живой, а лишь выполненное сверх благоразумной меры достоверно

чучело, украшение и гордость макета крестьянской избы.

Отдохнув от переполоха чувств, я решил отомстить за обман коварством и, легко переправившись через веревочное ограждение, забрался на сцену этого театра одного зрителя. Щелкнул пальцем по самовару, попробовал остроту косы, стряхнул пыль с расшитого полотенца и наконец осмелился потрепать по щечке убедительно-наглядное идолище. Разогнав опасения, я вынул из красного угла икону, повертел в руках и — вернул на полку: это была раскрашенная олеография, наклеенная поверх штампованной жести. При том в сознании отчего-то без особого внешнего повода завертелась мысль о том, насколько неуклюжий и вовсе как бы не русский звук у слова «сердце»,— а ведь в действительности оно одно из наших наиболее природных и происходит, кажется, от «середины» — кстати, «сердиться», с «усердием» из той же семьи.

Потом снова целый день блуждал деревянными мостовыми по быстро надоевшим переулкам, которые вскоре перекрестил недоулками, много и беспорядочно ел. Под самый уже вечер забрел и в единственную сохранившуюся живой церковь, что помещалась в колокольне выстроенного в классическом стиле собора, пущенного теперь под склад винных ящиков. Служба окончилась, две-три оставшихся старухи молча скоблили каменный пол широченными, желтыми от наросшего на них воску ножами, а сама внутренность представляла зрелище чего-то среднего между складом и кладбищем, как бы некое складбище, куда, очевидно, сносили уцелевшие останки убранства из закрывавшихся монастырей, храмов и просто выморочных домов — и все они оседали тут по мере накопления в совершенном беспорядке.

Проще всего это можно было проследить на длинной связке икон, гирляндой свешивавшейся с потолка над свечным ящиком в закутке у самой паперти и стукавшейся о стенку с разноцветными звуками на манер дикого ксилофона каждый раз, когда отворялась или закрывалась дверь. Здесь была представлена живопись любых возможных и невозможных сортов и стилей; на очередном качке́ я, потянувшись, поймал рукой веревку и, пользуясь тем, что маленькое помещение у входа изнутри храма не просматривалось, принялся их сверху вниз внимательно изучать. Так я безнаказанно любовался чужим добром, пока, как раз подобравшись к последней, той, за которую держал весь ряд, не заметил краем глаза бесшумно кравшуюся сзади бабулю. Связка тотчас выскочила из пальцев, и я споро двинулся вон, сопро-

вождаемый сердитым ворчанием земного и постепенно затихающими хлопками небесного.

Из всего набора мне не удалось хорошенько разглядеть только нижний образ, и вот, как водится, чем дальше он отступал прочь в пространстве и времени, тем делался в воображении все более привлекательным; как бутон, распускался под лучами памяти его неясный зрительный спечаток и расцветал преувеличенно яркими красками упорхнувшей из сачка бабочки. Вы, конечно, слыхали, что понятие «икона» имеет целый веер, радугу значений и толкований в промежутке между куском доски с красками — и невыразимым словами мистическим знаком; для меня же все они тогда собрались в одно необычное ощущение чего-то дорогого и безвозвратно утраченного. Язвя и язвя душу ножом воспоминания, я пытался восстановить его зримый облик — и вместо того вдруг понял, что, как в живого человека, влюбился в него, в этот совсем в сущности незнакомый образ.

Но, как говорится, первая и последняя мысли от Бога, вторая же от лукавого; почти тотчас пришло на ум, что именно сегодня я прихватил с собою на всякий случай из рюкзака ножницы,— откуда рукой подать было до колючего сожаления, чуть ли не с картинным жестом битья кулаком по собственному лбу: да как же сразу-то не догадался взять — и отрезать?! Я вынул эти бесполезные сейчас «два крючочка — два кружочка», ловко перекрещивающиеся на гвоздике лезвия, праздно валявшиеся в кармане куртки, и, продолжая все больней укорять себя за головотяпство, одновременно бессознательно ускорял шаги. А насколько подходящий, пожалуй, даже неповторимый был момент: пустая комнатка, искомая икона не где-нибудь посреди, а в наиболее удобном положении, внизу ряда, и уже держал ее в руках почти что минуту, да еще и ножницы прямо под сердцем,— но этого-то последнего хода, соединяющего цепь благоприятных совпадений в живую удачу, не сумел сделать!

Теперь же нечего и мечтать,— испуганно убеждало само себя положительное соображение, косясь на угрожающе возраставшее в душе намерение вернуться и попытать счастья еще раз, добрать недобранное, пока не остыло,— в кои-то веки нужные для успеха обстоятельства сойдутся снова вместе. Судьба ведь отнюдь не склонна к буквальным совпадениям, не говоря уж о том, что страх вообще скует члены и попросту не даст ничего взять. Причем страх усиленный, двойной: не в обыкновенном месте кража...

Я, знаете ли, вместе с большим числом нынешнего наро-

да и не суеверный, и не верующий, а где-то посередине, так сказать, интересующийся данным кругом вопросов; но тем не менее искренне считаю, что обворовавши Бога — пусть будучи и не очень убежден в его буквальном существовании,— навряд ли потом хорошо кончишь. Не углубляясь в сверхъестественное, можно уверенно предугадать, что впечатление на психику это сделает тяжкое; первую же после того неудачу в любом деле совесть сочтет за наказание, и так все время будешь сугубо отмечать беды и бояться за радости. В итоге, наконец, вывод получится тот же самый, что и у верующего,— как это и должно всегда по справедливости выходить: ведь ежели религия вела бы к явной земной выгоде, давным-давно все люди стали бы поголовно убежденными фанатиками; но только грош цена подобному выбору по указке.

Примерно такими доводами рассудок мой, стакнувшийся с трусоватостью, уговаривал алчность прекратить жалеть о бесповоротно потерянном; и как будто бы это им нанемного удалось: сколько ни порывался мой внутренний добытчик совершить новую попытку, сколько ни дразнил, натравливая самолюбие на слабоволие и нерешительность,— назад я в тот день так и не вернулся.

Речной трамвайчик, вскоре после того доставивший меня из узкой Сухоны на большой теплоход, стоявший уже в Северной Двине, окончательно решил вопрос о направлении дороги, физически отрезав возможность возвращения. Через час с небольшим наш «Лев Толстой» споро двинулся в долгий путь прямо вверх на север к студеному морю до самого Архангельска.

Почти всю ночь я проворочался в спальном мешке, стараясь выдернуть из сердца корень влюбчивого до страстности чувства собственности. Какие только соблазнительные возможности не толклись в воображении, какие кощунственные и вместе приятные картины не манили умное око, и что понадобилась за уйма душевных сил, чтобы перечеркнуть их прелесть, побороть, напугать встречным страхом — думается, нет смысла зря пересказывать; что вы, смерти, что ли, ни разу по ночам не боялись и не помните, какими отгораживаются от представления о ней отчаянно-утешительными рассуждениями... Тогда-то я, видимо, душой и поколебался, а это, между прочим, совсем не равная помешательству болезнь: умом подвинувшийся есть в тесном значении слова с-ума-сшедший; душевно же нездоровый вовсе не то — с мышлением тут все в порядке, но, так сказать, произошло смеще-

ние перегородки в сознании, закрывающей нам днем вид на смертную память или какую-то иную, сверх наших сил мощную мысль. У него начинает блуждать центр нравственной тяжести, утрачивается уверенность в существовании на свете какой-то главной идеи, о которую можно опереться спиной в совершенной надежде, что уж она-то не пошатнется.

Перед рассветом я все-таки немного забылся, а когда продрал глаза, по сторонам покойной чередой проходили обширные виды, от августовской воды с реки подымались прохлада и сырость, парок летел изо рта в небо, а с неба чистый свет проливался к нам вниз. Припоминая вчерашнее, я теперь подивился, откуда взялась такая сила у мучительного наваждения, и как оно незаметно схлынуло вместе с бессонницей. Единственным следом пережитых волнений стало незнакомое прежде состояние временного равновесия воли, которое иногда доходило до того, что мне не удавалось выбрать, которым из двух или более дел заняться в первую очередь; несколько раз я вообще не сумел принудить себя двинуться с места, переживая свои намерения, словно губами их пережевывая, пока они совсем не исчезали в немых пропастях безмолвия и я не оставался без всяких желаний.

Но сомнения и помыслы об иконе потом начали с возрастающей настойчивостью приходить вновь; всецело погруженный в борьбу с ними, я уже не слишком подробно присматривался к происходившему вокруг, и потому двинское плавание представляется мне происшедшим как-то так не подряд, а прерывисто, в виде череды ярких объемных картин, обступивших ход основной темы. Несмотря на всю свою кажущуюся внеположенность и независимость, они на самом деле плотно подпирают ее с боков, будто раскиданные вдоль речных берегов деревни с серебристо-изумрудного цвета замшелыми избами, живут ее соком подобно тем ветвистым внутренним органам, чьи сизые изображения на медицинском плакате назидательно повисли кругом аорты, держатся лишь на ее струне, как столбик сморщенных сушеных грибов на ни́зке, и, даже удаляясь в сторону, тем самым отрицательно свидетельствуют о существовании единого стержня, словно раскустившиеся листья растения, к цветку которого трудолюбиво карабкается усатый муравей.

Первая сценка — это обед в столовой на корме, когда теплоход шел еще по мелководью, а колебания, производимые винтом, ударяясь о дно, сейчас же возвращались обратно и сотрясали внутренность его так, что все обычно мертвые вещи скакали и звякали как бешеные; среди такого

бунта предметов ложки и вилки приходилось подвязывать на веревочке, чтобы они не отправились бродить со столов на пол.

Потом другой эпизод: во второй или третий день я вышел на открытый воздух из теплой кают-компании, где ночи напролет сменявшиеся люди бескорыстно продували часы своей жизни в карты, и вдруг попал в невидимую, спрыснутую дождем сосновую рощу — это с плывших рядом плотов доносило чудный запах свежеспиленной мокрой древесины.

Да и вообще многое тогда казалось каким-то подчеркнуто особенным, вроде того театрального «прохожего», который призван в одну реплику вложить весь густой запас народной мудрости; иногда для этого не требуется и слов, достаточно пары жестов. Например, мой сосед по дешевым местам на нижней палубе, лысый пенсионер из Ташкента, разгуливавший везде в излюбленном нашими проезжими спортивном трико, целыми днями занимал себя расчесыванием эдакой полуживой-полукукольной болонки, отказывавшейся самостоятельно проявлять всякие признаки существования. Однажды я присутствовал при том, как он выводил ее по собачьей надобности к вонючему человеческому туалету рядом с машинным отделением: ленивый зверек, помещенный на пол и энергично подпихиваемый, стоял там тем не менее неподвижно на манер тумбочки и справил наконец нужду, только когда хозяин сам задрал ему лапку и что-то такое ущипнул под хвостом. После этого ташкентец поднял его за загривок и со всей силы стряхнул, словно зимнюю шапку от снега.

А еще я заметил у северных жителей особое качество речи, открытую близость образных выражений к исходному корневому значению слов, какая появляется в городе лишь у неожиданно потрясенного чем-то, вдруг в обалдении, застревая мыслями на пустяках, задумывающегося над общепринятыми оборотами или, вот как сегодня у меня, основательно хмельного человека. Как-то капитан, отчитывая при всем народе мальчишку-юнгу за безмозглую тупую работу, договорился в сердцах чуть ли не до пословицы: де трудолюбие это не любовь к труду, а любовь с трудом — в противном случае, по уже проторенной присказке, сколько дурака ни учи Богу молиться, он только лоб расшибет.

Вскоре мне самому почти что заехало в лоб совсем уж, казалось бы, знакомым словом, когда на остановке один из набежавших с берега к буфету за продуктами крестьян, что-то торопливо пояснив мне, в ответ на «спасибо» спокойно отказался: «Ну, не на чем и спасаться от такой-то малости». Ес-

ли заключенный в этом смысл не слишком для вас сразу заметен, то сравните ее хотя бы с тем, как еще до сих пор дожившие подмосковные старообрядцы по поводу того же усеченного «спаси-Бог» предпочитают въедливо доказывать, будто бы «бо» есть имя беса, и поэтому тот, кто опускает букву «г» на конце благодарности, вызывает к себе сатану.

Из всего Архангельска в памяти сохранилось стеклянное «разливное» заведение на окраине, но вряд ли справедливо меня за это, не выслушав оправдания, осудить. Широко рассуждая о ерунде, можно даже наоборот заметить, что подобного разбора места остались в нашем значительно изменившемся с дореволюционных, теперь вполне книжных, времен новом мире чем-то наподобие опытных полей, где в непосредственной близости от своего дома вы даром, когда придет охота, сумеете повидать абсолютно, так сказать, всякое. Тут постоянно существует небольшое пространство для того, чтобы на законном основании несколько распоясать душу; но и в отсутствие подобной потребности навещать эти места поучительно — сколь иронически ни звучало бы высокомерное похихикиванье «будь, браток, попроще, постой покури с народом». Народ попроще действительно курит здесь.

В тот раз я повстречал там голосистого набухáвшегося моряка, превратившего застольный тост над «ершом» в публичное обличение заездивших его «кровососов». Из дальнейшей его речи неожиданно выяснилось, что квалификацию нужно понимать буквально: дело состояло в том, что в городе завели оригинальный медицинский обычай — для производства своей даме аборта муж либо иной виновник должен сдать в качестве донора пару стаканов полноценной живой крови. Не знаю уж, в благодарность ли ее из него выкачивали, в наказание или в урок на будущее, чтобы тоже нес свою долю,— но без справки станции переливания ни одну женщину в роддом на аборт не принимали. Клявший нововведение на чем свет стоит матрос запустил в заключение еще и другим прицепчивым, как репей, выражением: хрен вас всех поешь на берегу,— пожаловался он в сердцах,— не разбери-поймешь, чего хотите: огород городить или город огораживать.

...Из Двины оборудованное в Гамбурге вальяжное прогулочное судно потащило нас дальше по Белому морю на Соловки. Попутчик мне на нем достался уже совершенно киношный: еще не весь войдя в каюту, он прямо с порога каркнул: давайте поставим все точки над и! Не успел я удивленно осведомиться — в каком же это слове, уж не в том ли крайне коротком на «икс»,— как он представился по полной форме:

«Журналист Спасокукоцкий из Мурманска, объезжаю страну с целью написания книги очерков!» После того сразу сник и в дальнейшем бо́льшую часть времени пребывал в суровом молчании, добавляя в конце каждой насильно выуженной из него фразы присловие «чорта с два!»— а я из ехидства не переставал в ответ справляться, отчего именно такое число нечистых считается за самое невероятное.

Когда он ел — а «питались» мы за столами кафе в том же порядке, как и жили, попарно,— то ежеминутно растворял свой рот таким образом, что становилась отчетливо видна пережеванная влажная кашица, в которую его железные зубы старательно превращали заказанные яства; и до того это была скверная картина, что пропадал всякий аппетит и приходилось поневоле прятать на сторону глаза, лишь бы только не попасть взглядом в этот его чавкающий поглощатель.

В первый же вечер, опасаясь проводить его один на один с таким соседом, я отправился по барам и довольно-таки буйно напился. Помню еще, что за полночь выполз покачиваясь на пустой мостик над самым носом корабля и встретил там какую-то романическую девчонку-десятиклассницу из Северодвинска; толком даже не познакомившись, мы с ней принялись так долго и цепко целоваться на ветру, то закрывая глаза, то впериваясь в темные водные пространства впереди, что мне весьма крепко продуло оба уха.

Вернувшись в конце концов по нагло вилявшему коридору мимо ряда расставленных прямо на полу гигиенических пакетиков, предназначенных для спасения застигнутых коварною тошнотой полуночников, я добрался до своей двери, за которой с тоской обнаружил, что корреспондент еще не спит; напротив, переварив хорошо размельченную пищу в блудный помысел, он извлек откуда-то из недр широчайшую бабищу вроде тех глубоководных чудищ, глядя на которых сам невольно глаза выпучишь, и перенес к себе на диванчик. В момент моего появления его липкие лапки раскладывали там перед нею открытки из набора иллюстраций к жизни Лермонтова, а голос сладостно пел о любви «маленького Миши» — я не шучу, меня от этих слов еще пуще передернуло, чем от той слюнявой жвачки,— к своей «нежной бабулиньке».

Что касается до самих Соловков, то про них, к счастью или к несчастью, известно столько, что я лично предпочел бы по крайней мере половины того вовсе не знать. Мне самому больше других запомнилась там во всех смыслах высочайшая и быстрей прочих заметная диковина — огромный каркас звезды, водруженный вместо креста на монастырской коло-

кольне. Про то, как залетела туда эта древняя восточная пентаграмма, мистический знак человека, издали напоминающая посаженного на кол мученика, экскурсоводы рассказывают только под занавес, среди приватного разговора; причем лепят они кто во что горазд всякие неправдоподобные истории вроде той, будто бы один из невинно осужденных, загоревшись идеей заслужить прощение, впер ее на своем горбу, а потом, так никем и не помилованный, не сумел в одиночку спуститься вниз и погиб. Рассматривая ее задравши голову, я неожиданно сообразил, где уже видел подобное,— точно такой же пятигранник несколькими тысячами километров юго-западнее венчает надвратную церковь другой островной обители, Ниловой Столбенской пустыни посреди тверского озера Селигер,— и тут, словно мысленный фотоаппарат щелкнул, они соединились строкой «маленького Миши»:

И звезда с звездою говорит!

На другой день, оторвавшись от групповой прогулки, я запаздывал с возвращением к ужину на корабль и решил срезать по полю дорогу, далеко огибавшую стороной небольшой консервный заводик. Проходя среди брошенных лодок и рыбьих костей, наскочил на ряды колючей проволоки с повисшими на ней кровавыми клочьями мяса; но у души все же хватило ума постараться изо всех сил глазам своим не поверить, и тогда дикое это зрелище, чуть-чуть преобразившись, превратилось в сушившиеся на прохладном беломорском солнце бурые водоросли ламинарии — почти единственный полезный продукт, по словам нашего гида, добываемый теперь на архипелаге.

После Соловков в прошлом зияет наиболее глубокий провал; по-видимому, бродя там среди голых, насквозь продуваемых пространств, я нагулял наконец такую тоску по оставленной на материке иконе, что только задним числом могу восстановить промежуточную сцену архангельского аэропорта, где в ожидании у кассы загадывал: отправлюсь туда, куда первым пойдет самолет,— или домой в Москву, или все же обратно на Сухону. Я целиком подчинился случаю, и вас уже, конечно, не удивит, как и меня тогда, что судьба, будто рука безжалостного естествоиспытателя, добравшегося до вершины спелого колоса мураша, одним щелчком сбросила снова под самый корень, назад в тот заколдованный несчастьями город.

Я сейчас еще смутно припомнил, что в воздухе от нечего делать наблюдал за лицами соседей по креслам: как-никак бесплатная возможность проследить за их выражениями

почти что у смерти в прихожей; и мне показалось, что при всей внешней хорохористости в глубине черт застыла молитва: пожалуйста, не надо сегодня губить, мы пока не готовы.

Короче, ровно неделю спустя, вечером в следующую субботу я снова стоял в той же церкви-колокольне моего позора, будто бы никуда из нее и не уходил. В первое мгновение даже померещилось, что меня узнали,— но вполне вероятно, что это просто черное намерение слишком явно проступало насквозь, выдавая свое подлинное имя. Во всяком случае, не дожидаясь вопроса, одна из прихожанок сказала мне: опоздал, батюшка, приходи завтра — всенощная уже отошла и нам давно пора запирать двери.

Ночь я промыкался на речном вокзале, а заутро, когда начало светать, поспешил ко храму, предполагая войти в него первым — да как бы не так! Внутри было понабито столько народу, что опоздавшие вынуждены оказались моститься в наружном дворике, куда от обедни долетали лишь отрывочные, наиболее громкие возглашения.

Я вышел вон за ограду и, обогнув церковный участок, выбрался на холмик над рекою по другую сторону забора и устроился там так, что впереди перед глазами тянулась прямая указательная струя реки, всем своим стремлением вдаль приглашавшая одуматься и уйти, покуда не поздно, а обернувшись, я сквозь щель среди досок ограды мог наблюдать за западным входом в храм.

Воскресная служба тянулась невозможно медленно, и, чтобы хоть как-то скоротать ее, я пролистал вновь осколок тома графских стихотворений, после чего, так как заняться чем-то нужно же было, даже принялся учить наизусть ту мрачную погребальную песню из поэмы «Иоанн Дамаскин», зачин которой, помните, я уже читал в самом начале. Она запоминалась необыкновенно легко и, заводясь с пол-оборота, бралась сама себя повторять в тишине внутреннего моего человека; стихия стихов, подгоняемая ритмом и рифмой, вселяла страшную реальность в представление о последнем часе, которое обретало завораживающую, черезъестественную силу и начинало крутиться перед взором наподобие пылающего колеса —

Как ярый витязь смерть нашла,
Меня, как хищник, низложила,
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.
Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,

Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем как цветы,—
Почто же мы мятемся всуе?
Престолы наши суть гроба,
Чертоги наши — разрушенье,—
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!

Конечно, череда бдительных совпадений не преминула в связи с этим подсунуть и настоящее отпевание, чуть ли не вдвое продлившее церковное многолюдье в то воскресение, и, пока оно пело и выло, я физически чувствовал, как тают последние остатки терпения. Сомнения, сплетшиеся со все возрастающим испугом перед будущим, замучили до такой степени, что стал уже склоняться к решению удалиться, бросив свое еще не слишком дорого — всего в один авиабилет — обошедшееся и, прямо скажем, святотатственное намерение.

Кроме всего прочего, успех его, и так достаточно неверный, затруднялся тем, что хотя вход в храм был мне сквозь дырочку виден, присутствие или отсутствие народа в закутке, где висела икона, угадать снаружи было невозможно, потому что створки дверей оставались плотно прикрыты. Из-за этого приходилось время от времени подыматься с теплого пригорка, обходить снаружи забор — ворота во двор были с противоположной стороны, от рынка — и забредать как бы невзначай в церковь, рискуя привлечь лишний интерес, разбудить подозрение или уж по крайней мере неплохо запомниться десяткам внимательных людей. Делая такой круг, я постоянно проходил мимо странного полузашторенного окошка на первом этаже одного из окрестных строений, где в узком промежутке между стеной и занавеской притягательно мелькал яркий переливчатый предмет, напоминавший что-то отчаянно знакомое, которое я, однако, никак не мог опознать. Выйдя, наконец, из себя от бесцельного уничтожения в муторных метаниях прекрасного летнего дня, я загадал напоследок, что если окно так и останется закрыто и ничто мне не поможет выяснить имя окаянного заоконного дива, то поеду домой не оглядываясь,— пусть это станет приметой несчастья или удачи.

Чувствуя в членах озноб, надел рюкзак, покинул насиженную горушку и скорою ногой достиг заметного дома. Теперь ставни оказались чуть-чуть раскрыты, но все равно разгадать загадку было нельзя, не хватало света. Ну, вот как хорошо,— подумал тогда,— решено: уезжаю; и захотелось узнать, какая

же штуковина невольно послужила хранительницей шаткой-валкой честности вашего покорного слуги. Осторожно надавливая на стекло двумя пальцами, отодвинул раму и увидал прямо напротив мужчину с большими руками, воткнутыми в карманы кожаной куртки, поверх которой торчала моя собственная красная рожа. Вы-то уж, наверное, поняли давно — то было зеркало, обычное зеркало внутри нужника какого-то общежития.

Не разобрав хорошенько своего впечатления от этого открытия, сердитый и разочарованный до предела, я отправился назад в порт; но неожиданно словно какой-то заморозок не допустил от мозга к суставам приказа «отбой», и они привычно, будто у старой грузовой лошади, поворотили опять в церковь. Как назло, сейчас-то она была пуста — только несколько вечных старух снова скоблили с пола воск своими громкими тесаками. Следующий раз через неделю, сказали они мне как знакомому,— в будущую субботу. Я кивнул, вышел на паперть, плотно прикрыл обе двери — назад внутрь храма и вперед наружу, и достал из кармана ножницы.

С этого мига все в душе окончательно оледенело, существо мое буквально раздвоилось: дух со стороны безмолвно наблюдал за тем, что творило отделившееся от него болезненно-легкое тело, и я думаю, что, если б хорошенько пугнуть его в ту минуту, он, вероятно, вовсе вырвался бы и отлетел прочь. Ужас совершаемого, подымаясь морозом от ступней к макушке, постепенно полностью захолонул нравственную волю, и она тихо закостенела.

Никогда, наверное, не перестану я изумляться, как в считанные секунды свободы действия руки, двигаясь от волнения втрое медленнее обычного, успели дотянуться до иконной связки, подхватить веревку над последним образом и буквально перепилить ее лезвиями. Тотчас же тело повернулось на всякий случай спиною к двери в церковь и приняло украденное в себя, прямо на грудь, спрятав его под рубаху за куртку, которую оставалось теперь лишь плотно застегнуть. Но пока выпущенная в спешке гирлянда билась о стену исподом своих осиротевших обитателей, молния моя неожиданно самым подлым макаром застряла. Только собрался я ее дернуть что было мочи, КАК СЗАДИ РАЗДАЛСЯ ХЛОПОК И КТО-ТО ВОШЕЛ. Я понял тогда, что сердце, частенько у книжных героев вопия кидающееся в пятки или наоборот бегущее вверх к горлу,— не велеречивый оборот; оно мне вправду бросилось в голову с таким ударом, что я его чуть ли не зубами держал, ощущая между щек вкус крови, давился и все никак не мог проглотить.

Против ожидания, пальцы не застыли навечно, не уронили схваченного; они сохранили спокойствие, пла-авно так вернули молнию к самому началу, резким движением закрыли ее по всей длине, защемив даже кусочек нежной кожицы на шее, и я, пошатываясь от поднявшейся внутри мутной волны, но так и не обернувшись назад, вышел вон. Запихнув руки в карманы, чтобы незаметно поддерживать показавшуюся вдруг необыкновенно большой икону, зримо топорщившую изнутри одежду, будто бьющаяся в садке рыбина, я помаленьку убыстрял шаги, убито ожидая за плечами неминуемого начала криков и погони. Пробрел двором, одной улицей, другой и пото́м, с пылающей от страха и стыда спиной, не поворачиваясь выбрался на шоссе спустя невообразимое количество времени — ему среди знакомых нам в обыкновенном состоянии чисел нет достаточного выражения.

Дальше вокруг прямо-таки с омерзительной последовательностью стали одна на другую накручиваться неприлично, невыносимо пошлые детективные сцены — не могу даже передать, до чего ненавистен мне этот самый, пожалуй, скучный и заезженный вид жизненной литературщины. Пытаясь спокойно рассуждать, я решил потом, что вряд ли все же подобного сорта вещи навязываются всякому преступнику разлившейся по поверхности современной цивилизации похабной полуобразованностью; скорее всего, необходимость их заключена непосредственно в событии преступления, переступания за черту, после чего провинившийся начинает все острей и острей воспринимать именно те черты действительности, которые целят в него позором,— и тут-то под ноги ему и подкатывается знакомая по множеству телебеллетристических примеров дорожка.

Сперва, после продолжительного безуспешного «голосования» на обочине, я ухитрился остановить патрульную милицейскую машину, возвращавшуюся в гараж с дежурства; водитель почему-то сам предложил подкинуть в аэропорт, а я побоялся отказаться добровольно сесть. Влезая же, как ни тужился войти ловко боком, так надавил углом иконы себе в пах, что зрачки чуть из орбит не выскочили; при этом шофер подозрительно покосился в зеркало на диковинные маневры волосатого пассажира.

Не успели мы проехать и квартала, как на углу были остановлены постовым: ему, видите ли, заохотилось потрепаться со своим знакомым за рулем, и, хотя в моих обстоятельствах это был и не самый худший случай столкновения с представителем власти, теперь уж он наверняка — отмечая мой внима-

тельный испуг — запомнит и время встречи, и нетерпеливо ерзавшего на заднем сиденье ездока, а при допросе сможет без труда опознать его в лицо.

В аэропорту, желая поскорей да подальше закатиться от места своего — ну, этого самого,— я глупо суетился и торопился, чем, кажется, кровно обидел флегматичную кассиршу, настойчиво домогавшуюся вникнуть в самую суть моего требования дать улететь на ближайшем самолете куда угодно.

Потом взял билет до Львова и тут же стал корить себя за спешливую оплошность в выборе средств передвижения: ведь из всех них только для самолета требуется предъявление паспорта, отчего задача найти его обладателя делается по силам и мальчишке-следователю, куда бы я ни направился со своей жалкой хитростью. Но, злорадно перечисляя внутри допущенные огрехи, я сразу же начинал совершать новые: пытаясь замести за собою зрительную память, принялся вдруг при всем народе переодеваться, меняя куртку на серый пушистый свитер,— и тогда уж, конечно, те, кто до той поры мирно подремывал на скамейках вокзала в ожидании своего часа, пристально меня оглядели.

На летном поле почти у самого уже трапа среди табунка отбывающих негаданно возник вдребезги пьяный командированный, который ни с того ни с сего так разъярился, вперемешку с рыганием выстраивая феерические матерные конструкции, что пилот вызвал наряд транспортной милиции, вылет задержали, и сытые, дымящиеся из-под перетянутой ремнями формы старшины еще долго кропотливо разбирались — что, с кем и сколько нужно делать. Я сидел на рюкзаке както рядом со своею заснувшей с открытыми глазами душой, баюкая ее словно девушку на коленях, и ни о чем более не мечтал, ничего не боялся: пускай себе берут заодно и меня, ежели охота, разве ж не заслужил?..

Юристы такое тяжкое психическое потрясение у здорового человека называют аффектом; рассказывают, что и за убийство в подобном состоянии могут оправдать. Но я не для того это говорю, чтобы как-то заявить себя невиновным, просто хочу поделиться сделанным открытием: единичный безобразник собственными силами со вдруг предстающим тогда гораздо более грозно и объемно миром справиться не сможет, без какой-то поддержки он немеет и каменеет и никакого явного преступления произвести не способен. А если все-таки оно состоялось, вот как у меня, то он действовал не один; и на самом деле, я вполне определенно чувствовал, что кто-то, меняясь иногда в числе и лице, со мной соучаствовал,—

значит, должен же нести и свою долю ответственности.

Воля с личностью мои стали приходить в себя в воздухе, когда окончательно поднялись с земли; отметьте, кстати, сколько во всем происшествии этих отрывов почвы из-под ног: река, море, самолет, снова река, и опять самолет... Сначала в оживающий рассудок полезла какая-то чушь и мелочь, как будто он, захлебнувшись страхом, вынужден был теперь отхаркиваться тою кашей, что набилась за время отсутствия в рот, и не мог сразу вступить в полное обладание всем существом. Хорошо помню, какая была его первая мысль. «Веревочка,— заговорил неожиданно пришедший в меня ум.— На крючке иконы остался клочок веревочки, идентичной той, что на гирлянде в церкви. Ты ее выкинь — и дело в шляпе: мало ли где религиозную живопись достают; твоя же *находка*, кажись, не меченая».

Все еще опасаясь смотреть украденному в глаза, я не глядя переложил его в сумку и ощупал руками: так и есть, никакой регистрационной бирки не было, зато огрызок бечевы точно болтался на указанном месте; и когда это он, подлец, сумел его приметить, коли с самого начала дела зажмурил очи и устранился — вместо того, чтобы сразу властно остановить самоубийственное покушение утратившего всякие границы собственничества.

Душа, тоже мало-помалу возвращавшаяся к движению, уже спросонья по привычке пустилась рассудку перечить: куда ж ее в воздухе-то денешь, веревочку,— наружу не выбросить, а внутри здесь места немного, как ни прячь, если захотят, непременно найдут. Вот приедут по свежему следу от паперти в аэропорт, изучат надпись на корешке билета — и передадут по радио во Львов, а там уж тебя прямо под белы руки встретят тепленького, тем более что главную улику сам им как на блюдечке несешь.

Потеряв понятие о мере и о том, с которой стороны ждать главной опасности, я словно висельник на петлю уставился на этот ничтожный клочок пеньки, за несколько минут выросший во что-то безмерное, всемирное, после чего мысли легче стало перейти к действительному источнику беды, к подлинному значению и возможным последствиям того, что я несколькими часами ранее, пусть и подталкиваемый кем-то, натворил.

Тут подумалось еще, что если Бог на самом деле существует в том виде, каким его рисовали в течение семи с половиною тысяч лет, то нет более удобного случая поразить меня за осквернение святыни, почти не нарушая вместе с тем естественного хода бытия, чем сейчас: стоит лишь уронить наш

сорокаместный «Як» — и готово. «Не должно быть! — забасил тогда рассудок.— За что же невинным попутчикам погибать?» — «А тебя об этом не спросят,— легко завернула обратно тощую его надежду душа.— Может, он весь нарочно набит такими же грешниками; во всяком случае, ты подобному решению не судья». Да вряд ли даже и другие там, на твердой земле, в куче обломков и останков, облитой отчаявшимися спасателями бензином и подожженной — чтобы удобнее было убирать прочь от взора живущих все следы и напоминания о произошедшем справедливом ужасе,— говоря словами только что усвоенного стиха, сумеют выяснить —

Средь груды тлеющих костей
Кто царь? Кто раб? Судья иль воин?
Кто Царства Божия достоин?
И кто отверженный злодей?
О братья, где сребро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Всё пепел, дым, и пыль, и прах,
Всё призрак, тень и привиденье —
Лишь у Тебя на небесах,
Господь, и пристань и спасенье!
Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье —
Прими усопшего, Господь,
В Твои блаженные селенья!

...Ах, с какой ненавистью вышвырнул я скомканный в катышок обрывок веревки прямо на бетонной взлетной полосе львовского аэродрома!..

Сам этот город показался тогда как-то маловат укачавшейся от многочисленных передвижений душе, которую мучила нравственная тошнота; спустя несколько часов я его уже весь обегал, знакомые улицы начали повторяться, ноги постоянно выносили в новые одинаковые окраины и даже за их границу, в поле, потом я снова возвращался обратно на главную площадь с памятником Мицкевичу и все никак не мог найти покоя, не знал, чем унять требовавшее непрестанного движения тело.

В довершение напастей в какой-то закусочной мне сунули блюдо под названием, которое я счел за украинский вариант голубцов, бывшее на самом деле вареным коровьим желудком. На беду, я по невнимательности разобрал подмену, только почти полностью сожрав эти поганые «рубцы», после чего помчался скорей в соседнюю столовку и вместо того, чтобы выблевать тут же все гастрономическое чудище вон, заел

его новым дешевым обедом. Кстати сказать, мне представляется, что, при современном всеобщем дроблении на группы и классы, людей можно в определенном смысле разделить еще и на такие две категории: одна возвращает поглощенную мерзость в пространство, другая же, пожалев уплаченное и пережеванное, предпочитает протолкнуть ее внутрь, во что бы то ни стало удержать и переварить; эта особая характеристика, кажется, что-то существенное способна добавить к общей картине человека.

Прикатив в конце концов домой в Москву, я вскоре же удостоверился с тревогой, насколько все-таки нешуточный опыт произвел над собой: сознание действительно сместилось с належанного места и пришло в нездоровое равновесие, разучившись выбирать. Все ему было одинаково привлекательно и противно, любопытно и скучно, дурно и хорошо; любая мысль и предложение раскатывались взад-вперед, вперед и назад, могли подобно подозрительным стихам-перевертышам равно читаться слева направо и, наоборот, справа налево: так оно как — как оно, кат?

И часто, рассыпавшись на кубики, слова строились, собираясь под образец того потянувшегося за мною с севера погребального плача, не брезгуя временами перелицовываться и в прозу.

Ну, первым делом я в ответ по старой прихоти напился с друзьями. Клюкнул сразу много, да и с отвычки окосел. Хотелось разотождествиться с тем «Он», который сотворил такое, что и сам не ждал,— а вышло так, что пропил память. Не помню вовсе как уполз, залез в стиральную машину; меня поймали в тот момент, когда включал уже рубильник. Должно быть, в подсознанье так застряла жажда очищения, что и в отсутствие ума оно искало средств о т м ы т ь с я.

Чувствуете, откуда ритм у последнего периода?..

Говорят, после этого самокрестильного происшествия меня выложили на диван, где я молча просопел до полуночи, когда вдруг приподнялся и уста забормотали что-то несвязное; потом сделались понятны слова: «У меня голова кругом идет, голова кругом идет, кругом идет...» Тут я как завоплю: «Голова, стой!!!» — и тотчас упал обратно в подушки.

Очнулся один у себя дома, и опять рассудок, покинув оболочку, внимательно присмотрелся к ней со стороны: посреди как будто бы колыхавшейся на воде кровати в чистых белых простынях была брошена она, грязная и грешная. Так я и валялся, разъединяясь и вновь заходя в себя, а там внутри ворочался, выставив наружу кончики нервов как еж,— всякое

прикосновение, даже шевеление, вызывало душевную боль и физическую неприязнь. Накатил появившийся впервые на двинском теплоходе приступ омертвения воли: я не представлял в настоящем, да и в будущем тоже, веской причины, которая убедила бы в необходимости подняться и куда-то идти. Сама совесть, докучавшая с каждым разом плотнее, отгоняется в таком состоянии лукавой ленью ума: поди-ка ты вон, говорит он ей зло и правдиво, мы ведь все же пока еще, слава Богу, не верующие; ну, мало ли, прихватили что плохо лежало — но вообще-то кто тут кому обязан? — никто никуда не привязан!.. И совесть убиралась восвояси, оставив на прощание вместо себя в голове заведенной адскую машинку толстовского стихотворения, отсчитывавшую короткими слогами

...вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-ТАТЬ...

Сдвинуться в тот день помогли в последний раз нашедшие общий язык размышление и жадность: они заметили, как, я полагаю, и вы, что так до сих пор и не ясно было, что же именно за икона мне досталась, потому что с самого начала я привязался к ней вполне идеально, так сказать, в принципе, к одной только идее без определенной формы. Теперь уже дольше нельзя было терпеть, пришла пора приглядеться поближе — чего там такое я, испугавшись, добыл.

Это оказалось изображение Богоматери с младенцем Иисусом на руках; поверх его тянется славянская надпись «Образ Божия Матери Тихвинския». Как я позже разузнал, икона по своим чисто внешним, поверхностным данным весьма отменная, пусть и не музейной ценности, но очень чистого северного письма и безо всяких там украшений — окладов, венцов, цат и тому подобного лишнего блеска. Сам же я могу оценить ее только по внутреннему своему к ней отношению, по вызванному ею ответному, пусть и мутному, слившемуся с нечистою жаждой приобретательства чувству — и снова не вижу для него иного слова, чем любовь. Но разве земная любовь про́клята за похожее желание обладать ее, что ли, предметом? А мое вожделение было рождено даже в относительно большей чистоте: ведь до того, как она у меня появилась, я ее практически не видал, хотя и смотрел прямо в упор,— оттого что почти ничего тогда толком ни в иконописании, ни во всем нашем древнем искусстве не понимал. Двойное ощущение приязни и вины родило и две одинаково верные, но взаимоисключающие мысли: не может такое счастье много длиться — и: как бы к нему не привыкнуть...

Я повесил образ, как обязывает обычай, в правый дальний от входа угол, и тут же другой, задний ум — тот самый, кото-

рый не от Бога,— взбудоражился и стал подначивать: эге, вооруженный лезвиями любитель старины, холостой однокомнатный рыцарь, а как ты впредь в присутствии двух этих новых пар глядящих в упор глаз станешь, например, принимать у себя друзей противоположного пола? Стыдно-то не будет?..

И понеслось, и поехало, и, как говорил литератор Мережковский, что пóшло — то пошлó, полилось потоком это второмыслие, закружилось в слабом на сопротивление помыслам сознании. Наиболее опасным здесь было то, что источник сомнений действительно находился глубже и умственного, и чувственного уровней существа; по самому дну души пробирался нерасчленяемый, первозданный страх отдаться той любви, которая возникала при взгляде в угол. Выразить точнее его содержание я вряд ли сумею, трудно найти подходящие сочетания имен; а на поверхность показывается лишь слабая тень его — испуги и самоукорения, отравляющие воздух свободы сырым дыханием грядущей духовной тюрьмы — или смрадом вполне явного застенка. Они шевелятся внутри всякий раз, когда откуда-нибудь приносятся нечаянные радости, и успешно соревнуются друг с другом в их уничтожении. Как скоро я, скажем, гуляя в безлюдное воскресное утро по переулкам Ивановской горы возле Исторической библиотеки, начну извлекать, намывать из легкого наслаждения крупицы чего-то вечного, они тотчас уколют сердце: да не в том ли корень особенной остроты твоих сегодняшних ощущений, что...

Но дома ужас сбрасывал слишком стеснительные для него одеяния приличий, сдергивал маску совести и приступал с ножом к горлу в своем истинном и не вмещающемся в спокойную речь, несравнимом и поэтому невидимом для других, непередаваемом обличье. В такие минуты все застывало в комнате, и только часы с книжной полки шли в такт безумной поэме, превращая тишину одиночества в бесконечное размеренное исполнение моей собственной отходной. Потом я забывался тонким сном, а вскоре, переворачиваясь по обыкновению с сердечного тяжкого бока на легкий правый, вновь пробуждался, услышав, как они торопятся в мое отсутствие извести поскорее отпущенное для решения время, следил за их ходом, крутился под одеялом и не мог заснуть.

Наутро я чувствовал себя покрепче и опять уверялся в том, насколько серьезно связался со своим несчастным приобретением,— так что никакие грязные средства, которыми его заполучил, совершенно любви этой не касаются, блуждая в непересекающихся с ней плоскостях. Не могу сказать ниче-

го про то, было ли утреннее убеждение взаимным, но вы сами, наверное, замечали, как играют при изменяющемся — дневном и ночном, искусственном и живом — свете черты лиц иконных святых, как в глазах их от блеска единственной свечи загорается какая-то горькая, но победительная надежда.

Следя по постепенно проявлявшемуся на живописной плоскости рисунку за восходом невидимого солнца, я подолгу лежал молча, часы размеренно стучали из-за спины, изображенная в центре образа женщина незаметно окутывалась тихим золотым сиянием — между прочим, по преданию Тихвинский извод богородичной иконы является одним из тех трех, которые имеют портретное сходство с оригиналом,— и в объюродевшем сердце заводился, самозарождался тикающий, опрометчиво затверженный текст:

И Ты, Предстательница всем!
И Ты, Заступница скорбящим!
К Тебе о брате, здесь лежащем,
К Тебе, святая, вопием!
Моли божественного Сына,

Его, Пречистая, моли дабы отживший на земли оставил здесь свои кручины! Всё пепел, прах, и дым, и тень! О други, призраку не верьте! Когда дохнет в нежданный день дыханье тлительное смерти, мы все поляжем, как хлеба, серпом подрезанные в нивах,— прими усопшего раба, Господь, в селениях счастливых!..

Однажды я зашел в нашу коломенскую церковь и, дождавшись, покуда освободится после службы священник,— это искусство было мною уже довольно-таки хорошо освоено,— подскочил к нему с разговором. Сказать сразу же о своей болезни казалось трудно, и я издалека повел такую вроде бы отвлеченную и ученую, а на самом деле любительскую, вполне прозрачную при их-то профессии ловцов душ беседу. Скажите, батюшка, спросил я сначала, вот ежели действительно каждому воздается по вере его, то нужно ли думать, что неверующие в загробное существование в соответствии со своими собственными желаниями на самом деле уничтожаются после смерти; а верующие в бессмертие преображаются и идут уже в жизнь иную, вечную?.. — Ну-ка, а вы как на это смотрите предложение — разве так не было бы справедливей всего, полностью в духе уважения к человеческой свободе и без унизительного над нею насилия?

Вам более любопытно, что́ он ответил? — Поглядев мне в лицо, он быстро отвернулся в сторону и, как будто внимательно наблюдая за перемещениями дьячка, который палочкой

с пучком перьев на конце тушил на расстоянии, не касаясь до пламени, развешанные вдоль по стенам лампады, стал вслух рассуждать, что-де не все вопросы на сем свете, к сожалению,— но и слава Богу, что — принципиально решимы, и ни за одно дело нельзя нам ближнего смело осудить. По-моему, сказал он, тяжко грешный человек сам со временем превращает себя в воплощенный недостаток, вместилище нераскаянности и суеты, то есть сосуд с пустотой, и после смерти в нем уже просто нечему воскресать.

Мне тогда сделалось совестно тянуть дальше свои околичности, горше было молчать, нежели чем наконец поделиться хоть с кем-то, я не смог больше носить это в себе и сбивчиво, переломив гордость, выложил ему в дюжине слов всю случившуюся историю.

— Украл,— говорю,— икону; теперь с ней расстаться не могу и мучаюсь. Что делать?..

Он почему-то почти не удивился, как я того ожидал, и вроде как о чем-то обыкновенном спросил: буду ли еще когда-нибудь в том городе. Нет, — сознался я честно и внутренне застыл, боясь, что сейчас ответит: ну так езжай туда и верни. Но священник, вперившись теперь еще дальше мимо меня, куда-то сквозь кованую решетку окна в осколки заката за рекой, коснулся вдруг мягкой рукою моего плеча и сказал: тогда ступай и делай как знаешь. Считай, что я, недостойный иерей, тебе это *разрешаю*.

Ушел я от него в расстройстве; потом на улице, правда, значительно поуспокоился, но так до конца и не понял, чего он имел в виду, и даже — осудил все-таки или простил. А вам вот понятно?..

Но тут есть и еще более темная сторона, в некотором смысле окончательное завершение темы заднего, ночного ума. Я читал где-то у одного безответственного автора вроде Ницше, что, по его мнению, святость в качестве обязательного условия существования требует яркого контраста, в отсутствие которого быстро делается обыкновенной, заурядной,— знаете пословицу «не согрешишь — не покаешься»? Ну и легко отсюда сделать вывод — какого же рода этот контраст. Вот здесь и заключен нисколько не книжный, а полностью настоящий, мясистый соблазн: ведь такое хитрое переворачивание местами причины и следствия оправдывает все то, что противоречит, подталкивает нас под локоть, подменяет направление начальных движений души: оно обосновывает необходимость «вторых» мыслей, незаметно делая их — первыми...

Я стал замечать у себя отвратительное извратительное по-

мышление, неизменно сопровождавшее подголоском каждое чистое соображение — представление о последней гадости, каким, наверное, мучился всю жизнь Достоевский. Навязчивее, чем когда-либо прежде,— по-видимому, оттого, что сковырнувшийся со стержня разум служит для них притягательнейшей наживкой,— меня принялись осаждать образы того будущего, где я как будто бы сумел избавиться от всех принесенных иконой неприятностей, и даже от нее самой; позже они сложились в повторяющийся сон — видéние про то, что я ее п р о д а л. Это была уже высокая степень бреда, настолько доказательная в своей истовой истинности, что я и сейчас не смогу уверенно отделить в ней явь от нави.

В отличие от пустячных поверхностных наваждений, предпочитающих бесплотность, кошмар имел отдельную личность, он олицетворялся в мысленном голосе, звучавшем откуда-то из затылочной части черепа; при этом в глазах никогда не появлялось ничего определенного, только клубки непрозрачного и крайне омерзительного тумана. Как это говорится в старых славянских книгах, кто-то *чужой*, словно исткавшись из воздуха, нудил меня сбыть быстрей с рук от греха подальше неправедно приобретенную святость — и сбыть, кроме всего прочего, с явной выгодой для тела и для души. Тут начинали одна за другой сыпаться причины, доводы и основания: на полученные деньги можно купить, и вполне законно, целых две новых иконы, быть может, много лучше прежней; а нет, так набрать на выручку, как-никак в несколько сот рублей, редких книг — или уехать на целый год путешествовать. Если же образ сей и на самом деле служит благословением каких-то высших сил, то продажа станет для него удобнейшим случаем доказать и одновременно прославить свою сверхъестественность: он запросто сделается неразменным и, унесенный вон очередным покупателем, тотчас же необыкновенным ходом будет прилетать обратно, да еще, как и был получен, даром... Это последнее было уже совершенно гоголевское превращение, из «Портрета», только — приглядитесь — опять же поставленное с ног на голову.

Я сопротивлялся изо всех сил, и тогда голос поменял тон, принялся издеваться, доказывая, будто кража иконы была из числа тех жалких обогащений, какие случаются лишь во сне и сразу же по пробуждении рассеиваются без следа,— но ведь это и была греза, хмельная греза, усугубленная слабостью от качки и мнительностью одиночества. В том городке, где все это якобы «произошло», говорил он с обидной достовер-

ностью, и еще на триста верст кругом него давным-давно не осталось ни одной действующей церкви! Признаться, я до сих пор боюсь проверить этот его довод, да и как это сделать, не возвращаясь на место своего преступления...

Несколько раз мне уже окончательно мерещилось, что икона взаправду продана, после чего охватывало состояние какого-то радостного отчаяния или тяжкой воли, свободы без катарсиса — не знаю, как правильнее. Сперва оно врывалось режуще-остро и вскоре же проходило; но в последнее свое посещение, сравнительно недавно, втиснулось в голову словно некое тонкое облако и потихоньку там растворилось. Не я сам, отец мой или дед с прадедом продали,— такое это было чувство; я его с тех пор, видно, долго еще буду носить под сердцем и не совсем уверен, избавлюсь ли когда-нибудь вообще.

Забыл сказать, что когда уходил из церкви после того разговора, то напоследок посмотрел на иконостас вблизи и вдруг узрел прямо напротив себя — там есть такой отдельный апостольский ряд — святого с именем, от которого я очень хотел бы откреститься: Иуда. Вздрогнув, я тогда зачурался и решил, что это опять очередное смещение в реальности, обман глаз; но позже растолковали, что их и на самом деле существует два апостола-тезки, наглядно представляющих направление двух возможных путей — один Иуда предатель, другой верный. Задача же человека состоит в умении различать, то есть — выбрать.

Все выше названное и описанное можно бы попробовать объяснить — как и вполне на первый взгляд невероятное помещение Иуды в число тех, кому молятся,— чисто естественными, психологическими причинами: совокупность всего, чем раньше жил, прежнее тело мое, стоящее на страже собственного покоя, издалека уже почуяло угрозу стеснения, отказа от привычек и склонностей, постепенно составивших внешний вид личности,— и, защищаясь насмерть, вонзилось щупальцами своих ощущений в душу, стало кромсать ее боязнями, понуждая избавиться от нагрянувшей беды, извергнуть ее вовне и вернуться на старое.

Правда, при такого рода научном подходе нанизывающийся стихопад совпадений течения моей судьбы с дамаскиновым плачем будет назван всего лишь простою игрой воображения, обостренной его предрасположенностью искать рифму там, где ее изначально и не было; но одновременно именно возможность правдоподобного разоблачения тайны кажется мне самым верным признаком ее подлинной чудесности.

Я даже рискну предложить это в качестве одного из двух главных выводов, которые сделал из всего со мной приключившегося. Сами подумайте, в чем же состояла бы наша заслуга, коли необыкновенное,— никогда, кстати, не нацеленное вообще в пространство, а метящее в определенное человеческое восприятие,— заявилось бы во всеоружии сокрушительной, беспрекословной убедительности? Имея же свободу толковать — и действительно толкуя его как прорыв ввысь или, напротив, не выясненную до поры ошибку бездушной вселенной, вы совершаете самоопределение в мире — вот и все.

Здесь после первого заключения следует далее тупик, или, лучше, перекрестие; у него можно остановиться, пока есть еще время,— оглянуться назад, переворошить в памяти пройденное. Хочется потоптаться тут подольше, хотя ноги будто сами ведут вперед, томясь от нетерпения сделать следующий шаг. Примерно таким перепутьем мне и представляется сегодняшний день, и обстоятельства нашей с вами встречи постепенно утрачивают оттенок бессмысленной нечаянности.

Но, признаться, когда я около полудня оказался на совершенно безлюдной Пушкинской, а потом, шагая по ней вниз, за поворотом наткнулся взглядом на валившую с другого конца плотную толпу, то еще ни о чем не догадывался — мне только сделалось немного не по себе. Мы сближались все больше и больше, и это стало наконец почти невыносимо: один малюсенький прохожий, направляющийся по своим ничтожным делам в центр, против молчаливо прущего ему навстречу несчетного скопища. Перед самым уже неминуемым столкновением нервы не выдержали, и я нырнул вбок, в ту пивную «Ладья», где мы сейчас допиваем свою золотую ...надцатую кружку. Теперь, конечно, вы вправе постараться спокойно и рассудительно доказать мне, что случившееся тогда противостояние есть попросту преувеличенный художественностью восприятия жизненный анекдот; на самом же деле, скажем, группа людей в организованном порядке возвращалась с демонстрации, а я ошибкою просочился сквозь кордон, перекрывавший все подступы к улице для их беспрепятственного прохождения.

Да, но опять же так ли все это непогрешительно точно, неужели нельзя подозревать тут еще и иного, сокровенного, спрятанного от поверхностного наблюдателя смысла — как, между прочим, и в снижении вечного образа корабля в названии данного кабака? Пусть я не смогу тотчас уверенно определить источник помянутых неслучайных случайностей, пусть даже мне так и не сделалось до сих пор понятно, что́

наконец нужно делать со всеми своими иконными недоразумениями, да и вообще неясно сегодня, кто из нас с ней двоих над кем усерднее трудится,— не в том соль. Среди неразберихи и внутреннего шума, в смешении стихов и страхов я чувствую высказанную на некоем высоком, символическом языке теплую надежду — нет, не на воскресение покуда, но на выздоровление...

И поэтому не поленюсь еще раз поблагодарить за повесть о тех замечательных находках, которые вы делаете у себя среди сдаваемой на приемный пункт макулатуры и вместе за спасительное в моих нынешних стесненных кондициях предложение пойти к вам работать на сортировку бумаги и книг; а в ответ, завершая рассказ, могу только отдарить своим вторым и последним из него общим выводом, или, если угодно, нравоучением.

Вот нам с вами в свое время приходилось как-то сталкиваться с изучением философии — нет нужды уточнять здесь, в общем ли то, обязательном, частном или житейском порядке; и не так уж много воды утекло, чтобы успело забыться хотя бы то, что считается ее главным, исходным и одновременно конечным вопросом: первичность материи или идеи. И да останется он навеки таким для всякого отвлеченного, безличного, нечеловеческого любомудрия,— а я на своей душе понял, каков истинный основной вопрос философии: это страх смерти. Он настолько уже основателен, что не требует и вопросительного знака на конце, для него вполне достаточно точки, той точки, до которой я дошел в настоящий момент. Точка-стена она, точка-погибель, точка-затычка и точка-дверь, дверь, превращающаяся на глазах в окно, проходя сквозь которое очертя голову иду в незнаемый я путь иду меж страха и надежды мой взор угас остыла грудь не внемлет слух сомкнуты вежды лежу безгласен недвижим не слышу братского рыданья и от кадила синий дым не мне струит благоуханье но вечным сном пока я сплю моя любовь не умирает и ею братья вас молю да каждый к Господу взывает Господь! в тот день когда труба вострубит мира преставленье прими усопшего раба в Твои блаженные селенья.

1981

НОЧЬ РОЖДЕНИЯ

Услыхав этот голос по телефону и испуганно опознав его каким-то подспудным чутьем, Женя почувствовал то отчаянное облегчение, какое ощущает долго скрывавшийся и наконец пойманный преступник: теперь хоть не нужно больше прятаться и бояться. Но потом, разобрав в беспорядочном узоре полупустых слов, выплетавшихся по ту сторону шнура высоким расколотым фальцетом — так звучит перевешенный с исчезнувшей из обихода тройки на корову треснутый валдайский колокольчик,— завернутый в них никак не ожиданный смысл, он попросту обомлел: оказывается, его приглашали в воскресенье на день рождения...

В смущении он вяло выразил вежливую благодарность, а про себя подумал: в следующий раз будешь умнее, пора и свою волю когда-то проявить, хватит прятаться за судьбу, надеясь, что она сама вывезет куда следует, лишь бы ведóмый не слишком упорно сопротивлялся искусно подобранному стечению обстоятельств,— и что-то еще подобное, разворачивая тот же ряд рассуждений.

Продолжая с забавной бесполезностью кивать в ответ на выдавливаемый трубкой говор, Женя шагнул к дивану попятной стопой, и перед его обратным зрением тотчас

возникла минувшая трижды грешная пятница, но уже не в прихотливой последовательности ее происшествий, какой невольно принужден подчиняться всякий устный или письменный пересказ, а сразу во всей своей объемлющей целокупности и в обрамлении отдельных наиболее ярких мгновенных снимков — словно житийная икона былых времен, только перелицованная таким образом, что на месте лика в среднике было зеркало, а опоясывающий ряд клейм замещался набором из дюжины диапозитивов.

Это и на самом деле был такой солнечный осенний вечер, какие будто нарочно созданы для съемки слайдов: красноватое солнце давало подсветку, делавшую реку, дома и чуть тронутую сентябрьской старостью природу немного игрушечными, театральными, сродни тем спело-сочным налившимся видам, что пестрят в изданиях для путешественников. Мысленное предвосхищение наступающих холодов, когда мир вокруг неминуемо из цветного превратится в черно-белый, оживляемый разве мерцанием пурпурных и синих теней, еще поддавало жару несколько даже чрезмерной красивости улицы, когда Женя с Сережей вышли на нее прямо из института и, миновавши «дом Муму», направились за угол в Коробейников, «к лодырю» — так исторически верно называлась возросшая тут на пустыре пивная будка, посещаемая после занятий напополам студентами и молодыми офицерами соседних учебных заведений, при всем несходстве своей формы представлявшими в общем-то почти один отроческий возраст.

День сей для двух приятелей был светлым вдвойне, потому что именно в это простое, ни на какое иное не делящееся число 17 каждый месяц — а сегодня к тому же впервые после каникул — выдавали у них стипендию: и вот теперь они, чтобы отметить скромный свой частный праздничек, взяли у тети Маши несколько липких кружек с шевелящейся седой шевелюрой пены и мирно расположились в знакомом скверике, другим концом выходившем в соседний Хилков переулок. Усевшись поудобнее на спинке скамьи подле самой дороги, они завели неспешный просвещенный спор как раз на ту пресловутую лодырскую тему.

Сережа утверждал, что прозвание пошло от хозяина хилковского дома номер три — врача Лодера, устроившего там в прошедшем веке заведение минеральных вод, где публика чинно попивала за деньги из глиняных стакашек подземную цельбоносную жидкость и прогуливалась для моциону по галерее в полной уверенности, что совершает тем полезную

для здоровья работу; а не привычные к такой диковине окрестные жители припечатали прогульщиков по имени затеявшего всю эту петрушку хитроумного иноземца «лодырями».

Женя спокойно выждал окончания хорошо знакомой ему байки и возразил в свой черед, что слово «лодырь» известно за много веков раньше и в словаре Фасмера — как, кстати, и Даля — производится от германского корня.

Прение было уважительное и степенное, слегка передразнивавшее хорошо обоим знакомые ученые заседания кафедр, что вполне соответствовало как широте души, так и незлобивому легкому нраву друзей (жаль, что в следующий раз это уже, видимо, не повторится...). Средневозвышенного современного роста кареглазый Женя был юноша тихоня и удачник, можно было бы даже отважиться назвать его счастливцем: победитель школьных олимпиад от литературы до математики, сразу после десятого класса поступил он на первый курс и совсем скоро, через три с небольшим года, ожидал сделаться образованным переводчиком с английского и французского; свое свободное, в избытке достающееся время он отводил по вечерам плаванию в бассейне, увлекался фотографией, читал множество книг на разных языках и был единственным ребенком в семье, ни один из членов которой из числа тех, кого застал Женя при своем рождении, с тех пор не умирал и даже не был тяжко болен. Однокурсник его Сережа выглядел уже завзятым «мужчинкой», вытянувшись чуть ли не на голову длинней прочих сверстников, и несуразной угловатостью движений при деревянной глухоте резкого голоса разительно напоминал Буратино; словно в возмездие за высотное преимущество, самою природой он будто бы нарочно был создан служить «вторым» — необходимым спутником и подпорой кому-то, кого он покуда еще не сумел толком сыскать. Сознавая неким безымянным чувством это свое исконное предназначение, он в последний год довольно успешно «примеривался» к Жене, с которым уже само произнесение их имен вкупе запросто составляло стихотворную строку — «Сережа и Женя» — нежно аллитерирующий, усеченный в конце амфибрахий.

При всем том у Сережи была и своя чудачливая черта, отличительная особенность, всегда имеющаяся у книжных людей и иногда — у живых: он был бескорыстный и безнадежный лгунишка, лишенный, однако, присущего подлинному вдохновенному вруну буйного творческого воображения. Поэтому он привирал, как эхо или зеркала в комнате сме-

ха: стоило, допустим, кому-то в беседе поведать, что он случайно нашел в старом брошенном доме неподалеку древнюю золоченую раму, как тотчас же Сережа не обинуясь сообщал в ответ, будто откопал летом в «своей» деревне (которой, скорее всего, вообще на свете не существовало) полный котелок монет, а в соседней избе купил за трешницу чуть ли не целый иконостас с колокольней в придачу, только вот покуда привезти его недосуг.

Эти никогда не прекращавшиеся враки в своих наиболее пронзительных образцах становились в институте ходячими притчами во всех изучаемых языцех, однако среди прочих однокашников именно Женя относился к слабости ближнего с великодушною снисходительностью — чем, быть может, Сережу и привлекал; помимо того, Жене доставляло удовольствие наблюдать, как легкомысленные товарищи, раз навсегда положившие ни в чем не принимать Сережины «феньки» всерьез, время от времени попадали впросак, когда единая из сотни его небылиц просто по теории вероятности оказывалась чистейшею правдой.

Отдавая дань своему двадцатилетнему возрасту, почти что треть всех рассказов о приключениях настоящих и мнимых, которыми делились собеседники в перерывах меж лекций и семинаров — а зачастую, пристроившись на «Камчатке» у задней стены, и прямо на них,— уделяли они проделкам по сердечной части. Немало в том поднаторевши, двое приятелей выработали даже своеобычный разговорный закон, извлеченный из наблюдений над собственными речами: любое, самое возвышенно-воспарившее рассуждение имеет склонность неминуемо шажок за шажком опускаться с заоблачных высот долу и достигать сперва просто девичьего вопроса, а потом уж и вовсе перерасти в прямые женонеистовые междометия. Найденное вновь житейское правило стало тогда удобным путеводительным знаком для определения нижней границы общения: в следующий раз, приметив, что обмен мнениями докатился до известной точки и начинает пересекать некоторую черту, приятели лукаво улыбались и принимались откланиваться.

В сей вечер переход от истории словообразования к любовным шашням был совершен по круто выгнувшему спину над потоком суждений мостику окольных мыслей: зацепившись умом за рассекаемое определение, Женя постарался кратко выразить в виде поведенческой «установки» — и не стесняясь нисколько тем, что внимательно молчащий слушатель заведомо не оценит и половины на глазах рождающегося открове-

ния,— почему и в душевных пристрастиях лучше всего пребывать именно лодырем. Известно ведь, начал он издалека, что не мы выбираем, но нас; а ежели хорошенько разобраться, то становится также ясно, что среди обитателей поднебесья противоположного пола существует особый род или отряд, уже заранее предрасположенный к каждому отдельному мужику. Так вот, проще и естественней, кстати, мирно дожидаться с ними встречи — благо число их обычно достаточно велико,— нежели чем насиловать природу, ухлестывая понапрасну по собственной прихоти, терзая себя и докучая чужим людям нелюбезной им вовсе любезностью.

Другое дело,— с усугубленной легким пивным хмелем (и в следующий раз более уже не приходившей) сытою грустью продолжил он свое размышление,— что такой сочувственный к тебе лично вид может и не совпадать с тем, к которому ты сам, как говорится, питаешь склонность — или, лучше, она тобою питается. Но тут уже остается только смириться с доставшейся долей, склонясь почтительно перед ее высшею мудростью, и не роптать отнюдь — иначе повесишь сам себе на шею такой жернов, будь он хоть трижды золотой-рассеребряный, что обязательно утащит на дно и как пить дать утопит.

Среди таких вот безответственных умственных игрищ им и удалось, сейчас даже трудно точно восстановить в памяти — как именно, подцепить проходившую мимо с работы Наташку, познакомиться с ней невзначай и, слово за слово, усадить с собой поболтать. Эта длинноногая, под стать обоим дружкам, горбоносая девица в крупных каштановых кудряшках появилась перед ними в качестве того, что называют затертым в школе, но в основе своей звучным и выпуклым выражением «наглядное пособие», к Жениным выкладкам: долго уговаривать ее покуликать со студентами над тем, что в количестве шести бокалов равняется по калорийности плотному обеду, вовсе не требовалось.

Любопытно, что лишь на следующий день Женя узнал от более пристрастно наблюдавшего происходящее Сережи, что она чрезвычайно яро косила на левый глаз: вот ведь до чего был он, значит, увлечен счастливою простотой знакомства. Не договаривая от радости полного узнавания концов предложений, перекидываясь ловкими полуодетыми словечками-знаками из взаимно известных анекдотов, трое беззаботных бездельников просидели еще битый час, не скучая, в совершенном довольстве собою и миром, каждый ожидая — но не торопя — еще более завлекательное продолжение.

И всем им ужасно еще понравилось, как неспешно кативший мимо на порожней «скорой помощи» восточного облика водитель в кожаной кепке, проехав уже вперед, внезапно резко затормозил, подался задним ходом обратно к их скамейке и, взглянувши еще раз — не померещилась ли ему сия беспечная до жути троица,— удивленно выругался, прибавив: «Вот это жизнь, да?!» Потом плюнул со вздохом через ветровое стекло на мостовую и отправился покорно дальше выполнять свои рулевые обязанности.

Женя с Наташкой громко рассмеялись и стали наперебой представлять, какого рода мысли терзают теперь завидущую шоферскую башку, но тут расхрабрившийся Сережа предложил «кутнуть», пока не разбазарились по мелочам деньги, и немалые — чуть ли не по полста рублей на брата: когда-то еще в следующий раз такая возможность приключится...

Переглянувшись, они согласились и отправились в ближнее кафе с чудны́м прозванием «Ярославна» — наименованию этому в свое время тоже изрядно досталось от круговратительно подвешенных языков: почему уж тогда не «Плач Ярославны», да недурно бы вдобавок через дорогу чебуречную «Половецкий стан» — и так далее.

Там подошла и пора обмениваться телефонами, причем девица с легкостью распознала по первым трем цифирям Женино место жительства: «Где-то у Сокола, там еще церковь такая — была красная, перекрасили в желтый». Все складывалось теперь уже до неприличия ловко, будто по чьей-то указке, с избыточной двойной удачей: оказалось, что у нее прямо рядом, перейдя через парк, гнездится в однокомнатном отдельном жилище, и притом совершенно одна, задушевная такая подружка, к которой как раз предполагалось сегодня вечером заглянуть на часок в гости. Между тем, родители Жени должны в эту же пятницу отбыть в подмосковный двухдневный дом отдыха на речке Клязьме,— так что представлялась возможность загулять сразу на два фронта.

Позвонили подружке, которую звали не совсем понравившимся Жене своей затрапезной простотою именем Зоя (он, между прочим, угадал, и в сем случае снова нашел подтверждение известному поверью о том, что человек, зачастую сам того не замечая, крепко повязан со своим именем и фамильным прозвищем: ежели он Козловский — так непременно уж в чем-нибудь козловат, Зверев или вид имеет зверский, или повадки до крайности хищные, Евреинов женится на Юдиной, Михайлова как по заказу зовут Михаилом Михайловичем, а фамилия ревизора в электричке будет Спихнулин —

и так далее; при слове же «Зоя» в наше время представляется вовсе не византийская императрица, когда-то нареченная этим именем, а некая домохозяйка в байковом халате и тапочках без задников на босую в мурашках ногу, из которых кажет себя желтая пятка). Но как бы то ни было, чтобы не задеть Сережина самолюбия, требовалось дополнить число почитателей праздности до четного, превратив прекрасную треть собравшихся в половину,— и вот, вполсыта и вросхмель, навеселе именно веселом, а не пьяном или хмуром, свежие друзья пустились, размахнувшись даже взять таксомотор, в сторону Ленинградского проспекта.

Завернувши налево перед тем перекрестком, где он расщепляется на два шоссе, они подкрутили вскоре к стайке нововыстроенных домов, выросших здесь в конце семидесятых годов наподобие марсианской колонии посреди бывшей Большой Всехсвятской рощи. Наташка, слабая на долгую числовую память (хотя и училась, судя по ее словам, заочно на инженера-программиста), как-то умудрялась находить нужное здание, этаж и квартиру по одной только ей понятным зрительным зацепкам — что в следующий раз чуть было не подвело Женю; хорошо, что он вовремя захотел тогда попробовать повторить тот же фокус и кое-как в нем преуспел.

Ввалившись в отысканную таким макаром дверь без звонка — кнопка которого вылетела, а соединявшиеся вручную проводки контакта отказывались вступать в этот самый контакт,— девица лихо тряхнула круто завитою челкой и с лету ввернула в приветствие витиеватую брань с укоризной:

— Так-распротак, Зойка, да ты еще, девка, и не собралась?!

Вышедшая им навстречу из темного неосвещенного угла простоволосая женщина небольшого роста с крупными, как бы на ниточках висевшими матовыми глазами и выпуклым детским лбом, напоминавшая вязкой холодностью своего вида средневековую надгробную статую, вяло ей возразила:

— А может, все-таки, у меня усядемся?..

Женя тогда вступил в права распорядителя и принялся уговаривать, что у него-де и музыка есть, и прочее для танцев потребное, и идти-то совсем недалеко, и так далее,— покуда убежденная наконец хозяйка не отправилась разоблачаться и вновь одеваться при помощи подруги на кухню. Два приятеля между тем остались стоять в нетерпеливом бездействии посреди гостиной, служившей по смежности также и спальнею, и от нечего делать кружили взорами по ее убранству.

С самого же начала этого разглядыванья Жене сдела-

лось как-то тоскливо и неловко за собственное свое опрятное и ухоженное существо, само пребывание коего в сей комнате ощущалось каким-то неприличием. Все здесь было, что называется, кое-какое (замечательно, что и у самой насельницы ее, как позже выяснилось, любимым присловием было «ведешь себя кое-как») и неприбранное донельзя: дешевая «стенка» в раздрае, с вынутыми стеклами почти пустых книжных и посудных полок и вываливающимися дверками, четвертованный безногий диван («спальный станок», по выражению Наташки), положенный прямо на пол, расколотый наискось телеящик, незанавешенные окна и, в довершение неуютства, торжествующая грузинская чеканка с изображением толстомясой купальщицы прямо над входом. По углам и кругом батареи отопления неспешно путешествовали за едой и питьем усатые многоногие даровые жильцы, и казалось даже неуместным их уничтожать или сгонять прочь — настолько полноправно и уверенно вели они тут себя, передвигаясь по своим нуждам не вдоль стен, огибая препятствия, а с совершенною наглостью напрямик.

Долго еще потом, вышедши со спутниками на улицу, и даже у себя дома счастливец Женя ловил собственную память на том, что как будто бы только что произошло нечто неприятное, чего бы в следующий раз повторять не следовало, но никак не мог извлечь его определение из сознания, чтобы назвать и выбросить вон.

...Приведя гостей в свою комнату, он рассадил их по периметру, включил «мафон» и спросил о желаниях. Наташка предложила хором разгадывать кроссворд; Сережа с Женею обменялись тоскливыми взглядами — это был совсем не их уровень развлечений,— но, решивши, что ничего лучшего на первых порах сами предложить не в силах (в следующий раз не мешает заранее приготовить), согласились через неохоту. Женя отправился в прихожую и выкопал там пачку изданий с «крестословицами» — как, пояснил он попутно, один современный писатель удобно и точно заменил шипящее чужеродное слово.

За угадыванием названий, с которым, к немалой досаде друзей, девицы справлялись быстрей и ловчей их, последовали обещанные танцы. Тогда же разлетевшийся Женя, махнув в душе рукою на последствия, извлек приготовленные отцом — в известном ему тайнике под часами — для какого-то грядущего праздника полудюжину банок датского пива и литровую бутыль самородного коньяку; на закуску нашлось только три яблока. Раздробивши их поровну на дольки и быст-

ренько потребив, остальное — в перерывах между музыкою — пили уже всухую, точнее сказать «в мокрую».

Наташка выпорхнула на балкон покурить, а происходивший из рода совершенных не-табачников Женя, вежливо оставив Сережу наедине с его парой, проследовал за нею скрасить дымное ночное одиночество. Притом он, немного злорадствуя, решил, что стоит все же наконец испытать на деле разок Сережину похвальбу: сумеет ли он хоть общий предмет для беседы выбрать самостоятельно, не говоря уже о чем-то более хитром,— но вскоре это немного коварное свое намерение совсем позабыл, принявшись сладко до крови на губах и потери чувства времени целоваться с Наташкой.

— Дурачок,— бросила она ему, оторвавшись на миг, чтобы отдышаться,— ну что за радость лизаться с бабой после папиросы? От женщины должно земляникою пахнуть —

Докончить он ей, однако, не дал, и они продолжили, довольно сопя, обниматься, причем Наташке все приходилось переступать с ноги на ногу и отходить мелкими шажками назад, чтобы не упасть под напором наседавшего на нее сразу спереди и сверху ухажера; а он, в свою очередь, действительно уловил теперь во рту затхлый табачный душок, и потом, к тому же, заметил через стекло соседской двери — балкон был общим на две квартиры — устремленные на них любопытно-осуждающие взоры собравшейся за столом на поздний ужин семьи кооператоров Штейнгелей.

Пришлось возвращаться обратно в комнату, где в неловком молчании, как это и можно было заранее предполагать, восседали китайскими болванчиками их спутники, сложив от смущения на коленях руки совершенно зеркальным образом. Стараясь как-то растормошить их, достигнуть хотя невольной разрядки, Женя предложил выпить по большой, затем снова, после того опять,— а когда собрались уже добавить, опрокинув по следующей, выяснилось, что чудесный южный напиток иссяк, а пиво два молчуна выхлестали в их отсутствие как бы в отместку и назидание, чтоб в следующий раз не бросали их на произвол собственных судеб.

Женя вновь пустился плясать с Наташкой, делаясь все смелее,— но, к его удивлению, отклик на его желания становился все глуше, покуда не сошел вовсе на нет, и она весьма резко сообщила, повысив без всякой надобности голос, что мертвецки устала; кроме того, метро скоро закрывается, на «тачке» ездить ночью опасно, а ей уж давно пора к маме домой. Женя попытался было что-то потешное возразить про встречу рассвета на крышах, однако тотчас же понял, что все

усилия к тому будут напрасны, одновременно начиная догадываться, что его довольно-таки ловко обвели кругом пальца.

Зло зыркнувши на обманщицу, к которой и требований-то ведь никаких нельзя было предъявить, он повернулся к забытому ради нее товарищу и обнаружил, что тот сидит в той же застылой кукольной позитуре, теперь уже приоткрыв в удивлении и нерешительности рот, глядя на Зою, как-то стремительно опьяневшую и откинувшуюся в беспамятстве на подушки.

— Ну-у вот, опять эта девка набралась,— весьма спокойно заметила Наташка.— А ведь хреном клялась держаться!..

И, подхватив под мышку сумочку, она чуть не бегом вышмыгнула к выходу, словно не заметив преувеличенно-укорительной вежливости, с какой его отворил перед нею Женя. Просвистев перед его носом жарким запахом и так и не попрощавшись, девица, не дожидаясь прихода лифта, дроботом засеменила пешком по лестнице.

Женя проследил ее ход вниз на два этажа, а потом неспешно защелкнул замок и, медленно ступая по ковровой дорожке, вернулся к себе.

На диване, припав к бесчувственной девушке, с которой он уже стащил через голову серую без воротника кофту, Сергей подрагивавшими от возбуждения руками тянулся и никак не мог расстегнуть зацепившийся сзади крючок-собачку на длинной юбке. Тогда он подтянул голову повыше на подушку — при этом с правой Зоиной ноги сорвался грубый башмак-сабо и обиженно брякнулся об пол,— и, запустив с обеих сторон ладони ей под бока, вступил в новую схватку с непокорным приспособлением, неожиданно чуть ли не одушевившимся и сопротивляющимся наступающему противнику, как последний оставшийся в живых гвардеец. При этом Сережа еще умудрялся зачем-то целовать ее в оголившееся плечо...

Женя подвинулся ближе и в свете лампы-ночника разглядел, что под кофточкой у Зои была одна только ночная рубашка, сыроватая от вспотевшей в танцах кожи. Сергей, услыхав его по шороху за своей спиной, промычал не по чину повелительно: «Помоги... подержи...»

Тут Женин перенасыщенный книжным знанием мозг посетило опасное сравнение с читанным еще в ранние годы «запретным» рассказом Леонида Андреева «Бездна», в котором описывалось чем-то схожее происшествие: на гулявшего с барышней по пустырю волокиту нападают бродяги, ругаются над нею и убегают, а очнувшийся оглушенный ими кавалер, не удержавшись при виде беззащитного тела, ступает в их след...

Женя нерешительно сделал шаг к дивану, затем, смелее, другой — и тут вдруг что-то невыносимо резануло в глазах, отдавшись беззвучною вспышкой внутри головы, и на мгновение все перед ним застлала живая белая пелена, вроде бы даже имевшая какие-то человекообразные очертания, похожие более всего на высокого седого в лунь старика.

— НЕ ТРОНЬ! — исчерпывающе властно прозвучало у него под сердцем, и вслед за тем его с ног до головы окатило студеной волной озноба, будто все существо окунулось на мгновение в ледяную прорубь: поверхность рук и ног вздулась крупными мурашками, волосы даже на кистях стали в торчок и всякое возбуждение с хмелем отпали, как короста. Жене сделалось бесконечно мерзко, как при внезапном столкновении лицом к лицу с застылым трупом, да, пожалуй, и еще сильней, так что он вмиг из мужчины превратился в испуганную бесполую тень.

В следующий раз, пытаясь осторожно воссоздать в мысленном образе это диво и понять его подоплеку, он постарался рассудочно угадать в нем врожденную память предков, родовой хохляцкий оберёг (он был по отцу малороссиянин), некий припасенный на крайние случаи подсознательный охранный толчок,— но все это было далековато от истины (холодно!) и подлинной природы того сокрушительного мороза, страшней могильного, не выдавало. Достраивая облик явления, он попытался тогда собрать перед внутренним оком еще хотя бы лицо того белого тумана, но не смог, а взамен увидал посреди него маленькую куколку вроде бледного кокона с красной головкой — но так ничего большего и не добился...

Тем не менее, сразу после этого он, корчась от накатившего отвращения, стал мешать Сереже раздевать дальше девушку и, наконец, стремясь поскорей убедить его оставить ее в покое, выложил такой вовсе омерзительный ему в душе по всем статьям довод — что тут, не ровен час, могут еще обвинить в насильничанье и, пусть даже и не сумеют доказать, из института все-таки попрут, да еще хлопот и позора не оберешься,— и вот *поэтому-то* лучше подобру-поздорову сейчас отступиться.

Немилосердно бранясь, впервые ненадолго сделавшийся главным Сережа неохотно вернул начальство и, исполняя указания товарища, стал нацеплять назад никак не вдевавшуюся в руки кофтюшку. Потом, при помощи Жени, поднял безответное и тяжелое, как у мертвеца, безвольное тело, довел, переставляя ноги, до дверей и, поглядевши в глазок — нет ли

случайно на площадке соседей,— они поволокли его из дому во двор.

Однако, доставить обратно спавшую на ходу жизнь (как, не прекращая ни на час напоминать о себе, перевел теперь с греческого ее имя вертевшийся у Сережи под языком филологический бес) оказалось не так-то просто, не зная адреса и постоянно опасаясь налететь на бдительного постового или целый наряд, без устали разъезжавший здесь после полуночи по прямым, издалека просматривавшимся пустынным дорожкам парка.

Наверное, в каждый следующий раз просветления будет припоминаться Жене та душемутительная прогулка, когда, не совершив как будто ничего противозаконного и вместе с тем явственно перевалив по ту сторону угла, обогнувши заповедную уголовную грань, за которой отвечают уже головой,— они, прячась, отчаиваясь и поминутно представляя, что выйдет, ежели их все-таки задержат, блуждали среди сошедшихся в неразмыкаемое кольцо высоченных зданий, напоминавших то кукурузные початки, то восточные пагоды или пчелиные соты, и, напрягая чуть не лопавшиеся от напряжения глаза, погоняли страхом зрительную память, сбитую с толку сменившимся ночным освещением.

Когда же в конце концов они распознали нужный им корпус и уже взобрались на потребный этаж, негаданно возникла у самой цели новая преграда — нечем было отпереть дверь. И тут опять довелось Жене испытать поганое чувство безвыходного погружения в гадость, когда ему пришлось взять девицу крепко под мышки, скрестив руки на свободно болтавшихся под кофтой грудях, покуда Сережа последовательно обшаривал ее карманы в поисках ключа.

Его они, тем не менее, так и не обнаружили, но в некий совсем уже предпоследний момент Женя догадался толкнуть створку — она оказалась незапертой. Внутри на кухне горел свет, а под ним на голой раскладушке убито лежал на животе и лице какой-то со всхлипом храпевший человек в черном драповом пальто.

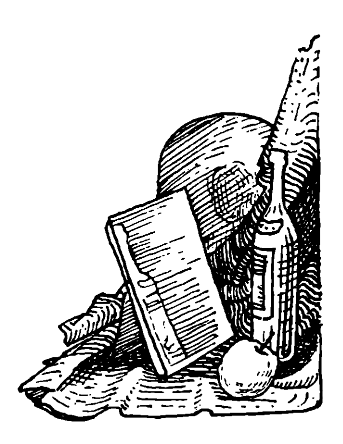
Переговариваясь шепотом, они прошли, ступая на цыпочках, мимо него в комнату и сложили Зою зигзагом на «станок»; после чего, погасив лампочку и притворив наживо за собою двери, улизнули прочь.

Уже на улице, вздохнув с облегчением и отчего-то избегая глядеть друг другу в глаза, они вволю выругались в гулкое беззвездное пространство, простились и разошлись восвояси.

— И вот теперь случилось то, чего он более всего опасался:

она все-таки позвонила. Чтобы не увеличивать еще неловкости, он не стал спрашивать, чем все это тогда для нее закончилось, рассудив, что раз она сама не заводит о том речи, то, вероятно, ничем особенно дурным. Ему даже представилось, что он поступил в общем-то вполне прилично, выручив — пусть не невинность и не честь, но хотя бы нечто от них производное; и Женя чуть было не выразил это вслух, но вовремя спохватился, сообразив, что стоит лишь высказать что-то подобное, как хоронящаяся в том (и то, ежели оценить здраво, весьма гадательная) толика добра тотчас же обратится в свою противоположность.

К тому же по голосу и настроению собеседницы он разобрал, что приглашают его в воскресный день вовсе не из-за этого. Да и на самом-то деле ни он, ни опростоволосившаяся Зоя тут ничего особенного не совершили, как не идет здесь в счет ни само положение, в котором они оказались по воле давшего им урок случая, ни тот способ, каким из него вышли. Даже и видение пресловутое — было ли оно наяву или только примерещилось — за отсутствием имени и лица представилось не Бог весть чем...



Но что-то, однако, вчера — это он чувствовал всем своим составом до позвоночника — произошло потрясающе важное. Собравшись с духом, он вытряхнул прочь набившиеся в уши и в рот ненужные слова и, прервав не стесняясь чужую речь на середине предложения, сказал:

— В сле...

1983

ВЫБОР ИСТОРИИ

История, случившаяся в день выборов

Будем писать, не печатая, может быть, придет благоспешное время.

Евг. Боратынский — Ив. Киреевскому. 14 марта 1832 г.

Сильней всего Ревякина поразил не порядок учета голосов, сам по себе остроумный и весьма необычный, но его явственное и несомненное сходство с игрою в лото. И действительно: «выборщики», в число которых он попал, исполняя общественное поручение, сидели рядком среди бездельно-роскошной прихожей огромной библиотеки, каждый имея на руках списки своих подопечных граждан, в ожидании, покуда из другого вестибюля, где непосредственно и происходило таинство голосования, прибежит женщина с последними свежими данными и начнет громко их вслух объявлять (лотошники называют это «кричать»), выкликая: «63-й, 315-й, 568-й»,— то есть обозначенные для краткости цифрами такие-то обитатели околотка уже опустили свои бюллетени. Ведавший ими выборщик отмечал совпавшие номера в своем списке, а затем шел к большой сводной таблице, развешенной на стене, и ставил там в соответствующем квадратике андреевский крест. Счастливец, зачеркнувший символы всех, кто вверен его попечению, мог свободно покинуть поме-

щение и потом распоряжался чудесным весенним выходным днем по полному своему усмотрению.

Сравнение это впервые посетило его во время третьего или четвертого выкликанья, когда притащившийся сюда ни свет ни заря полусонный Ревякин, раздосадованный отсутствием сознательности «его» людей, вовсе не торопившихся навестить участок, пропускал мимо ушей последние выигрышные номера — их числа уже давно и безнадежно миновали. Тогда-то он от скуки и принялся, с усильством напрягая разум, развивать лотошную образность ради собственной забавы как можно шире.

«215-й, 221-й, 225 открепился, 278, 377. Внимание, поправка: 66-й Медведев, проголосовавший по доверенности за Бессмертнову, объявлен недействительным в связи со смертью Бессмертновой...»

— Придется Кощею приглядывать себе новую жену,— глумливо рассудил Ревякин и достроил наконец, хотя бы вчерне, общую схему игры, вызвав из воспоминаний глубокого детства картину того, как он возится под кажущимся громадным столом вместе с соседской девчонкой, неживой своей прелестью более походящей на куклу из «Дома игрушек»,— а поверх их мира, на той стороне крышки мама с папой и два малознакомых гостя коротают досужный зимний вечер, балуясь бочонками. Правда, «бочонком» в узком смысле, «бочонком», так сказать, по преимуществу звался у них тот, на котором был вырезан нуль; 11 ласково переобозначали они «спицами», 33, кажется, были «дамские колеса» — кстати, что-то неясно, отчего... Но идем далее: перевертыш 69 нарекался «туда-сюда», а 90, последняя цифирь в игре,— «дедушкой».

Сама таблица как будто строилась из трех рядов с одинаковым количеством пустых белых и заполненных числами клеток. Кричавший тащил вслепую из холстинного мешочка бочонки и внятно выговаривал номер, написанный на очередном выуженном. Их затем ставили нашедшие ту же цифру у себя в карте на место сошедшихся значений (если совпадало сразу у двух, то второй брал цветную фишку-заместительницу) — и ждали, пока одна из трех полос наполнится до конца. Но и тут была своя особенная хитрость: верхняя строка считалась совсем пустячной, выигрыш по ней давал всего лишь право даром взять следующую таблицу; зато средняя полная строчка приносила уже половину, а нижняя — всю кучу поставленных на кон копеек.

Разбавляя вынужденное безделье прихотливой витиевато-

стью воображения, Ревякин пустился тогда оценивать весь скудный запас своих возможных «выигрышей», примеряясь, к которому из рядов отнести чортову дюжину врученных его заботе избирателей.

Как всегда, повинуясь вкорененной еще ребяческим упрямством привычке, начал он, конечно, с последнего — с «дедушки». Дед этот, о чем его заранее еще предупредили при распределении участков, был неприступно крепким орешком: служа диаконом в соседней арбатской церкви, голосовать он упрямо отказывался, но притом, чтобы не подводить ответственных за его явку, обязательно выправлял на время очередной кампании справку о болезни. Ревякин из чистого любопытства постучался к нему, однако не успел и двух-трех слов произнести, как лысый долгобородый хозяин угадал его намерения, замахал обеими руками сразу, поклонился в пояс и тотчас же затворил дверь.

Ревякина сие немного обидело, как ни старался он отнестись к такому приему спокойно, с должною долей любомудрия; и тогда, словно отыгрываясь за неудачу, он решил повнимательней изучить небольшой народец своего списка в лицо, смутно надеясь на какой-то призрачный барыш для души от общения с незнакомыми людьми. К сожалению, итоги обследования вышли довольно жалкие, и сейчас приходилось признаться, что все почти встреченные им запросто помещались разве что в верхний ряд мысленной таблицы; лишь один или два, да и то со скрипом, дотягивали до среднего, не говоря уж о нижнем, основном. К тому же почитай что все дома в переулках между Арбатской площадью и улицей Маркса-Энгельса в скором времени подлежали выселению для капитального ремонта и последующей передачи под разные учреждения, а то и вовсе сносились, как квартал подле самого метро. Поэтому настроение у жителей было дорожное, никакой любовью к этим сердечным, в основе своей, для старого города местам не прикованное: люди здесь в вещественном и духовном отношениях, что называется, сидели на чемоданах.

В первую квартиру наставить Ревякина и показать навыки работы привел голова из отдела агитаторов, бойкий младший научный сотрудник из московских грузин, сочинявший вообще-то в рабочее время в соседнем секторе монографию о связи освободительных движений Латинской Америки с передовой мыслью современности. Он с ходу, не глядя на открывшего щеколду «ответственного квартиросъемщика», влетел в темные сени и, сверкнув зубами в обширной улыбке, выпалил:

— Ну что, за Советскую власть тут кого-нибудь уговаривать надо?

— Да не, не нужно,— усмехнулся вышедший им навстречу в пижаме и тапочках на босу ногу мужчина.

— Вот и ладненько. Значит, так: через месяц в воскресенье будут новые выборы — как всегда, в помещении библиотеки, найдете там, где музыка громче играет. А расписание лекций в красном уголке вот он вам,— кивок в ревякинском направлении,— принесет или на стекло в парадном наклеит. Привет!..

Когда они уже вышли на двор и обходили черные лужи в длиннющей гулкой подворотне, бригадир спохватился и наказал впредь всегда под конец спрашивать — нет ли каких пожеланий либо жалоб. Жалобы следовало заносить в особую книгу, заведенную на сей предмет в агитпункте, а потом по возможности пытаться или самому учесть, или уж передать в ответственные за исполнение органы.

Перебирая свои встречи, Ревякин почему-то сейчас в первую очередь припомнил старуху, жившую как раз напротив окон книгохранилища. Будучи еще вовсе не немощной, она в одиночестве своем так страшно опустилась, что совершенно перестала следить за собой, и от нее стало сильно и скверно пахнуть. Соседи тогда заделали ей выход в общий с ними коридор, и она, благо квартира помещалась в полуподвальном этаже, начала лазать домой через окно. День прихода «массовика-затейника», насилу доискавшегося сего матриарха выделенной ему общины (замуровавшие вход коммунальные чистоплюи месяц уже как выехали, а более указать на отверстие в бабкину пещеру было и некому), оказался для невольной затворницы почти что праздником, указывавшим, что для чего-то и в ней еще имеется нужда.

В доме напротив он «ведал» идеально притертой семейною парой бездетных пьяниц: эти муж с женою одинаково вдохновенно пили каждый день прямо с утра и сумели в таком нехитром занятии обрести полную незлобивость сердец, согласованность желаний и сродство душ до полного успокоения сознания. Они с радостью кивали, соглашаясь на все принесенные Ревякиным новости, и жаловались только — как, впрочем, и все жильцы в округе — на действительно невыносимо худой водопровод.

Этажом выше их он наткнулся на потомка коренных москвичей, настоящего книгочея-мастерового, сухолицего, с шапочкой прямых расчесанных на пробор волос ниже ушей и постоянно смахиваемой со лба кивком сивой челкой,— навер-

ное, одного из последних, остававшихся еще в средине города. Болезненную моложавость, создаваемую резким сочетанием горящих пунцовым румянцем щек с ярко-белою сединой шевелюры, еще сильней подчеркивала целая гирлянда медалей, звеневших на застиранной, образца военных лет гимнастерке со стоячим воротом,— и если б не эти приметы, Ревякин ни за что не дал бы своему избирателю более сорока. Неожиданно для себя самого согласившись на предложение «отведать чайку», он разболокся у вешалки, откуда был проведен в высокую, доверху заставленную толстокожими томами гостиную, и, вглядевшись в надписи на корешках, сообразил, что попал в гости к домашнему мистику. Так оно и оказалось на деле, потому что вскоре же из разговора выяснилось, что здешний жилец — калека, контуженный в китайскую войну; выздоравливая в больнице на Дальнем Востоке, он вместе с навыками переплетного рукомесла приобрел там кое-какие познания из области древних местных верований и по ходатайству ссыльнопоселенцев московского происхождения, вернувшись на родину, устроился надомным переплетчиком для замкнутого кружка любителей полузабытой ныне доктрины Штейнера — антропософии, продолжавшего, может статься, идеи кого-то вроде Минцловой, а того гляди — и Андрея Белого.

Сшивая «на прокол» и тисня бесконечные циклы и курсы «доктора», он, естественно, оставлял себе по экземпляру, втянулся в чтение и учение и собрал в итоге прямо-таки жуткое количество этих зеленых одинакового размера — в лист для печатной машинки — самостройных книг, что, мерцая червонною фольгой заглавий, угрожающе-ровными рядами обстали владельца комнаты со всех четырех сторон.

Когда-то, в первые институтские годы, Ревякин тоже проявлял любопытство к штейнерианству, этому наукообразному заменителю древней обрядовой веры для образованного сословия; но, покопавшись недолго, он изучение бросил — не столько из-за противного языка, на котором все это излагалось (в конце концов, запись и перевод вполне могли уничтожить живое обаяние речи), сколько от необъяснимой, охватывавшей его при одном виде тех писаний тошноты: всякий раз ему делалось явственно физически гадко.

Переплетчик в беседе с ним, конечно, уловил кое-какие родные слова из обиходного наречия своей гильдии — как-никак, в отличие от него Ревякин был тут профессионалом, если можно доподлинно называть знатоком аспиранта-философа с университетским образованием,— и попытался «войти в

контакт». Встретив вежливо-насмешливую неподатливость, какой обычно отвечают здоровые люди на всякого рода сектантские заигрывания, задним числом заставляющую упорных приверженцев еще крепче замыкаться среди своих, он как-то вдруг забеспокоился и через несколько словесных ходов сделал заметный перерыв в лившемся до того беспрепятственно возвышенном слове. Это дало его собеседнику давно чаемую возможность вскочить и начать откланиваться, да и давно уж пора была — от пустого чаю живот его принялся все громче негодовать вслух.

Деливший с переплетчиком помещения человек, как сообщил пришлецу на прощание хозяин, был «полумертвой душой», так как захватил себе комнату явочным порядком, переселившись откуда-то из скуднометражной многосемейной квартиры. На звонки он не откликался, опасаясь неложно служителей порядка, общения ни с кем не держал и вообще-то не так уж и нужен был — проще выходило пометить его половину как необитаемую.

Вот, за исключением двух или трех совсем уже маловоплощенных граждан, и весь ревякинский стан. Да, в него затесалась еще крепкая девица на коротких, расставленных с наклоном в стороны ножках, отчаянно напоминавшая собою тумбочку; выспросив пришедшего о цели его появления, она игриво заявила, что является экстрасенсом, и пригласила испытать свои чары на опыте, отгадывая любые события из надвигающейся будущности. Ревякин про себя ухмыльнулся, подумавши, что исход предстоящего мероприятия он и безо всякой «экстры» может заранее предсказать,— но впрямую столь открытой ереси высказать не решился, а только лишь, нарочно переврав, переспросил, прикинувшись простецом: «Как-как это вы говорите — экстра секс?» В ответ на невинную ужимку неожиданно хлынула целая лавина брани и угроз с обещаниями доложить начальству, а также и «куда следует» о хамском поведении врывающихся активистов. В придачу было также заявлено, что никакое голосование в той его части, какая относилась непосредственно до тумбодевушки, не состоится вплоть до тех пор, покуда не будет полностью вычинено водоснабжение «от пищеблока и до нужника».

Ошарашенный внезапною переменой отношения, Ревякин выскочил вон и, пока заряд ответного возмущения не разрядился по мелочам, не откладывая в долгий ящик отправился на избирательный пункт звонить в соответствующую контору, ведавшую здешним участком водопровода. Видимо, толь-

ко благодаря этой счастливой злобе ему и удалось мимо промежуточных начальствующих чинов соединиться непосредственно с тем товарищем, который вплотную работал с трубами. Тот спокойно выслушал взвинченное изложение жалоб трудящихся, а потом возразил с безмятежным добродушием, что причин кипятиться, как электрочайник, нет совершенно никаких, что канализация где-то там в первозданных глубинах земли давным-давно вся «сгнила на хрен» и чинить в ней можно разве что старые дырки. Затем он чрезвычайно убедительно и, нужно признать, кратко объяснил, срезая долгие грамматические ходы стремительными непристойностями, что легче все то свернувшееся рулем хозяйство сломать в известном непечатном направлении — что, кстати, и делается уже помаленьку,— нежели чем исправлять эту «фигову прорву, сто стрючков ей в шапку». Ревякин еще полюбопытствовал для очистки совести, давно ли пеняют люди и нельзя ли было как-то раньше, к общему удовлетворению, разобраться,— и узнал незамедлительно, что обижаются «и кажинные выборы, и промежду», причем каждый раз им объясняют и обещают подлатать либо на худой конец выселить; однако конец действительно худей не сыщешь — улучшить что-либо, как уже ранее было доказано, невозможно, а переезжать из-под Кремля и новоарбатского гастронома куда-то в 666-й микрорайон, бывшую деревню Подушкино, где почвы для гастрономии не имеется вовсе и существование «страшней моей жопы», никто раньше времени не желает.

Произведя должное воздействие на слушателя, ремонтер в свой черед выспросил, что это за необкатанный агитатор появился в ближнем лесу и какова судьба его предшественника (тот перешел с повышением в более ответственный круг ведения), а также — каково занятие свежеприбывшего на работе. «О, опять фило-ософ! — обрадовался он, оценивши ответ по достоинству, и посоветовал на прощание: — Тогда это ж ведь ваша прямая обязанность и есть — разъяснять народу, почему бытие наше прямо-таки разлюли-малина прекрасное, когда жизнь наяву чем далее, тем все загадочней делается...»

Ревякин вдоволь с ним насмеялся и не только перестал на сегодня злиться, но и вообще бросил расстраивать себя, проклиная выпавшую на долю горькую судьбу агитатора. Сначала-то он, правда, немало закручинился, что, стараясь высвободить время для основного занятия, избрал дополнительную нагрузку, казавшуюся кратковременной и легкой, а на поверку вышедшую крайне хлопотной да вдобавок еще нервической. Но сейчас, внимательно обмозговав слова веселого

дядьки из канализации, понял, что легче всего справляться с трудными обстоятельствами, искренне руководствуясь отпущенной этим водяным духом — и никогда ранее не слышанной — народною мудростью про то, что «ленивого шиш замучаешь» (он, конечно, применил более мощное уподобление).

Как бы то ни было, все равно никого в нижний выигрышный ряд прибрать не удавалось, и Ревякин вынужден был заключить, что изучал население соседних со своим академическим институтом философии улиц пожалуй что зря, во всяком случае без ощутимой пользы для внутреннего устроения.

С треском проиграв самому себе мысленную партию, оставалось теперь разве что или постараться как-то исхитриться добрать недоспанное ночью, задремав в неглубоком кресле без спинки, или вновь просматривать захваченную на скучный случай книжку про начало века. Собственно, это было ее точное наименование, и следовало бы даже в уме проставлять по его крутым бокам кавыки — «Начало века», второй том воспоминаний Андрея Белого, источник, так сказать, грядущей или уже почти нагрянувшей ревякинской диссертации, ласково сокращаемой аспирантами в «диссер» (самому ее сочинителю сие, однако, неизменно приводило на память тот «бисер» из древней заповеди, который не след метать перед свиньями, ибо он оборачивает гнев животных на мечущего).

Душа жаждала сновидений, но дух еще вяло сопротивлялся, и потому стоило лишь ему на первой же разогнутой наугад странице натолкнуться на слово «Велиал», обозначавшее одно из имен сатаны, как рассудок мигом перестроил его в «вельми ал», после чего принялся беспокоить вопросами о том, значит ли это «зело красив» или, скорее, «чересчур красен». Затеплился вялый нутряной спор, и чтение все-таки приостановилось.

Вскоре склонявшемуся ко сну Ревякину это осточертело, и он стал вполуха прислушиваться к разговорам соседей, по большей части коротавших пустомелием праздные часы ожидания. Но тут любопытней всего было не содержание вовсе, ничего по сути своей не содержавшее, а ловко опутывающая пустоту лукавая форма, у всякого разбора людей непременно особенная,— вот он и старался по голосу и слогу произнести сей самый разбор.

Прямо перед ним какой-то белобрысый великанище мальчишечьим дискантом нудил делового покроя главноначальствующую над выборщиками даму просьбою отпустить его пораньше,— а она в ответ, не задумываясь ни на мгновение,

безошибочно нравоучительным образом распекала его: «Все вы ведь, в общем-то, взрослые уже люди, и не мне вам объяснять важность и ответственность мероприятия! Даже стыдно как-то уговаривать великовозрастного мужчину, что...» — и так далее.

С левого боку дюжий джинсовый парень потчевал обильную телом барышню будоражащими зависть баснями про то, как о прошлом месяце ему довелось выполнять особое задание в составе отряда по наведению порядка в новооткрытом к Олимпиаде ночном кабаке где-то на Севастопольском проспекте. Они должны были просиживать там от семи вечера до двух пополуночи под видом обычных завсегдатаев, наблюдая из-под руки за благочинием в поведении обоего пола посетителей, причем все это время имели право распивать пепси-колу за счет заведения и к тому же на работе получали двойные отгулы.

Одесную три ширококостных мужика вели бесполезно-жаркий спор о стоимости продаваемых из-под полы втридорога изданий вроде «Литературных памятников» или «Жизни замечательных людей», и при этом один даже довольно забавно отстаивал правоту своих оценок перед товарищами: «Да разве ж в том дело, сколько раз они выходили? Вы понимаете или нет, что такое — открытый свободный рынок?!» — «А ты больно хорошо знаешь...» — «Я-то? Я?? Да я, доложу вам, пацаном еще, с седьмого класса билеты в „Иллюзион" менял!»

Его перекрыли два резких голоса, шедших сзади, откуда-то почти изнутри ревякинской головы.

— Нету никаких русских. Нету вообще. Наврали вам все, нема их, ни одного нема!

— Да как так? Ну, погляди вокруг-то. Вот, например, этот.

— Ну?

— Да, чтой-то не того. Или вон те?

— Ну??

— Тоже какие-то не такие. Так может... Нет, ведь бывают же, вспомнить хотя...

— Кого?

— Чорт побери, и не припомнишь сразу...

— Вот я тебе и говорю: нету. Все другие есть, а этих — нет ни хрена уже ни одного!

Молнией в мраморную стену полетела бутылка, миг спустя раздался хрустящий хлопок, и пролившееся вино встречной волной выхлестнуло наружу, потекло по канавкам между

квадратных плит, когда-то, как свидетельствуют старожилы, облицовывавших снаружи храм Христа Спасителя. Самый большой осколок от донышка, пронзительно зазвенев, покатился по полу; посреди на нем была видна крупная выдавленная не то буква, не то цифирь.

— И не было их никогда в чистом виде, заруби это себе на носу. Не было никаких русских. И не будет уже к чертям собачьим. Не будет!!!

Тут только наконец Ревякин очнулся от кошмара полусонок. Последний из разговоров, естественно, попросту почудился ему в то редкое и малоисследованное еще время перехода от бодрствования ко глубокому забытью, которое отшельники первых веков нашей эры называли «тонким сном». Ревякину судьба подарила счастливую и вместе с тем настораживающую способность видеть иногда в подобные мгновения совершенно не знакомые ему местности, людей, города, страны и события, слышать необычные речи и даже — хотя это могло быть и неверным частным заблуждением, взлелеянным одиночеством горделивого чудачливого ума,— предвидеть несбывшееся и видеть прошлое.

Столкнувшись уже в зрелом возрасте с описаниями сходных особенностей душевной жизни в книгах разных веков и народов, он как-то увлекся и постарался выяснить всю подноготную этой своей наклонности; но оказалось, что единственным, до чего распространилось здесь вездесущее человеческое любопытство во всеоружии несметного скопища изобретенных нарочно на сей конец хитрых приборов, было утверждение о несомненном существовании на протяжении столетий у некоторых людей такого маленького художественно-провидческого дара — вот и все. Вернувшись по очередному кольцу познания туда, откуда вышел, начинающий любомудр стоически удовлетворился знанием о наличии у себя неясной, но зачастую весьма привлекательной добавки к пяти штатным чувствам и на том свое изучение до поры должен был прекратить.

Еще не полностью высвободившись из морока, Ревякин поднялся, хрустнув затекшею коленкой, потянулся и сейчас же почувствовал всею кожей под шершавыми брюками, как исполосовал его тело в косую линейку членовредительски изготовленный стул, вдавившийся в предназначенные природой для отдыха части острым, из чистого выпендрежа украшенным сплошь ребристым узором полем своего сиденья. Тут он крякнул с досады, незаметно почесался, лишь раздразнивши этим подымающийся зуд, и заковылял в буфет выпить пива.

Пройдя квадратный внутренний дворик, он вошел в поме-

щение прямо перед алтарем голосовательного действа — стоявшею в убранной кумачом нише парой урн. Вокруг вовсю грохотала радиомузыка, колыхались корзины казенных гвоздик и калл, а лентою окаймлявшие проход регистраторы алчно провожали глазами всякого вновь пришедшего в залу. Ревякин был им знаком и потому бесполезен; на него и внимания-то не обратили, да и он, признаться, мало обрадовался посещению — осмотрев буфетную стойку, он с крайним неудовольствием обнаружил, что пиво избиратели уже все выбрали и из отряда «напитков» в наличии оставался один только апельсиновый сок какой-то прямо-таки безнравственной стоимости. Чертыхнувшись, обиженный обладатель собственной жажды покрутился еще немного около съестных припасов, но, так ничего и не взявши, повернул наконец вспять.

На возвратном пути он заглянул в свежие списки и зачеркнул в общей таблице несколько новых клеток. Всего проголосовали шестеро из девяти «своих» и половина «чужаков»,— правда, все никак не появлялась наиболее опасная единица, кого он, подсознательно избегая скверного подлинного имени, называл про себя «херувимчиком».

Севши осторожно бочком обратно в пыточное кресло, Ревякин постарался было возобновить листание книги, но взгляд опять легко перескочил с нее на выложенный из гранитной крошки пол. Некоторое время он тупо разглядывал его, размышляя о том, сколько же на одном этом разнесчастном квадратном метре действительности разнообразных предметов для исследования: и фигуры разные, образуемые сочетанием камешков, и малюсенькие катышки земли, и долгий девичий волос, и даже копейка, лежавшая наружу «решкой», отчего проходящие если и замечали ее, то, повинуясь старой примете, гнушались подобрать, а рядом еще и чей-то неопрятный плевок в виде листа подорожника, прилепившийся поверх обрывка бумаги. Год,— рассудил про себя Ревякин,— по меньшей мере можно было бы засаженному в тюрьму внимательному невольнику изучать этот ничтожный отрезок пола и не скучать, уж не говоря о том, что нашел бы здесь истинный ученый или праведник вроде Франциска Ассизского, который всякий клочок писаного текста подымал — хотя и не слишком-то прилежал чтению,— основательно полагая, что из оказавшихся на нем букв может составиться имя Божие.

Вдоволь назанимавшись приисканием заботы для заключенного, ревякинская мысль вернулась к тем пяти упрямцам, из-за которых сам он полудобровольно «сел» в библиотеку и не смел никуда уйти, полностью завися от их благо- либо зло-

расположения. Беда тут состояла еще в том, что он не мог выйти караулить их или тем более сходить подогнать на дом, потому что, во-первых, боялся встречи нос в нос с «херувимчиком», а во-вторых, адресов и лиц тех двух чужих и вовсе не знал, так как из-за малочисленности его собственной паствы, произошедшей от приключившегося в канун торжества выборов повального исхода одного из домов как раз в то треклятое Подушкино, она резко сократилась до девяти человек, и, дабы не обижать остальных, ему подкинули взамен довесок из чьей-то переполненной стаи.

Вспомнив про это выселение, Ревякин нечаянно почувствовал в прошлом некое доброе тепло. Он стал вглядываться пристальнее в воспоминания о недавно минувшем, и наконец ему почудилось, что, совершенно невзначай, наружу высунулся хвостик золотой жилы и нужно тотчас же, не откладывая, отважиться поставить всю ее на кон в незавершенном поединке: чем бес не шутит, а вдруг действительно именно этот дом с мертвыми душами каким-то неизъяснимым ходом судеб и составит его главный выигрыш, который заполнит без изъятия нижнюю основную строку и принесет весь банк?

...Перед мысленным взором снова возникло видение того, как промозглым мартовским вечером впервые притащился он в обреченный его опеке, до странности холодный и сумрачный трехэтажный домище, выстроенный каре посреди Воздвиженки задолго перед тем, как лет двадцать назад ее бросили в подножие нового проспекта, прочерченного далее немилосердной линейкою с циркулем известного рода мастера-архитектора наперерез всех древних арбатских переулков и поразившего самое сердце их — знаменитую Собачью площадку.

Подъезд был наглухо заперт. Невозможно долго проискавши черный ход — он обнаружился в темной части арки, куда нужно еще было заворачивать со двора,— Ревякин, даже войдя в него, все никак не мог достучаться в необходимые ему номера, совершенно свободно разбросанные по четырем крыльям выглядевшего бесконечным здания. Когда он уж и вовсе потерял надежду чего-либо здесь добиться и двигался в недоумении прочь, неожиданно ранее не замеченная им низенькая дверца в подземелье издала гулкий кашель, проскрипела по ржавому снегу и, полных четверь часа после ревякинских выкликаний «хоть кого-то живого», приотворилась.

Он поспешил внутрь и был встречен небольшим дворником-татарином, вид и язык которого, впрочем, были совершенно русскими, а басурманство оказывалось скорее неотъемлемо присущим сему занятию качеством. Кряхтя и дуясь до

красноты, хозяин увязывал пыльные тюки с барахлом широченными ремнями и складывал их тут же посреди своего жилища.

— Уезжаем отсюда на новую квартиру-колотиру,— сообщил он и добавил еще несколько слов, заботливо снабжая каждое из них аукающейся генитальною рифмой.— Открепляй нас со своего участка, да и дело с концом!

— А другие? — осведомился пришедший.

— Другие-то и подавно все съехали. Ломают дом, и жалеть особенно нечего, разве вон полк тараканий или водяные краны, что почитай полжизни отняли, траханый продукт: чем боле латаешь и конопатишь их, тем пуще, вишь, обижаются и текут потоком из усиральника прямо под койку.

Ревякин кивнул и стал прощаться.

— Не за что нам тебя, паря, прощать, ступай се спокойно,— ответил дворник, но в прихожей они еще ненадолго задержались, обходя громадный резной комод и невольно разглядывая его прихотливо изогнутые коленцами ручки.

— Ваша работа? — почтительно удивился чужак.

— Жди, как же, будут тебе теперь так стараться! Это допрежняя небыль, еще с прошлого времени,— с уважением к неведомому мастеру отозвался его собеседник и погладил отделку пальцами.— Да вот куды ее девать — ума не приложу: там в новом-то доме потолки такие, что сам токо успевай от люстры голову отворачивать, а эту бандуру туда разве боком укласть.

Злая собственническая мысль перекупить добро по дешевке кольнула Ревякина под сердце, но, слава Богу, вовремя вспомнилось, что, находясь «при исполнении», лучше с этим не связываться.

А назавтра он, освободив день от других забот, нарочно заявился с утречка — проверить, не ошибся ли накануне и не подвела ли его доверчивость хитроумная темнота или лукавый жилец. За отысканным при ясном свете парадным начиналась выщербленная до дыр лестница, коридоры первого этажа по бокам которой были накрест заколочены шершавыми досками. На втором же Ревякин запросто проник в покинутую, когда-то, должно быть, роскошную комнату с остатками майоликовой печки-модерн и совершенно чисто, до последней мелочи вывезенным убранством. Празднуя бесповоротную оголенность пространства мертвого дома, в воздухе танцевала поднятая с полу шустрыми сквозняками невесомая пыль.

Через проломы в перегородках, с помощью которых вальяжный апартамент превратился некогда, скорее всего еще в двад-

цатые годы, в череду коммунальных клетушек, Ревякин пробрался и в другие оставленные помещения, не столь дотошно очищенные постояльцами или теми нарочными любителями выморочных зданий старой Москвы, что во множестве развелись за последнее время в нашем городе.

Вскоре же он столкнулся с одним из них — лысоватым долговязым старателем, вооруженным полной экипировкой подсобных орудий, включая даже воткнутый за пояс топорик с резиновой ручкой, придававший ему небывалый, почти опереточный вид. Разговорившись после первого взаимного разглядыванья (оно чем-то напомнило Ревякину обоюдное обнюхивание встретившихся на дворе собак), он узнал, что это инженер-архитектор, собирающий прошлую «скобянку» — латунные замки, печные бронзовые заглушки, оконные шпингалеты забытых образцов, фигурные крючки и тому подобные добротные хозяйственные мелочи, чудом занесенные к нам из ушедших культур. Половину найденного он брал, конечно, себе, но другую бескорыстно дарил в небольшие музеи-квартиры.

Исполняя самозваную должность последнего душеприказчика дома, пристрастившийся ходить сюда Ревякин наряду с такими же образованными знатоками натыкался тут позже и на забеглых служивых, распивавших в укромном углу косуху портвейнского, и на старьевщиков-инородцев, выносивших брошенную за негодностью, но хотя бы одною ногой не хромую мебель, и на совсем заскорузлых бродяг, выуживавших из вонючих куч барахла всякий утиль в надежде разжиться несчастной похмельной копейкою.

Как-то, навещая один из бесконечных закутов здания, по колено набитый вырванными страницами, пачками счетов и прочей канцелярскою требухой — наверное, раньше в нем помещалось домоуправление,— Ревякин сделался участником забавной театральной сценки с продолжением и эпилогом. В углу комнаты под перевернутым столом трудился оборванный грехомыга из тех, какие роются по уличным помойкам, никого уже не боясь и не стесняясь; несомненно услыхав, что кто-то вошел, он даже не дал себе заботы обернуться. Но стоило Ревякину из любопытства придвинуться поближе, как насмешнице-судьбе заблагорассудилось кинуть подметное приключение: из-под заклиненного до поры ящика вдруг со сказочным звоном высыпался небольшой клад крупных, матово блестящих денег. Оба — и бродяга, и аспирант — мгновенно, не задумываясь, бросились к куче; соперник, однако, поспел раньше, а Ревякин, немного остынув от первого жгучего приступа

жажды наживы, посовестился вступать с ним в пререкания и только попросил показать: какого именно рода обнаружились деньги. «Ежели старые, так все равно ведь они тебе ни к чему, давай лучше я их прямо на корню скуплю»,— пообещал он.

Счастливец-добытчик в ответ лишь производил отрицательное мычание, рыча на пошиб охраняющего добытую кость Полкана. Собравши все кругляшки до единого, он двинулся на выход и тогда уже волей-неволей вынужден был предъявить образец: юбилейный рублевик выпуска прошлого десятилетия; должно быть, дюжину-другую их кто-то заначил, или они сами завалились, в щели казенного присутствия. Испытав вторичное разочарование, Ревякин окончательно успокоился и только улыбнулся впоследствии, припоминая, насколько силен вышел первоначальный подсознательный порыв к открывшемуся невзначай «сокровищу». Совершенно обратное произошло с его обладателем: долго после еще попадался он в переходах дома с провисшим чуть ли не до земли заплечным мешком; шальная находка не на шутку разбередила расслабленное сознание злою надеждой, и бедолага не успокоился до тех пор, покуда не выгреб из той комнаты все предметы до последнего листика. И, конечно, потрудился вотще, чего и следовало ожидать,— удача, как известно, не выносит надоедливого преследования и терпеть не может повторов.

Самого же Ревякина приучила ходить сюда отнюдь не страсть к денежным кладам или собирательское радение о копеечном хламе. Еще с начального посещения выезжавшего прочь дворника он подспудно почувствовал в невещественном духе покинутого места нечто душевно себе близкое, привораживающее. Всегда отличаясь прилежной дотошностью в изучении «источников», наш философ нарочно справился в путеводителях и старых адресных книгах, восстановив в общих чертах исторический путь всего квартала между улицей Янышева, бывшим Крестовоздвиженским переулком, и древней Арбатскою площадью.

Год спустя здесь уже почти ничего из виденного им не осталось: строения были в одну неделю до основания снесены, даже выкорчеваны с корнем при рытье громадного котлована для фундамента нового дома военного ведомства, выросшего потом через несколько месяцев как на дрожжах. И вот, как оказалось, Ревякину посчастливилось быть прощальным свидетелем кончины тех стен, в которых танцевал в 1831 году новожён Пушкин, жили Чайковский, Рахманинов, знаменитый когда-то архитектор Константин Быковский, бывали Римский-Корсаков, Бородин и так далее. Но более всех именитых теней его все-

таки привлекало именно это невзрачное выморочное здание бывших меблированных комнат «Америка», появившееся в конце минувшего века и убиенное на исходе нашего,— соблазнив тем, что сохранило, пусть едва живой, но все же подлинный воздух эпохи, которая была для его сердца сейчас, пожалуй, во многом дороже нынешней.

Причина подобной склонности состояла в том, что, хотя диссертация Ревякина полностью называлась «Крах попытки построения универсальной философии символизма в России конца XIX — начала XX веков», что в основном относилось к деятельному любомудрию Андрея Белого, взвалившего на себя неудобь носимую ношу «платформировать», как он сам выражался, новое художественное мировоззрение, возникшее у нас на рубеже столетий,— Ревякин страстно верил в своего героя, любил и поклонялся праху этого «краха». Когда его в пору полуночных споров припирали к стене доказательствами того или иного очевидного неизлечимого и врожденного порока «серебряного века», который взял на себя ответственность повернуть течение духовного роста вспять — от золотого обратно к каменному,— он нехотя соглашался, но тут же снова, загоревшись, пускался окольным путем к той же цели, уверяя, что только перед гибелью дерево цветет самым пышным, самым ярким и незабываемым своим цветом,— и разве не достаточно нам даже отражения, чудного отблеска его, мерцающего в уголках глаз на портретах свидетелей как некая невысказываемая, повязывающая всех их тайна?..

Над страницами злосчастливого «Начала века» Ревякин однажды в одиночестве плакал сухою слезой — той, когда все потребное потрясение в человеческом существе, означающее плач, происходит положенным чередом, но только слезы отчего-то не льются,— плакал, когда представил наяву описанный там для примера день автора в 1905 году: ему тогда было столько же лет, сколько его современному исследователю — ровных две дюжины.

Ранним утром, выглянувши в отходящий от Арбата влево Денежный переулок, встречал он соседа Сергея Соловьева или спешившего к ним в гости Рачинского; начинались потехи живого и отвлеченного мифотворчества, посреди которых появлялся пришедший дворами Гершензон, улекая всех на улицу, да не простую, а ту, где в квартале напротив жительствовал Бальмонт, пробегал в студенческой тужурке Борис Зайцев, катил мимо, строя дикие рожи, меченный от рождения тиком лохматый Бердяев... К полудню все это отправлялось в соб-

ранье на лекцию о «новейших течениях», незаметно перераставшую в обильный горячими питиями и прениями обед, после которого предпринималась гигиеническая прогулка за город на могилы отцов — три версты к Новодевичьему монастырю. Ближе к вечеру юноши — и всякий из них неопустительно «автор» — совокуплялись на чьей-то мансарде для взаимных чтений и отчаянного довыяснения позиций, запивавшегося калинкинским пивом. Около трех пополуночи пивной источник иссякал, и в погоне за его возрождением идейные разговоры перемещались в расположенную неподалеку, через площадь всего перейти, извозчичью чайную. Под утро составлялись и манифесты, а сочинители их, все еще полные сил, разлетались в стороны для приватных сердечных затей. И пусть не весьма они были порою благоприличными,— тем не менее казались как будто легко дымчатыми, не совсем настоящими и нисколько уж не скабрезными. Было такое впечатление, что все эти люди эпохи рождения века чуть ли не вживе ходили в обрамлении томных виньеток, еле прочерченных безотрывной кудрявой линией, покрывавших бумажные обложки «Скорпиона», «Альционы» или «Золотого руна». Возвратившись к исходному часу и обсудив насвежо случившееся накануне, они заканчивали сутки толками о несовершенстве общественного строя и о путях его скорейшего изменения, будучи чем-то в том мире еще слегка недовольны: вот тут-то Ревякину и сделалось до того отчаянно обидно и завидно целою радугой всех цветов зависти, от инфракрасной до ультрафиолетовой, что он чуть не пустил слезу,— да и пустил бы, если б имел.

В доме на Воздвиженке, как ему чудилось, был слышен тот же легчайший, тронутый сладким тлением запах первых вёсен столетия, который оставался в памяти и после всех переполненных заочным сведением счетов, искривленных заемной доктриной фантазмов стареющего Белого, путавших мысли и речь его при воображении воспоминаний, но все же неспособных вконец вытравить из них страшного сожаления о непоправимо прошедшем.

Приходя теперь в это безжалостно обреченное здание, Ревякину достаточно было остановиться перед какой-нибудь случайно забытою вещью — хотя бы из того невеликого разряда, что чудачливый архитектор собирал от почтения к каким-то там техническим хитростям,— и при разглядывании ее немного отвлечься, как из подобного пустяка перед ним с магической убедительностью появлялся тот погибший космос как бы лицом к лицу. Начать с того, что невероятно скрупулезно выворотившие и прихватившие за собою вся-

кую мельчайшую дрянь коммунальные жильцы забыли здесь сей единственный, наверное, действительно ценный предмет; каждый день по сту раз держа и дергая во всех направлениях, они на самом деле его не видели, просто не замечали в упор. А до чего же он был складен: тонкая бронзированная рамка обнимала извитую не только изысканно-скромным, но еще и идеально удобным образом ручку, как влитая вмещавшую ладонь и будто приглашавшую войти, плавно отворяя дверь по первому же движению желанья; нарочная крышечка в форме геральдического щита прикрывала прихотливую скважину для ключа, и даже горделивая марка хозяина скобяного дела «П. Н. Сушкинъ», окруженная барочным картушем,— все до боли явно складывалось в живую тень той культуры, до боли же навсегда и утраченной.

Ревякин искренне полагал, что это без сомнения было самое уютное во всей отечественной истории время, пора совпадения людей и вещей во взаимной, немного даже чувственной привязанности друг ко другу, трогательного согласия между всеми насельниками пространств удобно обжитого творения. И чем большее счастье испытывал он от общения с полумертвыми осколками этой эпохи, тем глубже распахивалась она перед умственным зрением, тем сильнейшее вызывала ответное желание любить и обожать,— куда основательней, чем он мог бы обóжить живого человека.

Потому-то любезному своему сердцу полуторадесятилетию и средоточию его — символизму, во главе со вдохновенным поэтом-глашатаем прощалось многое в нравственном мире, чего Ревякин не спустил бы никому из близких, не говоря уже о противниках. За рамками оценок оставалось даже ошеломляющее непредвзятого наблюдателя безмятежное продолжение печатания нескончаемой (и так в итоге и не завершенной) эпопеи с кошмарным наименованием «Я», со спокойной душою помещавшейся Белым в «Записках мечтателей» 1921 года — года смерти Блока и казни Гумилева, как бы ни относиться к их сочинениям (былая ревякинская страсть к ним изрядно уже поостыла), голода в Поволжье, послужившего предлогом для церковных гонений вплоть до ареста самого патриарха Тихона, опять же, с какой бы стороны на них ни глядеть (к историческому облику христианства своей родины Ревякин, напротив, чувствовал все большую склонность, будучи когда-то еще в студенческие годы удивлен тем встречным отзвуком, какой рождается в душе, если внимательно произнести слово «православие»), и многого другого.

Некоторые вещи, впрочем, задевали в конце концов и его,

но прежде чем хоть в чем-нибудь осудить, он старался семижды семь раз взвесить,— для того, кстати, и захватил с собою сегодня хорошо в общем-то изученную книгу воспоминаний, чтобы, выбрав по именному указателю упоминания о Павле Флоренском, понять не только то, почему Белый позволил себе в тридцать третьем году задеть поневоле безответного заключенного (дело уже само по себе дикое для людей предыдущих времен), но, главное: в чем корень действительно глубочайшей, онтологической неприязни его к этому, казалось бы, часто столь близкому по духу философу.

Однако глаза никак не хотели задерживаться на плоском печатном тексте, и, размечтавшись вновь, он принялся, подобно Плюшкину, перебирать в мысленной кладовой свои счастливые находки на Воздвиженке.

Постепенно втянувшись в увлекательные поиски и приобретя начальные, наиболее необходимые навыки нового ремесла «доброискателя», Ревякин стал носить с собою в широких карманах плотной куртки батареечный фонарик, отвертку с молотком и даже складной остро наточенный нож с крепкой стальною ножкой, научился распознавать положение скрытых стенных шкафов-тайников и крышек подполья, ходов черными лестницами в подвалы и на чердаки. Господи, и чего он только там не находил, любопытного пусть и по малости, но во многом привлекательного для живого ума своей легко домысливаемой судьбой, да в немалой степени еще и тем, что доставалось все это в общем-то даром, нужно лишь было сообразить, где искать, и уметь увидеть лукаво сощуренные глаза сокровища под замызганным чепцом чумазой Золушки. Тут были и добротной работы золоченые рамы из-под вождей, безжалостно наклеенных поверх холста доморощенного художника, и брошенные беспутными наследниками неизвестного преподавателя папки с разрезами замков и храмов, и целая мраморная плита от какого-то стола, и соблазнительный набор давленых — то есть с выдавленными гербами и узором, а не разбитых — квадратных водочных склянок — штофов, полуштофов, шкаликов и так далее, и помянутые уже дверные ручки, от ампирных до новоклассических, и неисчислимое множество иных занимательнейших вещей.

Чего стоили, например, одни пачки старых журналов и газет, глядевшие пугающим анахронизмом уже не то что со сталинских, а и с хрущевских-то времен! Часто попадались и старые открытки, в связках, россыпями и просто враздробь пришпиленные к стенам, с забавными сообщениями вроде того умилительного поздравленья — он захватил его,

конечно, на память,— которое послал господин Сребраков в волостное правление Сеноедово, Свиноедово тож, для передачи с нарочным мальчишкою в деревню Каковку ко дню рождения племянника своего Петрованушки Золотова...

Битый час копотливо прочесав на коленях заугольья выпотрошенного коридора, Ревякин по листочку собрал расшвырянную двухсотстраничную книжку некоего Иоанна Наумовича под названием «Четыре путеводителя доброй жизни: страх Божий, мудрость, трезвость, труд», с чудны́м примечанием — «переложено с галицко-русского наречия» и засунутой под переплет обложки визитной карточкой Андрея Сергеевича Лаврентьева, сообщавшей, что сей господин с 8 октября 1912 года служит старшим конторщиком в Русском для внешней торговли Банке. Об этих ползучих усилиях Ревякин впоследствии не пожалел: месяц спустя, разыскивая в Исторической библиотеке для переписки единственный недостающий лист, он попутно раскопал для себя целый эпос, трагическую историю никогда ему ранее не известной Красной, иначе Карпатской Руси, на века придавленной внешним владычеством католиков и скрытым высасываньем соков со стороны расплодившихся там кагалов, но тем не менее выжившей именно благодаря борьбе за воссоединение с отечеством. Одним из славнейших деятелей этого движения и был «открытый» им протоиерей Иоанн, высланный за то в конце жизни из Австро-Венгрии в Россию, отравленный здесь ротшильдовским посланцем и похороненный в Киеве прямо на Аскольдовой могиле.

Раззадоренный зудливою жаждой новых находок, Ревякин стал лазать и в подпол, откуда, однако, многажды перемаравшись, сумел извлечь лишь моток разномастных ручной вязки кружев да здоровенное кузнецовское блюдо без всякой росписи — целое, но протертое чуть ли не до дыр добрых сто лет елозившими по нему ножами и вилками. Притом он уже попривык к нечистым обстоятельствам поисков, притерпелся к неудобствам, грязи и почти совсем перестал замечать частую густую вонь с неизбежными для пустых домов испражнениями. Напротив, не забывая своего главного призвания, он старался полученные наблюденья философически обобщать, постоянно дивясь тому, какие груды пакостного мусора оставляет после себя человек на земле. Мысль эта с особенною остротой поразила его как-то раз в одном цокольном помещении, почти до потолка набитом стоптанными башмаками, когда при виде подобного кожевенного Вавилона Ревякин испытал определенно первозданный, ни-

чем не остановимый ужас, посильнее даже того, какой мучит новичка, впервые пришедшего на кладбище.

Наоборот, решительным сочувствием его пользовался верхний третий, наиболее приличный этаж, у которого, правда, дверь на правую сторону была крепко заперта и не поддавалась,— но зато слева причудливо расположенная вереница залов после слома загромождавших ее в течение полувека переборок выдавала руку изобретательного зодчего и вкус его заказчика-жильца, по всей вероятности, инженерного или профессорского звания, с достатком и умением им распоряжаться: два дара, как заключил после сопоставления их Ревякин, все чаще не находящие соответствия между собою.

Пробродил он здесь почти бездоходно в смысле вещественных приобретений, потому что в последние дни постоянно был занят хлопотливой душевной распрей, стараясь подавить с каждым часом все сильнее подымавшуюся из недр сознания крепкую ненависть к тем пока не до конца названным «им», кто весь этот мир угораздился немилосердно разрушить. В ходе таких сокровенных споров он однажды, переварив мысленную и зрительную пищу, пришел к весьма знаменательному заключению, трезвостью которого был целиком обязан побочному действию выборов. «А почему,— спросил себя тогда его возмущенный внутренний человек,— взъелись они в девятом году на проницательнейшего втирушу Гершензона за то рассуждение в „Вехах“, где он утверждал, что не мечтать нужно интеллигенции в тогдашнем ее состоянии о слиянии с народом в союз против власть предержащих,— а напротив благословлять эту власть, которая одна своими штыками ограждала еще их от ярости нижестоящих. Разве не прошло всего десяти лет, как он оказался прямо-таки дьявольски прав?!»

Решив с этой благоприобретенной точки зрения рассмотреть снова получше свой дом-воспоминание, Ревякин углубился было с головою в новое мысленное путешествие, но его резко прервал очередной приход женщины-выкликалы, принесшей следующие «выигрыши». Из остававшихся пяти истязателей, похищавших его драгоценнейшее свободное время, явились еще трое; таким образом, теперь недоставало лишь двоих, однако, по игривой подлости случая, оба были самые что ни на есть неудобные — один неизвестный, другой неприятный.

От досады Ревякин принялся со злым пристрастием вглядываться в лицо «кричавшей»: покончивши со списками, она стала, далеко выпятив вперед губы, трубно надсаживаться,

вызывая слинявшего все-таки куда-то нерадивого выборщика-переростка. Черты внешнего облика сей заместительницы Парок казались, пожалуй, изумительно хороши, но только тогда, когда она неподвижно находилась прямо напротив наблюдателя. Стоило же обманчивой фигуре ее оборотиться хотя бы немного боком, как тотчас обнаруживалась некая недовоплощенность,— в отличие от фасадной плоскости, объем головы и всего тела был совершенно недоработан, как будто живописность двух измерений полностью поглотила усилия торопившегося на пир Зевеса и он плюнул в сердцах на доводку третьего.

Мимо проследовали двое ревякинских коллег, и он явственно услыхал насмешливое замечание, брошенное одним из них товарищу: «Вон Петька-то Ревякин все сидит да думает, а мы уже голоснули!» Обиженный невниманием жребия, дразнившего весь его порывистый состав неясностью срока оставшегося ожидания, Ревякин с откровенною завистью точил недобрым оком спины удаляющихся, куда более многочисленное стадо которых успело уже отметиться, выпустив их на волю, и, несколько поторапливая природу, тужился и в них отыскать следы корявой недоделанности, того, что раньше назвали бы знамением близкого конца старого мироздания, увяданием красоты венца его — человека.

Совершив лукавую логическую подмену, течение рассуждений соскочило затем на кокетливую строку поэта-акмеиста, приглашавшего слово вернуться в музыку, а богиню красоты обратно развоплотиться. «Останься пеной, Афродита»,— произнес он про себя, и тут стремление образов в сознании приняло направление, с каждым мигом становившееся все неприличней: ведь, повинуясь общему обычаю своего поколения, Ревякин тоже поверял человеческую красоту в основном по представительницам чужой половины существ разумных, долженствовавшей, по его мнению, воочию являть образ прелести — пусть даже и той, какая имеет вторым значением одержание темными влечениями вплоть до безумства.

Он припомнил, как вчера приятель пересказывал с прибаутками просмотренное в соседнем электротеатре «Художественный» (Ревякин научился столь архаически именовать его, когда в ходе исторических разысканий попутно выяснил, что сие обшарпанное строение в полной противности со своим нынешним обликом является подлинным памятником архитектуры эпохи модерн, созданным самим главою ее в России академиком Шехтелем) — переложение толстовской повести о правдоискателе Сергии современным по-

становщиком. Картина падения отшельника от страсти блуда представлена была там вот в каком любопытном порядке: сначала показывали разоблачающуюся бесстыдницу, потом соловые глаза героя и сразу вслед за тем — громадные просторы волнующегося моря, шумящие рощи дремучих лесов, колышущиеся бескрайние поля под дождем; а перед самым уже концом, когда «все готово»,— девица отдыхает, лежа в пристойном неглиже, а протагонист торопливо одевается и бегом грядет вон с сумою на батоге. Ревякин с другом, поняв один второго с полуслова, легко развили это художество, применивши его к действительности и представив с немалою долей изобретательности, что было бы, если б и взаправду все в жизни происходило «как в кино». Они вообразили, какого рода чувства вызывал бы у всякого взрослого человека вид водной глади, бескрайних пространств лугов и гор, неба и вообще всех первичных стихий. Доводя образ мышления иносказательного пошиба до полного завершения, они в итоге получили идею такой всеобщей похоти, возникающей в подобных условиях у наблюдающего, например, нашу планету из космоса звездоплавателя, какая и наиболее затейливому развратнику вряд ли снилась,— и наконец искренне подивились тому, что за фрейдовская похабень кроется под личиной скромных умолчаний, занавесившись видовыми заставками.

Сейчас зрелище этого соблазна принялось само собою разворачиваться в ревякинском мозгу против воли своего единственного зрителя и снова достигло степени обманчиво-живой действительности, похожей на давешний полусон об «отрицании» русского бытия. Лишь в наиболее уязвимом месте, у переправы через поток сознания на сторону бесконечной скверности удалось ему выхватить у разудалого поганства приотпущенные вожжи рассудка и очнуться. Донельзя оскорбленный стремительным нападением закруживших голову видений, Ревякин по горячему следу пустился назад искать отвратительный возбудитель, чуть было не погрузивший его дух в полное безобразие. Перелистав все последовательные мысленные ходы в обратном порядке, он дошел до появления «кликуши» и тут-то и обнаружил его, вынув из памяти, словно торжествующий зубной врач вонючий миллиметрический корешок нерва, сотрясавшего страданиями несоизмеримое, но бессильное против него могучее тело.

Имя у него было, как и у всех такого рода обезьянничающих высокие понятия явлений, слегка обкорнанным спереди и взамен приправленным на конце насмешливым суффик-

сом названием второго из девяти чинов бесплотной небесной иерархии — мудрых херувимов.

...Всего с неделю назад Ревякин, надеявшийся, что хоть накануне уничтожения вторая половина верхнего этажа, пребывавшая заключенной, будет все-таки распечатана, да так и не дождавшись ее самораскрытия, решил несколько подтолкнуть события, отважившись на не совсем законный поступок. Ловко орудуя отверткой, он в полминуты сумел отомкнуть замок и проник, как первооткрыватель — или первограбитель — в нетронутую до него никаким иным старателем гробницу современных Тутанхамонов.

Оттуда не успело еще уйти нагретое за век тепло: Ревякин заметил, что в отличие от других помещений здесь не видно идущего изо рта пара. Квартира была до того цела, что внутри даже горело не отключенное освещение, и шкафчики, расставленные по углам петляющего общего прохода, матово отблескивали гранено-травлеными стеклами своих створок, будто и в самом деле не выпотрошенные начисто отъезжантами, а сохранившие сполна все свои хрупкие сокровища.

Ожидая книжной поживы, он, впрочем, накинулся в первую голову на распахнутый окованный железом сундук, стоявший в завороте перед кухнею, и стал торопливо перебирать сваленную туда печатную рухлядь. Попадалась, однако, только научная фантастика да военные приключения с оттрепанными углами корок.

На столике в прихожей вдруг, словно издавая предсмертный хрип, завопил телефон. Набравшись молодечества, Ревякин поднял коленчатую трубку и совсем уже хотел заявить туда, что абонент переселился в Тушино-Воровское или Чертаново-на-Кулишках,— но в ответ без спроса сразу же потекли гудки. Он тем не менее ничуть не огорчился, а вспомнил, как кто-то рассказывал — немного, конечно, преувеличивая,— что из таких не вырубленных по забывчивости узла аппаратов в покинутых уже домах проказники иногда заказывают Париж и говорят за бугор, покуда не догадаются прервать слухачи-связисты, разные такие лихие вещи, нисколько не стесняясь того, что они кое о ком помышляют.

Предвкушая теплую дружественную встречу со старинной посудой, Ревякин торжествующе вступил в обширнейшую кухню, которая, наподобие состарившейся блудницы, десятилетиями удовлетворяла телесные жажды сменявшихся поколений жильцов, а нынче, на склоне дней, никому не потребная и немилосердно ограбленная, была брошена погибать от

голода на произвол судеб. И тут он неожиданно, как медведь, всем крестцом и спиной почуял идущий сзади взгляд, ощутив со страхом, что за плечами кто-то тихо сгрудился, навис и угрожающе стережет каждое его движение.

Медленно развернувшись, он очутился с глазу на глаз со здоровенной носатой старухою, выпучивши от великого ужаса очи, раздувавшейся пузырем в неописуемой ярости. Будто злая и одновременно трусливая дворняжка, она мигом отскочила на пару шагов, отклонила весь корпус назад, выставив правую ногу в низком сапоге, и заблажила:

— Яйца! Яйца!! Яйца!!!

Ревякин сначала опешил от этих слов — он уж ожидал услыхать что-нибудь вроде «караул» или, например, «режут!»,— но потом, не удержавшись, рассмеялся, представив вид на них со стороны: в пяти сотнях шагов от Боровицких ворот застыл посреди огромного покинутого людьми здания мужичище в телогрейке с отверстым ножом и отверткой в руках, а разъяренная от боязни бабка, стоя напротив, в голос требует у него некоторой сокровенной вещи. Между тем, ободренная его невоинственным поведением, старушенция поторопилась развить свою мысль:

— Обрежу! Оторву!! Выдерну вон!!!

Неудачливый грабитель уже сообразил, что перед ним неуловимая и неумытная гражданка Юдифь Соломоновна Рувимчик, последняя упорно не покидавшая тонущий дом жиличка, запершись существовавшая в неведомом его углу и портившая загадочностью своего полубытия избирательную отчетность. В ЖЭКе рассказывали, что она появлялась у них время от времени перед самым закрытием и ни за что не соглашалась выбрать квартиру на новой окраине, утверждая — и видимо, не вовсе праздно,— что водопровод там небось еще почище тутошнего, а она «этого уже не переживет». Под сим предлогом Рувимчик требовала (Ревякину постоянно хотелось сказать в противоположном роде: Рувимчик-де «требовал») переезда поближе — на проспект в честь Калинина или уж во всяком случае не далее Кропоткинской улицы.

— Не успеешь-таки выйти на часок за сельдью,— заходилась теперь в обиде седая Юдифь, искавшая отсечь у своего Олоферна, спасибо, хоть и не голову, но часть, безусловно, небесполезную в обиходе; и, приготовившись в череде красочных причитаний поведать вслух весь ход сегодняшнего ее бытия, она повторила зачин.— За сельдью!

Рувимчик воздела теперь согнутый вдвое перст в потолочное небо, как будто и вправду наиболее обличающим под-

лость захватчика было вторжение во время ритуального шествия на добычу этого подводного жителя, имя коего вдруг, отделившись от носимого смысла, показалось Ревякину звучащим довольно-таки дико.

— А они, урвать им бейцем, все лезут и лезут и лезут и лезут и лезут!!!

Пришелец попробовал было извиниться как можно спокойнее, что только лишь раззадорило его противницу. Увидав, что «налетчик, вор и убийца» не так уж и грозен, она кинулась к выходу и затараторила язычищем, сопровождая ругательства грохотом заклинившего замка — с ним ее все еще трепетавшие от едва пережитого испуга руки никак не умели справиться:

— В милицию! В прокуратуру!! На Лубянку!!! Там тебе, голубец, яйца-то удалят! Яйца уж все-таки вон!

Подивившись, чего это они дались ей до такой крутой степени, Ревякин молча наблюдал, как Соломонова дочь добрых пять минут мурыжила и все никак не могла отпереть собственную дверь. Наконец ему надоело, он бережно потеснил бестолковую хозяйку вбок, мигом при помощи отвертки сдвинул язычок затвора и, выскоча наружу, споро двинулся по лестнице книзу, торопясь исчезнуть, пока старая дурында не ославила его перед каким-нибудь нечаянным свидетелем.

А сверху все неслось:

— Прочь, прочь яйца! Долой!!! — и он игриво подумал, что это был бы совсем недурной призыв для гневной кампании протеста вроде «Яйца прочь от свободолюбивого Ревякина!» или чего-либо еще в том же роде.

Потому-то сейчас и невозможно было выйти встречать или тем паче искать нерадивую вражину, справедливо опасаясь ее ядометного, наточенного затяжными кухонными битвами жальца.

Но вот все же через раз выкликáла назвала и ее нумер; «приползла-таки, ржавокурвая бестия»,— зло ругнулся про себя Ревякин. На пути к освобождению у него оставался нынче только один какой-то неизвестный подкидыш без имени и лица под цифрою 69.

Из подспудных пропастей сознания вновь начала тем временем подыматься, клубясь, тяжкая обида на всех на «них» — не приходящих и пришедших, чтобы разрушить. Прячась от нее в обжитой уютный морок, Ревякин почти насильно заставил себя опять пуститься в прощальное умозрительное путешествие по «своему» дому. Осторожно ступая по покрытым известковою пылью ступеням,— в южном углу здания

принялась уже за работу «доморушка», угрюмое приспособление для слома строений в виде крана с подвешенной на стреле его чугунною «бабой»,— он наскоро обследовал нижние этажи и поспешил наверх. Там, в заповедном доселе заветном зале ему удалось выбить плечом заранее избранную неплотно заколоченную дверь в дворовый, остававшийся еще не изученным отросток — обломок, так сказать, крыла, и хоть немного, но найти что-то новое.

Сначала он натолкнулся на брошенную картину, на которой какой-то любитель запечатлел масляными красками зеленую мальчишескую головку — как будто заранее рассчитывая на ревякинскую привычку никогда не оставлять бесприютными случайно увиденные покинутые изображения лиц или подписи живых, не газетных имен и фамилий. Он и тут не стал бороться с прирожденною страстью сохранять все, что относится к пусть чужой и незнаемой, но неповторимой личности, в данном случае буквально — лицу, и, подхвативши неуклюжий холст под мышку, побрел далее.

Во второй от «портретной» комнате он налетел на больно зацепившее душу зрелище груды искалеченных детских игрушек; столько он не в силах был спасти и, отпрянув как ошпаренный, с испорченным надолго настроением плотно прикрыл дверную створку, мысленно простившись со всеми ними, как со взаправдашним сонмом дорогих покойников.

Взбежав по скрипучей приставной стремянке еще одним уровнем выше, оказался в погибающем чердаке. Мухи, древесные жучки и прочая насекомая нечисть, учуяв грядущее разрушение, покинули его; даже паутина почти не встречалась. Забираясь в своих поисках все глубже, Ревякин набрел на выселенный киот для иконы-пядницы — то есть вмещавший образ размером в распяленную «пядь», протяжение меж большого и указательного перстов, растянутых на плоскости; стекло было треснутым, икону, конечно, вытащили,— но он снова не смог удержаться и его тоже подобрал, торопясь спасти хотя бы личину от лика.

Каким-то таинственным макаром ему удалось доплутаться в итоге среди полутьмы до того, что он потерял направление, откуда пришел. Проискавши выход немалое время и начиная в недрах души немного пугаться, Ревякин засек потом вдали косое оконце, проливавшее внутрь чердака толику света. Подбежав к нему по поперечной балке — ходить тут можно было только по связям перекрытия, а пространство между ними густо наполнилось разной трухой,— он высадил в нетерпении непокорное стекло в заржавевшей насмерть

неподатливой раме; оставив вещи внизу в надежде вернуться за ними сверху рукою, подскочил, подтянулся, перекувырнулся через голову в воздухе и вылез все-таки на крышу.

Там его встретил вид, заставивший тотчас же позабыть брошенную позади рухлядную поклажу: взамен двух будок метро «Арбатская» он воочию узрел две стоявшие тут прежде церкви — Борисоглебскую и вторую, во имя Тихона Амафунтского, находившуюся точно на месте нынешней китайчатой беседки старой станции — той, линию которой в первом подземельном восторге копали вручную открытым способом. Дальше, вправо за площадью, не было никакого зубоврачебного проспекта — «вставных челюстей Москвы», как прозвали их одесситы; все так же неторопливо тянулась туда Большая Молчановка, терявшаяся в переплетениях укромных переулков. Во все стороны расстилалось покойное море невысоких домов с покатыми кровлями, скрепленных повсюду примиряющими широту с высотою, землю и небо крестами, венчавшими бесчисленные купола и острия колоколен.

Словом, Ревякин вдруг наяву очутился именно там, где хотел бы прожить свою жизнь, всю от начала и навсегда.

Вне себя от накатившего даром везения, сбежал он по постепенно понижающимся крышам на двор и, не вспомнив про неподобающий, замаранный всякой чуланною дрянью наряд, выскочил прямо на Знаменку. Расталкивая невозмутимо сторонившихся юнкеров, споро текущих к Александровскому училищу, и вовсе не заботясь о том, что среди них, кроме молодого Куприна, должно быть еще множество достойнейших героев грядущих сражений, он первым делом, не убедившись пока окончательно в полной вещественности произошедшей перемены, бросился к Пречистенскому бульвару проверить — есть ли там знаменитый андреевский Гоголь, замененный полвека спустя неуклюжим бодрячком-новоделом, настолько по общему убеждению скверным, что, как поведал Ревякину искренний приятель его создателя, тот сам на старости лет ощутил стыд за собственное художество и строчит теперь одно за другим письма с просьбами убрать его с глаз долой, прочь от позора потомков.

Гоголя, однако, не было вообще никакого. Его установили лишь в девятьсот девятом, и Ревякин по сей примете, добавив к ней и множество прочих, мелких, но ему-то внятных с одного взгляда признаков, вычислил, что время, в которое его чудесно угораздило залететь — тут он, значительно преувеличивая свои достоинства, решил про себя, что

случилось так в награду за трудолюбивое и упрямое прилежание души,— было где-то около пятого года или уж совсем незадолго перед ним.

Но не успел он задаться размышлениями о способе скрыто вычислить дату точнее, как екнуло в груди, перевернувшись, сердце — в глубине аллейки показался... Хмельная нервная сыпь просквозила по коже; не ощущая тела доподлинно настоящим, как будто оно застревало в вязкой водянистой среде, разлитой вокруг вместо воздуха, отчаянно медленно Ревякин пустился вдогон, вопия под стать тяжелым шагам:

— Андрей! Андрей!!

И почти уже собрался он что было мочи завопить вслед за тем нечто вроде «Белович», когда, приметив, что никто на крик не оборачивается, сообразил, сколь нелепо окликать человека в жизни его литературным вместоименем.

— Борис Николаевич! — наконец-то верно адресовался он, и неожиданно преследуемый, стремившийся куда-то вбок к Садовым улицам в сопровождении двух облаченных в простонародные пиджачки спутников, застыл как вкопанный.

Запыхавшийся от изнурительной гонки Ревякин подъехал к нему на всех парах и с ходу, вместо того чтобы представиться, невпопад пролепетал пожелание доброго здравия. На его счастье, собеседник — также, видимо, чем-то основательно взволнованный — не обратил на сию маленькую бестактность внимания и, сухо кивнувши, стал поторапливать:

— Скорей, милостивый государь мой, ну скорей же!

— Чего, то есть,— не сразу сообразил Ревякин,— значит скорее?

— Да не смущайтесь, добрая душа, я конечно узнал вас: это ведь вы непременно помещаетесь крайним слева в первом ряду на всех моих лекциях! Да-да, и я уж успел не только разгадать, но и полюбить вас, искренне,— заверил его знакомый незнакомец и тотчас же снова понудил следовать за собою.

— Куда? Отчего? За что? — притворно упирался Ревякин, в душе давно решившийся сопровождать учителя не только до края света, но, когда потребуется, и по ту сторону этой черты в самоё преисподнюю.

— Да что же вы, неужли не слышите музыки судеб, неужто астральное «я» ваше глухо к вырывающемуся из вечных недр пламени основной интуиции русской истории?!

— Э-э-э...

— История культуры, в периоде борьбы с буржуазным государством,— говоривший принял возвышенную, лишь нем-

ного смягченную походными условиями позитуру,— есть история развития форм производства. Государство — склероз, отложение прошлого, созданное, чтоб насиловать будущее!

— Не понял... последнего не понял,— протянул застигнутый врасплох такого рода рассуждениями Ревякин, одновременно прислушиваясь со страхом к зарождавшимся в уголках сознания испугу, стыду и тоске.

— Ну как же, дружочек: единственное учение о государстве, последовательно развертывающее посылки — это социализм, но коли он государственен — значит, механистичен он. Урегулирование экономических отношений — взлёт жизни из праха.

— Да-да-да-да-да,— зубубнил хор его спутников. А выступавший продолжил свое соло:

— Человечество пойдет на бой!

(Тут у Ревякина по спине прошла волна сырого пота: он воочию представил себе бойню, подобную смердящим падалью цехам мясокомбината Микояна на Волгоградском проспекте,— но только не животную, а людскую...)

— Символическая драма — проповедь роковой развязки... Мы призываем всех под знамя борьбы... Мы должны восстать... И струны лиры натянуть на лук тетивой... Не должна ли взорваться вся наша жизнь? Взорваться — средство не погибнуть! На черный горизонт жизни выходит что-то большое, красное!!!

Из-за плеча «феоретика» выдвинулся большеголовый детина, с телом не толще бараньей кости и овечьими глазками,— как будто Ревякин где-то уже встречал его — и проблеял:

— Мы, юди наюки, дойжны вйожидь чайсть в йазйушитейнойе бйожение масс под йуководством юдей ойганизации.

— Вы кто? — недоразумел Ревякин.

— Мы — юди ж наюки! — обиженно повторил сей овцебык и, сочтя краткое самоопределение исчерпывающим, представил по имени третьего их товарища, полностью профильного деятеля, имевшего вид какого-то отсырелого трупа:

— Лев Львович Кобылинский.

Тот махнул вместо поклона челкою вверх и бросил на воздух пояснительное: «Эллис!»

Ревякину показалось, что здесь как раз подоспело удачное время, неповторимая возможность выяснить у самих героев вопрос о том, чем именно была вызвана эта их живейшая тяга переменять родовые фамилии в нечто бесполое

энглизированное, но Эллис не дал даже рта толком раскрыть и защелкал словами:

— Милостивый государь мой! Нет нужды далее задерживаться по пустякам: идемте быстрее с нами к милейшей, очаровательнейшей Маргарите Кирилловне госпоже Морозовой — тут совсем рядом, Смоленский бульвар угол Глазовского. Поначалу там будет — чисто для виду, конечно,— обсуждение нашего с Борей сборника «Свободная совесть», а после, только середи своих, ожидается, что товарищи бундисты проведут полемику с товарищами социал-демократами меньшевиками! Мы берем вас с собою везде и обещаем дружественный прием...

— Как же так: у миллионши — эсдеки?!

— Что же, дружочек, и я возненавидел капитализм как режим не менее вашего,— заверил Борис Николаевич,— и тем лютее, чем более мне лично нравится представительница этого режима, в нем неповинная, в нем оказавшаяся вследствие несчастного замужества. Мы отделяем режим от людей.

— Помилуйте, она спасется — революционизируя все условия жизни! — закричал рассерженный недоверием Эллис.

«Что-то не то»,— решил про себя уязвленный резким напором всей этой болтовни Ревякин, а между тем она продолжала возрастать.

— Мы, аргонавты, тарарахнем в десятилетие упадка, в бледнеющие окна буржуазного общества, расколем стекла приниженных юнкерских особняков. Надгробные памятники — старому Арбату — всему!!!

— В новой культуре и новом быте искусство — наиболее мощный рычаг, которого формулы отчеканятся в будущем...

(Здесь Ревякин поперхнулся осторожно выдавливаемым опровержением, пораженный обратною силой пророчества.)

— Диапазон наших исканий широк, чрезмерно широк. Действительность оказывается символом, символ — действительностью. Риккертьянцы, когеньянцы, да и сам перводвигатель Кант — не сильны, устарели... Лишь аргонавтизм — (Конец пропетой сплошным форте фразы Ревякин пропустил, потому что сознание его снова навестила немая ехидность: «арго», сообразил он, есть корень не только для «аргонавтов», но и для «жаргона».)

— Нет, я гляжу, что наш новый дйуг койеблется,— заметил спутник-гугнивец.

— Да не сомневайтесь ничуть, батюшка, все мы тоже воистину революционеры! Коли не верите на слово — что ж,

тогда мы приоткроем на миг потаеннейшие места. Слушайте: ночью после морозовского раута всем нам предстоит — кстати, и вам в том числе, ежели пожелаете,— приватный визит ко Кларе Борисовне Розенберг. Сегодня эсер Леонид Семенов организует из аргонавтов давно подготавливаемую боевую десятку!..

— Будут Череванин, Громан, Пигит. Да и сама Розенберг — прелюбопытная дама: у ней встречаются профессора и бомбисты, а ее собственное сочувствие прямо распространяется до наиболее экстремального.

— Вооружимся! — с восторгом громогласно подтвердил безымянный «третий».

— Аргонавтическая десятка! Христос воскресе!! Мировая революция!! — орал не судом и расходившийся Кобылинский, а «третий» вновь вмешался и, приложив палец к истонченному профилю, треснул басом:

— Надо захватить в руки городской водопровод!..

Это было уже совершенно чересчур — последняя капля горечи, которую пришлось Ревякину испить из чаши отравленного желчью нектара, и первая, потянувшая все поглощенное содержимое ее обратно наружу; напоминание о водопроводе как будто прободало в небе забвения брешь, откуда потопом хлынуло жаждавшее возвращения будущее. Схватившись обеими руками за голову, Ревякин бросился прочь по Знаменке, да так шустро, что дома по сторонам проносились со свистом, сливаясь очертаниями почти до неразличимости.

Первое отрезвление начало приходить только в том самом Ваганьковском переулке, что, дважды изогнувшись, соединял его институт, помещавшийся в старинной голицынской усадьбе за чугунными воротами на Волхонке, с библиотекою, стоявшей на углу Моховой. Имя свое переулок впрямую производил от вагантов — царских шутов, ваганивших-забавлявших двор в часы черной тоски; и вот в нем-то Ревякин и догадался мимоходом проверить, в какой же все-таки состоит теперь действительности — в той, девятьсот пятой, или опять в бывшей своей, где петрушечное название было уже переменено на «улицу Маркса-Энгельса». Чиркнув взглядом по очередной вывеске, он снова должен был вздрогнуть, хотя и попривык за сегодня к самым чрезвычайным превращениям; по-видимому, бытие было здесь переходное и явно не без признаков гаерства — надпись гласила: «Переулица Хармса-Энгельса».

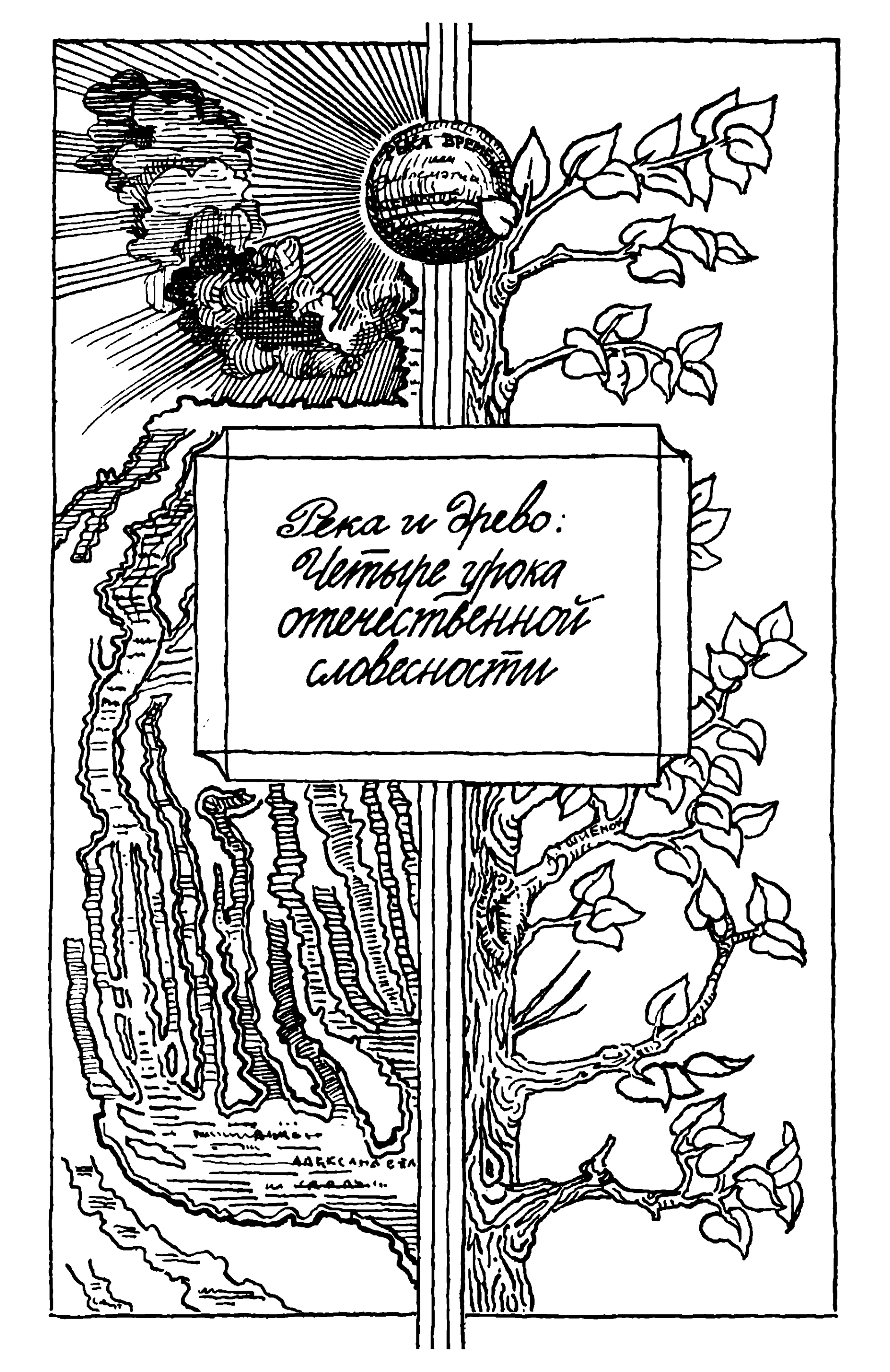
Окончательно Ревякин очнулся лишь на жестком полоса-

том кресле в прихожей голосовального ряда, когда сиделица от вешалки, словно ухватом студеной воды окатив, крикнула ему, размножившись кривым эхом по гулким залам строения, что пора все-таки и честь знать, собирать манатки да подаваться вон, а ежели кое-кому непутевому негде ночью шататься, то для этого дела лучше нет места, чем привокзальный буфет. Ревякин подскочил, уронив книгу с колен, быстро наклонился ловить ее, и тут все у него в глазах, перевернувшись, позеленело, а затем пошло скакать внутри головы бело-красными звездочками. Едва оклемавшись, он поспешил к лотошной доске: так и есть, все давно проголосовали, и один последний крестик в его графе был вроде бы только что поставлен — черная черта фломастера, каким его перечеркнули, еще не высохла, мазалась.

Внезапно краем зрения он увидал при дверях затылок удаляющейся фигуры и кинулся за нею следом, решив, что это и был тот неведомый выборщик, с которым ему отчего-то до смерти захотелось поговорить. Рывок оказался настолько силен, что лишь благодаря счастливой случайности ему удалось не разбить зеркала — в рассеянии чувств он чуть было не въехал в него всем лицом.

Тетка сзади, заметив, ахнула и выматюкалась, а Ревякин вдруг улыбнулся, сообразивши, что то, что он пытался догнать, было прощальным приветом уходящего чуда — ведь не мог же он, в самом деле, видеть впереди себя отражение собственной спины. Раздвинув циклопическую створку входа, Ревякин выбрел наконец из избирательного участка на свежий воздух и, не оглядываясь более назад на шутовской квартал, направился в сторону Кремля.

1982


Река и древо:
Четыре урока
отечественной
словесности

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В ночь кончины Гавриила Державина на его столе осталась гореть свеча, озарявшая начало последнего стихотворения — «Река времен...», брошенного лишь начерно на грифельной доске. Восемь сохранившихся доныне строк, великолепных по простоте и выразительности,— одновременно потрясающе ярко воплощают ужас перед скоротечностью человеческого бытия на земле и тленностью оставляемого им наследия... Несомненно, что в последующих, начатых сочинением и так и не родившихся стихах что-то исключительно важное должно было быть противопоставлено беспримерному по отчаянию выводу; и есть некая жаждущая разрешения таинственная загадка в том, что это возражение все-таки не было произнесено.

Четыре отечественных писателя — Державин, Батюшков, Гоголь и Максимович,— учиться у которых призывает автор, работали в поворотное для Родины время. Тогда кое-кому предстал умопомрачительный соблазн отмести прочь предшествовавшие века русской истории и начать родную словесность с нуля, то есть непосредственно с самих себя. Их дружными усилиями этого не произошло — через поток времени они провидели могучее древо Слова, питаемое его водами, но крепко укорененное в земле и неуничтожимое сменяющимися струями преходящих веяний.

Писатели эти заметно перекликаются между собою, что отнюдь не удивительно. Помимо сочинительства их единит еще та общность, что каждый так или иначе — в военной или гражданской должности — исполнял государственный труд. Оттого-то они и признавали оба этих поля равно благодатными для приложения своих творческих сил.

Опыт этих выдающихся деятелей, боровшихся с расколом в мысли и обществе, сегодня особенно насущен нам, современникам великого события, которое академик Д. С. Лихачев счастливо назвал тысячелетием русской культуры.

За время, протекшее с тех пор, как была создана державинская «Река...», доска с его завещательным глаголом распалась надвое,— но между теми тайнами бытия, над которыми бился он, и нравственными исканиями нашей поры нет разрыва: это одна и та же цепь искреннего поиска правды, стремления к истине. Недаром в сердце у каждого, кто внимател-

но вслушается в это стихотворение, неминуемо возникает желание возразить, найти продолжение, противопоставить нечто всепожирающему жерлу забвения.

Наверное, в том и состоит главный урок и ценность этих строк, давших задание нашей литературе на будущее, чтобы понудить своих потомков — каждого из них и вовсе не одних только поэтов — искать, обретать и утверждать то самое ценное для человека, что не тонет в реке времени, не уносится бесконечным и бессмысленным стремлением ее, но несет в себе весть о конечной и совершенной победе над смертью.

СЛОВО И ДЕЛО ДЕРЖАВИНА

Заслуги в гробе созревают,
Герои в вечности сияют,—

мощный, объемлющий одним махом всю вселенную образ, где расстояние между первой и второй посылками, обозначая вздохом могильную яму, тотчас превращается в яму воздушную, и воображение автора выносит его вместе с читателем на себе за пределы времени прямиком в бессмертие. Спустя лишь миг — «моргновение ока» — к нему подстраивается второе, венчающее все видение, так что картина воистину обретает нетленную полноту: герой, наконец «созрев», вышибает вон крышку домовины, раздвигает землю — «И в бабочке взяв новый вид, /В лазурну воздуха равнину/ На крыльях блещущих летит...».

Подобное превращение произошло с прозаическими произведениями Державина, созданными в основном в решающем для XIX века 1812 году (или вокруг него), но впервые вышедшими в общедоступном издании в самый канун 170-летия его смерти[1].

Державин оставил образцы торжественной речи, воспоминания, примечания к собственным стихотворениям, обобще-

[1] Державин Г. Р. Избранная проза. М., «Советская Россия», 1984 (тираж 300 000 экз.).

ния поэтического опыта и «любомудрия». Однако «прозы» в узком смысле — романов, повестей, рассказов — он не писал вовсе, как не подходит к этим произведениям и исконное определение ее, происходящее от латинского прилагательного «несвязанный». Такое кажущееся несоответствие связано в первую очередь с самой его личностью: Державин был, как известно, и поэт, и государственный человек. При ближайшем рассмотрении оба употребленных только что «и» оказываются излишними,— по достоинству их никак не втиснуть между фамильным прозвищем, поэзией, государством: в слове «Державин» все это накрепко слилось в нераздельную троицу.

Однажды, в предвидении вопросов потомков, он занес в письмо графу Д. И. Хвостову четверостишие, разумея в нем в третьем лице себя:

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных содом,—
Природа, нужда и враги! —

и тут же добавил: «Объяснение четырех сих строк составит историю моего стихотворства, причины онаго и необходимость». Действительно, в этих кратких стихах и в прозаическом к ним примечании отразились будто в зеркале — одном из излюбленных его предметов-символов — и творчество, и сама судьба поэта.

Россия была его державой самым непосредственным образом (недаром в одной из поздних трагедий выводятся въяве родоначальники Державиных боярин-пустынник Багрим и сын его «отрок Держава», укрывающие у себя великого князя московского Василия Темного), русское слово во всех своих проявлениях — вотчиной и дединой, то есть достоянием отеческим и праотеческим. Все его ипостаси разнились между собою в способе воплощения, но оставались в основе своей неделимы, как Россия. В единстве с ней, с ее природной словесностью он и есть на самом деле «един Державин».

Чрезвычайно показательно, что те же критики, которые в середине прошедшего века с истовой несправедливостью ниспровергали державинский «кумир», всего несколькими годами ранее величали его «отцом русских поэтов», «первым живым глаголом юной поэзии русской» и т. п. В такой с первого взгляда несовместимой двойственности отношения можно обнаружить один корень, если отвлечься от крайностей хул и похвал, руководствуясь словами самого Державина: «Избавь

от пышных титл: я пешка./ Чрезмерна похвала — насмешка». Ведь никак, в отличие от журналиста, не может числить себя «первым глаголом» тот, кто сознательно ощущает за своими плечами восемьсот лет развития отечественной литературы! К счастью, «негоции» с вычитанием этих столетий из ее истории, выливавшиеся в «негации» всех писателей, кроме собственных современников, оказались короткими. И недаром как раз упоминание имени Державина вызывает у Аполлона Григорьева в написанной в 1861 г. статье «Народность и литература» следующее наблюдение: «Взгляд на жизнь нашего XVIII столетия вовсе не был так разрознен со взглядом допетровского времени, как взгляд XIX столетия. В жизни руководились русские люди все теми же нравственными правилами, как в допетровское время. Другие правила, другие взгляды брались только напрокат... Этим объясняется и то, что исторический тон Щербатова и Татищева гораздо ближе к тону наших летописей, чем тон Карамзина; этим же объясняется и возможность издания Новиковым памятников древней письменности для общего чтения». Внимательное вглядывание в предшествующие века делало державинский колосс устойчивым — ему было обо что опереться в борьбе с противниками и самою судьбой. А попытка отсечь ножом новой логики это прошлое разительно напоминала сочиненную почти в то же время сказку о том, как некий человек избавился не долго размышляя от своей тени и окончил жизнь, презираемый всеми, носясь по свету в семимильных сапогах.

Державин и в старости настойчиво изучал русские древности, верным поэтическим чутьем слыша в них родственный себе дух. Эту подлинную укорененность его почувствовал и тот, кого нам хочется назвать «Державиным XIX века»,— богатырски мощный самобытный русский писатель этого столетия, Гоголь. Достаточно прочесть вслух одну из его поздних статей, зачастую вызывающих нарекания своим строгим нравоучительством, как обнаружится, что как раз для произнесения с кафедры они и предназначены: вместо досадительного в безмолвии дидактизма зазвучит величественный громоподобный глас, вызывающий в памяти всю ту огромную риторическую культуру, которая была принесена в нашу литературу выходцами с Украины в XVII—XVIII вв. Недаром именно в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь задается в первую очередь загадкой Державина: «Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи»,— и дает сначала краткое предположение ответа: «Остаток ли это нашего сказочного

русского богатырства, которое... носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее...» Затем он развивает его полнее: «...постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было — начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне...» (Заметим кстати, что здесь Гоголь угадал еще одну, пусть и не самую главную, но несомненно важную тему державинской жизни — постоянное противодействие козням ложных «каменщиков», до сих пор тревожащих мир тайным подтачиванием его духовных и материальных основ.) Наконец, перед завершением статьи Гоголь вновь возвращается к выведенному им образу государственного мужа и высказывает чрезвычайно важную мысль о его происхождении: «Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начало ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей» (тут Гоголь в первую голову имеет в виду только что тогда появившуюся, но до сих пор милую сердцу «клеветников России» — «растворенную ненавистью к нам книгу» маркиза де Кюстина).

С легкой руки Гоголя вошла в обиход и история о том, как на державинские строки: «За слова — меня пусть гложет/ За дела — сатирик чтит»,— Пушкин заметил: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Высказывание это породило доныне не затихшие споры; но даже меньшинство, вступившееся за Державина, подобно кн. П. А. Вяземскому, безнадежно путалось в самой постановке вопроса. Всех спорщиков XIX века — поры образования в России касты профессиональных литераторов, видевших своим самым славным основателем Пушкина,— сбивало с толку мнимое противопоставление слов и дел. Между тем, сам Державин навряд ли озадачен был этим выбором — для него его попросту не существовало; и вместо рассуждений и возражений его защитников в следующей эпохе вернее, на наш взгляд, попытаться представить, что он сам бы ответил на подобный упрек. «А какие у вас помимо изящной словесности дела?» — таким примерно видится теперь его ответ-вопрос ополчившимся пи-

сателям девятнадцатого столетия; и он по крайней мере имеет равные права вероятия с их недоумением.

Между тем спор через голову десятилетий продолжается и далее: уже почти в наше время Ахматова — вспоминавшая, что стихи начались для нее «не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина»,— кокетливо называя прозу и «тайной и соблазном» для себя, выговаривает вслух очень важное признание в том, что выделение писательского ремесла из числа прочих человеческих занятий неминуемо ведет к дальнейшей профессионализации, расколу его уже внутри себя: «Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе».

Возрождение пристального внимания к Державину в последние годы можно отчасти объяснить тем, что в отличие от разделившего наше с ним время XIX в. — когда лучшие поэты почитали себя если не противниками, то хотя бы посторонними, отстранившимися от ведения политики страны,— двадцатый век вновь призвал их к государственному служению. Поэтому-то прозу Державина нельзя назвать попросту «прозой поэта», образец которой представляют ахматовские или цветаевские опыты «не-стихов». Тут при необходимости подыскания для нее более точного определения возникает соблазн найти какие-то соотношения, вроде того, что проза Державина так же относится к его стихотворениям, как его служебная деятельность — к чему?.. И только побившись долго в бесплодном выстраивании точных пропорций, можно понять, что с их помощью этой задачи не разрешить никогда. Уместнее было бы спросить себя: что наиболее драгоценно для нас в прозаическом наследии знаменитого поэта? Тогда-то и становится ясно, что вовсе не жанровое деление или взаимоотношения внутри целого, но само это целое привлекательнее и полезнее всего, «един Державин» во всем многообразии проявлений его природного гения.

Лучшую четверть века своей жизни положивший на собирание, издание и комментирование с исчерпывающей полнотой творений Гавриила Романовича академик Я. К. Грот пришел в итоге изучения их к такому выводу: «Немного было русских людей, которые бы в такой мере, как он, умели соединить литературную деятельность с общественной и служебной. Чтобы убедиться в том, стоит хоть слегка пробежать семь томов его сочинений, из которых последний, содержащий его труды в прозе, мог бы разрастись в несколько таких же объемистых книг, если бы мы не ограничились в нем строгим выбором из всего им написанного речью. Ту же разборчивость соблюдали мы, впрочем, и при печатании его переписки и неиздан-

ных, особенно драматических сочинений и переводов. И все это писалось посреди столь же кипучей практической деятельности, среди исполнения должностных обязанностей и поручений службы на разных поприщах. И между тем рукописи его, исчерченные поправками, показывают, что он не легко удовлетворялся тем, что выливалось из-под пера его, что он не только в стихах, и в прозе часто возвращался к первым наброскам своим, изменял, а иногда и совершенно переделывал по нескольку раз то, что писал. Вместе с тем он много читал: из самых сочинений и собственных его объяснений к ним можно видеть, сколько произведений древней и новой литературы, отчасти весьма обширных, было ему известно, и как хорошо он помнил прочитанное». Окончательное суждение Грота еще точнее определяет и связывает все области деятельности Державина: «В ряду русских людей всех веков он всегда останется знаменитым историческим лицом. По силе и самобытности таланта он был, конечно, первым русским поэтом XVIII столетия и одним из самых крупных представителей поэзии во все времена и у всех народов. Кроме того, он играл заметную роль в администрации и общественной жизни; имя его тесно связано со многими памятными событиями второй половины прошлого и начала нынешнего века».

Не следует забывать, что именно Державин первым представил успехи российской словесности другим народам: мировое значение его засвидетельствовано многочисленными переводами. Так, великолепная ода «Бог» перелагалась не только практически на все европейские, но даже и на древние — как древнегреческий[1], а также на восточные языки, причем по нескольку раз и зачастую еще при жизни автора. Долго бытовавшее предание, что написанный золотыми буквами по-китайски текст ее висит в покоях у богдыхана, представляет образец того, какой сказочно огромной казалась слава Державина. Уже Н. А. Полевой, а вслед за ним и Белинский, стремясь подходить к литературе более трезво, называли эту красочную легенду «нелепой сказкой»,— однако действительность оказала предпочтение именно преданию, а не логике. И. Кокорев[2], а потом и другие исследователи все-таки обнаружили источник его в «Записках» адмирала В. М. Головнина[3], где на

---

[1] Менагиос Д. С. «Бог», ода Державина. Краткий разбор и перевод на древнегреческий язык. Спб., 1879.

[2] Кокорев И. О переводе оды «Бог» на японский язык // Москвитянин. 1846. № 11—12. С. 231—233.

[3] Записки о приключениях в плену у Японцев капитана Головнина. Спб., 1816. Ч. III. С. 18.

самом деле повествуется о том, что пленный Головнин читал вначале хозяину — только не китайцу, а японцу — наизусть эту оду, затем по его просьбе она была переведена, написана «кистью на длинном куске белого атласа» и отправлена к японскому императору, чтобы быть «выставленной на стене в его чертогах наподобие картины» (любопытно, что японцев более прочих восхитила строка о достоинстве человека во вселенной — «И цепь существ связал всех мной», но повергло в недоумение поэтическое отражение тринитарного догмата: «Без лиц, в трех лицах Божества»).

Личность Державина в последние, наиболее знаменитые годы жизни становилась для современников высочайшим образцом почти что пророческого порядка. Примечательно, что даже такая по определению косная и замкнутая на себя среда, как старообрядчество, воспринимала Державина в качестве достоверного прорицателя: необычным свидетельством тому служит заметка в одном старообрядческом сборнике[1], в которой приводится автокомментарий поэта к его «Гимну лироэпическому на прогнание французов из отечества»: «Ныне же, в 1813-м году, Державин в стихах печатных по счислению французского языка, точное число звериное в Наполеоне императоре открыл 666 по Апокалипсису, во главе 13 стих 18» (подобными державинским вычислениями с цифирным значением имени «корсиканца» занимался и толстовский Пьер Безухов).

На закате дней своих, но в зените славы поэт умер через пять дней после отмеченного в кругу семьи на Званке 73-летия; всего лишь четырьмя годами ранее оканчиваются «Записки» его о собственной жизни. Однако в «прозе» Державина наиболее замечальным представляется сейчас не собственно историческое или филологическое ее содержание, а целокупность авторского самовыражения, неповторимый запечатлевшийся в ней исконно «державинский» дар. Всякие попытки пояснить его существо иначе, чем через такую, по внешней видимости, тавтологию, до сих пор вели к неудаче или значительной потере истины.

Неповторимы в первую очередь дух и слог Державина. С показательной неуклюжестью — в самом стремлении подчеркнуть природную русскую основу языка, воспользовавшись иностранными, да еще и выделенными курсивом словами,— об этом писал еще в 1832 г. Н. А.Полевой: «Этот *руссизм*, эта *национальность* Державина до сих пор были упускаемы из вида.

---

[1] ГПБ, собрание Колобова, ед. хр. 254, л. 181 об.

Говоря о лирике Державина, все забыли в нем русского певца. Сочинения Державина исполнены русского духа, которого видом не видать, слыхом не слыхать в других мнимо-русских поэтах наших». Точнее ту же мысль сумел выразить Грот: «...сочинения его и со стороны языка заслуживают изучения, представляя замечательный момент в истории нашей литературной речи... Державин обращается с языком самовластно: он не боится ошибок против грамматики и синтаксиса, лишь бы воплотить свою идею в яркий и резкий образ, и действительно, таким способом он часто достигает своей цели вернее, чем если бы гонялся за безукоризненною чистотою речи, охлаждая тем полет своей пылкой фантазии. Его язык, при всей видимости своего своенравия, есть язык выразительный, сильный и пластический. Его слог мужествен и полон энергии; еще при первом появлении стихов Державина Дмитриев, не зная, кто их автор, был поражен его „благородною смелостью и резкостью в выражениях“» (следует отметить, что это говорит весьма педантичный ученый, установивший нормы русского правописания на многие десятилетия вперед).

Вот поэт шутливым слогом на славянский лад пишет некоему подопечному своему, сообщая вполне прозаическое предложение принять должность купеческого маклера в Моршанске: «Дондеже по неизглаголанной радости и сладости неизреченной время приидет, дондеже душа твоя яко елень на исходища водныя преселится и водворится со ангелами, не возжелаеши ли, муже благочестивый, переселиться к нам в страну пресветлаго полудня, идеже мразов, ни северных ветров, ни глада, ни хлада никогда не имамы. Архимагир страны сей благосклонен ти есть, готовит ти место, место злачно, место покойно, отнюдуже отбеже всякая болезнь и воздыхание, а именно в Тамбовской губернии при реце Цне находится некий новосозидаемый град Моршанск, идеже с неких лет, а паче прошлый год стекалося из всего царства всероссийскаго великое множество купечества, купли ради хлебныя.— Богатство яко река лиется и обращается злата в торговле ежегодно около полутора миллионов рублей, велие сокровище! В сем граде нужен муж с твоими талантами, иже бы был сведущ в письмоводстве, в законах искусен и трудолюбив, в звании мытаря, а иначе сказуется, в должность купеческаго маклера... Обаче да не вознегодуешь, яко приглашаю тя быти маклером. Суета сует и всяческа суета в свете сем; но ты веси, яко мытарь и разбойник благую часть прияша, а фарисей и един из двоюнадесять апостол отщетишася».

В другом письме, к супругам Капнистам, «Гаврил, тамбов-

ский губернатор», подражает уже не славянскому образцу, а использует канву раёшного стиха — чета Державиных «здравия вам желают, и нарочнаго курьера в Кременчуг наведаться о здравье вашем отправляют, и о себе объявляют, что они очень весело и покойно поживают и всю петрозаводскую скуку позабывают, и вас к себе в гости приглашают, и бал для вас и пир сделать обещают... и разные промыслы иметь замышляют, и, окончав, тебя с твоею женою, с чады и домочадцы лобызают, всякаго добра призывают и тебе усердными вечно пребывают и аминем письмо сие заключают». Вслед за мужем пробует силы и «Екатерина, тамбовская губернаторша» (иногда же попросту — «Катюха»): «Милые наши Копиньки: Давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым-веселехонько. Кабы да вы к нам приехали: теперь близехонько...»

В рапорте от того же 1786 г. генерал-губернатору Гудовичу выразительность языка используется для защиты несчастных колодников: «При обозрении моем губернских тюрем в ужас меня привело гибельное состояние сих несчастных... Более 150 человек, а бывает, как сказывают, нередко и до 200, повержены и заперты без различия вин, пола и состояния в смердящия и опустившияся в землю, без света, без печей, избы, или, лучше сказать, скверные хлевы. Нары, подмощенныя от потолка не более $^{3}/_{4}$ разстоянием, помещают сие число узников, следовательно согревает их одна только теснота, а освещает между собою одно осязание». Державин тотчас предпринимает меры к улучшению — под его руководством строится новое помещение для острожников, а сам он второй раз за сутки пишет Гудовичу, сообщая о любопытном примененном им способе воспитания нерадивых судейских: «Признаюсь я вашему высокопревосходительству, что господам уголовным судьям, между разговорами, приятельски советовал я взять способ к скорейшему решению их распри и разноголосицы тот, чтоб они, хотя когда из любопытства, один раз заглянули в тюрьму и увидели, как страждут там люди». Поэт-губернатор уже имел тогда не только стихотворческую, но и служебную славу, которую выразил строкой про самого себя — «горяч и в правде чорт»; подопечные чиновники сообразили, что он может устроить им посещение острога не из одного любопытства,— так что письмо заканчивается удовлетворенным заключением: «После того шли дела сей палаты поспешнее».

А вот выразительный пример литературной не то что критики, а попросту головомойки тому же Капнисту: «Скажу от-

кровенно мои мысли о твоих стихах: ежели они у вас в Малороссии хороши, то у нас в России весьма плоховаты... Нет ни правильнаго языка, ни просодии, следовательно и чистоты. Читая их, должно бормотать по-тарабарски и разногласица в музыке дерет уши. Мысли низки... Изображения смешны и отвратительны, как то, что на туловище одной богине голову приставляешь другой, и с поясом лезешь под подол к той героине, которую сам хвалишь... Шутки не забавны, а язвительны; ибо кто помазан лишь Музами по усам, тот не имеет дарования; а равно чьи важныя сто-тридцать повелений и тенями приняты со смехом, тот дурак». Небезынтересно, что эта отповедь отправлена не в запальчивости: письмо переписано писцом и затем вновь дополнено автором.

Мало известно, но весьма любопытно, что для многих стихотворений Державин вначале составлял подробнейшую прозаическую программу, от которой, впрочем, впоследствии, воплощая ее, мог отступить довольно далеко. Чрезвычайно показателен в этом отношении зачин подтекстовки «Видения Мурзы»: «Льстецами я почитаю тех, которые, например, в снах, хотя похвалить какую-нибудь выдуманную Царь-девицу, какую-либо царевну Прекрасу и не имея ничего сказать славного к похвале их, машут своими волшебными ширинками (здесь в смысле: платками.— *П. П.*) и стаскивают, наместо добродетелей, человеколюбия и ума, в их палаты солнце, луну и звезды, и когда уже все приберут к ним масть к масти, что только можно, и видят недостаток в истинах, которыя трогают сердце, то говорят, что у них сквозь сорочки тело видно и как из косточки в косточку мозжечек переливается» (в самой оде данное вступление в конце концов не было использовано).

Три небольших примера из «Записок» Державина о его жизни, наиболее наглядно представляющих изобразительные приемы их автора. Вот он, рассказывая о себе как обычно в третьем лице и вовсе не обольщаясь насчет собственного прошлого, вспоминает, как прибыл в Москву на коронацию Екатерины II в неуклюжей, введенной еще Петром III иноземной форме: «Будучи в мундире Преображенском, на голстинский манер кургузом, с золотыми петлицами, с желтым камзолом и таковыми же штанами сделанном, с прусскою претолстою косою, дугою выгнутою, и пуклями как грибы подле ушей торчащими, из густой сальной помады слепленными, щеголял пред московскими жителями, которым такой необыкновенный или, лучше, странный наряд казался весьма чудесным, так что обращал на себя глаза глупых».

Следующий отрывок — небольшая «ироикомическая» по-

весть совершенно в духе русского «осьмнадцатого века», в своей неуёмной поспешности столкнувшего в быту нос к носу Европу с Азией на обширных пространствах новой Империи. Молодой гвардейский капрал Державин едет на побывку домой в Казань в компании с товарищем и — «прекрасной, молодой благородной девицей, имевшей любовную связь с бывшим его гимназии директором Веревкиным... В дороге, будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь ни завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможныя препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени. Натурально, в таковых случаях более оказывается в любовниках храбрости и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на Клязьме, владении г. Всеволожскаго, перевощики подали пором; извощики взвезли повозки и выпрягли лошадей; но первые не захотели перевозить без ряды; а как они запросили неумеренную цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку была, то и не хотел он им требуемого количества денег дать, а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых полчаса, и никто из перевощиков не являлся. Натурально, красавице скучилось; она стала роптать и плакать. Кого же слезы любимаго предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился в кусты искать перевощиков и, нашед их, то угрозами, то обещанием заплатить все, что они потребуют, вызвал их кое-как на пором. Но как пришли на оный, то и требовали наперед денег в превосходном числе, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылкаго нрава, не вытерпел обману, вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой багор и закричал прочим своим товарищам: «Ребята, не выдавай»; с словом с сим все перевощики, сколько их ни было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарствующаго капрала, который, как ни отмахивался тесаком, но принужден был, бросившись в повозку, схватить свое заряженное ружье, приложился и хотел выстрелить; но к счастию, что ружье было новое пред выездом из Москвы купленное и неодержанное, курок крепок, то и не мог скоро спуститься. Мужики, увидя его ярость и убоявшись смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький при береге стоявший челнок, сел в него и переправился чрез Клязьму в помянутое село Буньково. Там, ходя по улице и по дворам, никого не находил; наконец вышел из приказной избы мужик

довольно взрачный, осанистый, с большою бородою и, подпираясь посохом, с видом удивления спросил: „Что ты, барин, так воюешь, разве к басурманам ты заехал? чего тебе надобно?“ Проезжий пересказал ему случившееся, жалуясь на притеснение перевощиков. «Ну что же за беда? разве не можно было другим манером сыскать на них управы? Стыдноста, молодой господин, озорничать, бегать с голым палашом по улице и пужать мир крещеный».

Пламенный нрав свой Державин сохранил, даже стоя в последующие годы непосредственно подле трона, будучи ближайшим сотрудником трех императоров. Вскоре по воцарении Павла, когда «во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом»,— назначенный в знак благосклонности в Совет сенатор-поэт отнесся к новой должности с обычным «доточным» тщанием и сначала попросил, а потом и попросту потребовал от самодержца деловых указаний. В конце концов в ответ на такой натиск: «...вспыхнул Император; глаза его как молньи засверкали, и он, отворя двери, во весь голос закричал стоящим пред кабинетом Архарову, Трощинскому и прочим... „*Слушайте: он почитает быть в Совете себя лишним*“.— а оборотясь к нему: „*Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу*“. Державин как громом был поражен таковым царским гневом и в безпамятии довольно громко сказал в зале стоящим: „Ждите, будет от этого царя толк“. После сего выехал из дворца с великим огорчением, размышляя в себе: ежели за то, что просил инструкции, дабы вернее отправлять свою должность, заслужил гнев Государя, то что бы было, когда (б), не имея оной, сделал какую погрешность, а особливо в толь критическое время, когда все прежния учреждения Петра Великаго и Екатерины зачали сумасбродно без всякой нужды коверкать. В таковых мыслях приехав домой, не мог удержаться от горестнаго смеха, рассказывая жене с ним случившееся. Скоро после того услышал, что в Сенат прислан имянной указ, в коем сказано, что он отсылается назад в сие правительство за дерзость, оказанную Государю; а кавалергардам дано повеление, чтоб его не впускать во время собрания в кавалерскую залу.

Таковое посрамление узнав, родственники собрались к нему и, с женою вместе осыпав его со всех сторон журьбою, что он бранится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха». Прежние связи не помогли, и выручило опять стихот-

ворство; Державина простили, послав в ответственную командировку в Белоруссию, но при этом Павел велел генерал-прокурору Обольянинову передать ему свой отзыв: «Он горяч, да и я, то мы опять поссоримся; а пусть чрез тебя доклады его ко мне идут».

В значительном по объему драматургическом наследии Державина подавляющее большинство произведений посвящено русской истории и современности. Наряду с трагедиями весьма показательны в отношении языка и знания подробностей народного быта комические народные оперы — «Дурочка умнее умных» и «Рудокопы»; в первой из них гвардии сержант Богдан Любимыч Фуфыркин напоминает самого автора в молодости, а действия пролазов воеводы Хапкина и подьячего Проныркина (с отчеством «Вор-фоломеевич») повторяют проделку с тем же разбойником Черняем, которая подробно изложена в «Записках» и на самом деле имела место, но только не под Казанью, а в Москве. Речь в «Дурочке» и «Рудокопах» пересыпана народными присловьями, поговорками, загадками, а также словами из местных говоров, над объяснением которых Гроту пришлось немало потрудиться, используя не только различные словари, но и собственный опыт языковедения.

Конечно, не везде слог державинской прозы прост, иногда приходится понуждать при чтении свое внимание перестроиться на иной лад, а порою и вглядеться, вслушаться в слово, чтобы отыскать в нем корень и особый, утратившийся ныне смысл. Однако подобная работа благодарна, и не следует считать, что необходимость в ней вызвана во всех случаях «устарелым» слогом автора. Как это ни удивительно, подобные трудности возникали уже у современников и даже предшественников Державина при изучении произведений русской литературы предшествующих столетий,— и всегда наилучшим подходом оказывалось не высокомерное исключение их из числа «русских» с наименованием «славянскими», под чем подразумевалось нечто дремуче-непонятное и ненужное, а, наоборот, стремление найти свою с ними связь, увидать в старинных речениях кровных предков новой речи. Два века назад это замечательно выразил Сумароков:

Не мни, что наш язык не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой не Русскими зовем;
Он тот же, а когда б он был иной, как мыслишь,
Лишь только от того, что ты его не смыслишь;
Так что ж осталось бы при Русском языке?
От правды мысль твоя гораздо вдалеке.

Глубинную народность Державина особо выделял Грот — и это при том, что сам он был по происхождению немец: «Мы не можем не видеть в нем в высшей степени замечательного коренного русского по воспитанию, быту, уму и нраву. Несмотря на раннее, случайное знакомство его с немецким языком, ни его молодость, ни дальнейшая жизнь не могли привить к нему ничего иностранного».

К столетию со дня смерти поэта вышла интересная работа Н. К. Вальденберг (Петровой) «Державин. 1816 — 1916. Опыт характеристики его миросозерцания», в которой впервые была сделана попытка дать общую картину державинской мысли. Остановившись на взаимоотношениях Державина с современниками, его борьбе с нуждой, врагами, народными бедствиями и даже самой своей эпохой — там, где он считал ее дух противоречащим совести,— Н. К. Петрова переходит к положительным идеалам, которые кратко определяет следующим образом: «Две мысли лежат в основе всего миросозерцания Державина: мысль о привлекательности светлых сторон жизни и сознание суетности земных благ. Но для полноты характеристики взглядов Державина к этим двум мыслям необходимо присоединить еще твердую уверенность в существовании чего-то высшего, способного поднимать человека над земною жизнью с ее радостями и печалями... устрояющего мир и судящего людей по законам вечной правды».

Суждение исследовательницы можно, наверное, оспорить в какой-то части, но несомненно одно — что не только стихи, но и сама личность, фигура Державина продолжают возбуждать любопытство и споры, доказывающие в первую очередь то, что ей на деле удалось подняться *над* временем. Доводы противников несутся в прошлое и будущее, пробивая навылет исторические перегородки. «Не все ли равно,— задиристо спрашивает критик из своего XIX-го предыдущее столетие,— голубоперая щука или щука с голубым пером?» (Имеется в виду замечательное сравнение в «Жизни Званской») — «Конечно, второе,— крикнули бы мы — отвечает писатель XX в.,— так оно выделяется лучше, в профиль!»

В свою пору Державин умел сам беседовать с зоилами с поистине державной уверенностью. Одного, подписавшегося «Невеждой» недоброхота, который напустился на оду «Фелица», он на сомнение в том, можно ли «нежить чувства» (по поводу строки: «Младой девицы чувства нежа»),— не

обинуясь дарит следующим советом: «Ежели нет у господина Невежды прекрасной женщины, которая бы приятными своими объятиями нежила его осязание, то не благоволит ли он приказать себя кому хорошенько ожечь или высечь. Когда сие ему сделает хотя небольшую боль, то невероятнее всех ученых доказательств, из собственного своего опыта познает он, что оскорблять чувства, следовательно и нежить можно». А в возмездие за выраженное «Невеждою» в конце всех его попреков притворное сожаление о том, что он-де прервал удовольствие и разбудил автора, «покоющегося сладким сном, приклоня главу свою на венки, сплетенныя ему похвалою»,— поэт запросто дает выразительную «нахлобучку»: «Впрочем не коротко зная сочинителя, напрасно господин Невежда сожалеет и заботится о том, что якобы сделал ему какую-то скуку возбуждением его от сна похвал поднесенною своею свечею: ибо свеча ево, как кажется, худо просвещает, а сочинитель человек сырой, спит всегда крепко и мало слушает похвал; то и не огорчается, если кто и вздумает пресекать оныя. Ежели ж кто ево и разбудит недельно; то он без всякаго однако сердца открывается: поди братец с своими пустяками от меня прочь и не мешай мне спать». Когда наиболее известное прозаическое произведение Державина — знаменитые «Записки» — появились впервые в печати почти полвека спустя после его смерти, они почти тотчас же сделались предметом новой критики, на которую автор уже не мог непосредственно отвечать. Впрочем, они все-таки говорят сами за себя, но трудная история их вхождения в отечественное общественное мнение — ныне ими редкий исследователь не пользуется,— по-своему показательна и поучительна для судеб всего державинского наследия.

Еще Пушкин в примечаниях к «Истории пугачевского бунта», в которой неоднократно упомянут Державин, высказал сожаление, что «Записки» эти еще не изданы в свет. Несколько ранее, в 1825 г., он пишет А. А. Бестужеву, опубликовавшему статью «Взгляд на русскую словесность», послание, в котором угадывает одну из главных тем, вокруг которой впоследствии пойдет из-за «Записок» битва мнений. На бестужевское вопрошание: «Отчего у нас нет гениев и мало талантов»,— он отвечает: «Во-первых, у нас есть Державин...» Против утверждения, что талантам ободрения у нас нет — и слава Богу», Пушкин возражает: «Отчего же нет? Державин, Дмитриев были в *ободрение сделаны министрами»*. Наконец, прочтя в статье товарища, что будто бы «ободре-

ние может оперить только обыкновенные дарования»,— Пушкин сначала спокойно выдвигает опровержение «Державину покровительствовали три царя»,— а потом, не выдерживая, сам берет слово: « — ты не то сказал, что хотел; я буду за тебя говорить.

Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лести — а как он льстил?

О вспомни, как в том восхищенье
Пророча, я тебя хвалил:
Смотри, я рек, триумф минуту,
А добродетель век живет».

Пушкина поддерживает другой его приятель, кн. П. А. Вяземский, который в написанной также в начале 1820-х гг. работе «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» вновь в качестве примера соединения творчества и государственного труда ссылается на Державина: «Легко постигнуть, отчего успехи на поприще службы государственной могут противиться постоянным занятием литературным и охолодить сердце к мирным наслаждениям труда бескорыстного; но нет причины благоразумной, по коей заслуги литературные должны быть препятствием развитию государственных способностей (не говорю успехов) в поэте, коего честолюбие вызывает из темной сени уединения на блестящую чреду действующего гражданина. Не имея нужды искать примеров у народов, давно опередивших нас в просвещении и образованности, мы можем выставить на уличение клеветы и невежества имена Кантемира, Державина, М. Н. Муравьева, Нелединского...»

В те же годы, переиздавая во втором томе «Собрания сочинений и переводов» знаменитую свою работу «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка», младший современник и сотрудник Державина адмирал А. С. Шишков сделал в ней новое примечание, которое можно назвать провидческим. Укоряя торопливых критиков, напустившихся на Сумарокова, он писал: «Стихотворец сей, столько в свое время прославляемый, сколько ныне презираемый, показывает, что достоинство писателей часто оценивается не умом, но молвою. Ежели тогда превозносим он был несправедливо, то ныне еще несправедливее осуждается. Тог-

да, обращая внимание на многое хорошее в нем, извиняли его погрешности, молчали об них; а ныне совсем не читая его и не зная ни красот, ни худостей, твердят, понаслышке один от другого, что он никуда не годится. То ж, благодаря вводимому журналистами новейшему вкусу, начинает распространяться и на других: Феофаны, Кантемиры давно уже не читаются; Херасковы, Петровы и сам Ломоносов ветшают, никто в них не заглядывает; за ними чрез несколько времени последуют Державины и другие: таким образом ум и вкус наш будет вертящееся колесо, в котором одна восходящая на верх спица давит и свергает на низ другую (здесь Шишков удачно воспользовался излюбленным державинским образом: ср. в стихотворении „Облако“: „Подобен мир сей колесу. /Се спица вниз и вверх вратится...“; в „Жизни Званской“: „Не зря на колесо веселых, мрачных дней, /На возвышение, на пониженье счастья...“— *П.П.*). Не знаю, может ли такой вкус быть основателен, тверд, прочен, согласен с здравым рассудком и полезен для языка».— «Сбылось!» — смело можно продолжить здесь на одно слово приведенную только что выше Пушкиным цитату из державинской оды «На возвращение графа Зубова из Персии»: уже в 1840 г. двадцатидевятилетний Белинский свидетельствует, что произведений Державина «теперь никто не читает, кроме записных литераторов».

Однако, в то время как на родине поэта его начали все крепче забывать, он привлек внимание немецкого автора, который одну из своих статей 1854 г. начинает таким напоминанием уроков прошлого: «Когда победоносные армии Екатерины II отрывали от Турции одну провинцию за другой, еще до превращения этих провинций в то, что ныне называется Южной Россией, поэт Державин в один из моментов лирического вдохновения, которые он обычно обращал на превознесение славы, если не добродетелей, самой императрицы и предстоящего ее империи великого будущего, написал заслуживающее внимание двустишие (из оды „На взятие Варшавы“. — *П. П.*)...

На что тебе союз — о Росс!
Шагни — и вся твоя вселенна».

В данном высказывании примечательно не только то, что иностранный автор признает у Державина наличие подлинного «лирического вдохновения» как раз тогда, когда его уже

почти все отрицают в России. Во-вторых, не менее важно, что державинский дар недвусмысленно связывается со славой и великим, предвидимым им будущим его родины; и, наконец, в-третьих, весьма существенна сама личность написавшего такие слова — ведь утверждение это принадлежит не кому иному, как Ф. Энгельсу[1].

Тем не менее, когда в 1859 г. «Записки» увидели свет, а затем на протяжении всего дюжины лет были трижды переизданы с основательнейшими примечаниями, русская критика напустилась на них с яростным негодованием. Так, журнал умеренно-либерального направления «Библиотека для чтения» в девятом номере за 1860 г., начиная разбор «Записок», предваряет его таким общим соображением: «Вопрос о Державине, как о поэте, почитается давно решенным и по нашему мнению не требует дальнейшего пересмотра. Теперь трудно найти образованного человека, который бы о поэтическом даровании Державина не имел наклонности думать, что это не столько действительное дарование, сколько кропотливая бездарность, сперва вызванная каким-нибудь неразумным случаем, а потом находившая поощрение на новые подвиги в неразборчивости и некоторых других условиях тогдашнего времени». Но и радикальный «Современник» (1860, №№ 7, 8), расходившийся с «Библиотекой» почти по всем прочим вопросам, здесь делает исключение и выражает согласное мнение, из которого достаточно привести один вывод: «Главнейший интерес „Записок" Державина, разумеется, не в том, что через них подробнее прежнего можно познакомиться с ним самим. Влияние на тогдашние дела он не имел; вероятно, читатель не почтет нас хулителями отечественной поэзии, если мы откровенно скажем, что и поэтические его произведения не имеют ровно никакой цены, кроме разве некоторого исторического интереса... Но его тщеславие было так простодушно, его ограниченность так недогадлива, что можно ему простить все его нелепости, тем больше, что они остались безвредными для государства по его бессилию». Подобным же образом журналисты, по большей части двадцати- или тридцатилетние молодые люди, отозвались и в других органах печати — «Деле» («Литературный идол» — 1877, № 6; «Русский Катон» — 1880, № 12), «Вестнике Европы» («Державинская эпоха, ее люди и нравы» — 1871, № 6), «Русском слове» (1860, № 10) и т. д.

---

[1] Энгельс Ф. Война на Дунае // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 10. С. 312.

Столь необычное и решительное единодушие в осуждении Державина современный исследователь возникших вокруг «Записок» прений В. А. Западов объясняет двумя причинами: «С одной стороны, свирепствовала „татарская цензура", а с другой — критики лагеря революционной демократии не располагали необходимыми материалами... Революционным демократам оставалось одно — отвергнуть всю русскую литературу до Пушкина включительно. Это они — Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Антонович, Зайцев и др.— как известно, и сделали. Добролюбов «расправился» с сатирой XVIII в., Чернышевский — с Державиным (отзыв в «Современнике» принадлежит именно ему.— *П. П.)*, Писарев — с Пушкиным и т. д. Одним из ключевых моментов в споре об оценке идейного наследия прошлого была полемика о Державине и академическом издании сочинений Державина под редакцией Я. К. Грота.

Желая подготовить в русском обществе неблагоприятное отношение к Державину и к подготавливаемому изданию, но не имея еще возможности говорить о самом издании, разночинцы-демократы после выступлений Плетнева и Грота ответили серией разгромных статей по поводу державинских „Записок". Сознательно игнорируя исторический принцип оценки явлений прошлого, провозглашенный В. Г. Белинским, все они подошли к Державину с меркой 1860-х гг.— меркой, для правильной оценки Державина (как и любого поэта XVIII в.) безусловно неприемлемой и неподходящей. Особенной резкостью суждений отличалась статья Д. Маслова, которая смело может быть названа образцом работы, построенной на основании передержек, ложных истолкований и слухов»[1].

Однако В. А Западов разрешает лишь половину задачи. Разобраться во второй ее части помогает упомянутая им статья Дм. Маслова «Державин-гражданин», напечатанная вовсе не в органе революционной демократии, а в журнале братьев Достоевских «Время» (1861, № 10). Вот что о ней рассказывается в письме А. Григорьева Н. Страхову от 12 декабря 1861 г.: «В последней книжке я был изумлен неприятно статьей о Державине. История этой статьи прекурьезная. В 1859 г. она валялась в редакции „Русского слова" и возвращена мною автору: в 1860 г. она валялась в редакции „Рус. вестника" и мною же отринута. А оба раза отрину-

---

[1] Западов В. А. Текстология и идеология // Проблемы изучения русской литературы XVIII в. Л., 1980. Вып. 4. С. 117.

та потому, что кроме опиума чернил, разведенных слюною бешеной собаки, я ничего в ней не видел и до сих пор не вижу»[1]. Но ведь не только почвенническое «Время», а и либеральный «Вестник Европы», и редактировавшийся в ту пору потомственным дворянином А. Ф. Писемским журнал «Библиотека для чтения» — кстати, приведенный нами выше крайне грубый отзыв о Державине написан им самим — не имели никакого отношения к органам революционной демократии, позиция которых верно обоснована В. А. Западовым. Что же оттолкнуло от знаменитого поэта эти издания, выражавшие в основном взгляды «просвещенного дворянства»? Ответ находим в статье «Вестника Европы» (1871, № 6), в которой Державин именуется «поэтической развалиной века Екатерины», а последний определен так: «Его время было по преимуществу служебным временем, когда дворянину, хотя бы он был сто раз поэтом, служить считалось необходимым... А служба не приучает к независимости и к гражданскому мужеству». Становится постепенно ясно, какое направление деятельности Державина наиболее возмущало представителей его собственного сословия две трети века спустя. Самый показательный случай в этом отношении советский исследователь А. Я. Кучеров описывает следующим образом: «В 1802 г. были образованы министерства и Александр назначил Державина министром юстиции. Когда в 1803 г. в Сенате обсуждался проект графа Потоцкого, предполагавший значительные льготы для дворян в воинской службе, Державин решительно выступил против проекта; воинская служба — долг дворянина, она основа его привилегий, она источник мужества и сил сословия; изнеженность и бездеятельность — вот что угрожает дворянству»[2]. Сам Державин в «Записках» также обвинял своих противников в этом вопросе в том, что они «хотят разстроить нашу военную (силу), дабы, изнежив дворянство, сделать его неспособным к военной службе, следовательно к защите отечества». И вот именно реакция на выступление Державина против «мнения» Потоцкого (А. Я. Кучеров не совсем точно именует его проектом; на самом деле оно представляло собой лишь возражение на уже утвержденный доклад военного министра Вязмитинова о воспрепятствовании дворянству в уклонении от военной службы) разительно напоминает

---

[1] Цит. по кн.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». М., 1972. С. 205.

[2] Державин Г. Р. Стихотворения (Составление, вступительная статья и предисловие А. Я. Кучерова). М., 1958. С. XXII.

произведенную десятилетия позже либеральным лагерем над памятью поэта-министра словесную казнь — только в начале XIX в. все произошло, как повествуют «Записки», гораздо откровеннее и не образно, а впрямую, буквально: «Между тем в продолжение сего времени мнение графа Потоцкаго дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкаго, почитая его покровителем российскаго дворянства и защитником от угнетения; а глупейшия или подлейшия души не устыдились бюсты Державина и Вязмитинова, яко злодеев, выставить на перекрестках, замарав их дерьмом для поругания, не проникая в то, что попущением молодаго дворянства в праздность, негу и своевольство без службы, подкапывались враги отечества[1] под главную защиту государства». Пореформенному дворянству 1860 — 1870-х гг. действия Державина представлялись совершенно противоречащими выгодам сословия, которое уже в его время постепенно все более отчуждало свои интересы от интересов страны, пока они не оказались наконец полностью противоположными и дворянство не было сметено со сцены русской истории.

Когда-то П. А. Вяземский, пробуя определить метафорически необычайное своеобразие поэзии Державина, создал такой образ-символ. Большая часть поэтов, сказал он, подобно различным племенам обширного континента, «более или менее сбиваются друг на друга. Они соединены общественными и международными сношениями и условиями, породнились взаимными, порубежными переселениями». В отличие от них, Державин представлялся ему не «жителем общего всем поэтам поэтического материка», а царственным главой «какого-то неприступного острова, отделенного от остального мира океаном собственной, ему одному принадлежащей поэзии». Замечательное единство державинского духа явилось в конечном итоге виновником того, что и среди потомков в своем сословии, захваченных совсем иными идеологическими «веяниями» — кто масонством, как Писемский, кто, как редакция «Вестника Европы», мечтами о буржуазном преобразо-

---

[1] Державин не ошибся в своей оценке С. О. Потоцкого: уже в 1810 г. тот самолично отправился встречать Наполеона в Польшу как «мессию».— Подробнее см.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Спб., 1883. Т. 9. С. 191—192.

вании России и так далее,— он и по смерти своей, вдруг восстав из небытия на страницах «Записок» как государственный муж, всегда во главу угла ставящий благо отечества, остался один, словно остров, со всех сторон обуреваемый волнами вражды и непонимания. И только почти столетие спустя, в наше время, когда улеглись штурмовавшие его уединенный колосс вихри, небо над ним прояснилось и он предстал перед своими соотечественниками в подлинной высоте и величии[1].

Та же присущая Державину черта единства и единственности определила и его взгляды на искусство. Было время, когда его художественные воззрения, лучше всего выраженные в «Рассуждении о лирической поэзии...», недооценивались; но ныне и эта невзгода миновала. Современная исследовательница эстетики XVIII в. Л. И. Кулакова подчеркивает: «Надо признать: традиционные представления разрушались Державиным в области теории почти с той же силой, как и в его удивительной поэзии... не только в лирике, но и в теоретических исканиях Державин приближался к той трактовке народности, которая была сформулирована лишь Пушкиным в 1826 г., после „Бориса Годунова“». Эти искания, по мнению Л. И. Кулаковой, «объединены мыслью о необходимости верного отражения в искусстве национального характера определенной эпохи»[2].

Специалисты до сих пор не сошлись во взглядах, классицистом или пре-романтиком был в своей художественной теории и практике Державин. Для нас, однако, представляется важным подчеркнуть сейчас другое. Известно, что при создании «Рассуждения...» поэт пользовался многими руководствами и источниками; в особенности ему пришлось по душе эстетическое учение основателя французской философии искусства аббата Шарля Баттё. Заимствование, переложе-

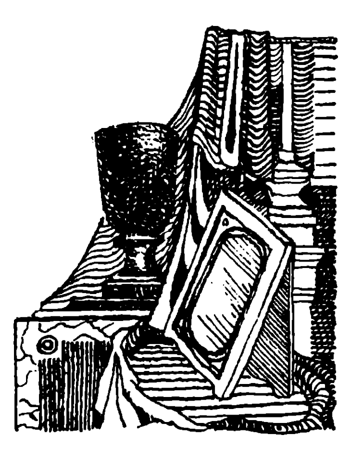
---

[1] Вопрос этот в последнее время стал предметом особого исследования И. Ю. Фоменко, пришедшей в итоге изучения его к следующему выводу: «Своеобразие позиции Державина состояло, видимо, в том, что он не принижал творчество до службы, но рассматривал оба этих рода деятельности как сферу высокого творческого вдохновения». См.: Фоменко И. Ю. Автобиографическая проза Г. Р. Державина и проблема профессионализации русского писателя // XVIII век. Сборник 14. «Русская литература XVIII — нач. XIX в. в общественно-культурном контексте». Л., 1983. С. 152.

[2] Кулакова Л. И. О спорных вопросах в эстетике Державина//XVIII век. Сборник 8. «Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — нач. XIX в.». Л., 1969. С. 25 — 41; см. также: Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII в. Л., 1968. С. 158 — 180.

ние и свободное дополнение своих мыслей чужими не осуждались еще в ту пору, когда общение внутри культуры предпочиталось резкой отгороженности одного «автора» от другого. Современники даже упрекали Державина за то, что он зачастую отходил от принятого за основу руководства и давал свои, совершенно новые положения. Самое яркое из таких полностью державинских «отклонений» нам и представляется уместным привести в качестве заключения. Это замечательное определение, даже скорее просто описание того, что собою представляет вдохновение, полученное прямо из первых рук, от одного из наиболее вдохновенных и возвышенных русских поэтов. Вот оно: «Вдохновение не что иное есть, как живое ощущение, дар Неба, луч Божества. Поэт, в полном упоении чувств своих разгораяся свышним оным пламенем или, простее сказать, воображением, приходит в восторг, схватывает лиру и поет, что ему велит его сердце. Не разгорячась и не чувствуя себя восхищенным, и приниматься он за лиру не должен. Вдохновение рождается прикосновением случая к страсти поэта, как искра в пепле, оживляясь дуновением ветра; воспламеняется помыслами, усугубляется ободрением, поддерживается окружными видами, согласными с страстью, которая его трогает, и обнаруживается впечатлением, или излиянием мыслей о той страсти, или ея предметах, которые воспеваются. В прямом вдохновении нет ни связи, ни холоднаго разсуждения; оно даже их убегает и в высоком парении своем ищет только живых, чрезвычайных, занимательных представлений. От того-то в превосходных лириках всякое слово есть мысль, всякая мысль картина, всякая картина чувство, всякое чувство выражение, то высокое, то пламенное, то сильное, или особую краску и приятность в себе имеющее. Но вдохновение может быть не всегда высокое, а чаще между порывным и громким посредственное, заемлемое от воспеваемаго предмета, обстоятельств, или собственнаго состава и расположения поэта; а потому и может быть у всякаго свое и по временам отличное вдохновение по настроению лиры, или по наитию гения. Исчислять все его виды было бы весьма пространно. Напротив, без вышняго сего дара... всякий набор пустых, гремучих слов, скропанный по школьным одним правилам, или нанизанность надутых неодушевленных подобий, всякий, говорю, длинный разсказ, холодное поучение, газетныя подробности, неточная оболочка речениями мыслей, принужденное, безстрастное восклицание, нагроможденная высокость, или тяжело ползущее парение, никому непонятное глубокомыслие, или лучше сказать,

безсмыслица и слух раздирающая музыка, стыдят и унижают лиру. Звуки ея тогда как стрелы тупыя от стен отскакивают и как стук в свинцовый тимпан до сердца не доходят. Поистине, вдохновение есть один источник всех вышеписанных лирических принадлежностей, душа всех ея красот и достоинств: все, все и самое сладкогласие от него происходит,— даже вкус, хотя дает ему дружеские свои советы и он от него принимает их, но не прежде, как тогда уже, когда успокоится; а во время пылкаго его парения едва только издали смеет приближаться к нему и надзирать за ним. Если поэт за первым без всякаго разсуждения быстро последует, а за вторым не торопясь, с благоразумием, и за справою уже сего последняго, а не прежде, выдает в свет свои сочинения: то без всякаго сомнения рано или поздно получает плески; чувствуй, и будут чувствовать; проливай слезы, и будут плакать. От восклицания токмо сердца раздаются громы. Вдохновение, вдохновение, повторю, а не что иное наполняет душу лирика огнем небесным...».



МОСКВА БАТЮШКОВА

Тема Москвы, где Батюшков, говоря его собственной строкой, «дышал свободою прямою», нашла в стихах, прозе и письмах тройственное воплощение — вершинами которого считаются очерк «Прогулка по Москве» и послание «К Дашкову». Возможно, что поэт побывал здесь еще в раннем отрочестве; но решительно Москва вошла в его судьбу на Рождество 1809 года, когда из вологодской деревни он приехал ко вдове своего двоюродного дяди и наставника Михаила Никитича Муравьева — Екатерине Федоровне, урожденной баронессе Колокольцевой. Ей Муравьев завещал перед смертью попечение о своем воспитаннике, и она действительно не оставляла забот о младшем родиче на протяжении всей жизни — недаром он сам называл ее «мое Провидение». Еще перед выездом из Вологды петербургскому приятелю Н. И. Гнедичу посылается уверенный совет: «Адресуй в Москву на имя К. Ф. Муравьевой, Батюшкову, в Арбатской части, на Никитской улице, в приходе Георгия на Всполье № 237» (нынешний адрес этого владения — ул. Герцена, 56, почти напротив современного Дома литераторов). С гостеприимного дома тетки, не сохранившегося, к сожалению, до нашей поры, и начиналось непосредствен-

ное знакомство Константина Николаевича с «первопрестольной».

Она также постепенно узнавала пришельца поближе — уже в 1809—1810 гг. в московском «Вестнике Европы» появляются первые произведения Батюшкова. В небольшой, подписанной одной лишь литерой «Б.» заметке «Мысли» среди оригинальных и переводных афоризмов обращают на себя внимание два высказывания: «Великие мысли истекают из сердца» и — «Что есть благодарность?— Память сердца». Последнее из них будет повторено еще не раз, причем в особой статье «О лучших свойствах сердца» поэт укажет имя его автора — французского философа — глухонемого Жана Масьё; и, наконец, претворив по-своему, сделает крылатым первыми двумя строками стихотворения «Мой гений»:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Но не случайно слова эти сначала произнесены были в Москве — сердце и средоточии России, и потому сопрягаются в уме русского читателя не с малознакомым иностранным автором, а с концовкой известной «Москвы» современника Батюшкова Федора Глинки:

Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

Впрочем, столиц тогда было в государстве две — однако Петербург, продолжая уподобление, вряд ли можно назвать вторым его сердцем; скорее уж он был главой, холодной главой, вознесенной над северными землями и водами. Но вот что удивительно: несмотря на то, что Константин Николаевич воспитывался там в отрочестве в 1797—1802 гг., служил в министерской канцелярии в 1802—1807, работал в Императорской библиотеке в 1812 и впоследствии нередко посещал город вплоть до 1823 г., — тема Петербурга в его творчестве не сложилась. Всего лишь пять случайных упоминаний в стихах и несколько страниц, предваряющих очерк «Прогулка в Академию художеств»,— таков ее чрезвычайно краткий итог. Весьма выразительные, страницы эти могли бы послужить прекрасной завязкой «петербургских» произведений — но тем не менее остались только напоминанием о невоплощенной возможности. Сама «Прогулка...» — имеющая, кстати, форму письма «старого московского жителя к приятелю» — открывается сожа-

лением о старой Москве, о «счастливом, невозвратном времени», проведенном в ней незадолго перед тем, как «пожар поглотил» вместе с прочим и «убежище» искусств, созданное двумя друзьями. Да и во второй, собственно «академической» части ее автор среди строгого разбора выставленных картин выделяет «московские виды» Ф. Я. Алексеева, вызывающие у него следующие слова: «Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание и готов был воскликнуть... моим товарищам:

Что матушки Москвы и краше и милее?»

Кроме того, в возвышенном описании величественности Петербурга со вдохновением мешается и нечто иное. Это довольно язвительно подметил троюродный брат Батюшкова, сын Михаила Никитича — Никита Муравьев, будущий декабрист. На полях поднесенного ему в 1817 г. первого томика батюшковских «Опытов в стихах и прозе», куда вошел и названный очерк, «любезный брат и друг Никита Михайлович» (как величает его в дарственной надписи на фронтисписе Константин Николаевич), обостренно чувствовавший голос лести, сделал немало резких пометок, в которых особенно не пощадил неумеренного превозношения императорской столицы. Фразу «Прогулки...»: «Хвала и честь великому основателю сего города, хвала и честь его преемникам» он, например, подчеркнул и выставил против нее на полях ехидное замечание: «Захотелось на водку». Здание Академии Батюшков называет «достойным Екатерины» — и сбоку вновь вырастает отметина: «Опять на водку!» Описывая картину, изображающую Александра I в Париже, Батюшков восклицает: «Какой предмет для патриота!» — «В ожидании на водку!» — добавляет Никита Михайлович. А когда повествователь, еще не успевший взойти по лестнице внутрь, спешит изъявить готовность «хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз»,— «брат Никита» решительно заключает, что уж за эти-то слова наверняка на водку «будет».

Совершенно иными оказываются взаимоотношения поэта с первой русской столицей — здесь нет места для светских комплиментов. Хотя сам Батюшков и рифмовался невольно фамильным прозвищем с «матушкой Москвой» из приведенного им выше стиха сказки И. И. Дмитриева «Причудница», но в прозе, поэзии и эпистолярном своем наследии он, не убоявшись ее почтенного возраста и былых заслуг, весьма обстоятельно и нелицеприятно разобрал нравы и обычаи жителей древнего города. Однако стоит только вглядеться пристальнее

в его сердитые упреки, чтобы постепенно сделалось ясно: слово «сердиться» однокоренное, прямой родственник и «середине» и «сердцу» — сердятся самим корнем человеческого существа лишь на то, что воистину сердцу дорого.

Если возможно отыскать для темы Москвы в жизни и творчестве Батюшкова единый объемлющий символ, то лучше всего подходит для этого, пожалуй, чрезвычайно показательный отрывок из его совсем недавно опубликованной (и то не полностью) записной книжки «Разные замечания». Завел ее еще в 1807 г. В. А. Жуковский, который внес на первые страницы несколько духовно-нравственных изречений, а потом, познакомившись с Константином Николаевичем в бытность свою в Москве в 1810 г., подарил новому приятелю — в подзаголовке рукописи указано: «дано в Москве 1810-го года мая 12 дня Ж-м — Б-у». В числе различных рассуждений об отечественных и иностранных писателях, выписок и размышлений — между прочим, здесь занесена любопытная заметка о надгробии девочки в московском Донском монастыре с высеченной на нем эпитафией «Не ўмре, спит девица», тронувшей «до слез» молодого поэта,— неожиданно попадается запись почти пророческая: «К какой-то книге, которая говорит о материях отвлеченных, метафизических, была приложена картина, весьма остроумная, следующего содержания. Представлен был ребенок, перед ним зеркало. Ребенок, видя в нем свой образ, хочет его обнять. Философ, стоящий вдали, смеется над его ошибкою, а внизу картины надпись, относящаяся к Мудрецу: „Quid rides?— Fabula de te narratur“». Первый публикатор «Разных замечаний» — они вошли в том избранных сочинений Батюшкова, открывающий затеянную в 1979 г. Северо-Западным книгоиздательством серию «Русский Север»,— перевел латинское изречение неверно: «Кто смеется? — Сказание умалчивает». На самом деле оно гласит: «Чему смеешься? — Сказание говорит о тебе».

Для нынешнего соотечественника Батюшкова эта символическая картина невольно перекликается со знаменитыми гоголевскими «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!..» из последнего действия «Ревизора» и его эпиграфом «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» (кстати, и то и другое появилось только в последней редакции неоднократно перерабатывавшейся пьесы). Знатока батюшковской биографии несомненно привлечет еще одно как будто «случайное» совпадение: во вторую половину жизни пораженный безумием поэт особенно тщательно избегал каких бы то ни было зеркал... Между тем, в 1810 г., то есть в эпоху не только догоголевскую,

но и допушкинскую, ассоциативный ход вел современников в обратном направлении — отмеченное Батюшковым высказывание является сокращенной цитатой из первой «Сатиры» Горация, полностью звучащей в переводе так: «...Чему ты смеешься? Лишь имя/ Стоит тебе изменить,— не твоя ли история это?..»

Для более точного соответствия следует, думается, поменять местами старика и младенца — так, чтобы перед зеркалом стоял Мудрец, а беспечному веселью предавался Ребенок (что совсем не лишено и другого, скрытого смысла: давно замечено ближайшее между ними сходство, пусть на первый взгляд и парадоксальное; «что старый, что малый»— подсказывает пословица, видя общность обоих не в одном лишь отсутствии взрослого, «полного» разума человека, но и в том, что бездна инобытия лежит на весьма близком и равном от них расстоянии, только у первого уже перед глазами, а у второго еще за спиной). Батюшков не отказал себе в легкой добыче — вдоволь насмеяться над показавшимися ему поначалу чудными и неуклюжими чертами «старушки-Москвы», поторопившись начать эту забаву даже заглазно: еще в 1804 или 1805 годах, в одном из начальных своих стихотворных опытов, свободном переложении «Первой сатиры Боало», несовершеннолетний автор смело перенес место действия из Парижа подлинника в... Москву. «Итак, прощай, Москва, прощай!..» — восклицает в последней строке герой его перевода: у поэта оказалась «легкая» рука на тяжелые предсказания — всего через несколько лет неожиданно сбылось и это, но тогда уже Константин Николаевич совсем с иным чувством произносил те же речи.

Впрочем, прежде чем предоставить слово наблюдателю жизни допожарной Москвы, вовсе не подозревавшему о том, что заметки его вскоре сделаются в своем роде уникальными,— ради справедливости бросим взгляд на него самого. Вот как описывает впечатление, произведенное на нее 24-летним поэтом, познакомившаяся с ним в Москве в 1811 г. Елена Григорьевна Пушкина, второй «ангел-хранитель» нелегкой батюшковской судьбы: «Батюшков в течение многих лет находился на военной службе и совершил поход в Финляндию. Он был в нем ранен и обойден при производстве. Оскорбленный в душе и в своем честолюбии, он подал в отставку, получил ее и приехал в Москву, чтоб утешиться от испытанной несправедливости в обществе друзей и муз, которых был баловнем. Батюшков был небольшого роста; имел высокие плечи, впалую грудь, русые волосы, вьющиеся от природы, голубые

глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах лица соответствовал бледности и мягкости его голоса, что придавало всей физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением: еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного. Все добродетели казались ему достижимыми. Дружба была его кумиром, бескорыстие и честность — отличительными чертами характера. Когда он говорил, черты лица и движения оживлялись; вдохновение светилось в глазах. Свободная, изящная и чистая речь придавала большую прелесть его беседе. Увлекаясь своим воображением, он часто развивал софизмы, и если не всегда успевал убедить, то все же не возбуждал раздражения в собеседнике, потому что глубоко прочувствованное увлечение всегда извинительно само по себе и располагает к снисхождению...»

Свидетельство близкого человека почти наверняка пристрастно; для того, чтобы изображение сделалось объемным, требуется иная, контрастная точка зрения. В данном случае, как это ни необычно, таким контрастом может служить взгляд на отечественную историю, своего рода сокращенный очерк собственного мировоззрения в молодости, изложенный Батюшковым в письме к Гнедичу как раз накануне выезда из деревни в Москву. По свежему впечатлению от только что прочитанной книги генерала А. А. Писарева (с которым Константину Николаевичу пришлось впоследствии вместе воевать против Наполеона) «Предметы для художников, избранные из Российской Истории, Славянского Баснословия и из всех русских сочинений в стихах и прозе» юноша-поэт кратко и довольно выразительно определяет отношение, сложившееся у него — а вернее, у значительной части его поколения — к родному прошлому, которое только Москве, и то лишь ценою огненной гибели, предстояло поколебать. «Нет, не возможно читать русской истории хладнокровно,— решительно утверждает Батюшков.— Я сто раз принимался: все напрасно. Она делается интересною только со времен Петра Великого. Подивись, подивимся мелким людям, которые роются в этой пыли. Читай римскую, читай греческую историю, и сердце чувствует, и разум находит пищу. Читай историю средних веков, читай басни, ложь, невежество наших проотцев, читай набеги Половцев, Татар, Литвы и проч., и если книга не выпадет из рук твоих, то я скажу: или ты великий, или мелкий человек. Нет середины! В е л и к и й, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; м е л к и й, ибо занимаешься пустяками. Жан-Жак говорит: „...Не дайте себя одурачить тем, кто говорит, будто

наиболее занимательная для всякого человека история есть история своей страны. Это неправда. Существуют страны, история коих никем не может быть прочитана, за исключением разве дураков или тех, кому приходится вести с ними переговоры"[1]. Какая истина!.. Притом от одного слова р у с с к о е, некстати употребленного, у меня сердце не на месте... Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения?»

Естественно, что столица именно допетровской Руси тотчас в письме из нее к тому же Гнедичу получает совершенно несочувственную оценку: «Ты спросишь меня: весело ли мне? Нет, уверяю тебя. В собрании я был раз, раз у Ижорина, у Полторацкого да еще у каких-то Москвитян, которых и имени едва упомнить могу. Следственно, мне в Москве не очень весело. Да и где весело быть может? Я познакомился здесь со всем Парнассом, кроме Карамзина, который болен отчаянно. Эдаких рож и не видывал».

Собственно, даже не одна Москва, а вся страна не удовлетворяет молодого поэта: «...я весь не свой. Россия так надоела, домашние обстоятельства столь докучны.., что я не могу остаться ни минуты покойным...» У него рождается желание уехать за границу, для чего он хлопочет о получении места в иностранной коллегии. Да и духовное сродство Батюшков тогда более всего ощущает не с отечеством, а с землями, вмещавшими в себя в прошлом античный мир: «Правду тебе сказать,— признается он немного позже Гнедичу,— я за все русские древности не дам гроша. То ли дело Греция? То ли дело Италия?» И тут же — мимоходом оброненное предсказание (снова безотрадное — и тоже сбывшееся) о будущей судьбе своей «итальянской» темы:

«Для нас все хорошо вдали,
Вблизи — все скучно и постыло!

Вот два стиха, которые я написал в молодости, то-есть, в 15 лет, и теперь на опытах вижу, что муза моя, еще девственница, угадала».

Вскоре он дважды обещает прислать Гнедичу начатый им очерк Москвы — в том ключе, который позже называли «физиологическим»: «Получишь длинное описание Москвы, о ее жителях-поэтах, о Парнассе и пр.»; «Ни слова о Москве; я тебе готовлю описание на дести». Однако завершения этому

[1] В оригинале цитата приведена по-французски.

описанию пришлось ждать еще добрых два года (а публикации — и все шестьдесят), хотя объем был опять загодя почти что угадан — обнаруженная после смерти автора рукопись составляет 16 листов увеличенного формата, то есть примерно полную десть (24 листа) формата обыкновенного...

«Парнасс» срединной столицы отнесся к своему критику не в пример благосклоннее. В тот год Батюшков завязал продолжавшиеся затем десятилетиями дружеские и творческие сношения с совсем еще не знаменитым В. А. Жуковским, совершенно не знакомым читающей публике 17-летним князем П. А. Вяземским, с, напротив, весьма громко — хотя, как разъяснило беспристрастное время, и не по мере скоромного дара — известным дядей А. С. Пушкина Василием Львовичем и многими другими. Позже, когда 1812 год проложит глухую борозду поперек их судеб, Батюшков и сам заговорит об этой поре по-иному. «Как мы переменились с оного счастливого времени, когда у Девичьего монастыря ты жил с музами в сладкой беседе! — напишет он из Петербурга Жуковскому в 1814 г.— Не знаю, был ли тогда счастлив, но я думаю, что это время моей жизни было счастливейшее: ни забот, ни попечений, ни предвидения! Всегда с удовольствием живейшим вспоминаю и тебя, и Вяземского, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два века мы прожили с того благополучного времени».

Наконец, Константин Николаевич сводит долгожданное знакомство с кумиром литературной молодежи Москвы, наставником и родственником П. А. Вяземского — Н. М. Карамзиным. Произошло это довольно забавным образом. «Я гулял по бульвару,— рассказывает он,— и вижу карету; в карете барыня и барин; на барыне салоп, на барине шуба, и на место галстуха желтая шаль. „Стой!“ и карета „стой“. Лезет из колымаги барин... Кто же лезет? К а р а м з и н! Тут я был ясно убежден, что он не пастушек, а взрослый малый, худой, бледный как тень. Он меня очень зовет к себе...» После первого визита — хотя и не очень удачного, как вспоминал впоследствии Вяземский: поэт шел к сентиментальному «Русскому путешественнику» и певцу «страстной» Марфы Посадницы, а попал к ученому российскому историографу,— Батюшков сделался своим человеком в доме.

Молодые «авторы» запросто обмениваются замыслами, не замечая в счастливом неведении, насколько все эти по видимости чисто литературные занятия сплетены с их собственным жребием. Жуковский подает Батюшкову мысль «писать поэму: Р а с п р ю н о в о г о я з ы к а с с т а р ы м», причем, ко-

нечно, не оригинальную, а «на образец» Буало.— «В силах ли я сладить с таким богатым сюжетом?» — сомневается тот, несомненно польщенный. Поэмы он все же не написал — но «распря» эта стала одной из главных жизненных коллизий, превратившись даже не в «стихотворение в прозе», а в особого рода «поэму биографии». Константин Николаевич в свою очередь препровождает новому приятелю стихотворный перевод Гнедича, которого просит: «Пришли, пожалуйста, отрывок из Мильтона о слепоте, я его отдам напечатать Жуковскому: и его, и меня этим одолжишь». «Пиеса» Гнедичева исправно публикуется Жуковским, а за ней, будто злой рок, следует и самый одолженный сюжет о слепоте, овеществившийся через сорок лет.

Однако общий отрицательный задор пока еще не угасает — поэт по-прежнему считает, что «Москва жалка: ни вкуса, ни ума, нижé совести! Пишут, да печатают». «Я и в Москве едва ли более рассеян, чем в деревне,— признается он Гнедичу.— В Москве!.. Куда загляну? В большой свет, в свет к и н к е т о в[1]? Он так холоден и ничтожен, так скучен и глуп, так для меня, словом, противен, что я решился никуда ни на шаг! И если б не дружба истинно снисходительная Катерины Федоровны, которой я день ото дня более обязан всем, всем на свете, то я давно бы уехал в леса пошехонские опять жить с волками и с китайскими тенями воображения довольно мрачного, с китайскими тенями, которые верно забавнее и самых лучших московских маскерадов...» Вылетевшие под горячую руку слова достигают в свой час до образа и, словно отразившись в зеркале, беспощадно разят первообраз, собственного хозяина,— но это последнее проречение о тенях воображения слишком жестоко-правдиво, чтобы можно было тотчас решиться продлить его в будущее.

Зато, ухватившись за упоминание «маскерада», стоит обратить внимание на другую, не столь трагическую игру, которую затевают здесь совпадения с предопределениями. «Сегодня у ж а с н ы й маскерад у г. Грибоедова,— сообщает Константин Николаевич Гнедичу в феврале,— вся Москва будет, а у меня билет покойно пролежит на столике, ибо я не поеду». Между тем сей самый Алексей Федорович Грибоедов, приглашением коего с легкостью манкирует Батюшков,— не только дядя писателя, но и, как гласит предание, прототип Фамусова. Отказ увидать воочию место действия не написанного еще «Горя от ума» не пройдет даром: через несколько лет, еще

[1] Quinquet *(фр.)* — масляная лампа.

прежде создания своей главной пьесы, автор его сочинит вместе с Катениным комедию «Студент», где в образе героя — вздыхателя-элегика Беневольского — выведен в карикатурном виде наш поэт...

Москва платит за смех над собою той же монетой; но здесь умеют также понимать чужую шутку и добродушно относиться к ней. Так совпало, что почти одновременно с приездом Батюшкова в первопрестольную по ней начала широко расходиться в списках его довольно едкая сатира «Видение на берегах Леты», где наряду с другими немилосердно осмеяны московские литераторы, в том числе знаменитый профессор Университета А. Ф. Мерзляков. Сатира распространялась без имени автора, но сочинитель ее был всем известен — и тем не менее колко задетый ученый, часто встречаясь с ним лично, не считает нужным оскорбляться, что немало смущает совестливого Константина Николаевича. «Мерзляков,— пишет он петербургскому приятелю,— и это тебя приведет в удивление — обошелся как человек истинно с дарованием, который имеет довольно благородного самонадеяния, чтоб забыть личность в человеке. Я с ним имею тесные связи по разным домам и по собранию любителей словесности, составленному из нескольких человек, где мы время проводим весело, с пользою и чашею в руках. Он меня видит — и ни слова, видит — и приглашает к себе на обед. Тон его ни мало не переменился (заметь это). Я молчал, молчал и молчу до сих пор, но если прийдет случай, сам ему откроюсь в моей вине».

Временами Батюшковым овладевает ощущение непонятной тоски, томления, вообще свойственное его природе, а ныне усугубленное критическим отношением к миру, которое представляло собой как бы его оборотную сторону. «Я,— признается он сестре,— иногда, и почти и всегда так, без пути скучаю... Не знаю от чего, но мое положение становится несносным. Мой характер, составленный, так-сказать, из лени и деятельности, ни той, ни другой удовлетворить не может. Делать ничего не могу: пустота в голове, в сердце, в добавок и в кармане... Признаюсь, мой друг, что до сих пор (а мне уже 23 года) жить без цели, нуждаться во всем, имея, благодаря матушке, кусок хлеба и независимое состояние, так скучно и прискорбно!» О том же говорят письма к другу: «Я здесь очень уединен... Вижу стены да людей. Москва есть море для меня; ни одного дома, кроме своего, ни одного угла, где бы я мог отвести душу душой».

Наконец, «мая, а которого не знаю» 1810 г. он сообщает Гнедичу: «Я живу в Москве. Живу... нет, дышу... нет, вещест-

вую, то-есть, ни то, ни се. Умираю от скуки. Задумайся!.. Легко сказать!.. Дело делай!.. Да какое?.. И книга из рук выпадает. Притом же болен, чуть дышу. Словом, если это состояние продолжится, то я сойду с ума».— Перед нами одно из первых описаний той тени, которую будущая болезнь отбрасывала впереди себя...

Вскоре Гнедич приехал навестить своего приятеля в «старой» столице, и ему, петербуржцу уже в течение нескольких лет, тут многое пришлось не по душе. Но Батюшков на сей раз принимает сторону москвичей — и вместо исполнения совета товарища оставить «дурно влияющий» на него город, отправляется с триумвиратом Карамзин — Вяземский — Жуковский в подмосковную Вяземских, знаменитое впоследствии Остафьево.

К несчастью, «кусок хлеба и независимое состояние», полученное Батюшковым в наследство от матери, позволяли безбедно жить только в деревне — для продолжительного пребывания в столицах неслужащему мелкопоместному дворянину средств не хватало. Поэтому в июле он возвращается в свое Ха́нтоново — но, не желая прямо признаться в истинной причине отъезда, сравнивает себя в письме Жуковскому зараз с Энеем, Тезеем и Улиссом, а в скобках поясняет, что оставил новых друзей, «потому что присутствие мое было необходимо здесь в деревне, потому что мне стало грустно в Москве, потому что я боялся заслушаться вас, чудаки мои...» При этом в Москву отсылаются для опубликования стихи и проза.

А деревенское одиночество, приправленное разыгравшимся «мучительным тиком», оказывается куда злее городского; оно вызывает горестное сетование, напоминающее уже стон: «Я сижу один в четырех стенах, в самом скучном уединении, в такой тишине, что каждое биение маятника карманных часов повторяется ясно и звучно в моем услышании, между тем как и надежды не имею отсюда выехать!»

Гнедич шлет из Петербурга яростные упреки в лени — Батюшков оправдывается с помощью лукавого иносказания, «анекдота». «Ник. Наз. Муравьев,— вспоминает он свою службу в министерстве у дальнего родственника, куда был по-семейному устроен М. Н. Муравьевым,— негодуя на меня за то, что я не хотел ничего писать в канцелярии (мне было 17 лет), сказал это покойному Михаилу Никитичу, а чтоб подтвердить на деле слова свои и доказать, что я ленивец, принес ему мое послание к тебе, у которого были в заглавии стихи из Парни всем известные:

Небо, желавшее мне счастья,
Вложило в глубину моего сердца
Леность и беспечность[1] — и проч.

Что сделал Михаил Никитич? Засмеялся и оставил стихи у себя». Раскрывая смысл рассказанного, Батюшков вновь использует полюбившиеся ему лейтмотивные строки Горация, снабжая их кратким переводом: «Quid rides? Fabula de te narratur! Вот и твоя история».

Нет, он вовсе не бездельничает — напротив, стремясь убить разом двух зайцев, старается применить литературные способности для изыскания места, которое принесло бы вместе с жалованием возможность покинуть деревенское отшельничество: «Я вздумал, что мне надобно писать в прозе, если я хочу быть полезен по службе, и давай писать — и написал груды, и еще бы писал, несчастный!» Под «грудами» здесь, скорее всего, подразумеваются не короткие «Мысли» и «Анекдот о свадьбе Ривароля», а большая «старинная повесть» в сентиментально-героическом роде из жизни древнего Киева «Предслава и Добрыня» — и, возможно, недописанный очерк Москвы. Недаром в окончании этого длинного исповедального письма Батюшков сообщает Гнедичу о решении отправиться вместо рекомендуемого тем Петербурга именно туда — что вряд ли могло обрадовать ревнивого приятеля,— смягчая его, впрочем, лестным доводом: «Я еду в Москву на сих днях... По крайней мере в Москве я найду людей, меня любящих,— что найду в Петербурге, кроме тебя?..»

Новый приезд в феврале 1811 г. вызывает забавный приступ ребяческого восторга: «Что взяли? Я пишу к вам из Москвы! — ???⟨...⟩ — а+в—с=d+x=xxx».

Здесь Константин Николаевич застает в самом разгаре развернувшуюся не на шутку борьбу литературных партий, усугубленную все возраставшим после унизительного Тильзитского мира недовольством против союза с Наполеоном; отзвуки ее явственно слышатся в посылаемых к петербургскому приятелю новостях московской жизни. «Каченовский (издатель „Вестника Европы“. — *П. П.*) ныне ударился в славянщину: не любит галломанов и меня считает за Галла (???!!!!!!!!) меня!.. В. Л. Пушкин забавляет нас еженедельно. Жуковский написал балладу, в которой стихи прекрасны, а сюжет взят на Спасском мосту»,— последнее означает, что баллада сказочная: подле Спасских ворот Кремля еще с XVII в. торговали лубочными картинками, печатными и рукописными

[1] В оригинале письма стихотворные строки приведены по-французски.

сказками и проч. Гнедич недоверчиво относится к москвичам, вызывая приятеля на защиту столицы-соперницы: «Ты говоришь, что в Москве нет людей! А Карамзин, а Нелединский?.. У последнего я недавно обедал и просидел до 9 часов вечера. Он читал свои стихи — время летело!.. Нелединский ленив не потому, что лень стихотворна, а потому, что леность — его душа. Нега древних, эта милая небрежность, дышет (галлицизм, не показывай Шишкову)[1] в его стихах». Отзыв о сенаторе-поэте Ю. А. Нелединском-Мелецком говорит не только о том, что Константина Николаевича встретили в «белокаменной» родственные по образу мысли и чувств люди, но и выдает попутно, в чем эти идеалы и настроения состояли.

Быть может, Батюшков также лелеял мечту исполнить теперь то намерение, о котором полушутя писал еще год назад сестре: «Если бы невеста (а их в Москве тьма) с тремя тысячами душ, прекрасная собой, умная, добрая, словом — ангел, согласилась за меня выйдти замуж, то я верно бы не упустил, да где ее возьмешь?» Во всяком случае, в письмах этого времени — как и вообще во всем его эпистолярном наследии — почти нет, как это ни странно, следов любовных увлечений. Вместо того он уведомляет Гнедича: «Я работаю сердцем, то-есть, стараюсь влюбляться. В кого? Еще и сам не знаю». Глагол «работать», приложенный здесь к сердцу, говорит сам за себя — однако, словно не довольствуясь намеком, Батюшков тут же вслед дарит предмет нежных воздыханий самого Гнедича («А твоя Софья...») веселым, но не совсем удобным в печати определением.

Как бы то ни было, выиграть партию у несчастливой судьбы с помощью «дамы» не удается,— и в июле вновь приходится отправляться на Вологодчину, откуда доносится до Гнедича вздох сожаления: «...что же до Москвы касается, то я ее люблю, как душу».

Ставка возвращается на прежнюю карту: «Называй меня чем хочешь, мечтателем, сумасшедшим и хуже еще, а я все буду напевать свое: дипломатика! Я готов ехать в Америку, в Стокгольм, в Испанию, куда хочешь...»

Еще один парадокс: будущий глава «легкой поэзии», певец «Моих Пенатов» ни минуты не желает оставаться под сенью «пенатов» настоящих: «...я живу в деревне, и в какой деревне! Где ни души христианской нет... я здесь живу поневоле...» Его жалобы и мечты в споре с Гнедичем обостряются

[1] А. С. Шишков, как и всякий внимательный читатель, заметил бы тут ошибку не только стилистическую, но и грамматическую — так что проявленная автором предусмотрительность вдвойне ненапрасна.

тем обстоятельством, что корреспондент Константина Николаевича, в отличие от него самого, уже нашел свою судьбу, главное дело жизни и способ его осуществления, обретя все это довольно рано: 25 лет от роду, в 1809 г. он получил пенсион от вел. кн. Екатерины Павловны для содействия предпринятому им переводу «Илиады» — и содержание это обеспечивало его десятилетиями, даже после смерти благодетельницы. К этому-то Гнедичеву счастью и обращается Батюшков в попытке убедить друга, что не всякая служба в Петербурге будет для него полезна и спасительна: «Что ты делал в жизни своей? Кому ты продал свою свободу? Никому. И я это докажу тебе в двух словах. В департаменте ты мог получить более, нежели получаешь ныне. Служа в пыли и прахе, переписывая, выписывая, исписывая кругом целые дести, кланяясь на лево, потом на право, ходя ужом и жабой, ты был бы теперь человек, но ты не хотел потерять свободы и предпочел деньгам нищету и Гомера. В департаменте ты бы мог быть коллежским советником, получить крест, пенсион, все, что угодно, потому что у тебя есть ум и способности, но ты не хотел потерять независимости и остался бы титулярным советником до скончания века, еслиб не рука благодетельного гения, не рука великой княгини дала тебе чин и пенсион, звание честного человека и кусок насущного хлеба».

Ему кажется, что он тоже знает, в какой стороне искать свою долю: «Я говорю о путешествии... Батюшков был в Пруссии, потом в Швеции; он был там сам, по своей охоте, тогда, когда все ему препятствовало; почему же Батюшкову не быть в Италии? „Это смешно", говорил мне Баранов в бытность мою в Москве. Смешно? А я докажу, что нет! Если Фортуну можно умилостивить, если в сильном желании тлеется искра исполнения, если я буду здоров и жив, то я могу быть при миссии, где могу быть полезен».

Не замечая, что судьбе отнюдь не нравится, когда ей указывают, Константин Николаевич предпринимает на нее всеобщее наступление, щедро выплескивая целый поток предсказаний о том, что с ним станет к тридцати годам: «Я с моей стороны не упущу из рук эти шесть лет и, подобно Александру Македонскому, наделаю много чудес в обширном поле... нашей словесности. Я в течение этих шести лет прочитаю всего Ариоста, переведу из него несколько страниц... и в тридцать лет я буду тот же, что теперь, то-есть, лентяй, шалун, чудак, беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их; буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как

повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется, ненавидит Славян и мученика Жоффруа, тибуллит на досуге и учится древней географии, затем чтоб не позабыть, что Рим на Тевере, который течет от севера к югу...»

Совсем иное будущее ожидало его тем временем за близким порогом новолетия: всего через шесть с небольшим месяцев, 22 июня (н. ст.) 1812 г. «император французов, король Италии» и т. д. объявит России войну, два дня спустя первые 300 поляков, гвардия, а за ними целый сонм чужестранных народов, «дванадесять языков» — словно перевернутое отражение, черная тень двенадцати ветхозаветных колен — переправится через куда более близкий Неман и пойдет собственными ногами поверять географические карты отечества. Другая эпоха настанет в истории, и не раз придется вздохнуть с сожалением о том, что будет поглочено небытием при ее появлении, но сейчас — сейчас наш поэт продолжает беспечно играть в деревне от скуки словами. «Твой Овидий все еще в своих Томах, завален книгами и снегом,— множит он сравнения, адресуемые Гнедичу, и шлет им вдогонку шутливый укор, приправленный целым филологическим фейерверком,— ты его забыл, и не пишешь к нему ни строки, ленишься, бездействуешь! (Браво, брависсимо, Батюшков! И ты выдумал слово: бездействуешь! Без-дей-ству-ешь... каково? То-есть, действуешь без, то-есть, как будто не действуешь. Понимаете ли? Лишен действия, ослаблен, изнеможен, оленивлен, чужд забот, находится в инерции, недвижим ниже́ головою, ниже́ перстами и потому бездействен, не пишет к своему другу и спит). Теперь вы понимаете, что не писать ко мне, или писать редко, есть то же... что́ бездействовать».

...Ему все-таки удается выхлопотать спокойную должность, но это — всего лишь место «помощника хранителя манускриптов» Императорской библиотеки в Петербурге. В апреле Константин Николаевич, едва успев обосноваться на новоселье, пишет Жуковскому с огорчением: «Брега Невы во сто раз скучнее наших московских»; и это воспоминание, быть может, наводит его на мысль закончить наконец описание московских видов, обычаев и нравов, начатое два года назад,— во всяком случае, судя по некоторым зацепкам, косвенно извлекаемым из текста очерка, завершен он был не ранее весны 1812 г. Судьба — не та, которой тщетно искал Батюшков, а настоящая подлинная его трагическая Фортуна — ненадолго сжалилась над ним и вместе над поколениями потомков, для которых вдохновенное слово очевидца-поэта, будто отблеск вечерней зари, запечатлело облик старой, «допожарной» Москвы

на самом краю разрушения. «Что имеем — не храним, потерявши плачем»,— утверждает горькая поговорка, и нам втройне радостно, что в данном случае она неприложима.

Однако протекшие годы переставили многие ударения в батюшковском описании — сам заголовок «Прогулка по Москве», хотя и довольно удачный, был дан лишь посмертно при публикации Петром Ивановичем Бартеневым, в оригинале он отсутствует,— и теперь, с более чем полуторавекового расстояния, читателя более всего привлекают не сатирические картинки, но черты величия, славы древних веков, неповторимой красоты русской столицы, сохраненные для нас рукою и даром Батюшкова. Впрочем, даже острота критики заметно притупляется временем, и на недостатки и чудачества предков далекие потомки готовы глядеть скорее с добродушной улыбкой, нежели с осуждением. «Прогулка по Москве», таким образом, навсегда остается и в русской словесности, и в русской истории, и в русской душе замечательно живым портретом нашего главного города до Наполеонова разорения, в ряд с которым позже встали пореформенная Москва Ивана Шмелева и Москва начала века Бориса Зайцева.

Это культурологическое и историософское значение очерка было оценено уже вскоре после первого появления его в печати в «Русском Архиве» за 1869 г. Вот что говорил о нем в конце XIX столетия известный исследователь академик А. Пыпин: «Москва того времени была, без сомнения, очень оригинальна. Заброшенная столица, она сохраняла, однако, разнообразное значение старинного центрального города, гораздо больше богатого тогда, чем теперь, памятниками, обычаями и преданиями старины; здесь был приют старого боярства, которое отправлялось сюда жить на покой после политических придворных треволнений, которыми так богато было XVIII столетие и где, забытое Петербургом, не встречало препятствий своему нраву и разнообразило свой век всякими причудами, средства на которые давало накопленное в счастливые годы крепостное богатство; здесь с допетровских времен хранилась нерушимо бытовая старина, не сломленная реформой; но здесь же был и приют новых дворянских нравов: по словам Карамзина, Москва была «столицей российского дворянства», куда охотнее, чем в Петербург, «отцы везут детей для воспитания и люди свободные едут наслаждаться приятностями общежития». Много делало при этом то, что Москва и в новой империи осталась старым топографическим центром, который гораздо ближе Петербурга был к средним губерниям, составлявшим производительный центр Рос-

сии и владевшим наиболее многолюдным помещичьим населением. Словом, Москва больше, чем какой-нибудь другой русский город, совмещала в себе все разнообразие бытовых форм допетровских и послепетровских, старинные нравы, верные Домострою, и новейшее образование на французский лад, всю пестроту жизни, выведенной из прежнего однообразного покоя и не установившейся в новом бытовом складе. Двенадцатый год унес безвозвратно многое из этой старой Москвы и, можно сказать, вместе с этим унес многое из целого русского быта: погибло много памятников старины и много старых обычаев, которые уже не возвратились в Москву, заново построенную и заново населенную... Эту именно Москву и описывал Батюшков в статье «Прогулка по Москве».

Замысел «Прогулки...» получил как бы посмертное благословение Михаила Никитича Муравьева, наставника молодости поэта: как раз в 1810 г.— году первого приезда Батюшкова в Москву — здесь были изданы под редакцией Карамзина две части сочинений М. Н. Муравьева, в число которых вошел примечательный отрывок, почти стихотворение в прозе под названием «Древняя столица». Он задает тон батюшковскому очерку, служит ему основой, корнем — и поэтому стоит привести его тут целиком:

«Иностранцы, позабыв настоящее имя России, или Руси, долго называли отечество наше Московиею,— ошибка, заключающая в себе величайшую похвалу Москвы, сего необъятного города, который заменял России недостаток или унижение других городов и был столицею царей российских. Прекрасное местоположение! Долгое пребывание двора и правительства; богатство, которое целые века стекалось из пределов России, чтоб украсить сию столицу огромного государства; обыкновения и нравы, представляющие живое изображение народного свойства, присоединенные здесь к самым местам и урочищам, и беспрестанно воспоминающие древность; многолюдство, веселья, набожность, блеск и роскошь дворянства, тень славного имени,— все сии обстоятельства делают воспоминание Москвы драгоценным каждому Россиянину. Удивительное многообразие положений, зданий, улиц распространяет по всему городу вид огромного и величественного беспорядка. Холмы, косогоры, долины застроены без различия. Почтенные развалины древности видят возвышающиеся подле себя здания новейшего вкуса, и хижины не боятся соседства великолепных палат. Монастыри, соборы, церкви, колокольни, удивляя своим готическим видом, представляют издали подъезжающему путешественнику золотые главы и

острые верхи свои, окруженные белеющеюся оградою стен, которые, кажется, выходят из середины города. Любитель древности приближается с почтением к сему Кремлю, где происходило столько важных явлений Истории Российской, к сей Грановитой Палате, в которой цари, являясь во всей своей пышности, удивляли послов Азии и Европы сиянием сокровищ. С глубоким чувствованием ходит он по сей Красной Площади, где собранный толпою народ узнавал войну или мир. За сею золотою решеткою являлись некогда царевны, пользуясь благорастворением воздуха или совершая благочестивые обеты в препровождении своих ближних боярынь. В сих царских теремах царь Иоанн Васильевич Грозный предпринимал завоевание Казани и царь Алексей Михайлович подтверждал Уложение. Далее, в соборе Михаила Архангела покоятся смертные останки сих великих людей, и тени их, кажется, сретаются под сими священными сводами.

На краю города есть прекрасное возвышение, известное под именем Воробьевых гор, с которого зрение может покоиться свободно на поверхности Москвы. Внизу, под крутым берегом, сквозь листья кустарников, видны чистые воды Москвы-реки, которая, извиваясь поперек города, объемлет полукружием прекрасный луг. С сей высоты видны загородные домы и подмосковные, унижающиеся степенями. Уединенный зритель может соединить здесь два удовольствия, между собою противные, и наслаждаясь тихостью сельского явления, видеть под ногами своими движение необъятного города и слышать шум бесчисленного многолюдства».

Подхватывая слово учителя, Батюшков тоже начинает описание Кремлем и затем устремляет взгляд туда, где тот оборвал свое; как будто встретившись глазами с его тенью, он возвращается назад и только тогда отправляется далее собственным путем (сделав, правда, в качестве вступления кажущуюся сперва немного кокетливой — а на самом деле, как мы увидим вскоре, вполне искреннюю — оговорку о том, что вообще-то исчерпывающее «описание Москвы» является для него вещью «совершенно невозможной» не из-за одной лени, но и потому еще, что он «не в силах за неимением достаточных сведений исторических и проч. и проч., которые необходимо нужно, ибо здесь на всяком шагу мы встречаем памятники веков протекших, но сии памятники безмолвны для невежды, а я притворяться ученым не умею»).

Вступив в Кремль, пишет Батюшков, «налево мы увидим величественные здания, с блестящими куполами, с высокими башнями, и все это обнесено твердою стеною. Здесь все ды-

шит древностью; все напоминает о царях, о патриархах, о важных происшествиях; здесь каждое место ознаменовано печатию веков протекших». Однако история допетровской Руси осталась для него заповедной: ни одного имени или названия нет в этом чрезвычайно общем наброске «сердца Москвы»; единственное, что доступно автору,— как-то определить его через противопоставление с новомодным Кузнецким мостом: там суета, «все в движении», а «здесь одни монахи, богомольцы, должностные люди и несколько часовых».

Покинув кремлевские стены и направившись вслед за течением реки к юго-западу, взор его постепенно оживляется. «Хочешь ли видеть единственную картину? — спрашивает автор друга-читателя.— Когда вечернее солнце во всем великолепии склоняется за Воробьевы горы, то войди в Кремль и сядь на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за рекою!» Он начинает «узнавать» сооружения, более ему известные, из коих, по прихотливому выбору времени, лишь первое — мост — не дошло до нас, будучи выстроено заново в тридцатые годы текущего столетия: «Направо Каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих; далее — Голицынская больница (ныне в составе 1 Градской клинической больницы, в средней части владения № 8 по Ленинскому проспекту.— *П. П.*), прекрасное здание дома гр. Орловой с тенистыми садами (впоследствии Александринский дворец в Нескучном саду, занятый сейчас президиумом Академии Наук.—*П. П.*) и, наконец, Васильевский огромный замок, примыкающий к Воробьевым горам („Мамонова дача“.—*П. П.)*, которые величественно довершают сию картину,— чудесное смешение зелени с домами, цветущих садов с высокими замками древних бояр; чудесная противуположность видов городских с сельскими видами. Одним словом, здесь представляется взорам картина, достойная величайшей в мире столицы, построенной величайшим народом на приятнейшем месте». Избранная точка зрения была воистину исключительной: отсюда, из середины города, можно было тогда оглядеть его весь вплоть до границ и обступивших со всех сторон лесов, перемежавшихся лугами. И лишь «запечатанность» древнерусской старины для Батюшкова помешала ему — если вечер был выбран действительно ясный,— переведя глаза еще южнее, заметить на горизонте шатер коломенского храма Вознесения: именно к нему с Кремлевского холма (а точнее — от собора Троицы, именуемого «Василием Блаженным») протянулась основная градостроительная ось Москвы, сложившаяся, как установил современный исследователь

философии архитектуры М. П. Кудрявцев, уже в XVII веке.

И все же любовь к родине пестуется не одними знаниями — даже известного Константину Николаевичу было вполне достаточно, чтобы сделать вывод: «Тот, кто, стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо все великое, ибо он жалостно ограблен природою при самом его рождении». Верное чутье заставляет его вслед за этим произнести, хотя и несколько прикрытый из-за предвидевшихся цензурных требований, но все же вполне явственный укор другим государствам, которые тогда молча склонили голову перед Наполеоном: он снова как в воду глядел, перечисляя те самые святыни, что более всего пострадают вскоре от иноземного нашествия — только чудом не взлетит на воздух весь начиненный порохом Кремль, рухнут наземь три его башни, и начисто выгорит дотла — Замоскворечье...

А покуда поэт рисует картинку во вкусе излюбленного в его время Гюбера-Робера, певца живописных руин и мирных пейзан: «Солнце медленно сокрывается за рощами. Взглянем еще на Кремль, которого золотые куполы и шпицы колоколен ярко отражают блистание зари вечерней. Шум городской замирает вместе с замирающим днем. Кругом нас все тихо; изредка пройдет человек. Здесь нищий отдыхает на красном крыльце, положив голову на котомку; он отдыхает беспечно у подножия палат царских, не зная даже, кому они некогда принадлежали. Теперь встает и медленно входит в монастырь, где раздается мрачное пение иноков и где целыми рядами стоят гробы великих князей и царей русских (некогда обитавших в ближних палатах). Печальный образ славы человеческой...» Красота созерцаемого вида завлекла своего наблюдателя и, превратившись незаметно в красивость, заставила сделать досадный промах — перепутать Архангельский собор (точнее — собор Архангела Михаила), где на самом деле находятся царские захоронения, с не дошедшим до нас соборным храмом Чудова («Чуда Архистратига Михаила в Хонех») монастыря.

— Но Кремль находился в ту пору как бы в почетной отставке от насущных государственных дел. Средоточием общественной жизни тогдашней Москвы был Тверской бульвар, первый из череды одиннадцати городских бульваров, разбитых на месте разрушившихся стен и срытого вала когда-то могучего Белого города, выстроенного знаменитым градодель-

цем Федором Конем. Собственно, Тверской был даже бульвар по преимуществу — его так долгое время и звали просто «бульваром», ибо в определениях нуждались лишь последующие, более молодые. Любопытно, что доныне здравствует еще один живой свидетель «добульварных» времен — недавно забранный металлической цепью огромный дуб ростом более двадцати и толщиной до двух метров против дома № 14: ему более двухсот лет от роду и вырос он некогда у городского вала почти за четверть века до его сноса в 1796 г.

Почтенное древо, однако, поневоле немотствует — и для просвещенных любителей прошлого уже в первой трети минувшего века в «Дамском журнале» была напечатана особая «Летопись о Тверском бульваре», составленная языком вполне светским. Укрывшийся под сенью псевдонима летописец, будто рабочий сцены, расставляет декорации для того представления людских типов, которое покажет в своем очерке поэт:

«До 1795 года... около Тверского бульвара не хорошо было ни ходить, ни ездить к стороне Козьего болота; местами грязь стаивала по колена, а инде, и посреди самого сухого лета, земля тряслась под ногами,— начинает неведомый автор повесть о создании прославившегося впоследствии гуляния, будто сказание о сотворении мира; и в ней невольно слышится дальний отзвук книги Бытие: „Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною..." — Вал частию уже был срыт; но оставались еще некоторые из его возвышений, на которых ребятишки, угладив несколько площадок, на свободе поигрывали в бабки и в свайку. На травке по отлогостям вала инде привязывали к кольям для покормки, из соседних домов, и лошадей и коров, а инде, в праздничное время, на той же траве сиживали группами семейства близ живущих мещан, распевали песенки, резвились по-своему...»

Но все возраставшая «людскость» общества не могла мириться с подобным безобразием посреди хоть и второй, а все же столицы — и «Наместник Московский, Князь Прозоровский, кажется первый, решительно приказал срывать все остатки древнего вала, землю его возить и сыпать на тресины...»

Правда, ранее уже существовало одно «публичное гульбище» — «однакож его учредил не наместник, а Гвардейцы, в подражание Невскому Петербургскому, по Москворецкой набережной — под стенами древнего Кремля». Да то ли соседство было чересчур суровым, то ли сырость, доносившаяся от реки, выстуживала нежный пол, или по причине какой-то еще иной докуки — в общем, «гульбище» это не привилось.

Наконец, наступил важный: «1796 г. Главнокомандующий

Москвою, Фельдмаршал Граф Иван Петрович Салтыков... озаботился устроением Тверского бульвара. На нем тогда уже все было очищено, усажены в четыре ряда березки, укатана кое-как главная дорожка и — вот начались первые гулянья по Тверскому валу.

1800. Вместо галлереи или беседки, построенной из досток уже около 1802 года, прежде всего на бульваре была разбита кондитерская палатка; в ней торговал Голицынский кондитер Иван Федорыч, великий мастер убирать всякими фигурами свадебные столы...

Но вот наша дощатая галлерея скоро развалилась и в конце 1803, или в 1804 году... вдруг появилась деревянная же, но рубленая. В самый Вознесеньев день мы гуляли по Дворцовому саду и — Фельдмаршал неожиданно пригласил нас на бульвар — в новую галлерею... Нас осветили разноцветные огни, встретила музыка, угощенье, даже — танцы... С этого времени гулянье на бульваре продолжалось постоянно...

Петр Степанович Валуев открыл новое гульбище на Пресненских прудах (о нем Батюшков тоже поведет в свою очередь речь.— *П. П.*) и публика, охотница до новости, тотчас обратилась к ним; но вдруг явился некто князь Голицын (Михаил Васильевич) и положил в каждую пятницу (которая и поныне осталась днем бульварным) освещать бульвар на свой счет и приглашать туда музыку. Публика опять обратилась на прежнее любимое гульбище; но в 1812 г. Наполеонисты, пущенные на смерть в Москву, решились вместе с собою умерщвлять и бульвар, разбили его деревья, а на других вешали без разбора виновных и не виновных».

Стоп! Вновь трагическое будущее, сломав правильный порядок изложения, проникло в него не по чину рано — вернемся пока к довоенным, первым годам XIX столетия. Еще в 1803 г. Карамзин поместил в «Вестнике Европы» статью «Записки старого московского жителя», где одним из первых приветствовал образование в городе пресловутой «людскости»: среди наиболее разительных перемен в сем отношении он отмечал появление продавцов роз и ландышей (следственно, имеются и покупатели, ценители их!), а также заведение первых «подмосковных», прежде не отбывавшими летом на природу помещиками. И еще, свидетельствует он, «поезжайте в Воскресенье на Воробьевы горы, к Симонову Монастырю, в Сокольники: везде множество гуляющих. Портные и сапожники с женами и детьми рвут цветы на лугах, и с букетами возвращаются в город. Мы видели это в чужих землях, а у нас видим только с некоторого времени, и должны радоваться.

Еще не так давно я бродил уединенно по живописным окрестностям Москвы и думал с сожалением: „какие места! и никто не наслаждается ими!“, а теперь везде нахожу общество!..

Знаете ли, что и самой Московский *булевар* (вот как раз образец наименования его без определения, в качестве единственного.— *П. П.*), каков он ни есть, доказывает успехи нашего вкуса? Вы можете засмеяться, государи мои; но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам, о которых, например, не думают грубые Азиатцы, и которыми славились умные Греки. Где граждане любят собираться ежедневно в приятной свободе и смеси разных состояний; где знатные не стыдятся гулять вместе с не-знатными, и где одни не мешают другим наслаждаться ясным летним вечером: там уже есть между людьми то щастливое сближение в духе, которое бывает следствием утонченного гражданского образования. Предки наши не имели в Москве гульбища (Карамзин настойчиво подсказывает то русское слово, каким можно бы заменить чужеязычное, но не решается выступить в его защиту прямо.—*П. П.*); даже и мы еще весьма недавно захотели иметь сие удовольствие; но за то очень любим его. Жаль только, что наш *булевар* скуп на тень и до крайности щедр на пыль».

Сохранился и отзыв о довоенном бульваре будущего противника — в виде письма к другу в Париж некоего проезжавшего сквозь Россию француза мсьё Робера, Анри де Л., помещенного в «Московском Вестнике» 1809 г. (впрочем, несмотря на «сердитые» ремарки таинственного издателя журнала — его имя так до сих пор никому и не удалось выяснить,— которыми он снабдил публикуемый отрывок, не только отсутствие названного им с орфографической ошибкой «произведения» и псевдонима сочинителя во французской литературе, но более всего сам дух и стиль «перевода» заставляют нас предполагать, что сей путешественник был местного происхождения и лишь выучки иноземной): «Здешний бульвар так нов, столь молод против нашего парижского, что вряд ли годится ему быть и правнуком. Вообразите длинную, широкую, довольно нарядно укатанную дорожку, с двумя небольшими побочными, обгороженную по бокам простым барриером и обсаженную кой-какими деревьями, из которых иные засыхают, а другие уже высохли. Правда, есть куртинки, есть расположение, но этого должно ждать от времени. Здесь вы не найдете ни чудесных китайских, ни милых английских беседок и домиков, каковы у нас в Париже. Здесь негде торговать безделушками, театральными пиесами, порт-

фелями и проч. О фонтанах и бассейнах не должно и спрашивать. Старая галерея, где продают конфекты, чай и мороженое,— вот полная граница ваших желаний, и больше ничего. Однако же собрание публики почти всегда многочисленно; есть даже такие охотники, которых мне случалось видеть гуляющими по бульвару и в самую дурную погоду».

О бульваре уже были сложены в те годы стихи, ближайшим образом (за исключением, конечно, неуклюжего десятикратного «гдеканья») напоминающие по сюжету посвященную ему прозу нашего поэта:

Бульвар, утеха всей столицы,
Собранье редкостей, красот,
Где льются были, небылицы,
Где торжество дурачеств, мод;
Где клуб политик свой находит,
Где воин шпорами разит,
Где флегм, насупя шляпу, бродит,
Где франт уродливо лежит;
Где смесь бояр, вельможей знатных
С поселянином и купцом,
Горбатых, стройных и не статных,
Где смесь и умного с глупцом;
Где нимфы радости постылой
Берут с проказников оброк,
Где добродетель также милой
Себе находит уголок...

(из того же «Московского Вестника» 1809 года).

Теперь сцена наконец подготовлена — и тут появляется со своим читателем сам Батюшков: «...мы выходим на Тверской бульвар, который составляет часть обширного вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований; и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, какие лица! Здесь вы видите приезжего из Молдавии офицера, внука этой придворной красавицы, наследника этого подагрика, которые не могут налюбоваться его пестрым мундиром и невинными шалостями (родственникам недолго осталось радоваться, как и Кутузову, от кого прибыл их отпрыск, воевать в далекой стороне против турок.— *П. П.*); тут вы видите провинциального щеголя, который приехал перенимать моды и который, кажется, пожи-

рает глазами счастливца, прискакавшего на почтовых с берегов Секваны в голубых панталонах и широком безобразном фраке (Секвана — латинское имя Сены, и нам трудно попутно удержаться от искушения увидеть в этом голубоштанном фрачнике ближайшего клеврета автора приведенного выше „французского“ письма.— *П. П.*). Здесь красавица ведет за собою толпу обожателей, там старая генеральша болтает со своей соседкою, а возле их откупщик, тяжелый и задумчивый, который твердо уверен в том, что Бог создал одну половину рода человеческого для винокурения, а другую для пьянства, идет медленными шагами с прекрасною женою и с карлом. Университетский профессор в епанче, которая могла бы сделать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную кафедру. Шалун напевает водевили и травит прохожих своим пуделем, между тем как записной стихотворец читает эпиграмму и ожидает похвалы или приглашения на обед. Вот гулянье, которое я посещал всякий день и почти всегда с новым удовольствием. Совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится, великое стечение людей знакомых и незнакомых имели всегда особенную прелесть для ленивцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии. А я из числа первых и последних. Прибавлю к этому: на гулянье приезжают одни, чтоб отдыхать от забот, другие — ходить и дышать свежим воздухом; женщины приезжают собирать похвалы, мужчины — удивляться, и лица всех почти спокойны. Здесь страсти засыпают; люди становятся людьми; одно самолюбие не дремлет; оно всегда на часах; но и оно имеет здесь привлекательный вид, и оно заставляет улыбнуться старого игрока гораздо приветливее, нежели за карточным столом. Наконец, на гулянье все кажутся счастливыми, и это меня радует как ребенка, ибо я никогда не любил скучных и заботливых лиц».

Обширные возможности наблюдать людские нравы, доставляемые писателю зрелищем подобного рода, привлекательны до чрезвычайности — и в эпилоге своего очерка он, «спеша воспользоваться прекрасным майским вечером на Пресне», отправляется на второе городское гулянье, упомянутые уже ранее кратко Пресненские пруды.

О том, как оно было заведено в 1808 г., арзамасец-реакционер Ф. Ф. Вигель рассказывает в своих едких «Записках»: «Мало заботясь о том, что происходило в Европе, все заняты были тогда домашним важным происшествием, открытием нового гуляния на Пресненских прудах. Я помню, когда я жил (в отрочестве.— *П. П.*) в пансионе Форсевиля, по близос-

ти случалось мне с товарищами проходить по топким и смрадным берегам запруженного ручья Пресни.— Искусство умело тут (теперь.— *П. П.*) из безобразия сотворить красоту. Не совсем прямая, но широкая аллея, обсаженная густыми купами дерев, обвилась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов; подлые гати заменены каменными плотинами, чрез кои прорвались кипящие шумные водопады; цветники, беседки украсили сие место, которое обнеслось хорошею железною решеткой. Два раза в неделю музыка раздавалась над сими прудами, стар и мал, богат и убог толкались вокруг них. С великим удовольствием был я на этом гулянье; оно и по сю пору еще существует в прежнем виде, но почти совсем оставлено посетителями. Москвичи, как и все мы Русские, в этом случае похожи на ребят: всегда обрадуются новой игрушке, потом скоро она им надоест, и беспрестанно подавай им новое».

Пруды давно уже спущены, речка Пресня заключена в трубу, и один только стоящий близ ее старого устья Горбатый мост XVIII века остался во всей округе напоминать о былом — но и он в последние годы был отреставрирован столь ревностно, что его трудно принять за древность, коли не знать об этом заранее. Тем занимательнее читать описания очевидцев когда-то царившего здесь веселья, даже если они принадлежат такому свидетелю, как названный уже «француз»-путешественник: «Другое гулянье, так называемые Пресненские пруды, гораздо приятнее первого. Представьте два прекрасные, довольно обширные, светлые озера, наполненные рыбою, усеянные по берегам изрядными английскими садочками и разными беседками и проч. На них две галлереи для продажи лакомств и хорошая оранжерея с довольным числом разных редких растений, которые можно покупать желающим. И здесь гулять всегда приятнее, нежели на бульваре, здесь всегда рисуются разные ландшафты и проч. В означенные дни на обоих сих внутренних городских гульбищах играет музыка, поют песельники довольно приятные русские песни и пляшут и подпевают Цыгане. Бульвар иллюминуют почти в каждую неделю один раз, а на прудах делают иллюминацию и фейерверки только в особенные праздники; однакож никому не возбраняется делать подобные пикники (на свой счет) хоть каждодневно. Во время иллюминации теснота бывает несносна, как и у нас: и жарко, и душно, и пр.»

В отличие от предшествовавших ему авторов, Батюшков вновь совсем немного внимания уделяет внешним обстоятельствам: «Пруды украшают город и делают прелестное гулянье.

Там сбираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, не довольно широки». «Мосты», «решетки», «берега», «дома» — ни одного имени или особенной черты! Зато, как скоро речь заходит о людях, перед нами разворачивается целая многоцветная выставка искусных миниатюрных портретов: «Большое стечение экипажей со всех концов обширного города, певчие и роговая музыка делают сие гульбище одним из приятнейших. Здесь те же люди, что на булеваре, но с большею свободою. Какое множество прелестных женщин! Москву поистине можно назвать Цитерою. Посмотри! Этой малютке четырнадцать лет, и она так невинно улыбается! Но вот идет красавица: ее все знают под сим названием, теперь она первая по городу. За ней толпа — а муж, спокойно зевая позади, говорит о турецкой войне и о травле медведей. Супруга его уронила перчатку, и молодой человек ее поднял. Жаль, что этого не видал старый болтун N, отставной полковник, который промышляет новостями. Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу куме-болтунье-спорщице, пожилой бригадирше, жарко нарумяненной, набеленной и закутанной в черную мантилью. Посторонитесь, вы, господа, и вы, молодые девушки! Она ваш Аргус неусыпный, ваша совесть, все знает, все замечает и завтра же поедет рассказывать... что такая-то наступила на ногу такому-то, что этот побледнел, говоря с той, а та накануне поссорилась с мужем, потому что сегодня, разговаривая с его братом, разгорелась как роза. Какой это чудак, закутанный в шубу, в бархатных сапогах и собольей шапке? За ним идет слуга с термометром. О, это человек, который более полувека, как все простужается! Заметим этих щеголей; они так заняты собою! Один в цветном платочке с букетом цветов, с лорнетом, так нежно улыбается, и в улыбке его виден след труда. Другой молчит, завсегда молчит: он умеет одеваться, ерошить волосы, а говорить не мастер...»

Остановим на минуту листанье альбома словесных карикатур и немного задержимся для примера на сем последнем его развороте. Обратим внимание на первого из двух «щеголей»— это хотя и писатель, речь о ком должна бы идти в иной главе, но по достоинству место его именно здесь, среди московских достопримечательностей. Он не раз сталкивался с Батюшковым, начиная с первой их встречи в Москве в 1810 г., и играл в кругу его знакомых заметную роль. «Заочный» портрет того же персонажа выведен Константином Николаевичем еще в ранней сатире «Видение на берегах Леты»:

Один, причесанный в тупей,
Поэт присяжный, князь вралей...
— Кто ты? — Увы, я пастушок,
Вздыхатель, завсегда готовый;
Вот мой баран и посошок,
Вот мой букет цветов тафтяных,
Вот список всех красот упрямых,
Которыми дышал и жил,
Которым я насильно мил;
Вот мой Амур, моя Аглая...

«Аглая — вовсе не грация,— сделал к этой строке собственноручное примечание автор и раскрыл имя занимающего нас лица,— а журнал князя Шаликова». Князь грузинского происхождения Петр Иванович Шаликов обитал тогда как раз на Пресне, где имел свой домик и круг писателей-сподвижников: «Ему помогают мыслить,— подшучивал в одном из писем Батюшков,— и Бланк неистощимый (сын известного архитектора.—*П. П.*), и остроумный Макаров, и все за Преснею живущие поэты...» Кн. Шаликов был одним из первых и ревностнейших карамзинистов, долгие годы редактировал «Дамский журнал» (из которого мы приводили «летопись» бульвара) и другие повременные издания, но, хотя бо́льшую часть своей 85-летней жизни посвятил многоплодному сочинительству, остался скорее в истории литературных обществ и журналов, нежели непосредственно литературы; впрочем, он и сам не заблуждался относительно размера собственного дарования. Но так уж повелось, что наравне с другим титулованным автором-современником графом Хвостовым он сделался легкою добычей слагателей эпиграмм и мемуаристов, отличавшихся в ту пору какой-то не объяснимой до конца рационально беспощадностью к своим противникам.

Вот как выставил его в воспоминаниях племянник поэта-министра И. И. Дмитриева Михаил Александрович: «Князь Шаликов был чрезвычайно известен и смешон своею нежностью, которой совсем не было в его характере: он был только сластолюбив и раздражителен, как Азиятец; его сентиментальность была только прикрытием эпикурейства. Он был странен и в одежде: летом всегда носил розовый, голубой или бланжевый платок на шее... Его нежные бульварные похождения невообразимы! Иногда за это ему случалось попадать или в неприятные, или в смешные приключения, которые не поддаются скромному описанию, но которые забавляли современников». При чтении этого бранчливого отзыва следует непременно учитывать, что у сочинителя с самим его «предметом» произошла однажды бурная сцена не без «оскорблений дейст-

вием» — и потому-то свидетель он весьма пристрастный.

Но как-то так повелось, что пристрастные мемуары читать интереснее: тому же Ф. Ф. Вигелю принято пенять за злой язык и «крайнюю консервативность» в зрелые годы столь же часто, сколь и цитировать его именно тогда составленные «Записки», в которых, кстати, находится еще следующее замечание о бульварной славе кн. Шаликова: «Мне сказывал Загоскин, что во время малолетства случалось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу, с любопытством, в почтительном расстоянии идущую за небольшим человеком, который то шибко шел, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. „Вот Шаликов", говорили шепотом, указывая на него, „и вот минуты его вдохновения"».

В другом памятнике личностной зачастую до совершенной свирепости сатиры той эпохи — «Парнасском адрес-календаре», созданном также арзамасцем А. Ф. Воейковым (поучительно, что издатель М. И. Семевский, выпуская его после смерти автора в своей «Русской старине», ради справедливости поместил тотчас вслед столь же сокрушительно уничтожающие воспоминания о самом Воейкове Н. И. Греча), где Батюшков как союзник именуется под № 4-м «действительный поэт, стольник Муз, обер-камергер Граций»,— Шаликов аттестуется таким образом: «Присяжный обер-волокита, князь вралей; находится при составлении из канареишных яиц для Феба яишницы и при собрании для него же жемчужной росы и любовных вздохов».

В первые годы среди бурных литературных столкновений Батюшков тоже честил его почем зря: не очень-то обинуясь в рукописной сатире, в письмах он был и вовсе крут. Так, в 1811 г. кн. Вяземский предупреждается, будто Шаликов «опасен» и «если б он был человек, а не Шаликов, то стоил бы того, чтоб... я или ты, или кто случится, проколол ему желудок, обрубил его уши и съел заживо живого зубами... Но он Шаликов!.. Что это значит?.. Он готов на тебя жаловаться.., готов прокричать уши всем встречным и поперечным, что его преследуют, что его бранят.., что он стихотворец, князь и чурлы-мурлы...: ergo, всех надобно жечь и резать, кто осмелится бранить, поносить, бесчестить его стихотворное сиятельство... эти шальные Шаликовы хуже шмелей!..»

Но пройдет семь лет, Москва погибнет и воскреснет, вместе с нею повзрослеет и некогда беспечный ее певец, и его взгляд усмотрит в прошлом недруге не одно лишь худое или смеха достойное. В 1818 г. он в благодарность за присылку Шали-

ковым переведенных тем повестей Жанлис напишет ответное послание, где назовет былого противника «почтенный мой поэт» и, уезжая в Рим, заключит его словами:

Но где б я ни был (так я молвлю в добрый час),
Не изменясь, душою тот же буду
И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

Вот какая занимательная в своем роде история, почти повесть в картинках о взаимоотношениях Батюшкова с представителем местного московского «Парнасса», собравшим в себе многие черты здешних «авторов» того периода воедино, разворачивается, если попытаться пристальнее взглянуть лишь на одну из множества миниатюр с изображениями современников, набросанных легкою рукой в «Прогулке...». Но сам поэт отнюдь не коснит на ней, торопясь вывести все новые и новые лица. «Там вдали,— указывает он бестрепетным перстом,— на лавке, сидит красавица полупоблеклая. Она вздохнула... еще раз... о том, что ее место заступила новая, которая идет мимо ее и гордо улыбается. Постой, прелестница! Еще две весны, и ты, в свою очередь, будешь сидеть одна на лавке; ты идешь, и время за тобою. Куда спешит этот пожилой холостяк? Он задыхается от жиру, и пот с него катится ручьями. Он спешит в Английский клуб пробовать нового повара и заморский портер. А этот гусар о чем призадумался, опершись на свою саблю! О, причина важная! Вчера он был один во всей Москве,— теперь явился другой гусар, во сто раз милее и любезнее; по крайней мере, так говорят в доме княгини N.., которая по произволению раздает ум и любезность — и его бедного забыла! Но кто это болтает палкою в пруде с большим успехом, ибо на него посмотрели две мимоидущие старухи, две столетние парки! О! не мешайте ему. Это тот важный, глубокомысленный человек, который мутил в делах государственных и теперь пузырит воду („Москва — убежище всех удалившихся от двора вельмож“, подтверждает и Вигель.—*П. П.*). Вот два чудака: один из них бранит погоду — а время очень хорошо; другой бранит людей — а люди все те же; и оба бранят правительство, которое в них нужды не имеет и, что всего досаднее, не заботится об их речах. Оба они недовольные. Они очень жалки! Один имеет сто тысяч доходу, и желудок его варить не может. Другой прожился на фейерверках и называет людей неблагодарными за то, что они не собираются в его сад в глубокую полночь. Но кто этот пожилой человек, высокий и бледный?.. Старый щеголь, великий мастер делать визиты, который на погребениях и на свадьбах является как

тень, как памятник времен екатерининских; он человек праздный, говорун скучный, ибо лгать не умеет за недостатком воображения, а молчать не может за недостатком мысленной силы.

Это гульбище имеет великое сходство с Полями Елисейскими. Здесь мы видим тени великих людей, которые, отыграв важные роли в свете, запросто прогуливаются в Москве. Многие из них пережили свою славу...

Но заря потухает»,— замечает Батюшков в завершение, позабыв, что он один раз уже проводил ее в Кремле; воспользуемся этой оплошностью и вернемся к середине очерка, пропущенной нами в погоне за вереницей ярких сцен на гуляньях.

В числе других развлечений москвичей автор «Прогулки...» иронически поминает также известный «карусель». В отличие от современного его тезки, тогда каруселем называли род костюмированного состязания на чистом воздухе или, как определяет в своем словаре Вл. Даль, «воинскую конную игру; представление в подражание рыцарским турнирам». Старший приятель писателей батюшковского окружения В. Л. Пушкин даже издал по сему случаю особую книжку «О каруселях. Благородному московскому обоего пола сословию посвящает кавалерского карусельного собрания член Василий Пушкин. Москва, 1811 года, Июня 20 дня», в коей, выводя происхождение имени из латинского «колесница солнца», измыслил целую мифическую родословную каруселей, от «Богини Цирцеи», которая-де учредила их «в честь Солнца, отца своего», через игры рыцарей средневековья и забавы богатырской дружины Владимира Святого вплоть до двора Екатерины II — где и на самом деле они были впервые в России заведены. А вот как отмечал это событие «Вестник Европы», в редактировании которого еще принимал участие Жуковский: «В последней половине минувшего июня в Москве, у Калужской заставы, посреди нарочно устроенного обширного амфитеатра, два раза дано было прекрасное и великолепнейшее зрелище к а р у с е л я. По Высочайшему дозволению... составилось здесь благородное карусельное собрание под главным распоряжением его высокопревосходительства Степана Степановича Апраксина, который наименован главным учредителем всего каруселя. Стечение зрителей было чрезвычайное: в первый раз июня, 20-го, для входа в ложи и амфитеатр розданы были зрителям билеты; а 25-го числа, для дня рождения... великого князя Николая Павловича дан был подобный первому карусель в п о л ь з у б е д н ы х (на другой день после праздника на вырученные от зрителей деньги, как рассказывает в своих записках С. Н. Глинка, дали „обед отставным

воинам, жившим в Москве".— *П. П.*). Благородные рыцари показывали искусство свое в верховой езде, меткость рук и уменье управлять оружием. Богатый убор церемониймейстеров и кавалеров, устройство кадрилей, порядок шествия, все это выше всякого описания, все достойно обширности, многолюдства и пышности древней столицы величайшей в мире империи». (И тотчас вслед за таким выспренним отзывом издатель «Вестника» М. Т. Каченовский, платя дань журнальным обыкновениям своего времени, обрушивается на помянутую книжку В. Л. Пушкина.) Сам же Батюшков высказывался о каруселе с усмешкой не только в очерке, но и в переписке: «У нас карусель, и всякий день кому нос на сторону, кому зуб вон». Однако дата на письме, из которого приведена эта выдержка, выдает, что Константин Николаевич усердно посещал не только само зрелище, но даже еще и его репетиции...

Обителью суеты, прямой противоположностью полному достоинства покою Кремля, представляется автору «Прогулки...» Кузнецкий мост, где все мельтешит, «все спешит, а куда?— посмотрим.

Эта большая дедовская карета, запряженная шестью чалыми тощими клячами, остановилась у дверей модной лавки. Вот из нее вылезает пожилая женщина в большом чепце, мадам, конечно, француженка, и три молодые девушки. Они входят в лавку — и мы за ними. „Дайте нам головных уборов, покажите нам эти шляпки, да по христианской совести, госпожа мадам!" И торговка, окинув взорами своих гостей, узнает, что они из степи, продает им лежалую старину вдвое, втрое дороже обыкновенного. Старушка сердится и покупает.

Зайдем оттуда в конфектный магазин, где жид или гасконец Гоа продает мороженое и всякие сласти. Здесь мы видим большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных, и причесанных. Этот, конечно,— англичанин: он, разиня рот, смотрит на восковую куклу. Нет! он русак и родился в Суздале. Ну, так этот — француз: он картавит и говорит с хозяйкой о знакомом ей чревовещателе, который в прошлом году забавлял весельчаков парижских. Нет, это старый франт, который не езжал далее Макарья и, промотав родовое имение, наживает новое картами. Ну, так это — немец, этот бледный высокий мужчина, который вошел с прекрасною дамою? Ошибся! И он русский, а только молодость провел в Германии. По крайней мере, жена его иностранка: она насилу говорит по-русски. Еще раз ошибся! Она русская, любезный друг, родилась в приходе Неопалимой Купины

(то есть в Новоконюшенной слободе близ Садового кольца, где доныне еще сохранился Неопалимовский переулок,— хочется подсказать нам, но мы боимся показаться педантами и не станем развивать невольно приходящие на память в связи с этим соображения.— *П. П.*) и кончит жизнь свою на Святой Руси. Отчего же они все хотят прослыть иностранцами, картавят и кривляются?— отчего?.. Я на это буду отвечать после...»

На самом деле удовлетворительного ответа на это волновавшее тогда совесть многих людей вопрошание Батюшков так и не дал. Да и кому вообще под силу в одиночку разрешить воистину судьбоносное недоумение: образованное сословие великого народа, конечно, вправе позволить себе широко перенимать чужие новшества, за которыми неминуемо увязывается и приблудная порча,— но докуда, до какого невидимого предела это может быть полезно и не представляет угрозы для самого существования народа, и где та черта, за какою неудобь носимая ноша потянет своего хозяина под гору, клоня в три погибели и подталкивая в пропасть?.. История сама не раз бралась отвечать на вопрос, и в первую очередь в ближайший же 1812 г.,— но было ли решение окончательным? Десятилетие спустя его вновь подымали декабристы; затем взялись разобрать западники и «славянофилы» (слово, кстати, изобретенное шутки ради именно Батюшковым)[1]... След тянется не только далеко в будущее, но и назад в прошлое, вопрос оказывается вечным, а Москва — его воплощенным символом: «Исполинский город, построенный великанами; башня на башне, стена на стене, дворец возле дворца! Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое слияние суетности, тщеславия и истинной славы и великолепия, невежества и просвещения, людскости и варварства. Не удивляйся, мой друг: Москва есть вывеска или живая картина нашего отечества... здесь, против зубчатых башен древнего Китай-города, стоит прелестный дом самой новейшей италиянской архитектуры; в этот монастырь, построенный при царе Алексее Михайловиче, входит какой-то человек в длинном кафтане, с окладистой бородою, а там к булевару кто-то пробирается в модном фраке (один идет,

---

[1] В несколько ином написании — «славЕнофил» — оно приложено в 1809 г. к адмиралу Шишкову в «Видении на берегах Леты»; в последнее время родительские права на него Батюшкова, впрочем, оспариваются, поскольку в рукописи обнаружены чуть более ранние примеры сей этимологически уродливой помеси корней славянского с греческим.

другой крадется... — *П. П.*), и я, видя отпечатки древних и новых времен, воспоминая прошедшее, сравнивая оное с настоящим, тихонько говорю про себя: „Петр Великий много сделал и ничего не кончил“».

Зато залогом положительного решения может служить рассказанный Константином Николаевичем в другом очерке — «Воспоминание о Петине» — случай, произошедший с двумя друзьями почти тогда же и на том же самом месте: «По окончании Шведской войны мы были в Москве. Петин лечился от жестоких ран и свободное время посвящал удовольствиям общества, которых прелесть военные люди чувствуют живее других. Не один вечер мы просидели у камина в сих сладких разговорах, которым откровенность и веселость дают чудесную прелесть. К ночи мы вздумали ехать на бал и ужинать в собрании. Проезжая мимо Кузнецкого моста, пристяжная оторвалась, и между тем как ямщик заботился об упряжке, к нам подошел нищий, ужасный плод войны, в лохмотьях, на костылях. „Приятель,— сказал мне Петин,— мы намеревались ужинать в собрании; но лучше отдадим серебро наше этому бедняку и возвратимся домой, где найдем простой ужин и камин“. Сказано — сделано. Это безделка, если хотите, но ее не надобно презирать... Это безделка, согласен; но молодой человек, который умеет пожертвовать удовольствием другому, чистейшему, есть герой в моральном смысле».

Пресловутая «широта» русского человека и в увлечениях, и в покаянии не миновала и Батюшкова-сочинителя, дерзко взявшегося обличать ее уродливые проявления; но сквозь голос, решительно бичующий современное поэту состояние образованности в Москве — мы-то теперь знаем наверное, что в этом отношении дело обстояло совсем не так скверно,— слышится несомненное желание добра, надежда на лучшие преобразования (хотя, быть может, первое слишком общо, а очертания вторых вовсе туманны): «Теперь мы видим перед собою иностранные книжные лавки. Их множество, и ни одной нельзя назвать богатою в сравнении с петербургскими. Книги дороги, хороших мало, древних писателей почти вовсе нет, но зато есть... целые груды французских романов — достойное чтение тупого невежества, бессмыслия и разврата...» «Вот и целый ряд русских книжных лавок; иные весьма бедны. Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так же, как рыбой, мехами, овощами и проч., без всяких сведений в словесности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика журналов и фабрика романов и что книжные торгаши покупают ученый товар, то-есть переводы и со-

чинения, на вес, приговаривая бедным авторам: не качество, а количество! не слог, а число листов! Я боюсь заглянуть в лавку, ибо, к стыду нашему, думаю, что ни у одного народа нет и никогда не бывало столь безобразной словесности. К счастию, многие книги здесь в Москве родятся и здесь умирают или, по крайней мере, на ближайших ярмонках...» «Здесь опера не хороша, комедия еще хуже, а трагедия и еще хуже комедии. Но французские актеры не лучше русских...» И т. д.

Батюшков походя оставляет свидетельство о весьма высокой степени вольности мысли, какой пользовались жители города: «Здесь всякий может дурачиться как хочет, и умереть чудаком». Но лично его занимает отнюдь не отвлеченная вольготность или свобода выражения, а тот материал, который дают они для писателя: «Самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур. Какое обширное поле для комических авторов, и как мало они чувствуют цену собственной неистощимой руды! Надобно еще заметить, что здесь семейственная жизнь, которую можно назвать хранительницею нравов, придает какое-то добродушие и откровенность всем поступкам. Это заметил мне англичанин-путешественник, который называл Москву прелестнейшим городом в мире и прощался с нею со слезами».

Дабы показать пример нерадивым «комическим авторам», поэт как бы проникает невидимкою в обеденный час внутрь различных семей, разглядывая членов их в естественном своем окружении, так сказать, «варящихся в собственном соку». Сначала это «дом, которого наружность вовсе непривлекательна. Здесь большой двор, заваленный сором и дровами; позади огород с простыми овощами, а под домом большой подъезд с перилами, как водилось у наших дедов. Войдя в дом, мы могли бы увидеть в прихожей слуг оборванных, грубых и пьяных, которые от утра до ночи играют в карты. Комнаты без обоев, стулья без подушек, на одной стене большие портреты в рост царей русских, а напротив — Юдифь, держащая окровавленную голову Олоферна над большим серебряным блюдом, и обнаженная Клеопатра с большой змиею — чудесные произведения кисти домашнего маляра. Сквозь окна мы можем видеть накрытый стол, на котором стоят щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Хозяин в тулупе, хозяйка в салопе; по правую сторону приходский поп, приходский учитель и шут, а по левую — толпа детей, старуха-колдунья, мадам и гувернер из немцев. О! это дом старого москвича, богомольного князя, который помнит страх Божий и воеводство». Читателям последующих поколений наверное представлялось, что

их ненароком занесло в гости к прототипам гоголевских героев; они бы готовы с гораздо большей снисходительностью отнестись к забавным обыкновениям, бытующим здесь, и уж во всяком случае жаждут услышать произносимые тут речи,— но автор «Прогулки...» торопится вывести их отсюда за руку почти насильно, чтобы показать обстановку совершенно иную. Она обрисована им, напротив, с беспредельным сочувствием, переходящим уже границы того, что вправе позволить себе — в отличие от дружеского письма — создатель художественного произведения; это и помогло позднейшим исследователям безошибочно угадать хозяина следующего дома — им несомненно является любезный сердцу Константина Николаевича Н. М. Карамзин: «Вот маленький деревянный дом с палисадником, с чистым двором, обсаженным сиренями, акациями и цветами. У дверей нас встречает учтивый слуга не в богатой ливрее, но в простом опрятном фраке. Мы спрашиваем хозяина: войдите! Комнаты чисты, стены расписаны искусной кистью, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. Зеркала, светильники, кресла, диваны — все прелестно и кажется отделано самим богом вкуса. Здесь и общество совершенно противно тому, которое мы видели в соседнем доме. Здесь обитает приветливость, пристойность и людскость. Хозяйка зовет нас к столу: мы сядем, где хотим, без принуждения, и, может быть, развеселенный старым вином, я скажу, только не вслух:

Налейте мне еще шампанского стакан,
Я сердцем славянин — желудком галломан!..»

Впрочем, не будь даже всей этой «трогательной» обстановки — «чистоты», «опрятного фрака», «лакированного пола» и оформленного под непосредственным руководством новоизобретенного «бога вкуса» интерьера,— одна хорошо знакомая уже «людскость» выдала бы с головой того, к кому привел нас благодарный провожатый.

Есть и портрет типа, переходного от первого ко второму; считается, что прообразом его послужил сенатор и библиофил Димитрий Петрович Бутурлин, обширное владение которого располагалось на Яузе подле Слободского дворца, а библиотека с «музеумом» сгорела в 1812 г.: «Здесь пред нами огромные палаты с высокими мраморными столбами, с большим подъездом. Этот дом открыт для всякого... Хозяин целый день зевает у камина, между тем как вокруг его все в движении, роговая музыка гремит на хорах, вся челядь в галунах, и роскошь опрокинула на стол полный рог изобилия. В этом

человеке все страсти исчезли, его сердце, его ум и душа износились и обветшали. Самое самолюбие его оставило. Он, конечно, великий философ, если совершенное равнодушие посреди образованного общества можно назвать мудростию. Он окружен ласкателями, иностранцами и шарлатанами, которых он презирает от всей души, но без них обойтиться не может... Пользуясь всеми выгодами знатного состояния, которым он обязан предкам своим, он даже не знает, в каких губерниях находятся его деревни; зато знает по пальцам все подробности двора Людовика XIV по запискам Сен-Симона, перечтет всех любовниц его и регента, одну после другой, и назовет все парижские улицы. Его дом можно назвать гостиницей праздности, шума и новостей, посреди которых хозяин осужден на вечную скуку и вечное бездействие. Вот следствие роскоши и праздности в сей обширнейшей из столиц, в сем малом мире!»

И, наконец, общее заключение, в первой своей части поэтически-выразительное, объемное посредством сопряжения полярных черт, хотя и не слишком неожиданное для внимательного читателя — однако последнее предложение о своеобразии исторического предназначения Москвы удивляет проницательностью, близкой к откровению: «Я думаю, что ни один город не имеет ниже́ малейшего сходства с Москвою. Она являет редкие противуположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность неимоверная, как враждебные стихии, в вечном несогласии, и составляют сие чудное, безобразное, исполинское *целое*, которое мы знаем под общим именем: *Москва*... Москва есть большой провинциальный город, единственный, несравненный: ибо что значит имя столицы без двора? Москва идет сама собою к образованию, ибо на нее почти никакие обстоятельства влияния не имеют».

— Заканчивать описание в отдалении от самого предмета его на Невских берегах помогали автору, вероятно, частые встречи с переселившимися сюда бывшими москвичами — И. И. Дмитриевым, Д. В. Дашковым, Д. Н. Блудовым, Д. П. Севериным и другими. Кто бы они ни были по положению в свете — чиновники, дипломаты или даже министры,— почти все отдали дань литературным занятиям, и Батюшков, как считает его биограф Л. Н. Майков, «в их обществе как бы продолжал нить той московской жизни, период которой называл самым счастливым своим временем».

«Прости до будущей прогулки»,— гласят последние слова

очерка. Но и исключительного «чувства будущего», которым обладает поэт, не достало для того, чтобы предвидеть — каким окажется для него следующее посещение белокаменной... Едва это произведение было завершено, как разразилась давно нависавшая над горизонтом война с Наполеоном. Пользуясь счастливым выражением того же Л. Н. Майкова, «исторический Двенадцатый год наступал во всеоружии ужаса и славы, и помыслы русских людей обращались к грозным событиям, которые развертывала пред нами рука судьбы».

С открытием военных действий Константин Николаевич строит планы оставить архивную работу и присоединиться к войскам. «Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию,— пишет он в июле Вяземскому.— Теперь стыдно сидеть сиднем над книгою; мне же не приучаться к войне. Да кажется, и долг велит защищать отечество и государя нам, молодым людям...» Узнав, что Вяземский уже вступил в военную службу, он в следующем письме радуется: «Ты поручик! Чем чорт не шутит! И я тебе завидую, мой друг». Здесь же он сообщает о второй, более важной причине своего «бездействия», вызванного в основном «недостатком в военных запасах, то-есть, в деньгах, которых... вдруг не найдешь, а мне надобно было тысячи три или более. Иначе я бы не задумался».

В начале августа возникает третье и самое трудное препятствие, вызывающее новую поездку в Москву, к которой все приближались враги, и одновременно выключившее Батюшкова совершенно из участия в кампании 1812 г. «Я должен буду ехать.., но там долее месяца не останусь,— пишет он сестре в Вологду.— Катерина Федоровна ожидает меня в Москве больная, без защиты, без друзей: как ее оставить? Вот единственный случай ей быть полезным!» В тот же день он сообщает об этом намерении и в письме к Д. В. Дашко́ву, предполагая вновь встретиться с ним среди московского «Парнасса», причем «от всей души поздравляет» С. Н. Глинку, слух о получении которым Владимирского креста во время посещения первопрестольной Александром I — «за любовь к отечеству, сочинениями и деяниями доказанную», как было сказано в рескрипте об этом,— достиг уже Петербурга. Такое поздравление знаменательно для истории его мировоззрения, ибо ранее Батюшков неоднократно нападал на Сергея Николаевича за те проявления патриотизма, какие казались ему тогда преувеличенными и неуместными. Бодрый тон письма свидетельствует и о том, что в Петербурге еще не узнали или, узнав, не оценили значение пророческих слов, сказанных в те дни Глинкой в порыве воодушевления на приеме в Слободс-

ком дворце. «Мы не должны ужасаться; Москва будет сдана! — неожиданно для него самого вырвалось в тот час у издателя „Русского Вестника“; но тут же именно благодаря этой жертвенной гибели он предрек победу.— Сдача Москвы будет спасением России и Европы».

...Константин Николаевич выхлопотал «кратковременный» отпуск из библиотеки, коему суждено было продолжиться более полугода, и отправился в путь вместе с двоюродным братом М. Н. Муравьева Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, писателем и государственным деятелем, отцом трех будущих декабристов. Екатерина Федоровна продала к тому времени свой дом и жила на даче — в связи с чем поэту приходится останавливаться у другого родственника, П. П. Ижорина, «возле Донского монастыря», куда он советует адресоваться сестре.

Батюшков прибыл в город незадолго до 26 августа, дня Бородинской битвы, и не застал здесь уже многих друзей, находившихся, как Вяземский и Жуковский, при войсках. Тем не менее переписка с ними не только не прекращалась, но сделалась более напряженной, драматической. «Я приехал несколько часов после твоего отъезда в армию,— сообщает он Вяземскому.— Представь себе мое огорчение... Сию минуту я поскакал бы... и умер с тобою под знаменами отечества, если б Муравьева не имела во мне нужды. В нынешних обстоятельствах я ее оставить не могу: поверь, мне легче спать на биваках, нежели тащиться во Владимир (через который следовали в Нижний Новгород покидавшие Москву жители.— *П. П.*) на протяжных. Из Володимира я прилечу в армию, если будет возможность».

Здесь же он получил послание от ближайшего своего приятеля И. А. Петина, отправленное прямо с Бородинского поля накануне сражения. «Мы находились в неизъяснимом страхе в Москве, и я удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту»,— вспоминал впоследствии поэт.

Весть об исходе боя и неминуемом оставлении города заставила Константина Николаевича двинуться с опекаемым им семейством тетки на восток; а на пути, во Владимире, он встретил тяжко раненного при Бородине Петина и, по собственным словам, «с завистью смотрел на его почтенную рану». Беглецы достигли места своего временного упокоения на волжских берегах неделю с лишним спустя после того, как противник вступил в обезлюдевшую столицу...

Завоевание это пришельцы отнюдь не считали просто паде-

нием очередного покоренного города. Наоборот, с обостренным до чрезвычайности чувством величия происходящего они воспринимали его глубоко символически, в качестве своего рода завершающего затеянное ими предприятие действа («театр военных действий» ведь тоже театр в своем роде...), знаменующего поворот в судьбах человечества. Недаром захват начался также с обозрения великолепной картины беззащитной полоненной Москвы, и впечатление, произведенное ею на очевидцев, невольно напоминает описания М. Н. Муравьева и Батюшкова (тем более, что и точка зрения была выбрана почти та же, всего в нескольких верстах на северо-запад от Воробьевых гор, на возвышенности, именуемой Поклонной горою) — но только для них все представлялось отсюда в миражном зеркальном отражении, взятое с обратным знаком. Раньше тут кланялись на «сорок сороков» при входе и прощании с «матушкой-Москвою» путешественники, приходившие с четырех сторон света,— а теперь сама она должна была преклонить главу перед завоевателями полумира.

Весьма показательно в этом отношении свидетельство наполеоновского генерала графа Ф.-П. де Сегюра, отец которого в былые годы состоял французским королевским послом при дворе Екатерины II, а потом переметнулся к «корсиканцу», сделавшись церемониймейстером его двора. Сегюр-младший увидал Москву второго сентября «около двух часов пополудни. Тысячами различных цветов блистал огромный город. При сем зрелище войсками овладела радость; они остановились и закричали: Москва! Москва! Затем всякий усиливал шаг, все смешались в беспорядке, били рука об руку, с восторгом повторяя: Москва! Москва! Так кричат моряки: земля, земля! после долгого и мучительного плавания. При виде этого позлащенного города, этого сияющего узла, связывающего Европу и Азию, этого величественного средоточия, где встречались роскошь, нравы и искусства двух лучших частей света, мы остановились в гордом созерцании. Настал наконец день славы; в наших воспоминаниях он должен был сделаться блестящим, лучшим днем всей жизни. Мы чувствовали, что в это время удивленные взоры всего света обращены на наши действия, и каждое малейшее наше движение будет иметь значение в истории... Можно ли купить слишком дорогою ценою счастие во всю жизнь повторять: и я был в войсках, вступивших в Москву?»

На следующий день, третьего сентября, Дорогомиловской слободой проехал в город Наполеон; перевалив через мост, направился по Арбату и сквозь Боровицкие ворота проник в

Кремль. Но его незаметно выпередил другой, нисколько не трепетавший перед всесильным, как казалось тогда, человеком грозный гость — пожар, начавшийся тотчас по оставлении столицы русскими войсками. А на третью ночь как будто вся разъярившаяся природа обрушилась на незваных гостей: налетел длившийся целые сутки страшный ветер, как чума, заражавший все кругом поголовно огнем, который и выкурил вскоре Наполеона вон из кремлевских стен.

Неделю, проведенную Батюшковым с лишенными крова друзьями по несчастью на пути в Нижний, пылал город. Тщетно по приказу французского императора выискивали среди немногих оставшихся москвичей «поджигателей» и вешали их за горло на фонарях и деревьях любимого батюшковского Тверского бульвара, тщетно расстреливали напротив него, у стен Страстного монастыря, подозрительных бородачей,— до трех четвертей зданий и магазинов было уничтожено. А вместе с тем пропадала и надежда «Великой армии» перезимовать победительницей в белокаменном граде: в час, когда она вкушала высочайшее упоение гордостью, песочные часы судьбы перевернулись незаметно с головы на ноги и начали отсчет срока неминуемого падения бонапартовской лже-империи. Через несколько десятков лет французский историк образно скажет об этом так: «В зареве Московского пожара уже виднелась св. Елена».

Как ни старались фуражиры, сколь ни уповали на дополнительное «самоснабжение» маршалы, внося упорядоченность в разбойное мародерство — каждому полку отводился свой день для повального грабежа «по плану»,— сохранить зимой сотни тысяч человек и десятки тысяч лошадей на пустом погорелом месте посреди чужой страны в дальнем далеке от собственной родины было все-таки невозможно. Напрасно нарочно посланные чиновники разыскивали в грудах доставшихся как трофеи дел бумаги о пугачевском восстании, всуе мечтал бывший республиканский генерал, а ныне своей руки милостью монарх «воспользоваться» его опытом и «поджечь» народ против армии — народная война на деле разгоралась вокруг сожженного города и даже в нем самом как раз против иноземного пришлеца и его двенадцатиязыкой орды...

Сведения о происходившем в доставшейся противнику Москве, долетая до различных уголков страны, вызывали живейшее сочувствие. 16 октября еще не знавший о выходе из нее французов Вяземский, вынужденный отправиться вслед за беременной первым ребенком молодой женой в Вологду,

пишет оттуда А. И. Тургеневу: «Давно ли беседовали мы с тобою на Кисловке, глазели на красоту, богатство и пышность в стенах Благородного Собрания, ездили на Басманную (к В. Л. Пушкину, ныне ул. Карла Маркса.— *П. П.)* наслаждаться сладостным удовольствием быть с умным и добрым человеком? Давно ли мечтали мы о славе, об успехах?.. О Москве и говорить нечего. Сердце кровью обливается, и клянусь тебе честью, что я еще не привыкаю к этой мысли. Каждое утро мне кажется, что я впервой еще узнаю об горестной ее участи».

С другого края государства, из Нижнего Новгорода, где обосновалось большинство беженцев, несколько ранее тому же Вяземскому сообщает Батюшков: «Я не пишу о подробностях взятия Москвы варварами: слухи не все верны, да и к чему растравлять ужасные раны?»

Надолго осталось в памяти нижегородцев это пребывание лишенной почвы столицы в стенах их гостеприимного города. Здесь собрался цвет московского общества, оторванный рукою бедствий от корня, за исключением лишь тех, кто воевал в действующей армии. Приехал целый «триумвират» историков: Н. М. Карамзин; 75-летний Н. Н. Бантыш-Каменский, начальник Московского Архива Коллегии иностранных дел, сопровождавший в своем экипаже архивный обоз всю дорогу до Нижнего, и А. Ф. Малиновский, начавший тут писать свои «Биографические известия о Князе Пожарском». Быть может, именно благодаря им борьба с Наполеоном все явственнее воспринималась в историософском контексте, в масштабе тысячелетия существования России, внутри которого перекликались между собою века. За год перед началом кампании Карамзин окончил в своей «Истории Государства Российского» описание нашествия Мамая, а оказавшись на берегах Волги, принялся собирать материалы об освобождении страны Пожарским и Мининым, происшедшем ровно за два столетия до 1812 г. Ходили разговоры, что в Нижнем вновь будет составлено ополчение, которое пойдет на Москву путем Пожарского, а Карамзин отправится с ним как его летописец.

Мало того, носился даже слух, будто после пожара Москвы Нижний Новгород будет призван заменить необходимую государству вторую, срединную его столицу. И действительно, по воспоминаниям свидетелей, порою вечера здесь напоминали счастливые «допожарные» времена в первопрестольной. Множество понаехавших известных деятелей и писателей только способствовало укреплению этой иллюзии.

Среди них сюда вскоре прибыл и записавшийся когда-то первым ратником в московское ополчение С. Н. Глинка, потерявший свое семейство и в поисках его появившийся в Нижнем в одной одежде, с пустыми руками и без денег. Встретив его, Батюшков принес лично извинения за прежние свои шутки над статьями его «Русского Вестника», а затем, от лица «неизвестного», доставил Глинке в подарок запас белья.

Фантасмагорическая, жутковатая жизнь московского населения без Москвы в чем-то существенно напоминала ситуацию известного покаянного песнопения «На реках Вавилонских», за тем разве исключением, что постигшее наказание было не таким тяжким, как в древности,— окружение оставалось все-таки не враждебным, русским. Одна из наиболее выразительных картин этого полубытия содержится в письмах Батюшкова к родным и друзьям. «Здесь я нашел всю Москву,— пишет он, например, Вяземскому.— Карамзина, которая тебя любит и любит и уважает княгиню, жалеет, что ты не здесь. Муж ее поехал на время в Арзамас. Алексей Михайлович Пушкин (четвероюродный брат Василия Львовича, неизменно подтрунивавший над его стихами, вольтерьянец и сам отчасти поэт, муж покровительствовавшей Константину Николаевичу Елены Григорьевны; С. Н. Глинка называл его «первый хват на Москве». — *П. П.)* плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и на силу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили! У Архаровых собирается вся Москва или, лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться физиономиям и терпению (упоминающийся здесь Иван Петрович Архаров, бывший московский военный губернатор, был по выражению самого Вяземского „последний бургграф московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвою в 1812 году“.— *П. П.*). Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят Французов по-французски, и патриотизм заключается в словах: point de paix![1] Истинно много, слишком много зла под луною; я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание. Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже само-

[1] Никакого мира! *(фр.).*

го зла: потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все как в чаду. Как бы то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно Провидению!»

Гнедичу он в октябре сообщает: «Мы живем теперь в трех комнатах, мы — то-есть, Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич (Муравьев-Апостол, с кем Батюшков проехал из Петербурга в Москву, а затем из Москвы в Нижний.— *П. П.*), П. М. Дружинин, Англичанин Евенс, которого мы спасли от Французов, две иностранки, я грешный, да шесть собак. Нет угла, где бы можно было поворотиться, а ты знаешь, мой друг, как я люблю быть один сам с собою. Нет, я никогда так грустен и скучен не бывал! Чего мне недостает? Не знаю. Меня любят не только люди, с которыми живу, но даже и Москвичи. Здесь Карамзин, Пушкины, здесь Архаровы, Апраксины, одним словом — вся Москва; но здесь для меня душевного спокойствия нет и, конечно, не будет. Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся как нарочно перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я на силу мог собраться с мыслями и часто спрашиваю себя: где я? что я? Не думай, любезный друг, чтобы я по-старому предался моему воображению, нет, я вижу, рассуждаю и страдаю.

От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки Вандалов или Французов в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством...

Еслиб было время и охота, я описал бы тебе наш город, чудный и прелестный по своему положению, чудный по вмещению Москвы. Здесь все необыкновенно. Это обломок огромной столицы. При имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокаменной Москвы, сердце мое трепещет, и тысяча воспоминаний, одно другого горестнее, волнуются в моей голове. Мщения, мщения! Варвары, Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны! Хорошо и они нам за-

платили! Можно умереть с досады при одном рассказе о их неистовых поступках...»

Тогда же он отправляет и одно из немногих сохранившихся писем отцу, жившему отдельно со своей второй семьей. «Город мал и весь наводнен Москвою,— говорится в нем.— Но мы, любезный батюшка, как граждане и как люди, верующие в Бога, надежды не должны терять. Зла много, потеря частных людей несчетна, целые семейства разорены, но все еще не потеряно: у нас есть миллионы людей и железо. Никто не желает мира. Все желают войны, истребления врагов...»

А два года спустя, в бытность свою победителем в Париже, Батюшков среди развлечений и соблазнов покоренной «столицы мира» вдруг с неожиданной грустью помянет житье-бытье нижегородское в письме к Елене Григорьевне Пушкиной: «Признаюсь вам, часто, очень часто, возвратясь в мою комнату, я... все забываю и мысленно переношусь в Нижний, то на площадь, где между телег и колясок толпились московские франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотический обед у Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышали любовью к отечеству, то на ужины Крюкова, где Василий Львович, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о *Наполеоне, гордящемся на стенах древнего Кремля* (неточная цитата из стихотворного послания В. Л. Пушкина «К жителям Нижнего Новгорода».— *П. П.*), отпускал каламбуры, достойные лучших времен Французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности, то на балы и маскерады, где наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилях французских, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как, и проклинали врагов наших. Вот времена, признаюсь вам, о которых я вспоминаю с большим удовольствием. Прибавьте к этому Алексея Михайловича, который с утра самого искал кого-нибудь, чтоб поспорить, и доказывал, с удивительным красноречием, что белое — черное, черное — белое, который вздохнуть не давал Василью Львовичу и теснил его неотразимой логикой,— и вы будете иметь понятие об удовольствии, которое я нахожу, переносясь мысленно в стены Нижнего. Таких чудесных обстоятельств два раза в жизни не бывает. Довольно и одного, чтоб на века остаться в памяти».

Батюшков почти всегда, а в Москве и теперь вот в Нижнем в особенности, был буквально окружен приятелями из рода Пушкиных — что́ несколько лет позже даже вызвало у не-

го шутливое стихотворное послание «Запрос Арзамасу», начинающееся строкой: «Три Пушкина в Москве, и все они — поэты». Достойно внимания, впрочем, что среди трех этих Пушкиных не назван четвертый и главный, Александр Сергеевич (в марте 1817 г., когда был послан «Запрос», «маленький Пушкин» еще не покинул стен царскосельского лицея),— но и с ним впоследствии у Константина Николаевича также сложились дружеские отношения. Все же остальные хотя и состояли в «авторах», принадлежали более к числу достопримечательных москвичей, нежели к подлинным корифеям словесности.

Из них в год нижегородского «сидения» в особенности выделялись неоднократно уже упомянутые выше Александр Михайлович и Василий Львович. Последний был поколением старше Батюшкова и его друзей, но сумел войти в их круг на равных правах товарища. Недолго прослужив в свое время в гвардии, Василий Львович еще в конце XVIII века вышел в отставку и поселился в Москве, где женился на известной красавице и вскоре же развелся. Потом он занимался разнообразными литературными штудиями, долгое время путешествовал по Европе, имел даже получасовую аудиенцию у Наполеона, тогда первого консула республики, и вывез на родину замечательную библиотеку. Теперь выросший в императора консул наведался, так сказать, с ответным визитом в наши палестины, причем весь дом галломана Василия Львовича вместе с библиотекой, словно в назидание, сгорел. Язвительный Вигель рисует следующий портрет этого любопытного парнассца-москвича: «Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником... а более всего редеющие волосы, не с большим в тридцать лет, его старообразили. К тому же беззубие увлажнивало разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некотором от него отдалении. Вообще дурнота его не имела ничего отвратительного, а была только забавна».

Собственное впечатление В. Л. Пушкина о жизни в эту зиму рядом с Батюшковым передано в его письме к их общему приятелю князю Вяземскому: «Ты спрашиваешь, что я делаю в Нижнем Новгороде? Совсем ничего. Живу в избе, хожу по морозу без шубы, и денег нет ни гроша. Александр Михайлович, однофамилец мой, кричит громче и курит табак более прежнего. Он с утра до вечера играет в карты и выиграл уже тысяч до восьми. Я довольно часто бываю здесь у Бибиковых и у Архаровых. Кокошкин пишет из Ярославля, что он переводит Федру...»— и т. д. При сем Василий

Львович препровождает корреспонденту свое обращенное к коренным нижегородцам стихотворение, не отличающееся, однако, особыми поэтическими достоинствами: рефрен его настойчиво увещевает принять как можно радушнее гонимых несчастием москвичей, меча попутно громы на насильников-французов; соединение вышло не довольно удачным, что метко выразил И. И. Дмитриев, по воспоминаниям того же Вяземского, сказавший, что «стихи эти напоминают ему колодника, который просит под окном милостыню и оборачивается с ругательством к уличным мальчишкам, которые дразнят его».

Но наибольший интерес для нас в этом письме представляет небольшая новость, сообщаемая в конце: «Знаешь ли ты, что Батюшков входит в военную службу и будет адъютантом у Алексея Ник. Бахметева?..»— Действительно, мечта Константина Николаевича начала как будто сбываться: приехавший на излечение в Нижний генерал Бахметев — один из известнейших александровских военачальников, который был записан в «царскую службу» с четырех лет, участвовал в боях с шестнадцати и потерял при Бородине ногу,— согласился принять жаждавшего взять в руки оружие поэта под свою команду. Оставалось как будто только выхлопотать отставку из библиотеки и подождать выздоровления начальника; на самом же деле не хватало еще одного, последнего потрясения — но и оно не заставило себя долго ждать.

...Из негодующе-иронических отзывов, содержащихся в батюшковских письмах, уже в достаточной степени выясняется: дворянство не восприняло со всей серьезностью урок, данный неожиданной гибелью древней столицы, не до конца осознало размеров своей личной вины как одной из главных вызвавших эту трагедию причин. Ради справедливости стоит отметить, что не было недостатка и в выступлениях против нездорового направления в отечественной культуре и образовании. Одним из наиболее выдающихся памятников общественной мысли, посвященных исследованию корней происшедшего, являются напечатанные И. М. Муравьевым-Апостолом (без подписи) в журнале «Сын Отечества» за 1813—1815 гг. «Письма из Москвы в Нижний Новгород», материал для которых автор получил еще во время своих посещений обоих городов в 1812 г. Как мы помним, он был также спутником и собеседником Батюшкова, и тот — судя по тому, что образы «Писем» использованы в стихотворном послании «К Дашкову»,— вероятно, знакомился с этим произведением еще в рукописи. «Дети ваши, вместо того,

чтобы изъясниться на своем природном языке, предпочитают болтать по Русильонски и Бог знает как, да где же? на развалинах Москвы!» — восклицает автор в первом из писем, негодуя против повального «франкобесия», от коего даже пожар Москвы не всем послужил достаточным противоядием. Его, долгие годы прожившего на Западе и прекрасно знакомого с древней и новой словесностью европейских народов, оскорбляет подобное унижение своей национальности: «Враги наши и рода человеческого пришли к нам, ограбили олтари, убили наших братий, смешали кровь их с пеплом сожженных наших жилищ, а мы — на этом самом пепле, еще не остылом, платим им дань уважения, говоря их языком. О!»

Наклонность отрицать основы своей народной культуры и нравственности не была прихотью скучающих «граждан вселенной», интеллектуальным поветрием и вообще случайностью — о чем говорит хотя бы ее необычайная, несмотря на все события, стойкость. Яркое подтверждение этому можно обнаружить даже у открытых противников, например, у такого известного «клеветника России», каков был маркиз Астольф де Кюстин; и то, что это признание вынужден сделать даже заведомый неприятель, есть лучшее свидетельство обоснованности беспокойства лучшей части русского общества — презрение к патриотизму действительно заботливо подготавливалось и пестовалось с далеко идущими целями. «Перманентный заговор против России ведет свое начало от эпохи Наполеона,— указывал сей осведомленный „путешественник“ четверть века спустя.— Прозорливый итальянец видел опасность, грозящую... со стороны растущей мощи русского колосса и, желая ослабить страшного врага, он прибегнул к силе идей. Воспользовавшись своей дружбой с императором Александром и врожденной склонностью последнего к либеральным установлениям, он послал в Петербург, под предлогом желания помочь осуществлению планов молодого монарха, целую плеяду политических работников — нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть в первую очередь народным образованием и заронить в умы молодежи идеи, противные политическому символу веры страны (один из разительных примеров подобного рода совращения юношества — дело купеческого сына Верещагина, распространявшего по Москве после объявления войны переведенную мартинистами наполеоновскую листовку; оно предвзято освещено Львом Толстым в „Войне и мире“, но,

к счастью, сохранились подлинные документы, рисующие совсем иную картину, которая еще ждет своего исследователя,— общие же причины истолкования его Толстым в согласии с масонской версией убедительно показаны в интереснейшей статье В. Никитина, опубликованной в 12-м номере альманаха «Прометей».—*П. П.*). Таким образом великий полководец... и враг свободы всего мира издалека посеял в России семена раздора и сомнений, ибо единство этого государства казалось ему опасным... Россия пожинает теперь плоды глубоких политических замыслов противника, которого она как будто сокрушила».

И. М. Муравьев-Апостол, однако, вовсе не считал положение безнадежным, представляя именно судьбу Москвы как путеводительную звезду, указывающую спасительный выход: «Москва, по мнению моему, в виде опустошения, в котором она теперь является, должна быть еще драгоценнее Русскому сердцу, нежели как она была во время самого цветущего ее положения. В ней мы должны видеть величественную жертву спасения нашего и, если смею сказать, жертву очистительную. Закланная на олтаре Отечества, она истлела вся; остались одне кости, и кости сии громко гласят: „Народ Российский, народ доблестный, не унывай!..“»

Тем временем близился последний, завершающий акт драмы захваченной в плен столицы — о котором еще современник сказал: «Перо обливается кровью всякий раз, когда примешься описывать сии бедствия».

7 октября в 25-м «Бюллетене Великой армии» Наполеон, покинувший город с основными силами, заявил: «Москва не имеет военного значения и потеряла уже политическое, потому что сожжена и разорена на сто лет». А задержавшийся гарнизон во главе с маршалом Мортье спешно подготавливал самое страшное преступление — уничтожение Кремля.

Слухи об этом распространились из почти что вымершей столицы и скоро достигли вплотную подошедшего к ней авангарда русской армии. При этом произошел следующий замечательный случай: кн. А. А. Шаховской, в мирные годы литературный противник Батюшкова и член державинско-шишковской «Беседы», а ныне командир передового отряда Тверского ополчения, прознав о грядущем злодеянии, бросился к своему командующему корпусом бар. Винценгероде. С красноречием, возбужденным тревогой за судьбу величайшего памятника отечественной славы, он убеждал генерала принять все меры к тому, чтобы остановить бессмыс-

ленное и чудовищное для всякого русского разрушение. «Взрыв,— заявил он ему,— поразит отчаянием всю Россию, привыкшую почитать святыню Кремля своим палладиумом». Доводы Шаховского произвели на немецкого барона столь потрясающее впечатление, что на следующее же утро он вместе с адъютантом полковником Нарышкиным отправился к французам для переговоров, забыв даже в спешке трубача, и оттого оказался принужденным изготовить из первого попавшегося куска белой материи импровизированный мирный флаг. Но едва они достигли сторожевого поста за Тверским бульваром — вновь су́дьбы, на сей раз военные, двух описанных Батюшковым средоточий старой и новой Москвы оказались накрепко связанными,— как были остановлены и препровождены к Мортье, который в нарушение всех законов войны заключил парламентеров под арест. Винценгероде, кого Наполеон лично ненавидел и считал своим изменившим подданным, грозила смертная казнь, которой он лишь чудом избежал; но захваченных в плен офицеров сумел освободить с бою казачий разъезд только много после, под Минском,— а кн. Шаховской оказался первым, кто вошел на разоренный кремлевский холм и занялся неотложными заботами по восстановлению поврежденных зданий и нарушенного благолепия.

...Взрыв Кремля в ночь на 11 октября сделался происшествием поистине космического порядка. За спасение его словно взялось само небо: после первых же ударов, поразивших Филаретовскую пристройку к Ивану Великому, Арсенал, Арсенальную, Водовзводную и Никольскую башни, а также стену от Спасских ворот вплоть до реки,— хлынул могучий ливень, потушивший фитили и быстро сделавший сырым подложенный всюду порох. Под одними только соборами его было заготовлено более 60 бочек — но они так и не произвели своего смертоносного действия. Вслед за тем оскорбленная природа опустила на голову чужеземцев свой самый остросекущий для них в наших широтах меч: температура резко понизилась почти до 29° ниже нуля, в начале осени наступил подлинный крещенский мороз — он-то и довершил погибель пришлого воинства.

Событие это воспринималось современниками в отчетливо апокалиптических тонах. Вот как передает произведенное им впечатление наблюдатель, следивший за происходящим с луга близ церкви Георгия в Грузинах, в районе нынешней Грузинской площади, то есть верстах в четырех от центра города — много лет спустя судьба приведет Батюшкова как раз сюда и

он, уже душевнобольной, проживет в небольшом домике на этой площади около пяти лет. «А как Кремль-то взорвало,— рассказывает свидетель,— мы чуть не перемерли от страху, думали — света преставление...» Первый и самый сильный взрыв раздался посреди ночи. Земля заколебалась, дрогнули все здания. Даже на значительном расстоянии полопались стекла, разошлись стены, рушились потолки. Людей повыбрасывало с постелей. Полураздетые, израненные осколками стекла и железа, они кинулись вон из-под крыш на площадь. При свете пылающего Кремля под сильным холодным дождем бродили, боясь заходить обратно, в ожидании новых толчков. Один за другим действительно донеслись небольшие разрывы. Потом наступила мертвая тишина, пожар погас, опустился мрак, но горожане так всю ночь и проблуждали по улицам...

Настало долгожданное утро. «Через темь и дым мы напрягали зрение к Кремлю,— продолжает этот очевидец.— От нас с луга был виден (прежде.—*П. П.*) Иван Великий, но (сейчас.— *П. П.*) ничего нельзя было рассмотреть. Стало светать, но Кремль еще не показывался... Наконец взошло солнышко, а вскоре показалась и золотая глава Ивана Великого. Он стоял по-прежнему богатырем, к нашей радости...»

Иван Великий не рухнул, выдержал, являя собою как бы одетый камнем вещественный знак произошедшего в ходе войны духовного перелома; нанесенный же Москве ущерб воспринимался Батюшковым вместе с большинством русских людей не только как личное оскорбление, но и одновременно как завет впредь опасливей охранять отеческое наследие. Трижды в ближайшие месяцы проезжал Константин Николаевич через разоренный город — и впечатление от него сделалось поистине последней каплей, переполнившей чашу ярости и поэтического молчания. «Оставя Нижний с сокрушенным сердцем, с слезами на глазах, я приехал в Москву не ранее как две недели спустя,— сообщает он Елене Григорьевне Пушкиной уже из Петербурга, где дожидается приезда „своего“ генерала.— В Москве я пробыл три дня, не более, и раза три покушался вам писать, но не мог собраться с духом. У меня перед глазами были развалины, а в сердце новое, неизъяснимое чувство...» Ради торжественности произносимого, Батюшков переходит далее на возвышенный славянский язык; в начале письма он уже употребил созданный этой поэтикой величественный образ «сокрушенного сердца»— и теперь, слегка изменяя подлинник, заканчивает стихом из плача «На реках Вавилонских»: «Всякий день сожалею о Нижнем, а более всего о Москве, о прелестной Москве: да прилипнет язык

мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду!..»

Вскоре же он поздравляет Вяземского с возвращением из нижегородских пределов домой: «Радуюсь сердечно, что ты оставил берега Волги и переселился на старое пепелище, по истине пепелище! На берегах Москвы-реки нельзя быть совершенно счастливым, но можно найти более пищи и для ума, и для сердца, особливо в обществе почтенного семейства Карамзиных, которых судьба привела снова в Москву, и после каких потерь!»

Отношение к древней столице Руси, владевшее им до пожара и нашедшее отражение в «Прогулке...», уже не может возобновиться — вероятно, потому-то почти законченный очерк так никогда и не был напечатан при жизни автора. Теперь время для совсем иных чувств и слов — Батюшков пишет знаменитое послание «К Дашкову» и почти тотчас «выдает» его читателям; будто сознавая подлинную принадлежность стихотворения эпохе 1812 г., вышедший в следующем году журнал, где оно было помещено, помечен в нарушение хронологии именно этой датой. В послании собрались воедино — подобно тому, как русские дороги сходятся в Москве,— впечатления и мысли, вызванные разнообразными преломлениями и оттенками московской темы, услышанное, увиденное и передуманное за три с небольшим года, которые вместили в себя жизнь, смерть и воскресение столицы. Все это, словно кровеносные сосуды к сердцу, принесло ток свой к стиху, и он ожил, сделавшись органом батюшковской поэзии подлинно средоточным:

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,[1]
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,

---

[1] Против этой фразы А. С. Пушкин в своем экземпляре «Опытов в стихах и прозе К. Батюшкова», где было переиздано послание, написал: «прекрасное повторение».

Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священный
Слезами скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали[1]
Останки иноков святых
И мимо веки протекали
Святыни не касаясь их;
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады,—
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!..

Широкое использование «славянщизны», против коей Батюшков часто (порою даже — слишком часто) выступал в литературных спорах, отнюдь не является неожиданным. Здесь как раз сказался дар творчески чувствовать и гармонически воплощать пережитое настроение, который и сделал его настоящим поэтом. Война 1812 года воспринималась всем народом действительно как война с в я щ е н н а я, и средства выражения, выбранные Батюшковым для воссоздания этого ощущения, были единственно верными.

«Огонь, меч и нашествие иноплеменных» поразили сознание русских людей того времени тем острее, что нога неприятеля впервые ступила на нашу землю после векового пере-

---

[1] Данная и три следующих строки отчеркнуты Пушкиным (там же), и на полях выставлено: «прелесть».

рыва: последний раз иноземцы топтали ее лишь при Петре I. Символическими событиями были отмечены все главные вехи войны: Бородинская битва произошла в день праздника Владимирской иконы Богоматери, почитавшейся покровительницей Московской Руси; 40 дней, ровно с Великий Пост, поверженная в прах столица находилась в руках врага. На Рождество того же 1812 г. он был окончательно изгнан из отечества, а день вступления в Париж — 19 марта 1814 г.— совпал с Пасхой, причем по православному, а не западному календарю.

Прославился тогда и бравый ответ русского солдата, который на увещание командира проявить храбрость сказал: «Что нас уговаривать!.. Стоит на матушку-Москву оглянуться, так на чорта полезешь!» Такое уподобление не было обмолвкой, и не только потому, что слово «Наполеон» легко сокращалось (а у стихотворцев сверх меры и рифмовалось) на «он»— эвфемистическое обозначение в просторечии и врага-человека (нашедшее отражение в толстовской эпопее), и самого врага рода человеческого — чему соответствуют, например, гадания Пьера Безухова относительно совпадения численного значения букв имени Наполеона с цифрой-криптограммой апокалиптического «Зверя». Такого же рода подсчетами, кстати, занимался и вполне реальный Державин, что осталось не без следа в народной литературе — об этом свидетельствует, например, упоминавшаяся уже выше в первой статье этой части книги любопытная рукопись, хранящаяся ныне в Гос. Публичной библиотеке в Ленинграде, в которой доводы Державина отмечены безымянным сочинителем на полях как подтверждение собственных выкладок и соображений на ту же тему.

Но главное, что заставляло относиться к происходящему в подобном ключе, был сам характер поведения наполеоновских войск в Москве, который отчетливо воспринимался как откровенное и намеренное святотатство. Тот же Державин в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества» (в примечаниях к которому и помещено указание на тожественность числа «666» с Наполеоновым именем) изображал картины московского разорения как раз с этой самой точки зрения:

Тогда средь бурных, мрачных туч
Неистовой своей гордыни,
И домы благостыни
Смердя своими надписьми,
А алтари коньми,

Он поругал.— Тут все в нем чувства закричали,
Огнями надписи вспылали,
Изслали храмы стон —
И обезумел он...
Встревоженный, взъяренный, бледный,
Он с треском в воздух мещет стены,
С кремлевского их рвав холма;
С чела его в мрак искр косма,
Сквозь дыма сыплясь, как комета,
Окровавляла твердь полсвета.
Бежит — и несколько полков,
Летящих воздуха волнами,
Он видит теней пред очами
Святых и наших праотцов,
Которы в звездном чел убранстве,
Безмерной высоты в пространстве,
Как воющей погоды стон,
«Наполеон! Наполеон!»
Лиют в слух жалобы: «из злости
Ты наши двигал прах и кости!»

Вот всего лишь несколько образцов нарочитого, «знакового», как сказал бы современный исследователь, поругания национальных святынь. В главном, Успенском соборе Кремля были устроены конские стойла, а посреди сооружен горн для изготовления слитков из содранных драгоценных окладов, причем на одном из столпов по уходе французов обнаружили деловую калькуляцию: оказывается, всего здесь было переплавлено 325 пудов серебра и 18 — золота. В том самом Архангельском соборе, о котором с глубоким почтением писал в своем очерке Батюшков, на царских гробницах расставлены были награбленные в городе бочки с вином — в таком количестве, что при отступлении пришлось большинство их разбить, вытекшее содержимое затопило пол на несколько вершков, и еще несколько лет его запах изнутри не выветривался. Образá употреблялись вместо дверей, лавок, кроватей; в алтаре угнездилась кухня Наполеона, и там же спала кухарка-француженка, щеголявшая в нарядах, пошитых из риз. С Ивана Великого в порыве жадности сдернули крест (думали — цельнозолотой), упавший со страшным грохотом, который слышался далеко в Замоскворечье.

Во всей полумиллионной «Великой армии» не состояло ни единого «падре», «кюре» или «ксендза»— зато нечестивцев набралось хоть отбавляй: у Красных ворот даже нагородили особую мишень для стрельбы в цель, составленную исключительно из икон. Наступавшие холода заставили неприятельских солдат нарядиться кто во что горазд, и толпы их тогда, одетые в женские салопы, вывороченные наизнанку

шубы и т. д., как нарочно, ближайшим образом стали напоминать изображенных на тех же иконах бесов...

Но — «не оживет, аще не умрет», гласит древняя мудрость. Москва все-таки восстала обновленная, однако прошлое не было забыто: по сторонам воздвигнутого над Москвою-рекой храма-памятника, посвященного Рождеству Спасителя, поместили фризы с композициями на темы тех праздников, с которыми совпали основные победы Отечественной войны. И, словно подгадав срок, в ту же пору при возвращении останков Наполеона с острова Св. Елены в парижский Дом инвалидов во Франции была сочинена и распечатана об этом иллюстрированная книга с совершенно недвусмысленным для традиционного мировоззрения изображением, кощунственно (вплоть до нимба над головой) передразнивающим каноническую композицию — да и надпись подобрали соответствующую: «Воскрешение Наполеона». И года не прошло, как неизвестные доброжелатели перевели книжку на русский язык и издали вместе с картинкой; правда, подпись с первого раза поместить остереглись, внесли немного погодя при воспроизведении...

— Ощущение и осознание такого глубочайшего подтекста происходившей борьбы и заставило Батюшкова обратиться к эпическому языку и образной системе. Не отступал он от них при воспоминании о трагически-славном Двенадцатом годе и вспоследствии. Уже в 1815 г., вскоре по завершении «ста дней», неудавшейся попытки Наполеона вновь вырвать власть, поэт заканчивает статью «Нечто о морали...», которую позже поставит в заключение первого тома своих «Опытов в стихах и прозе». В конце статьи мысль его возвращается к только что отгремевшей эпохе великих войн, и слог, отвечая высоте выбранной темы, тотчас обретает мощную полноту и громогласность: «К счастию нашему, мы живем в такие времена, в которые невозможно колебаться человеку мыслящему; стоит только взглянуть на происшествия мира и потом углубиться в собственное сердце, чтобы твердо убедиться во всех истинах... Весь запас остроумия, все доводы ума, логики и учености книжной истощены перед нами; мы видели зло, созданное надменными мудрецами, добра не видали. Счастливые обладатели обширнейшего края, мы не участвовали в заблуждениях племен просвещенных: мы издали взирали на громы и молнии... мы взирали с ужасом... на вольность, водрузившую свое знамя посреди окровавленных трупов, на человечество, униженное и оскорбленное в священнейших правах своих; с ужасом и горестию мы

взирали на успехи нечестивых легионов, на Москву, дымящуюся в развалинах своих; но мы не теряли надежды... и слезы и моления не тщетно проливалися перед небом: мы восторжествовали. Оборот единственный, беспримерный в летописях мира! Легионы непобедимых затрепетали в свою очередь. Копье и сабля, окропленные святою водою на берегах тихого Дона, засверкали в обители нечестия... и знамя Москвы, веры и чести водружено на месте величайшего преступления...»

Как это ни удивительно, Москва накануне пожара и Москва сожженная дали более пищи батюшковскому гению, нежели Москва воскресшая, возрожденная. Следы впечатлений от этой последней, третьей ее ипостаси можно найти почти исключительно в открывающей «Опыты» «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», которая была зачитана при вступлении в московское Общество любителей русской словесности в 1816 г. Говоря о необходимости «поравнять» достоинство языка «славнейшего народа, населяющего почти половину мира»,— с его «славою военною», Константин Николаевич восклицает: «И когда удобнее совершить желаемый подвиг? в каком месте приличнее? В Москве, столь красноречивой и в развалинах своих, близ полей, ознаменованных неслыханными доселе победами, в древнем отечестве славы и нового величия народного!..»

По мере удаления от поворотного 1812 г. тема старой столицы постепенно уходит из его жизни и творчества. Он еще четырежды побывает здесь — но московская земля уже никогда не станет вновь действующим лицом его произведений, ей суждена лишь скромная роль места действия для других, новых тем.

Словно в возмещение за подобное умаление вещественные знаки, напоминающие о посещениях Батюшковым Москвы, сохранятся только от этих, последующих лет. Это, во-первых, дом Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола «против Куракина, на Басманной» (ныне ул. Карла Маркса, 23, памятник архитектуры), где Батюшкову предстоит прожить с января по декабрь 1816 г. в ожидании окончательной отставки из армии. В 1818 г. он еще два раза навещал своих московских друзей проездом из Петербурга на юг и обратно, останавливался у Д. М. Полторацкого и бывал в доме на Малом Кисловском переулке (ныне Собиновский пер., 4) у Петра Михайловича Дружинина, директора Московской гимназии, в которую устраивал сводного брата Помпея.

В последний раз его привезут сюда в половине 1828 г. уже

тяжко больного рассудком. Сестра Александра Николаевна снимет для поэта небольшой домик на той самой Грузинской площади, откуда наблюдал когда-то пожар Кремля местный свидетель Наполеонова нашествия. Как установил недавно исследователь московской старины С. К. Романюк, здание, в котором Батюшков прожил с июля 1828 по 1833 г. и где навещал его А. С. Пушкин, сохранилось доныне — сейчас это левая пристройка о четырех окнах к дому № 17 по Б. Грузинской улице. В 1895 г. одноэтажный деревянный домик был включен в состав обширного купеческого каменного особняка; в настоящее время весь комплекс стоит на государственной охране и занят посольством ФРГ.

Однако, как будто в подтверждение того, что именно заключенная в художественные образы память — наиболее долговечная и прочная, единственное, что дошло до наших дней от первых, самых плодотворных для поэта московских лет,— это созданные в те годы стихи и проза.

...Но пока — пока, с конца марта 1813 г. зачисленный штабс-капитаном Рыльского пехотного полка, Константин Николаевич нетерпеливо ждал выезда вместе с генералом Бахметевым к армии. Ждал — и не дождался: рана не позволила более ветерану участвовать в боевых действиях. Наконец, Батюшков получил от него в июле разрешение ехать один и тотчас отправился к русскому авангарду под Дрезден.

Если вглядеться пристальней в будущее, на кончике своей шпаги воин-поэт мог — нет, пожалуй, даже должен был, будучи подлинным поэтом,— увидеть покоренный Париж. Недаром накануне вступления в него победителем он напишет Гнедичу, вспоминая разоренную врагом родную столицу: «Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. „Слава Богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках! Мы отмстили за Москву!“ повторяли солдаты, перевязывая раны свои». И добавит в письме Е. Г. Пушкиной уже из самого Парижа: «...прелестные места, которые мы отдали бы все за старый Кремль в придачу со всею нашею славою...»

«КЛЮЧ» К ГОГОЛЮ

1

Для того, чтобы объяснить некоторую необычность заголовка, приходится выдвинуть два положения, которые могут показаться небесспорными. Однако, всего лишь назвав их, получаем возможность отпереть узкие врата и проникнуть «за Геркулесовы столпы» — в забытые, мало или даже совсем неисследованные проблемы гоголевского наследия. Поэтому стоит все же попытаться обозначить их контуры, хотя бы в виде условных, временных допущений.

Первое положение состоит в том, что всякая великая национальная литература на протяжении своей истории создает какое-то число «вечных» образов, становящихся постепенно архетипическими. С их появлением исчезает уже необходимость, осторожно запинаясь, определять кого-либо, например, в качестве «искреннего наблюдателя, подвергающего сомнению исправимость онтологических несправедливостей бытия... искушаемого трагедией стоика... мучительно взвешивающего на весах вечности действие и покой...» и т. д., все время рискуя «промазать» очередным эпитетом мимо цели и получить в ответ язвительный выпад поджидающего первой же зацепки педанта. Теперь вместо прежних сложных ухищрений стилистического художества можно привлечь

на помощь образный язык «второй реальности» — литературы — и указать: это тип Гамлета (или, скажем, Обломова).

Нужно сразу оговориться, что составные части таких «новых» образов — и, прибавим, ситуаций («Отцы и дети», «Сентиментальное путешествие») — во множестве рассыпаны в классических книгах всемирной словесности; но в данном случае важно первенство в выделении типа как основного предмета разработки и изображения. Укажем и на такое любопытное явление: с водворением в умах нового «вечного» образа вдруг выясняется, что он давно уже сопутствовал человечеству, чуть ли не с самого его возникновения,— и все же право первооткрытия, выявления и, так сказать, объявления его миру обычно принадлежит отдельному автору, а с ним и литературе его народа. Причем архетипический образ связывается с последним также и обратною связью: будучи явлен в определенной культуре, он сам начинает характеризовать ее особенное лицо среди других, становится «притчею во языцех» в исходном значении этого выражения как общепринятого стереотипа по отношению к какой-либо стороне жизни одного «языка» (народа).

Попытаться назвать точное число таких «вечных» образов в русской литературе было бы задачей не только трудноразрешимой, но и, пожалуй, неверной в самом основании — она походила бы на произвольное решение заранее отмерить и сообщить человеку количество лет его жизни; тем не менее само существование их в ней представляется несомненным.

С другой стороны, задав себе этот достаточно узкий, но необходимый до поры в качестве инструмента исследования угол зрения, можно обнаружить, что, в отличие от двух уже названных выше русских архетипов (образ — «Обломов», ситуация — «Отцы и дети»), некоторые хрестоматийные произведения, такие как «Евгений Онегин» или «Герой нашего времени», при всей их уникальной ценности для нашего искусства, нового в мировую литературу героя не вводят (что, конечно, нисколько не умаляет их значения). Среди отечественных произведений предшествовавших восьми веков, самого XIX столетия и позднейшего времени, естественно, также находится немало таких, которые обладают абсолютной оригинальностью со всех точек зрения, и других, достигающих вершин в одной определенной области. Разграничить один разряд от другого зачастую весьма сложно.

Если поставить такой вопрос в отношении Гоголя, то в

первую очередь мысль обращается к двум основным его созданиям: «Мертвым душам» и «Ревизору». Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что неоконченная поэма как будто бы новизной коллизии не отличается; достаточно указать хотя бы на то,— и это не раз отмечалось исследователями,— что она сходна по сюжету с Дантовой «Божественной комедией», будучи подобно ей составлена из трех частей, внутренне напоминающих «Ад» — «Чистилище» — «Рай», с переносом действия из сфер горнего эфира и пропастей преисподней в Россию времен Николая I[1].

«Ревизор», напротив, уверенно может быть назван совершенно новым, прообразовательным для нашей литературы творением великого писателя. Но стоит лишь высказать это вполне достоверное, всеми разделяемое убеждение, как тут же встает значительно более сложная проблема: а что же именно впервые было открыто для вечности в «лучшей из русских пьес» (В. Набоков)? Современная появлению комедии публика сначала признала таким типом самый среди действующих лиц внешне яркий характер — Хлестакова, и даже довольно быстро приняла его прямо со сцены в свои ряды. Критика, приглядываясь к пьесе попристальнее, с прищуром, сочла главным персонажем «кривую рожу» действительности, выставленную на всеобщее обозрение и позор при помощи художественного отражения — лучшего, как тогда полагали, из зеркал. В начале нынешнего столетия литераторы усмотрели и соблазнительное двуединство Хлестакова-Чичикова в роли оборотня-беса, гуляющего по обширным пространствам империи, будоража и совращая заспанных обывателей; этого в те годы возрастающей духовной безответственности оказалось достаточно не только для того, чтобы впрямую впрягать Хлестакова «чортом», победившим своего автора (Д. С. Мережковский), но и совсем отождествить его в таком качестве с самим Гоголем (В. В. Розанов).

Теперь, однако, давно уже прошло время, когда с легкостью поистине потусторонней позволялось ради чистой (и нечистой) игры разбирать по камешкам здание тысячелетней русской культуры и выкладывать из добытого так материала какие угодно фигуры. Поэтому для решения поставленного вопроса представляется наиболее уместным рассматривать «Ревизора» в составе того единства, каким является все могучее древо российской словесности, и в пер-

---

[1] См., напр.: Чудаков Г. И. Отношение творчества Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908. С. 118—120.

вую очередь обратить внимание на те акценты в толковании пьесы, которые расставил ее создатель. Постоянно дорабатывая и как бы постепенно перемещая свет на протяжении шестнадцати с лишним лет после первого написания ее в ноябре — декабре 1835 г., он выстроил следующий ценностный ряд «главных героев»: это темы «смеха», «городничего», «Ревизора» и, наконец, «Города»...

Здесь пора перейти ко второму «небесспорному» положению. Довольно широко распространено мнение о том, будто писатель не всегда хорошо понимает смысл собственных писаний, и относится это даже к весьма проницательным в отношении чужих душ психологам,— вероятно, в духе той житейской мудрости (восходящей, впрочем, еще к Платону), что «сапожник ходит без сапог», а «портной — в дырявом фраке». Да это, дескать, вовсе и не его обязанность — верно толковать произведенное; поэт обычно скверно читает свои стихи, так пусть уж он лучше их молча пишет, и т. д. Конечно, объемлющее рассмотрение проблемы адекватности творения творцу — насколько она вообще возможна в искусстве — выходит далеко за рамки задач, стоящих перед данным исследованием. Допустим, что творец подчас действительно осуществляет древний завет и пишет так, что «левая рука не знает, что делает правая», потому что, говоря словами другого текста — современника названному, «одному дается слово мудрости, другому слово знания... иному разные языки, иному истолкование языков». И все же, отказывая автору в аутентичности толкования собственного произведения, вряд ли стоит идти настолько далеко, чтобы совершенно лишить его голоса,— в особенности в таком ответственном случае, как рождение нового архетипа в литературе. Дело совести (и вкуса) воспринимающего — внять этому толкованию или нет; к примеру, в упоминавшемся уже знаменитом гончаровском романе писателем вложена изрядная доля симпатии к Штольцу, однако сочувствие многих поколений читателей тем не менее остается на стороне его антипода. Итак, вкратце второе допущение состоит в том, что нужно попытаться взглянуть чистым, не замутненным предубеждениями оком на то, как объяснял «Ревизора» сам Гоголь — он в настоящем деле несомненно имеет право быть выслушанным.

Между тем долгое время авторская концепция пьесы («ключ») безусловно отвергалась при помощи хлестких (хочется сказать — хлестаковских...) ярлыков-обвинений вроде «морализаторство», «натянутая аллегория» или даже

«мистически-русофильский толк» (!). При встрече подобного отношения к шедевру нашей национальной культуры невольно вспоминаются слова того из «сынов человеческих», кого более всего любил цитировать сам Гоголь: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Такая поверхностность является и глубоко неуважительной к самой личности писателя: стоит хотя бы напомнить о том, что среди немногих обнаруженных в доме на Никитском бульваре по смерти бумаг, уцелевших по воле автора после сожжения рукописей в трагическую ночь с 11 на 12 февраля 1852 г., единственным завершенным художественным произведением была как раз содержащая в себе «ключ» «Развязка „Ревизора“» в исправленной редакции. В отсутствие законченного текста последнего завещания Гоголя она не только становится составной частью его «Духовной», но и представляет своего рода прощание с творчеством, завет грядущим поколениям соотечественников.

2

История взаимоотношений писателя с известнейшим его произведением была чрезвычайно сложной. Вероятно, вначале Гоголь и не ожидал, какого высокого качества пьеса выйдет из намерения написать комедию «смешнее чорта». Родившийся под его пером текст, ставший вдруг более реальным, нежели сама окружающая действительность, а также неверное, по мнению автора, впечатление, произведенное премьерой в 1836 г., сделались причиной глубокой внутренней работы, продолжавшейся вплоть до последних дней жизни. Огонь и свет мира, которого сперва почти нечаянно, играючи достиг 26-летний сочинитель, потрясли его душу и заставили обратиться к тяжким раздумьям о природе этого света.

Вот некоторые вещественные вехи трудного пути осознания собственного творения, пройденного Гоголем. Кроме нескольких редакций самой пьесы, создававшихся на протяжении 1835—1842 гг., ее осмыслению в связи с влиянием на публику посвящены «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления „Ревизора“ к одному литератору» (1836; 1842) и «Театральный разъезд после представления новой комедии» (1836; 1842). Пространный «Театральный разъезд», казалось, выяснял все возможные оттенки восприятия пьесы; в конце его Гоголь выводит на сцену даже «Автора», в уста которому вкладывает речь в

защиту творчества и единственного положительного героя комедии — «светлого смеха». Но вскоре уже и такое «выяснение отношений» оказалось недостаточным. В 1842 г. было написано «Предуведомление для тех, которые хотели бы сыграть, как следует, „Ревизора“» (в двух редакциях), в 1846 г.— «Предуведомление к (предполагавшемуся.— *П. П.)* изданию „Ревизора“ для бедных» и «Развязка „Ревизора“»; в 1847 г. в последней сделаны значительные исправления и вставки (долгое время печатавшиеся под заглавием «Дополнение к «Развязке „Ревизора“»). Пятого ноября 1851 г., за три месяца до кончины, Гоголь сам читает в доме на Никитском «Ревизора» литераторам и актерам Малого театра и, не пощадив от огня даже второй том «Мертвых душ», оставляет в виде конечной авторской воли исправленную «Развязку» в своих посмертных бумагах.

Что же так мучительно беспокоило писателя в этом его кровном детище, у которого складывалась в театральном мире такая по видимости счастливая судьба? Вот что говорит об этом персонаж первой редакции «Развязки» Петр Петрович: «„Ревизор“ совсем не производит того впечатления, чтоб зритель после него освежился... в итоге остается что-то этакое... я вам даже объяснить не могу,— что-то чудовищно мрачное, какой-то страх от беспорядков наших. Самое это появление жандарма, который, точно какой-то палач, является в дверях, это окаменене, которое наводят на всех его слова, возвещающие о приезде настоящего ревизора, который должен всех истребить, стереть с лица земли, уничтожить в конец — все это как-то необыкновенно страшно!.. я готов подозревать даже, не было ли у автора какого-нибудь особенного намерения произвести такого действия последней сценой своей комедии. Не может быть, чтоб это вышло так, само собой»[1] (т. 4, с. 63 — 68).

На это персонаж по имени «Первый комический актер»,

---

[1] Цит. по пятнадцатому изданию «Сочинений Н. В. Гоголя» (приложение к журналу «Нива» за 1900 г.). Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы.

Здесь приходится с сожалением отметить, что ни одно из существующих «полных» собраний произведений Гоголя таковым на самом деле не является: даже академическое 14-томное «Полное собрание» (М.-Л., 1937 — 1952) не содержит многих текстов и не воспроизводит даже предсмертных записок писателя. Кроме того, тираж его колеблется между 6 и 15 тысячами, причем выход очередных томов прерывался в военные годы, — поэтому в настоящее время это издание представляет гораздо бóльшую библиографическую редкость, чем приложение к «Ниве», выпущенное издателем А. Ф. Марксом, к тому же значительно более массовым тиражом.

роль которого должен был играть М. С. Щепкин, с готовностью откликается: «А вот, наконец, догадались сделать этот запрос. Десять лет играется на сценах „Ревизор"... Все, более или менее, нападали на тягостное впечатление им производимое, а никто не дал запроса: зачем было производить его? — точно как будто бы автор должен был писать свою комедию, очертя голову и не зная сам, к чему она и что выйдет из нее. Дайте же ему хоть каплю ума, в котором вы не отказываете ни одному человеку...

Петр Петрович. Михайло Семеныч, объяснитесь, это что-то неясно... Ведь это, по-моему, значит принести, поставить перед всеми запертую шкатулку и спрашивать, что в ней лежит?

Первый комический актер. Ну, да если она поставлена перед вами с тем именно, чтобы потрудились сами отпереть?

Петр Петрович. В таком случае нужно, по крайней мере... дать ключ в руки».

Тут разыгрывается небольшая, типично гоголевская языковая сцена с «ключом», когда, при поминании его на разные лады среди небольшого пространства текста — всего в одну книжную страницу — шестнадцать (!) раз, слово, казавшееся прежде простым и подобно пятаку стертым, постепенно полностью теряет свое обыденное смысловое значение, вырастая в какого-то фонетического монстра, в нечто фантасмагорическое, колоссальное:

«Первый комический актер. Ну, а если ключ лежит тут же, возле шкатулки?

Николай Николаевич. ...Верно, вам автор дал в руки этот ключ, а вы держите его и секретничаете.

Первый комический актер. Ну, а... если в шкатулке лежит вещь, которая для одних, что старый грош, вышедший из употребленья, а для других, что светлый червонец, который век в цене, как ни меняется на нем штемпель?

Николай Николаевич. ...Нам подавайте ключ и ничего больше!

Семен Семенович. Ключ, Михайло Семенович!

Федор Федорович. Ключ!

Петр Петрович. Ключ!

Все актеры и актрисы. Михайло Семенович, ключ!

Первый комический актер. Ключ? Да примете ли вы, господа, этот ключ?..

Николай Николаевич. Ключ! не хотим больше ничего слышать. Ключ!

В с е. Ключ!

Первый комический актер. Извольте, я дам вам ключ... Не давал мне автор ключа, но бывают такие минуты состояния душевного, когда становится самому понятным то, что прежде было непонятно. Нашел я этот ключ, и сердце говорит мне, что он тот самый; отперлась передо мной шкатулка, и душа моя говорит мне, что не мог иметь другой мысли сам автор».

И вот, после того, как установлена такая «сердечная» связь между автором и главным героем «Развязки», Гоголь в монологе его набрасывает величественный очерк сокровенного смысла своей комедии, используя для этого один из ярчайших символов мировой культуры — образ города:

«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России: не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды; хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну, а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас?..»

Для того, чтобы «изъяснить удовлетворительнее» свою идею, Михайло Семеныч обращается к Семену Семеновичу, о ком в перечне действующих лиц «Развязки» говорится: «Человек тоже немалого света, но в своем роде» (что несомненно напоминает известную притчу о неправедном управителе с ее многозначительной концовкой «сыны века сего догадливее сынов света в своем роде»). В ответ на возмущение человека «этого света» тем, что автор пьесы как будто бы «кривою рожей» эпиграфа оскорбил в числе прочих зрителей и его лично, Михайло Семенович настаивает на том, что красота имеет не внешнюю («гробы повапленные»), а внутреннюю, нравственную природу, и достижению ее предшествует трудный путь духовного возрастания и очищения:

«Нет, Семен Семеныч, не о красоте нашей должна быть речь, но о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не окончилась бы такой трагедией, какою... кончилась эта комедия, которую только что сыграли мы. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что, по Именному Высшему повеленью, он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и

шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же откроется такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше-ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее — на место пустых разглагольствований о себе и похвалы собой, да побывать теперь же в безобразном душевном городе, который в несколько раз хуже всякого другого города,— в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей! В начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть все, что ни есть в нас,— настоящего ревизора, не подложного, не Хлестакова! Хлестаков — щелкопер, Хлестаков — ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался,— вышел чуть не святой. Думаете, не хитрей всякого плута-чиновника каждая страсть наша? И не только страсть, даже самая пустая, пошлая какая-нибудь привычка. Так ловко перед нами вывернется и оправдается, что еще почтешь ее за добродетель и даже похвастаешься перед своим братом и скажешь ему: „Смотри, какой у меня чудесный город, как в нем все прибрано и чисто!“ Лицемеры — наши страсти, говорю вам, лицемеры, потому что сам имел с ними дело. Нет, с ветреной светской совестью ничего не разглядишь в себе: и ее самое они надуют, и она надует их, как Хлестаков чиновников, и потом пропадет сама, так что и следа ее не найдешь. Останешься как дурак-городничий, который занесся уже было нивесть куда — и в генералы полез, и наверняка стал возвещать, что сделается первым в столице, и другим стал обещать места, и потом вдруг увидел, что был кругом обманут и одурачен мальчишкою, верхоглядом, вертопрахом, в котором и подобья не было с настоящим ревизором... Нет, господа... не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя! Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве... и строго, как он изгоняет из земли своей лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев!

...Все отыщешь в себе, если только опустишься в свою душу не с Хлестаковым, но с настоящим и неподкупным ревизором. Не возмутимся духом, если бы какой-нибудь рассердившийся городничий или, справедливей, сам нечистый дух шепнул его устами: „Что смеетесь? над собой

смеетесь!“... „Скажем: Да, над собой смеемся, потому что слышим благородную русскую нашу породу, потому что слышим приказанье высшее...“».

— Здесь по отношению к этому «высшему приказанью» начинают звучать уже торжественно-трагические ноты «Завещания» 1845 г. с его поразительным рефреном «соотечественники! страшно!»;

«Соотечественники! ведь у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас. Смотрите: я плачу!.. я прежде смешил вас, теперь я плачу. Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас, что я так же служу земле своей, как и все вы служите... и возбудил в вас смех,— не тот беспутный, которым пересмехает в свете человек человека, который рождается от бездельной пустоты праздного времени,— но смех, родившийся от любви к человеку».

А в конце этого монолога, завершающего и всю «Развязку», неожиданно обнаруживается даже прямой ответ на тот прославленный вопрос, который был задан в последних строках первого тома «Мертвых душ»: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ...»

Используя свой дар вязать и разрешать в созданном им мире, Гоголь связывает «Развязкой» темы поэмы и «Ревизора» и сам отвечает на него: «Дружно докажем всему свету, что в Русской земле все, что ни есть, от мала до велика, стремится служить тому же, кому все должно служить на земле, несется туда же... кверху, к Верховной вечной красоте!»

Высказанный так открыто, с откровенностью поистине беззащитной, патриотизм писателя удивительным — и удивительно естественным — образом сочетался со вполне трезвым, ясным осознанием недостатков современного ему общества и внутренних изъянов души русского человека. Воплощенное с большой художественной силой, это соединение любви и заботы, составлявшее саму суть стремления Гоголя отыскать верный путь к воскресению родины, казалось бы, должно было встретить если не всеобщее понимание, то хотя бы ответное сочувствие и уважение. Тем больнее оказалось единогласное осуждение его как со стороны представителей государства, так и со стороны творческих единомышленников.

Цензура разрешила „Развязку ревизора“ только к печатанию, но не к представлению. (Печатать ее Гоголь не стал...) Внешней причиной тут послужило то, что «Развязка», предназначавшаяся для бенефиса М. С. Щепкина, заключала

в себе в качестве сюжетного хода возложение коллегами венка на великого артиста, после чего он должен был, облеченный этим знаком признания и успеха, произнести слово о «ключе». Директор императорских театров А. М. Гедеонов ответил хлопотавшему по поручению Гоголя о постановке «Ревизора» с новым окончанием П. А. Плетневу: «По принятым правилам при Императорских театрах, исключающим всякого рода одобрения артистов — самими артистами, а тем более венчания на сцене, пьеса в этом отношении не может быть допущена к представлению»[1].

Не захотел менять своего взгляда на «Ревизора» и сам предполагаемый истолкователь его — М. С. Щепкин. В письме Гоголю от 22 мая 1846 г. он стремится защитить привычную ему одноплановость, «посюсторонность» комедии, протестуя против неверно понятого им намерения переделать пьесу (на самом деле Гоголь имел в виду внести исправления в одну только «Развязку»). Зачарованный магической реальностью выведенных писателем на свет персонажей, он отказывается признать за ними право на тот космический реализм, какой вкладывали в этот термин сами создавшие его философы: «...я так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня... это было бы действие бессовестное... Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарелся. Видите ли, какое давнее знакомство?.. с этими в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня». После таких трогательных, немного кокетливых, но в принципе не слишком убедительных возражений М. С. Щепкин, движимый желанием защитить потревоженный гоголевским порывом к возвышенному привычный, «обжитой» уже актером облик героев, неожиданно договаривается до вполне художественно-афористического выражения собственной позиции, несколько напоминающего по стилю розановскую публицистику: «После меня переделайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог»[2].

Столкнувшись с таким дружным непониманием, Гоголь, однако, сумел на деле осуществить горячо проповедовавшиеся им в только что вышедшей книге статей идеалы самоограни-

[1] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Спб., 1896. Т. 2. С. 961.
[2] Записки и письма М. С. Щепкина. М., 1864. С. 189—191.

чения, смирения и призыв к единству соотечественников. Оставив без ответа критические выпады, направленные на него лично, хотя они нередко звучали весьма оскорбительно и раздавались из уст даже ближайших друзей, он постарался спокойно возразить на замечания по существу пьесы. Так, в послании М. С. Щепкину, написанном около 10 июля н. ст. 1847 г., он категорически отвергает приписываемый ему метод аллегоризации: «Переделку... я разумел только в отношении к пиесе, заключающей „Ревизора". Понимаете ли это? В этой пиесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из „Ревизора" хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. „Ревизор" — „Ревизором", а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не „Ревизора", но которое приличней ему сделать по поводу „Ревизора"».

И, словно опасаясь — на основе приобретенного уже горького опыта — опять оказаться непонятым с первого раза, в конце письма он снова решительно отвергает идею о том, что «Развязка» представляет из себя аллегорию: «Аллегорья аллегорией, а „Ревизор" — „Ревизором"».

Из всего этого следует вывод, что в соответствии с авторским толкованием «Развязка „Ревизора"» является не аллегорией (что в буквальном переводе означает «иносказание»), а символом. Для подтверждения его обратимся сначала к тому, что говорила о роли символа в художественном произведении классическая философия искусства того времени. Ф. В. Шеллинг, имя которого Гоголь не раз упоминает в своих статьях, открыто выступал, например, против схематического и аллегорического понимания именно в пользу символического. В своей «Философии искусства» он, в частности, пишет о символических образах следующее: «Их величайшую прелесть составляет именно то, что, хотя они просто *суть* безотносительно к чему бы то ни было, абсолютные в себе самих, все же сквозь них в то же время неизменно просвечивает значение. Нас, безусловно, не удовлетворяет голое бытие, лишенное значения, примером чему может служить голый образ, но в такой же мере нас не удовлетворяет голое значение; мы желаем, чтобы предмет абсолютного художественного изображения был столь же конкретным и подобным лишь себе, как образ, и все же столь же обобщенным и осмысленным, как понятие»[1].

---

[1] Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 111.

С другой стороны, блестящий образец для сравнения — легкую и несколько фривольную аллегорию — дает в своих известных «Записках» наиболее близкий Гоголю поэт старшего поколения, Г. Р. Державин. Рассказанный им случай может, пожалуй, послужить даже классическим примером для учебника, так как он содержит не просто яркую аллегорию, но своеобразную «аллегорическую историю с аллегорией». Вот этот любопытный отрывок: «В 1779 г. перестроен был... Сенат, а особливо зала общего собрания, украшенная червленым бархатным занавесом с золотыми франжами и кистями и лепными барельефами... Между прочими фигурами была изображена скульптором Рашетом Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом... Когда изготовлена была та зала и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то увидев обнаженную Истину, сказал экзекутору: „Вели ее, брат, несколько прикрыть". И подлинно, с тех почти пор стали отчасу более прикрывать правду в правительстве...»[1]. Произошедшее с рашетовской Истиной удвоение аллегорического эффекта, «возведение его в квадрат», делает отличие между двумя рассматриваемыми категориями эстетики подчеркнуто наглядным.

Близкое гоголевскому толкование разницы между символом и аллегорией дает и современный философ-культуролог С. С. Аверинцев в специально посвященной вопросу о символе энциклопедической статье: «Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка,— пишет он,— в него надо вжиться (Ср. приведенное выше приглашение героя-протагониста «опуститься в свою душу» с подлинным Ревизором.— *П. П.*). Именно в этом состоит принципиальное отличие символа от аллегории: смысл символа не существует в качестве некоей рациональной формулы, которую можно „вложить" в образ и затем извлечь из образа. Соотношение между значащим и означаемым в символе есть диалектическое соотношение тождества в нетождестве»[2]. Несколько дальше в той же работе встречается и необычайно удачно выраженная идея об обязательном присутствии в настоящем художественном образе основных, «вечных» тем человеческого творчества,— таких, как стремление к «Верховной вечной красоте». Только с помощью этих ключей-символов можно отомкнуть двери сердца, пробудить внутреннее духовное око к созерцанию чудесной гармонии космоса: «...в ко-

[1] Сочинения Державина, изданные Я. Гротом. Изд. 2-е. Спб., 1876. Т. 6. С. 526—527.

[2] Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. С. 826—827.

нечном счете содержание подлинного символа через опосредующие смысловые сцепления всякий раз соотнесено с „самым главным“ — с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого „универсума“. Уже то обстоятельство, что любой символ вообще имеет „смысл“, само символизирует наличность «смысла» у мира и жизни».

Те — немногочисленные, впрочем — исследователи, которые обращались внимательно к развитию главной идеи «Ревизора» в его «Развязке», также приходили к выводу о ее постепенном и естественном обобщении, символизации. Один из наиболее проницательных мыслителей «серебряного века» поэт Вячеслав Иванов видит в этом основное содержание «Развязки»: «Теперь... мы можем отнестись к замысловатому толкованию беспристрастно... Это размышление об аналогии между общественной организацией и организацией личного сознания... остроумно и глубокомысленно. Не стирая ни иоты в написанном, оно не отменяет прямого смысла пьесы и не притупляет остроты ее непосредственного действия. Наконец, с точки зрения стилистического анализа, оно любопытно и поучительно тем, что опять и по-новому обличает... тяготение Гоголя к большим формам всенародного искусства: как в первоначальном замысле мы усмотрели нечто общее с „высокою“ комедией древности, так сквозь призму позднейшего домысла выступают в пьесе-оборотне характерные черты средневекового действа»[1].

«Обвинение» в аллегории с «Развязки „Ревизора“» в настоящее время можно считать в литературоведении окончательно снятым. В связи с вопросом о «Немой сцене» об этом пишет такой известный специалист по гоголевской драматургии, как Ю. Манн, когда, соглашаясь со словами 1-го комика из второй редакции «Развязки» о недопустимости сведения комедии к аллегории, приходит к заключению: «Немая сцена не аллегория. Это элемент образной мысли „Ревизора“, и как таковой он дает выход сложному и целостному художественному мироощущению»[2].

Город в качестве универсального знака одушевленного собрания, общества членов, различных по виду и поведению, но соединенных чем-то необходимо им всем присущим, тем, что их одновременно «ограждает» и вместе с тем дает право «гражданства» (будь то родина у соотечественников или еди-

---

[1] Вяч. Иванов. «Ревизор» Гоголя и комедия Аристофана // Театральный Октябрь. Л.-М., 1926. Сборник 1. С. 91.

[2] Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 235.

ная личность у человеческих страстей), является — наряду с солнцем, крестом и звездой как знаками осмысленности природы — одним из древнейших и наиболее распространенных образов мифологии и философии. Поэтому-то, вероятно, Гоголь при переосмыслении в 1847 г. «Развязки» в первую очередь обратился к углубленной разработке темы «душевного града». Сло́ва о нем в заключительной редакции пьесы произносит персонаж с несколько измененным именем — теперь это не Михаил Семенович Щепкин, а «Михал Михалч», у которого неизменный «совопросник века сего» Семен Семенович упорно допытывается: «Что это, Михал Михалч, что вы говорите, какой душевный город?»

И Михал Михалч отвечает: «Мне так показалось. Мне показалось, что это мой же душевный город, что последняя сцена представляет последнюю сцену жизни, когда совесть заставит взглянуть на самого себя во все глаза и испугаться самого себя. Мне показалось, что этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть, которая встречает... у дверей гроба. Мне показалось, что этот ветреник Хлестаков, плут, или как хотите назвать, есть та поддельная ветреная светская наша совесть, которая, воспользовавшись страхом нашим, принимает вдруг личину настоящей и дает себя подкупить страстям нашим, как Хлестаков чиновникам — и потом пропадает, так же как он, неизвестно куда. Мне показалось, что это безотрадно-печальное окончание, от которого так возмутился и потрясся зритель, предстало перед меня в напоминание, что и жизнь, которую привыкаем понемногу считать комедией, может иметь такое же печально-трагическое окончание. Мне показалось, будто вся комедия совокупностью своею говорит мне о том, что следует вначале взять того ревизора, который встречает нас в конце, и с ним... оглядеть свою душу и вооружиться... против страстей».

Собеседники, однако, высказывают сомнение в том, что именно этот смысл имел в виду сам сочинитель. Но Михал Михалч напоминает им: «Я вам наперед сказал: „Автор не давал мне ключа, я вам предлагаю свой“. Автор, если бы даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная, нравоучительная проповедь. Нет, его дело было изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле... Его дело изобразить это темное так сильно, чтобы почувствовали все, что с ним

надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя, и ужас от беспорядков пронял бы его насквозь всего... А это уж наше дело выводить нравоученье... Я подумал о том, какое нравоученье могу вывести для самого себя, и напал на то, которое вам теперь рассказал... Кто глядит в душу себе, тот из всего возьмет то, что нужно, тот и в этом вещественном городе увидит душевный свой город; тот увидит, что с большей силой следует вооружиться против лицемерия... Кипит душа страстями, говорим всякий день, а гнать не хотим. И бич в руках, данный на то, чтобы гнать их...»

Намечающаяся здесь — на манер предыдущей языковой игры с «ключом» — сценка с созвучным ему словом «бич» не успевает состояться: автор, торопясь к главной цели, обрывает ее, так и не доводя до конца:

«Семен Семенович. Да где же бич? Какой бич?

Михал Михалч. А смех разве не бич? Или, думаете, даром нам дан смех, когда его боится... даже и тот, кто ничего не боится? (Отметим все же тут мимоходом один из тех гениальных побочных образов, какие Гоголь способен был создавать посредством полуфразы, что в особенности восхищает в нем собратьев-писателей; прямо с непросохшей еще строки выскакивает в мир совершенно живая фигура чудовища без лица, без имени, но вполне определенного свойства, к тому же черезъестественно жуткая: стоит лишь попытаться представить себе воочию Того, „кто *ничего*[1] не боится", кроме смеха... Между тем сам Гоголь, как будто бы и не замечая вовсе новорожденного словесного детища, вплотную приступает к более важной теме — на сей раз это оправдание смеха.— *П. П.*). Если он дан нам на то, чтобы поражать им все, позорящее высокую красоту человека, зачем же не поразим мы то, что порочит красоту собственной души каждого из нас? Зачем не обратим его во внутрь самих себя — из государства не изгоняем собственных наших взяточников?..

Семен Семенч. ...Вы думаете, возможен этот поворот смеха на самого себя, против собственного лица?

Петр Петрович. Я думаю только, что это возможно для человека, который почувствовал благородство природы и омерзение к своим недостаткам.

Михал Михалч. ...если он сверх того и русский в душе, тогда ему возможней. Согласитесь: смех у нас есть у всех; свойство какого-то беспощадного сарказма разнеслось

---

[1] Подчеркнуто нами; авторский курсив в цитатах не оговаривается.— *П. П.*

у нас даже у простого народа. Есть также у нас и отвага оторваться от самого себя и не пощадить даже самого себя. Стало быть, у нас... может быть возможен поворот смеха на его законную дорогу... Семен Семеныч, разве у меня не такая же русская кровь, как и у вас? Разве я могу почувствовать в мои высшие минуты иное что, как не то же, что способны почувствовать и вы в такие?.. я также служил земле своей... не пустой я был скоморох, но честный чиновник великого Божьего Государства...» (т. 11, с. 193 — 198).

3

Остановим речь Михал Михалча на этих словах, хотя они и могут с первого взгляда показаться чрезмерно выспренними. Дело в том, что символическое значение их гораздо глубже и вместе с тем имеет мало общего с современной писателю политической реальностью. Для того, чтобы лучше понять их смысл в контексте всего творчества Гоголя, нужно сделать несколько шагов назад во времени, вернуться на две-три ступеньки вниз по лестнице духовного возрастания и выяснить родословную образа города в его произведениях. Краткий очерк развития (вернее было бы сказать — роста) этой темы, прошедшей путь от ласкового описания незатейливого малороссийского поселения до драматических подступов к «вечному» граду высочайших идеалов человечества, можно разделить на несколько основных этапов.

Сначала это небольшое украинское «местечко» с полем-площадью посреди и полями вокруг (цикл «Миргород», 1831—1834) или провинциальный городок центральной России («Коляска», 1835—1836; первая редакция «Ревизора», 1835—1836).

Постепенно размеры города увеличиваются: уже повесть «Вий» наполовину происходит в матери городов русских — Киеве. В год первой постановки «Ревизора» на сцене происходит, наконец, резкий скачок, хорошо заметный по статье «Петербургские записки 1836 г.» (1835—1837), носившей, кстати, в представленной для цензуры авторской рукописи название «Москва и Петербург»[1]: она начинается с легкого, артистического сравнения «третьего Рима» с той новой северной столицей, которую дал России Петр I, и во второй своей части уже целиком обращается к теме Петербурга.

С этим новым местом действия связаны так называемые «Петербургские повести», посвященные жизни города, назван-

---

[1] См.: Неизвестная страница Гоголя // Литературный Ленинград. 1934. № 15.

ного в честь апостола Петра (по народным поверьям — райского *ключника*) и изображаемого со все увеличивающейся силой обобщения и символизации: «Нос» (1832—1836; 1851), «Портрет» (1832; 1851), «Шинель» (1834; 1842), «Невский проспект»(1833—1834), «Записки сумасшедшего» (1834), отрывки «Страшная рука. Повесть из книги под названием „Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове, в 16 линии“» (1830—1833) и др.

Подготовкою к переходу на новую ступень является статья «Об архитектуре нынешнего времени» (1833—1834) из сборника «Арабески», где значительное внимание уделено не только архитектуре зданий и истории ее стилей, но и особенной философии планировки всего города. Мысль писателя обращается при этом к европейскому средневековью, сумевшему органически соединить в своем зодчестве заботу о красоте земного с могучим стремлением ввысь. На сформулированное Гоголем в этой работе своеобразное учение о построении городов, выведенное им на основе переработки своих впечатлений от поездок по самым различным городам континента, возможно взглянуть и с более высокой точки зрения,— и тогда оказывается, что оно приложимо также и к тому, какой он хотел видеть архитектонику собственных произведений. Так, настаивая на недопустимости забывать действительность, вперивая взор в поднебесье: «При построении городов нужно обращать внимание на положение земли»,— Гоголь неизменно подчеркивал первенство в искусстве направления возвышенного: «Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам... Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы... Чтобы все, чем более подымалось кверху, тем более бы летело и сквозило. И помните самое главное: никакого сравнения высоты с шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здесь одна законодательная идея — высота» (т. 9, с. 233 — 254).

Естественным продолжением (но далеко еще не завершением) такого движения был для писателя путь из двух средоточий жизни тогдашней России — «третьего Рима» и «города св. ап. Петра» — в Рим первый, «вечный» земной город, к престолу апостола Петра и наследника его ключей. Тема его получила художественное воплощение (обратим внимание на его незавершенность) в отрывке «Рим» (1839—1842), герой которого, отпрыск старинного римского княжеского рода, начинает «подозревать какое-то таинственное значение в слове „вечный Рим“». В самом конце этой оставленной Го-

голем в виде полуочерка-полуповести «пьесы» князь взбирается на вершину горы, откуда «пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город... Над блещущей толпой домов и крыш величественно и строго подымалась темная ширина Колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца... И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе: еще живей и ближе сделался город; еще... голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух... Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все что ни есть на свете».

Этот мощный образ сияющего города, как известно, оказал сильнейшее воздействие на считавшего себя учеником Гоголя М. Булгакова: в частности, им навеяны картины Москвы с крыши Пашкова дома и с Воробьевых гор в конце романа «Мастер и Маргарита» (гл. 29 и 31). Теме связи М. Булгакова с его учителем предстоит еще не раз зазвучать в последующем — как и множеству других, незаметно пока лишь затронутых (лестницы, оборванной строки, оправдания смеха, приоткрытых дверей, последнего слова и т. д.).

Путь в первый Рим, город явственно реальный, внешний, явился также перевернутым отражением внутренней дороги гоголевской мысли, потянувшейся в паломничество к духовным истокам России. Поэтому-то именно в Италии, где в значительной своей части написаны были оба тома «Мертвых душ» (вся поэма создавалась с перерывами с 1835 по 1852 г.), образ русского города — и, шире, государства — постепенно становится основным в его творчестве. Первая триада «городишко — город — Град» повторялась теперь на более высоком творческом и мировоззренческом уровне.

Живыми подробностями городского управления и быта наполнены «Записные книжки» этого времени, где находятся такие отрывки, как «Дела, предстоящие губернатору» с любопытным разделом «Маски, надеваемые губернаторами» (благородный и воспитанный; военный генерал — прямой человек; губернатор-делец и проч.); «Черты городов» и другие (т. 8, с. 115—147). К переходному роду произведений можно отнести статью «Что такое губернаторша» (1846 г.) из «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Стремление достичь целостного символического обобщения

приводит к постепенному соединению основных мотивов «Ревизора» и «Мертвых душ» как раз через образ-ключ «Города». Так, в начале отрывка «Заметки, относящиеся к первой части „Мертвых душ“» (ок. 1846 г.)[1] три ключевых слова первой редакции «Развязки» — «бездельная пустота праздного» времени — которыми осуждается «беспутный смех»,— естественно входят в изложение идеального «городского» содержания поэмы, каким его видел сам автор: «Идея города — возникшая до высшей степени пустота... Как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени, как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей...

Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. Еще сильнее между тем должна представиться читателю бесчувственность жизни.

Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление? Жизнь бунтующая, праздная — не страшно ли великое она явленье?.. при фраках, при сплетнях и визитных билетах никто не признает смерти.

...— Весь город со всем вихрем сплетней — прообразование[2] бездельности жизни всего человечества в массе.

...Противоположное ему прообразование во II части, занятой разорванным бездельем.

Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразования безделья мира?

Для ⟨этого⟩ включить все сходства и внести постепенный ход» (т. 6, с. 7 — 8).

С углублением разработки, погружением в первоосновы выработанного образа-символа все более выясняется его двуплановость, амбивалентность; внутри него самого происходит как бы поединок двух городов, сошедшихся и в реальной человеческой личности: города суетной, бесцельной праздности, влекущей от пустого безделья к страшной смерти,—

---

[1] Новую датировку — 1839 — 1841 гг.— см.: Воропаев В. О датировке гоголевских заметок «К 1-й части „Мертвых душ“ »//Русская литература, 1987, № 1.

[2] С некоторых пор здесь вместо верного чтения «прОобразование» стало принято печатать странное «прЕ-», хотя рукопись подлинника (ОР ГБЛ, фонд 74, карт. 1, № 33) не дает для того веских оснований, а здравый смысл отказывает в каких бы то ни было.

со светлым «душевным городом», пребывающим, коренящимся в самом сердце человека, странствующим с ним по всем жизненным дорогам и взыскующим «верховной красоты». В отношении второго можно, как кажется, назвать и конкретный прообраз: несомненно знакомый Гоголю текст, в терминах наиболее распространенной символической системы того времени зримо воплотивший надежды на вечную, нетленную красоту именно в образе города — Нового Иерусалима, который, в отличие от Иерусалима ветхого, древнего, открывает свои врата всякому, кто искренне стремится достичь познания высших духовных ценностей. Это стихи 2—4 21-й главы Апокалипсиса: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий... с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос... говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними... И отрет... всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Не случайно в 1848 г. сам Гоголь отправляется в паломничество в Иерусалим,— в этом путешествии к первообразу Нового града явственно отразилось возрастание роли сознательно знакового поведения, неуклонно происходившее в последнее десятилетие жизни писателя (известно, например, какое значение придавал он многим как будто бы несущественным и малозаметным для окружающих происшествиям и совпадениям).

Воплощение идеи положительной, актуальной бесконечности в символическом облике возвышенного блистающего Города вообще весьма характерно для русской культуры, причем не только в связи с каноническими текстами Писания. Достаточно вспомнить легенды о граде Китеже, из истории реальных Малого и Большого Китежей выросшие в сказание о том, что Китеж земной, уничтоженный при татарском нашествии, обратился во второй своей ипостаси в сокровенный невидимый град, пребывающий вне времени. Широкое хождение имел на Руси и роман «Варлаам и Иоасаф», впервые переведенный в XII столетии и бытующий в народе не только в виде повести, но и в составе множества духовных стихов, притч и песен. Во втором печатном издании его (1681 г.) находится следующий примечательный отрывок, впрямую касающийся той же темы города: Иоасаф царевич, «в растерзании сердца и сумнении быв, воздохнув из глубины... и обилныя токи слез от очию изливая... слезами поливашеся... повержеся на землю, и уснув мало, виде себя... восхищена (последнее слово означает в данном контексте „быть поднятым

на умозрительную, душевную высоту". — *П. П.)*». Заснувший царевич попадает на «некое поле великое» с чудесными садами и водами, а пройдя «чрез людное убо оно и великое поле», входит «во град... неизреченною светлостию сияющ. Стены убо от злата чиста, от каменей же многоценных, ихже никтоже николиже виде, столпы и врата созданна имущ. И кто убо изречет доброту, и светлость града оного, свет бо свыше, частыми лучами сияющ, вся улицы его исполняше, и крылатии вои нецыи, светли сущии, во граде том прохождахуся песни поюще, ихже николиже ухо человеческое слыша; и слыша глас глаголющ: Се покоище праведных, се веселие угодивших в животе своем Господеви».

Однако, мало достигнуть этого сверкающего небесного чертога,— нужно еще и суметь удержаться на завоеванной высоте, потому что даже тот, кто уже познал ее, легко может не осилить трудностей и упасть снова вниз, лишиться права постоянного пребывания в вечном Городе. Иоасафа также «оттуду... изведше... грозние мужие... вспять хотеша повести его... Он же красотою оною и добротою весь объят быв, не лишите мене, глаголаше, не лишите мене молюся вам, неизреченныя радости сея: но дадите мне во едином угле великого сего града пребывати. Они же глаголаху: не возможно есть тебе бити ныне зде, обаче трудом, и пóтом многим внидеши семо, аще понудишися»[1].

Упоминание множества драгоценных камней и золота отнюдь не характеризует, как может показаться со стороны, средневековый идеал красоты в качестве примитивного и чувственного. Глубокое значение, которое придавали им как раз в духовном, символическом плане люди той чрезвычайно иерархической, во всех областях жизни наполненной лестницами значений и усиленно внимательной к знаковому языку, телесному и мысленному этикету, эпохи, подробно раскрыто в работах современных исследователей. Так, в специальной главе «О свете и тени» книги, посвященной эпохе перехода от средневековья к Возрождению, искусствовед И. Е. Данилова пишет о том, как понимали роль золота и «каменей многоценных» старые мастера: «Блестящие цвета расцениваются как прекрасные не только потому, что они больше насыщены светом, но главным образом потому, что самый момент блеска, то есть излучения, уподобляет цвет свету... Степень прекрасного зависит от степени приобщенности к

---

[1] История о Варлааме и Иоасафе. М., в Верхней типографии, 1681. Лл. 164 и 164 об.

свету... По-видимому, именно этим объясняется та особая роль, которая отводилась на средневековой шкале эстетических ценностей драгоценным камням. Считалось, что они обладают свойством самосвечения и поэтому подобны субстанциональному свету... Особенно отчетливо проявляется и формообразующая роль золота,— оно выступает как изобразительный и одновременно символический эквивалент света»[1].

4

Картиной ослепительно блистающего и почти недосягаемого, парящего на облаках символа история развития образа города у Гоголя не завершается. При изучении литературных и философских параллелей нами было обнаружено удивительное и как будто бы еще не отмеченное в науке сходство его трактовки с основными положениями главного произведения латинского писателя и богослова Блаженного Августина — книги «О Граде Божием».

Знакомство Гоголя с культурой древности было, как известно, профессиональным: в 1834—1835 гг. он преподавал историю средних веков в Петербургском университете, готовясь к своему курсу с величайшим вниманием и любовью к предмету. Бытовавшие в окололитературной среде толки о якобы некомпетентности писателя в этой области были окончательно рассеяны после публикации Г. П. Георгиевским в начале текущего столетия гоголевского архива и, в частности, бумаг, свидетельствовавших о тщательной работе его над источниками и специальными трудами по историческим и педагогическим дисциплинам. В связи с выходом в свет этих ранее неизвестных материалов А. Г. Фомин писал: «Гоголь чувствовал себя вполне способным быть профессором. Того же взгляда были многие — не только Пушкин, Жуковский, Уваров, Надеждин, но и люди с установившейся научной репутацией, например, известный ученый М. А. Максимович, приглашавший Гоголя адъюнкт-профессором в Киев, Погодин, приглашавший Гоголя адъюнкт-профессором по всеобщей истории в Москву»[2].

Плодом историософских размышлений писателя являются как напечатанные после смерти «Лекции по истории средних веков», программы и библиография к ним, так и обработка

---

[1] Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975. С. 82—85.

[2] Фомин А. Г. Новое о Гоголе // Исторический вестник. 1910. Апрель (т. CXX). С. 208.

заинтересовавших его проблем в творческом и творчески-публицистическом плане. Среди произведений последнего рода обращает на себя внимание статья «О движении народов в конце V в.» (1834 г.) из сборника «Арабески»,— именно к этому веку относятся и почти все сочинения Бл. Августина, которые заложили, по мнению ученых, не только теологическую, но и эстетическую, и даже политическую основу последующего европейского тысячелетия.

Оставляя специалистам богословский аспект, рассмотрим здесь те стороны наследия знаменитого Иппонийца, которые имеют непосредственное отношение к затронутым выше темам. Нужно, однако, отметить, что произведения его доныне сохраняют значение и в других областях гуманитарных наук — в истории литературных жанров (Бл. Августин явился одним из зачинателей жанра «Исповеди»), государствоведения (изучение его политической теории входит в современный советский университетский курс истории политических учений), философии и др. В одном из недавно вышедших отечественных исследований по философии средневековья, во многом посвященном анализу системы взглядов Бл. Августина, содержатся новые варианты перевода названия упомянутого трактата «De Civitate Dei»: вместо традиционного «О Граде Божием» автор книги Г. Г. Майоров предлагает более, с его точки зрения, точные «О государстве Бога» или «О божественном обществе»[1]. Оба они и по содержанию, и по словесному выражению близко подходят к идеям, высказанным героем второй редакции «Развязки „Ревизора"» Михал Михалчем в заключительной части его монолога о «душевном городе» (напр.: «Я также служил земле своей... не пустой я был скоморох, но честный чиновник великого Божьего Государства...»).

Последовательное сравнение показывает, что сходство двух произведений не ограничивается совпадением в формулировке этих идей, но повсеместно прослеживается и на концептуальном уровне. Обратимся для сопоставления к целиком посвященной нравственному и гражданскому аспектам учения Бл. Августина работе Евг. Трубецкого, подробно и систематически изложившего теорию о двух градах — вечном духовном и временном суетном — в понятиях более близкой Гоголю эпохи[2].

---

[1] Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., «Мысль», 1979. С. 333.

[2] Кн. Евг. Трубецкой. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V-м веке. Часть I. Миросозерцание Блаженного Августина. М., 1892. Глава 5: «Учение о Граде Божием». С. 214—270.

Подлинность сходства концепций двух мыслителей подтверждается еще и следующим обстоятельством: в гоголевском наследии не обнаружено прямых упоминаний об Августине, а в книге Евг. Трубецкого нет ни указаний на знакомство с «ключем» к «Ревизору», ни вообще никаких слов о Гоголе.

Приведем несколько наиболее наглядных примеров совпадения точек зрения по основным вопросам этики и мировой истории (для передачи системы Бл. Августина ради удобства изложения использована «мозаика», составленная из соответствующей главы труда Евг. Трубецкого, тщательно, со множеством ссылок непосредственно на латинский первоисточник обосновывающего каждое свое заключение).

Вот параллель к размышлениям Гоголя о потрясающем впечатлении страха и грядущего неумолимого возмездия, производимого «Немой сценой» и послужившего лестницей между двумя планами образа города — реальным и символическим. Согласно Бл. Августину, пишет Евг. Трубецкой, «языческие государства служат внешней им цели обнаружения правды, которая не раскрывает в них своих положительных качеств, а проявляется лишь внешним образом как *возмездие*; в них самих нет самобытной внутренней цели, и значение их оценивается внешним им мерилом — той *пользы*, которую они приносят гражданам вышнего города». (Ср. также во второй редакции «Развязки» слова о том, что дело автора комедии — «изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле... А уж наше дело выводить нравоученье».)

Противопоставление воплощаемой Хлестаковым ветреной светской совести, пытающейся захватить главную роль,— истинному Ревизору, обладающему подлинным правом первородства, соотносится со следующим контрастом, выделяемым Августином: «К единству Града Божия требуется исторический контраст двух обществ — небесного и земного, дабы из самого сравнения с сосудами гнева вышний город, странствующий на земле, научился не доверять свободе своей воли... Противоположность благодати и беззаконной свободы от начала мира олицетворяется противоположностью двух ангельских царств: в обществе ангелов свобода приносит себя в жертву благодати, в сатаническом же государстве она сама возводит себя в верховный, абсолютный принцип. Гордый и завистливый дух не довольствуется тем, чтобы держать власть от высшего себя, и хочет сам быть высшим, властвовать сам от себя: он отвращается к самому себе, делает

себя центром, и с какою-то тираническою спесью предпочитает радоваться о своих подчиненных (вспомним феерическое хлестаковское «тридцать пять тысяч одних курьеров!» — *П. П.*), чем самому быть подчиненным».

К рассуждению героя «Развязки» о том, что «город, который выведен в пьесе,— это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас», особенно в связи с подчеркиваемым автором общественным, социальным значением этих слов (напр., в письме к М. С. Щепкину: «Примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель»), близко подходит такое положение: «Как идеал Град Божий есть благодатное царство, которое не исчерпывается внешним единством здания, а проникает собою всецело внутреннюю жизнь личности и общества, связывая всех участников спасения в единое социальное тело».

Предупреждение того же персонажа «Развязки»: «Не говорите: „это старые речи"... Те вещи, которые нам даны с тем, чтобы помнить их вечно, не должны быть старыми: их нужно принимать как новость, как бы в первый раз только их слышим, кто бы их ни произносил нам», рассматриваемое в контексте эволюции образа города в гоголевском творчестве, созвучно следующему отрывку: «О граде Божием сказано в Апокалипсисе, что он сходит с небес (гл. 21, ст. 2—4), потому что он создан благодатию. Не должно думать, что он сходит к нам только в конце веков: он от начала времен сошел на землю, ибо от создания рода человеческого благодать собирает на земле граждан для вышнего Иерусалима. От начала благодать ведет род человеческий к его вечной цели, и в этом состоит всемирно-исторический процесс» (здесь также звучит иератический пафос призыва: «В Русской земле все стремится туда же... кверху, к Верховной вечной красоте!»).

О том, кто и как может ощутить непосредственное присутствие этой вневременной красоты среди постоянно меняющихся, преходящих картин смертной жизни: Гоголь — «Разве у меня не такая же русская кровь, как и у вас? Разве я могу почувствовать в мои высшие минуты иное что, как не то же, что способны почувствовать и вы в такие?..»; Бл. Августин — «Форма земного царства есть вечное разделение, вражда. Небесное царство, напротив, проявляется на земле как согласие в разнообразии и множестве, как единство божественной гармонии».

Обратимся к записям о городской символике «Мертвых душ»: «Как низвести все мира безделья во всех родах до

сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразования безделья мира?.. Для этого включить все сходство...» А вот как раскрывает глубокое различие в том же обманчивом сходстве латинский философ: «Как Град Божий, так и земное, человеческое царство стремятся к миру. Но между тем, как первый ищет мира небесного, стремится к покою вечности,— земное царство стремится к миру земному, полагая этот мир в совокупном наслаждении и пользовании мирскими благами».

Сравнивая первый том своей поэмы со вторым, Гоголь далее намечает такую сюжетную антитезу: «Весь город со всем вихрем сплетней — прообразование бездельности жизни всего человечества в массе... Противоположное ему прообразование во II части, занятой разорванным бездельем». О неуклонно возрастающем распаде всякого оторвавшегося от онтологической основы нравственности мира, который неминуемо раскалывается все дальше уже внутри себя самого, писал и Августин: «В лице Каина, основателя первого города на земле, сущность земного царства обнаруживается как братоубийство, раздор. Земные блага, которые в нем служат высшей, безусловной целью, не могут всех одинаково насытить, примирить и объединить. Как в первом на земле городе, так и в последнем, в Риме, сказываются те же черты Каинова царства. Основатель Рима — Ромул — братоубийца, подобно Каину, и история Рима есть беспрерывная война или междоусобие. Но если Каин посягнул на гражданина вышнего города — Авеля, то Ромул убил своего земного согражданина — Рема. Братоубийство Ромула означает внутреннее раздвоение земного царства».

В отношении основной темы последней сохранившейся главы второго тома происходит даже необычное, тройное совпадение. Там, как известно, на сцене появляется в качестве «миродержателя тьмы века сего» некий «юрисконсульт», который «как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде, чем кто успел осмотреться» (т.6, с.143—144). В борьбу с этим олицетворением Зла приходится вступать уже самому автору. Вот что говорит об этом современный литературовед И. П. Золотусский: «В оставшихся главах мы видим эту вихрящуюся пустоту, проносящуюся как смерч на фоне ярмарки в городе Тьфуславле и имеющую в центре своем страшного философа — МАГА, которому противостоит другой маг — сам Гоголь, со своей высоты останавливающий ее действие. Маг-автор побеждает мага-дьявола (ср. в той же главе: «Кто-то пропустил между

ними, что народился антихрист».— *П. П.*). Выросший на русской почве, том этот поднимается «до прообразования всемирного», в... образах представляя соперничающее ДОБРО и ЗЛО и их непрекращающийся ПОЕДИНОК»[1]. В изложении Евг. Трубецкого в точности то же звание отнесено к ратоборствующему против Зла Бл. Августину при сопоставлении его с классическим римским юристом Ульпианом: «Если Ульпиан справедливо считает себя жрецом права, то с таким же точно основанием автор „Града" мог бы быть назван юрисконсультом царства Божия».

Близость концепции Гоголя обнаруживает и общая картина учения Бл. Августина о двух градах. Она также начинается с определения исторических корней: «Цицерон говорит, что сама этимология слова Res Publica — оно для него однозначно с Civitas (государство) — указывает на то, что государство есть *дело общее*, ибо оно представляет собою коллективный интерес, общую волю целого народа. Государство есть общее дело народа, говорит Цицерон, прибегая к непередаваемой на русском языке игре слов: Res Publica est Res Populi.

Августин считает, что это цицероновское определение применимо единственно к тому общественному союзу, где царствует правда и к которому относятся слова Пс. 87-го „Славное возвещается о тебе, Град Божий". Этот град противополагается языческому царству как единственное достойное человека и праведное общее дело (интересно, как настойчиво звучит здесь это понятие об „общем деле", невольно наводящее на мысль о древнейших корнях основной формулы учения другого замечательного русского подвижника — Н. Ф. Федорова.— *П. П.*).

В философии Цицерона римский юридический идеал воспринимает в себя элементы стоической системы. Из позднейших римских стоиков Сенека, в выражениях, чрезвычайно напоминающих Августина, говорит о противоположности божеского и человеческого царств: „Мы обнимаем мыслью два царства (Res Publicas): одно великое и по истине всем общее, в котором содержатся боги и люди, в нем мы устремляем наши взоры не на тот или другой угол, но солнцем измеряем границы нашего государства; другое царство есть то, к которому мы принадлежим в силу рождения". Император Марк Аврелий, выражая несколько иначе ту же самую мысль, возвещает, что „человек есть гражданин выш-

---

[1] Золотусский И. П. Гоголь (серия «Жизнь замечательных людей»). М., 1979. С. 458.

него города, по отношению к которому остальные города суть как бы отдельные дома".

До самого нашествия Алариха среди римских язычников твердо и упорно держалась вера в вечность Рима и в бесконечность его царствия. Августин, после его падения, говорит: „Не будем влагать сердце наше в земное, когда мы видим, что разрушается земля. Земные царства меняются. Разрушается город, к которому мы принадлежим в силу телесного рождения, но пребывает вечно тот, в котором мы духовно родились. Что мы пугаемся гибели земных царств? Нам для того обещано небесное, чтобы мы не погибали вместе с земным". Между Августином и язычниками идет спор о том, который есть истинно вечный город — Град Божий или город богов, город небесный или город земной; кому де-юре и де-факто принадлежит вечное царствие? В этом споре теократический идеал прежде всего противополагается языческому идеалу города вселенной.

На земле Град Божий и царство земное переплетены и смешаны между собою, так что определенных границ между тем и другим не существует. И, несмотря на это несовершенство временного земного его состояния, идеал города Божия не упраздняется ходом событий, а оправдывается перед судом истории. Град Божий есть центральный мотив всемирной истории, он есть безусловная провиденциальная цель, к которой стремится все исторически-существующее. Как вечное ядро и разумный смысл временной действительности, Град Божий не протекает и не уничтожается подобно другим историческим явлениям, имеющим лишь относительное условное значение: он предшествует созданию времени в вечном плане, присутствует от начала в беге времен, непрестанно в нем сохраняется, раскрываясь постепенно, и переходит в вечность, переживая самую временную действительность: он есть начало, середина и конец мирового процесса.

Град этот не есть только союз Бога и людей, ему принадлежит универсальное значение; в нем не только человечество, но и вся тварь, начиная с ангелов и кончая массами неорганического вещества, приходит к совершенному единству в Творце. Он есть и верховный принцип мировой структуры и конечная цель творения, ибо осуществляет вечный покой создания, в котором каждое существо находит подобающее ему место и назначение. Мир физический не упраздняется в идее этого Града, но подчиняется воле человека. Из типических явлений его в истории примечателен образ царя Давида, который воспевал псалмы: сама музыкальная

гармония пения, стройное согласие в разнообразии звуков служит здесь символом всеобщей симфонии (т. е. со-звучия), стройного порядка вышнего города.

В идее вечного Града заключается принцип архитектурного единства вселенной. Это не просто фактор духовной жизни человечества,— но и венец всей космической организации. В нем обновленный человек господствует над преображенным веществом, ибо град сей есть не только новое небо, но и новая земля».

5

Вряд ли стоит недооценивать роль той тончайше разработанной символической системы, особенности которой обусловили надежное сохранение и переход главной интуиции мыслителя первых веков христианства через громадный промежуток в тысячу четыреста лет в книги русского писателя XIX столетия. Она несомненно послужила фоном, основой, на которой появился неповторимый узор гоголевского художественного полотна, и сбрасывать это со счетов — как бы ни изменилось по сравнению с прошлым веком наше мировоззрение — значит сознательно строить осадную стену непонимания, брать штурмом и разрушать чужой «душевный город» наподобие иноплеменных завоевателей.

Но общий очерк развития темы города у Гоголя представляет собою лишь часть тех обширных пространств, что открываются при помощи данного им самим замечательного ключа. Второю половиной являются внутренние глубины и высоты, своего рода иерархия восхождения к вершинам его творческого наследия, в соответствии с последней авторской волей ставшего нашим общим народным достоянием.

Вопрос о наследовании «вещей невещественных» возникает здесь неспроста. Он вплотную подводит к так до сих пор и не нашедшей положительного решения загадке предварительного «Завещания», написанного за семь лет до смерти и напечатанного в качестве первой статьи книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (это был один из самых потрясающе-искренних — и одновременно самых уязвимых — приемов гоголевской «нравственной публицистики»). Толки о том, вправе ли человек, хотя бы и увенчанный славой писатель, обнародовать заживо свой завещательный документ, а также другие удивительные места этого уникального текста, в особенности те так полюбившиеся праздному досужеству строки, где предупреждалось о возможности длительного, похожего на смерть сна,— как-то отвлекли внимание от гораздо

более интересного и даже таинственного четвертого пункта, в котором Гоголь с подкупающей убедительностью утверждает, будто главное, что остается после него соотечественникам, это произведение, озаглавленное ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ[1]:

«IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ. Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне... Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времени детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поученье людям. Да вспомнят также мои соотечественники, что, и не бывши писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ, ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений.., перед которыми пыль все величие... творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть, ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце их

[1] Выделено прописными мною.— *П П*. Новую попытку истолкования см.: Барабаш Ю. «Соотечественники, я любил вас...» (Гоголь: завещание или «завещание»?)//Вопросы литературы, 1989, № 3. С. 175 — 180.

услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают... за которую благодарю... как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий — во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою ПРОЩАЛЬНУЮ ПОВЕСТЬ. Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал сам Бог испытаниями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем» (т. 7, с. 9 — 11)[1].

Читателю, однако, нет смысла перебирать в своей памяти одно за другим названия всех сочинений Гоголя: среди них произведения под названием «ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ» нет. Приятно считать, что «Завещание» было составлено во время тяжелого кризиса 1845 г., когда писатель полагал близкий конец неминуемым; счастливо пережив болезнь, он решил отказаться от напечатания самого откровенного из творений. В первом издании «Выбранных мест» самим автором сделано следующее примечание к IV пункту: «ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни».

Но означает ли это, что повесть вообще не существовала? Вывод, к которому пришли исследователи гоголевского наследия за сто лет, прошедших после его смерти, короток. «Прощальная повесть, о которой Гоголь говорит в IV пункте „Завещания“, очевидно, так и не была им написана»,— гласит лаконический комментарий к академическому собранию сочинений[2].

Между тем нельзя не заметить, что уже одно лишь опи-

---

[1] Настойчивость, с какой кровный малороссиянин Гоголь именует себя русским, неслучайна. Эта черта вообще необычайно характерна для него, умевшего естественно соединять искреннейшую привязанность к родным местам, совершенно очевидную из посвященных им произведений, со способностью собрать и обнять в своем любящем сердце всю Россию как единое живое тело Отечества и не представлявшего возможности расчленения одного народа на взаимно обособленные части и племена. Насколько это было непросто, можно увидеть, например, сравнив известное стихотворение Т. Г. Шевченко «Гоголю» (1844?) с гоголевским пожеланием, выраженным в записной книжке 1846 г., «обнять обе половины русского народа, северную и южную, сокровище их духа и характера».

[2] Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Л., 1952. Т. 8. С. 787 (автор примечания Л. М. Лотман).

сание ее сделано с такой силой и непосредственностью, что повесть эта явственно встает перед глазами словно живая. Как-то трудно поверить, что, прощаясь с читателями перед уходом в вечность, великий писатель решил солгать, а солгав, сумел сделать это столь искренне. Так считали и многие его современники, в том числе сама мать Мария Ивановна: в одном из писем ее к М. П. Погодину она спрашивает: «...скажите мне, пожалуйста, существует ли прощальная повесть моего сына, о которой он упоминает в последней своей книге?»[1]. Вряд ли можно принять и предложение отождествить с повестью книгу «Выбранные места из переписки с друзьями»,— это собрание статей и писем Гоголь никогда не называл художественным произведением.

Вероятно, окончательно снять покров тайны с этой загадки гоголевского наследия уже не сумеет никто; но с помощью врученного читателю автором тонкого луча-ключа — символа города — можно все-таки попытаться проникнуть сквозь него хотя бы в некоторых местах, чтобы затем, передвигая луч с одного угла картины к другому, сделать ее, подобно искусному рисунку-обманке Федора Толстого, немного прозрачной. Для этого вглядимся пристальнее в последние неоконченные произведения писателя, мысленно продолжая линии их движения,— и постепенно выяснится, что почти все они сходятся где-то в вышине в некое единое целое, представление о котором помогает понять не самые контуры и сюжет ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ, а то, *о чем* должна была бы идти в ней речь.

В первую очередь ключевой образ «душевного града» оказывается подходящим к затворенной двери внутреннего содержания уничтоженного в большей своей части второго тома «Мертвых душ», о чем можно судить по множеству указаний и намеков, разбросанных в эпистолярном наследии Гоголя. Так, в письме А. О. Смирновой от 25 июля 1845 г. читаем: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет „Мертвых душ“. Это пока еще тайна... и *ключ от нее* покамест *в душе* у одного только автора» (курсив наш.— *П. П.*). Укрепление собственного душевного строения рассматривается как составная часть творчества: «Самый предмет и дело связано с моим собственным внутренним воспитанием... никак не в силах я писать мимо меня самого» (письмо Н. М. Языкову от 14 июля 1844 г.). И наконец, благоустройство души

[1] Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 765.

соединяется с художественной работой в дружном создании надежных, прочных произведений: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе... Дело мое — *душа* и *прочное дело жизни.* А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно» («Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“» — т.7, с.92).

Существует мнение о том, что поставленных перед поэмой высочайших задач — изобразить «несметное богатство русского духа» — Гоголь выполнить не сумел. Однако сохранившиеся главы черновика второго тома и отзывы современников, слышавших чтение автором не дошедшего до нас белового текста, прямо говорят об обратном: мощным творческим усилием писателю удалось воплотить, казалось бы, невоплотимое. Лучшим из доказательств, как это справедливо определил С. С. Аверинцев, издавна считалось «показательство»[1]. Когда Гоголь прочел заведомо предрасположенному против нового направления его мысли С. Т. Аксакову переделанные первые главы второго тома поэмы — тот был побежден. В письме от 27 августа 1849 г. он признается: «Я должен перед вами покаяться... Мне показалось несовместным ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава Богу!.. Талант ваш не только жив, но и созрел. Он стал выше и глубже». О том, что это был не просто комплимент, вызванный стремлением загладить прошлые недоразумения, свидетельствует другое признание С. Т. Аксакова в письме сыну Ивану (20 янв. 1849 г.): «Такого высокого искусства: показать в человеке пошлом высокую человеческую сторону, нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность (любопытно, как сам Аксаков невольно начинает говорить здесь совершенно в духе и стиле столь нелюбимых им «Выбранных мест».— *П. П*). Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит он в первом томе»[2].

Эти слова передают как бы отраженный свет — свет не потухшего давно огня, поглотившего когда-то сожженные страницы трагической книги, но «невечерний» вечный свет

---

[1] Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 33—36.

[2] Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960 (серия «Литературные памятники»). С. 200—205.

художественного гения, горевшего мечтой о духовном воскресении соотечественников. Они питают и надежду на оправданность поисков глубинной основы творческого завещания писателя, последних неоконченных его произведений, объединенных идеей ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ. Рукописи, пусть даже оборванные и незавершенные, есть живое зеркало таинственного процесса создания, овеществления, одевания плотью высшей красоты, являемой через человека в мир. И они действительно, как сделалось принято повторять вслед за М. Булгаковым, «не горят!»

Кстати, никто еще, как кажется, не обращался к наиболее вероятному источнику этого знаменитого выражения — сложной метафорической системе третьей книги Ездры, завершающей весь корпус Ветхого Завета (только в православной его редакции). М. Булгаков, сын профессора Киевской духовной академии и сам большой знаток философии древности[1], несомненно должен был быть знаком с содержанием ее четырнадцатой главы: это как раз и есть ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЖЖЕННЫХ КНИГ. «Век во тьме лежит,— говорится в 20—21 стихах,— и живущие в нем — без света; потому что закон... сожжен, и оттого никто не знает, что соделано... или что должно им делать». И вот охваченный жаждой спасения своего народа Ездра в пророческом жаре за сорок дней пишет вновь 94 сожженные книги Завета, «чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания» (ст. 47 — 48).

Трудная работа восстановления доброго имени второго тома «Мертвых душ» уже в значительной степени проделана современным литературоведением (здесь следует в особенности отметить книгу К. Мочульского). Теперь в отношении этого замечательного памятника национальной литературы, открыто соединившего в себе яркую образность с размышлениями о судьбах и путях возрождения России, вряд ли кто-то решится сказать вслед за эмигрантской писательницей Н. Берберовой, что сожжение его является «несомненной удачей современной литературы». Слишком явно уже, что за лицо у той «современной литературы», которая спешит «облегченно вздохнуть, услышав, что Гоголь сжег вторую часть „Мертвых душ“ — ее не столь легко было бы предать забвению, как „Выбранные места“,— впрочем, и это потребовало более полувека»[2].

---

[1] См.: Бурмистров А. С. К биографии М. А. Булгакова //Контекст 1978. М., 1978. С. 249—268.

[2] Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, 1972. С. 236.

6

В отличие от неоконченных «Мертвых душ», конечные слова ненаписанной ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ хорошо известны: это одновременно и последние слова умирающего Гоголя, знаменитая фраза его о «лестнице». Однако, для того, чтобы понять значение ее во всей полноте, нужно обратиться сначала к истории предсмертной болезни писателя.

Необычайная личность его обладала редкой способностью создавать вокруг себя неповторимо «гоголевскую» атмосферу, магическую, загадочную и словно бы наполненную ожившими символами. В особенности это касается венчающих месяцев его жизни: тот, кто все поздние свои годы пытался во что бы то ни стало определить причины недугов России — сам умер от болезни, о которой до сих пор нельзя сказать ничего определенного: врачи не сумели уверенно произнести хотя бы ее название.

Непонятное заболевание, сведшее великого писателя в могилу 42 лет от роду, продолжает занимать умы и специалистов-медиков, и просто читателей его книг. Не избежали соблазна попытаться разгадать его истинное имя и коллеги Гоголя по писательскому цеху, причем тут снова ярко проявилась «заряженность» гоголианой всего, что каким бы то ни было образом связано с таинственным малороссиянином. Совпадения, о которых речь будет еще идти впереди, даже после смерти не перестали преследовать боготворившего Гоголя М. Булгакова (по «гражданской» профессии — врача); а другой близкий ему автор нашего времени, М. Зощенко (дед его, как выяснили биографы, учился вместе с Гоголем в полтавском училище) — сам заболел и чуть было не умер от нервного расстройства, весьма схожего с роковой хворостью своего прославленного предшественника.

Это побудило М. Зощенко обратиться к посредству получившего тогда известность психоанализа, после чего он не только сумел убедить себя в излечении от недуга, но и попытался приложить приобретенный опыт к биографиям знаменитых людей прошлого. В посвященной этому повести «Перед восходом солнца» специальный раздел отведен исследованию болезни Гоголя, рассматриваемой как комплекс подсознательных неврозов, приобретенных в раннем детстве[1]. Однако с зощенковскими выводами согласны немногие: наряду с критикой

[1] Вторая часть повести «Перед восходом солнца», содержащая размышления о Гоголе (раздел 5 главы «Горе уму»), была опубликована

профессиональных психологов и литературоведов вескими аргументами против них являются также и «возражения сердца», та высокая духовность русской литературы, которая обусловила неприятие психоанализа практически всеми писателями нашего века, к какому бы направлению они ни принадлежали — от М. Бахтина до В. Набокова[1].

Пользуясь именно этим критерием, К. Мочульский пришел к наиболее, как представляется, достоверному заключению о том, что Гоголь незадолго перед кончиной получил «откровение о смерти» (или, говоря опрощенным языком героя повести «Живая вода» современного писателя Вл. Крупина — «второй звонок»). Известно, что он обладал чрезвычайно тонкой и чувствительной нервной организацией, обостренно воспринимавшей окружающий мир и его «веяния». С. Т. Аксаков недаром утверждал: «Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, содрогаются от причин, нам неизвестных...» Ощутив эту весть особым, скрытым в глубинах человеческого организма и до конца еще не разгаданным механизмом «памяти о будущем», который время от времени предупреждает о грядущей опасности и даже может дать заранее предчувствие близкого конца, Гоголь постарался использовать оставшиеся часы жизни для приготовления к достойной встрече с неизбежным.

С такой точки зрения многие обстоятельства последних дней писателя получают свое объяснение. Остановимся лишь на некоторых из них. За две недели до смерти, выглядя еще внешне совершенно здоровым, Гоголь неожиданно пожелал исповедаться и причаститься, причем не во время поста, как это было принято (а приближался самый значительный, Великий пост), но тотчас же — на мясопустной неделе («маслянице»), что выглядело весьма необычно для людей прошлого века. Однако здесь он, доселе всегда внимательно прислушивавшийся к советам друзей и знакомых, впервые решительно счел себя вправе в одиночку определять свою дальнейшую судьбу. И с этой поры в соответствии с той «запредельной», но всеми соблюдаемой логикой, которая дает мнению умирающего главенство перед доводами тех, кто еще не приблизился к конечной черте, превращает всякое слово его в приказ для остающихся и дает право «вещать» почти

под измененным названием «Повесть о разуме» в № 3 журнала «Звезда» за 1972 г. (с. 170—174), а затем под тем же заглавием выпущена отдельной брошюрой (М., «Сов. Россия», 1976).

[1] Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8. С. 139.

что из-за гроба — «завещать»,— Гоголь не колеблясь отвергал не подходившие ему советы не только близких и врачей, но и такого признанного им самим духовного авторитета, как митрополит Московский Филарет.

Причастившись в четверг на последней неделе перед постом, пишет наблюдавший писателя доктор А. Т. Тарасенков, он ездил в Преображенскую больницу, где жил тогда известный на всю Москву «блаженный» прорицатель Иван Яковлевич Корейша, который оставил по себе память и в истории городской жизни середины столетия, и в литературе того и даже более позднего времени (о нем писали Н. С. Лесков, И. Г. Прыжов, Ф. М. Достоевский, Б. Пильняк и др.): «Подъехав к воротам больничного дома, он слез с саней, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой»[1].

Можно предполагать, что в драматическую минуту Гоголь вспомнил обычай, издревле существовавший на Руси, обращаться за моральной поддержкой к отрешенному от мирской суеты «нищему духом», юродивому. Сомнения в приемлемости такого обращения и завершивший их отказ оказываются прообразовательными для будущего российской словесности, в особенности же для тех из писателей, кого внутренняя потребность действовать на благо родины выводила за пределы чистой беллетристики. Дорожка, протоптанная в снежном поле у так и не отворенных ворот на Преображенке, и два путешествия к старцам Оптиной пустыни — куда Гоголь, напротив, вошел и совет, данный там, принял,— проложат путь для Ф. М. Достоевского, А. К. Толстого, В. С. Соловьева, К. Н. Леонтьева и многих других. Напоследок эпизод с Корейшей как бы в перевернутом изображении отразится в многозначительной картине колебаний Льва Толстого, которого бегство из Ясной Поляны привело ко входу в келью оптинского старца Варсонофия: Толстой тогда, как передает со слов очевидца И. А. Бунин, «бродил возле скита, дважды подходил к дому старца о. Варсонофия, стоял у его дверей, но не взошел...»[2].

Вернемся к рассказу доктора Тарасенкова. «Во всю масле-

---

[1] Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Гоголя. Изд. 2-е. М., 1902. С. 17—20.

[2] Бунин И. А. Освобождение Толстого //Собрание сочинений. М., 1967. Т. 9. С. 21.

ницу после вечерней дремоты в креслах, оставаясь один, по ночам при всеобщей тишине он вставал и проводил долгое время в теплой молитве, со слезами, стоя перед образами.

Ночью с пятницы на субботу он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что не довольствуется недавним причащением, и просил тотчас же причастить и соборовать себя, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим». Об этом же откровении знали и другие современники: так, московский приятель славянофилов Д. Н. Свербеев в день похорон писателя отмечает: «О голосах-предвестниках смерти, которые будто бы слышал Гоголь, я тоже что-то прослышал»[1].

И вот, после того как в ночь с понедельника на вторник первой недели Великого поста были сожжены многие рукописи, Гоголь целиком посвятил себя приготовлению к кончине. «Когда А. П. Толстой,— пишет Тарасенков,— для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде.., он возражал с благоговейным изумлением: „Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!“» Искреннее желание сделать любимому человеку благо — каким оно им представлялось — придавало взгляду окружающих больного близорукость и зачастую заставляло видеть в его просьбах «оставить в покое» извращенную набожность, «религиозную манию» или даже сознательное самоубийство. Глядя на события начала 1852 г. сейчас, с более чем векового расстояния, невозможно не согласиться с очевидной правотой великого писателя, снова заглянувшего гораздо дальше своих современников.

Это подтверждается и свидетельствами врачей, в том числе такого самостоятельно мыслившего человека, как Тарасенков: он никаких следов «помешательства», «умственного расстройства» или хотя бы умственной слабости не заметил: «По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Замечательны слова, которые он сказал А. С. Хомякову, желавшему его утешить: „Надобно же умирать, а я уже готов, и умру...“»

«Страшную минуту» смерти Гоголь встретил в спокойном сознании исполненного долга. Один из присутствовавших при

[1] ЦГАЛИ, фонд 472, оп. 1, ед. хр. 20, л. 1.

его последнем дне вспоминает: «На все увещания Гоголь отвечал: оставьте меня, мне хорошо»[1].

7

Рассказав в самых общих чертах об обстоятельствах, при которых было произнесено завершающее слово, необходимо теперь привести «показательство» его исключительного значения — в качестве наиболее подходящего, универсального ключа — для раскрытия внутреннего содержания творческого наследия того, кто отдал всю свою жизнь служению Слову как неслиянно-нераздельному соединению духа и материи.

Тема эта образует вокруг Гоголя в некотором роде «мысленное кольцо»; начальным и одновременно конечным звеном его является последнее стихотворение того наиболее ценимого писателем из поэтов допушкинской эпохи, чьи произведения одни только могут сравниться с его собственными в замахе космического охвата бытия,— Г. Р. Державина. Так называемая ода «На тленность» дошла до нас в виде всего двух первых четверостиший, написанных даже не на бумаге, а на аспидной (грифельной) доске; там были начаты за три дня до кончины и остались в час смерти лежать на столе завещательные строки:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,—
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!..

Что должно было последовать за столь «ужасотрепетным» — говоря словами Державина — зачалом, можно лишь гадать (например, существует соблазн попытаться разрешить вызываемое стихотворением чувство страшного недоумения и безнадежности, приняв первые буквы его за излюбленный барочной поэзией и не чуждый самому Державину акростих: в них читается начало фразы «Руина, чти...»). Конец аспидной доски, давший к тому же с тех пор трещину, испещрен набросками строчек, которые никто не сумел разобрать.

Обычно при анализе этой оды обращают внимание на

---

[1] Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1897. Т. 11. С. 546.

висевшую в кабинете поэта эмблематическую карту «Река времен», схематически представлявшую историю человечества посредством разноцветных потоков, струек и ручейков истории главнейших народов мира. Нам удалось обнаружить другую, довольно неожиданную параллель: оказалось, что зачин известной хроники-романа византийской писательницы XII в. Анны Комниной «Алексиада» почти в точности совпадает с приведенными выше стихами, разнясь с ними только в оптимистическом решении поставленного вопроса. Вот это вступление в современном переводе[1]:

«Поток времени в своем неудержимом и вечном течении
влечет за собою все сущее.
Он ввергает в пучину забвения
как незначительные события, так и великие, достойные памяти.
Однако историческое повествование служит надежной защитой от потока времени и как бы сдерживает его неудержимое течение;
оно вбирает в себя то, о чем сохранилась память,
и не дает этому погибнуть в глубинах забвения».

Выявленному близкому сходству присуще подлинно поэтическое свойство «чудесности»: дело в том, что первый русский перевод книги Анны Комниной вышел лишь спустя несколько десятилетий после смерти Державина. Существовало, правда, два перевода на иностранные языки, которые могли какимлибо образом стать ему известны: французский XVII в. и изданный Шиллером в самом конце XVIII столетия немецкий (на втором из этих языков поэт читал свободно, на первом — с трудом, пользуясь помощью родных). Древнегреческим же, на котором писала византийская принцесса, Державин не владел вовсе. В итоге, хотя при двухступенчатом переводе с оригинала точность его воспроизведения невелика, все же остается вероятность того, что необычное совпадение было плодом прихотливой игры судьбы, сведшей в одно прекрасное утро древний текст, карту и державинскую Музу для последнего счастливого сотрудничества,— но не меньше и возможность отнестись к совпадению по-иному...

Оставляя выбор читателю, перейдем к следующему звену цепи, к тому, как предсмертное творение поэта Фелицы отразилось в загадочном трагическом стихотворении, завершившем писательский путь его младшего современника — Константина Батюшкова. Отрывок оды о реке времен, опуб-

[1] Комнина Анна. Алексиада (пер. Я. Н. Любарского). М., 1965. С. 53. Для удобства сравнения мы даем разбивку на периоды, соответствующие строкам державинского стихотворения.

ликованный через несколько месяцев после кончины Державина, в том же 1816 г. был помянут в статье Батюшкова «Вечер у Кантемира»[1]. Исследователи батюшковской поэзии давно обратили внимание также на то, что предпоследнее произведение его впрямую перекликается с этим отрывком, повторяя некоторые фразы и даже число строк:

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым.
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет[2].

После этого Батюшков создал всего лишь одно стихотворение — семистрочную эпитафию о Мелхиседеке; вскоре вслед за тем он в 34-летнем возрасте сошел с ума, прожил еще ровно столько же, иногда обретая некоторое просветление рассудка, а по смерти на стене его комнаты в Вологде была, согласно преданию, снова обнаружена та же эпитафия, начертанная, как и державинская, углем:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Литературоведы выдвигали различные варианты толкования имени главного персонажа стихотворения. Ссылаясь на то, что с ветхозаветным Мелхиседеком — царем Салима, который благословил пришедшего в его землю Авраама (Бытие 14: 18—20), он не имеет ничего общего, предлагалось, например, понимать под ним Христа, поскольку в Послании ап. Павла к евреям Спаситель был назван, в соответствии с пророчеством Псалтири (Пс. 109: 4) «иереем во век по чину Мелхиседекову». Делались также и ссылки на апокрифическое «Слово» о Мелхиседеке, приписываемое Афанасию Александрийскому[3]. Но ни один из этих текстов также

[1] Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе (серия «Литературные памятники»). М., 1977. С. 35—36.

[2] См. комментарий Н. В. Фридмана в кн.: Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений (большая серия «Библиотеки поэта»). М.-Л., 1964. С. 320.

[3] Батюшков К. Н. Полное собрание... С. 320—323 (комм.).

не содержит ничего похожего на то, что говорит Мелхиседек Батюшкова. В последнем академическом издании его стихов и прозы И. М. Семенко, справедливо критикуя все эти спорные предположения, делает, однако, новое — еще более сомнительное, указывая в качестве источника древнюю книгу Екклесиаст, в которой действительно есть множество высказываний пессимистического характера, но... ни слова нет о Мелхиседеке[1].

Нам представляется гораздо более логичным связать с последним стихотворением ближайшее к нему предпоследнее и оба их увидеть сопряженными с тем потрясающим воздействием, какое оказал на возбужденное начинавшейся болезнью воображение Батюшкова мрачный завещательный глагол Державина,— которого он, по-видимому, и олицетворил в образе ДЕРЖАВНОГО библейского персонажа (не случайно ведь единственным произведением в стихах, написанным Батюшковым во вторую половину его жизни, оказалось переложение державинского же вольного перевода «Памятника»).

Общность тем у этих писателей, глубинную преемственность их поисков решения «вечных вопросов» в творчестве, противостоящем уничтожающему напору реки всеобщего изменения, символизирует знак змеи, взявшей в зубы собственный хвост: в средневековой эмблематике он обозначал Вечность как одушевленный мудростью и любовью круг выходящей поверх времени целокупности бытия. Поэтому вдвойне знаменательно, что одним и тем же словом «аспид» в русском языке того времени называли и эту змею, и материал, из которого была изготовлена державинская доска.

Жажда и способность решать онтологические задачи перешли в следующем поколении к Пушкину, гордившемуся признанием, полученным им у «певца Екатерины» на царскосельском экзамене,— и к Гоголю, который в размышлениях об эпическом размахе как одном из основных требований, предъявляемых к подлинно национальному искусству, часто приводил в пример именно Державина, подчеркивая, что: «Постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было — начертать образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками;— изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей Церкви» (статья «В чем же

---

[1] Батюшков К. Н. Опыты в стихах... С. 576—577 (комм.).

наконец существо русской поэзии и в чем ее особенности», т. 7, с. 171).

Выяснению связей, соединяющих эту новую триаду, также может послужить распространение символического смысла последних текстов писателей на весь объем их творческого наследия (интересную интерпретацию последних строк Пушкина — совсем, казалось бы, незначительной записки к детской беллетристке Ишимовой, дает, например, А. Битов в статье «Намерение жить», под измененным редакцией названием «Последний текст», опубликованной к юбилею поэта в «Литературной газете» от 4 июня 1981 г.). При этом постепенно становится очевидным, что Гоголь как раз стал средоточием, перекрестием, на котором сошлись два основных направления русской литературы. «В XVIII в.,— пишет об этом поэт Вл. Ходасевич,— не связывали прямо своей личной участи с результатами собственных наблюдений над миром... Для Державина эта связь не существовала (цитируется приведенное выше место из статьи „В чем же наконец существо русской поэзии“.— *П. П.)*. Этот воображаемый образ влиял на жизненные поступки Державина, но связать свою судьбу с участью этого образа Державин не намеревался — по крайней мере сознательно... Пушкин, напротив, первый связал неразрывно трагедию своей человеческой личности с личностью художника, поставив свою судьбу в зависимость от поэтических переживаний.

Гоголь есть сочетание начала державинского с началом пушкинским... Трагедия Гоголя в том, что державинская концепция с пушкинской в нем постепенно слились, и *тогда весь смысл его собственной жизни очутился в зависимости от результата наблюдений...* Гоголь хотел вырваться из одиночества художника и к своему подвигу приобщить всю Россию... Мы, мы, мы — вот непрестанное местоимение, которое на все лады склоняет Гоголь, потому что не может и не хочет жить, если его личный опыт и его личное дело не станут опытом и делом всей России»[1].

8

В предсмертные часы Гоголь, по свидетельству присутствовавших, почти не разговаривал и произнес всего несколько фраз. Были среди них бытовые, малозначительные, были и

---

[1] Ходасевич В. Ф. Памяти Гоголя (статья написана в 1934 г. к 125-летию со дня рождения писателя). В кн.: Литературные статьи и воспоминания. Н.-Йорк, 1954. С. 83—91.

неразобранные или загадочные; определить, какая оказалась фактически последней, теперь уже нет возможности. Называлась, к примеру, следующая: «Поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте!»[1]

Но общий суд современников и последующих поколений соотечественников подавляющим большинством голосов сделал выбор в пользу других «прощальных» слов. Вот что о них рассказывает Тарасенков: вечером умирающий «повторял несколько раз: „Давай, давай! Ну, что же!" Часу в одиннадцатом закричал громко: „Лестницу! поскорее, давай лестницу!"» Скончался Гоголь на следующий день, в четверг 21 февраля 1852 г: «Уже около восьми часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни»[2].

Отчего же именно просьба о лестнице согласным приговором была сочтена не просто обобщающей, многозначительной, но и несомненно соответствующей самой личности писателя, более всего похожей на его «внутреннего человека»?

В поисках корней этого образа приходится обратиться к преданиям почти трехтысячелетней давности,— к столь далеким векам относится первое появление в древней письменности идеи лестницы как действенного, работающего символа, диалектически соединяющего горнее с дольним (в архитектуре она возникла еще раньше — достаточно указать на архаические ступенчато-пирамидальные постройки). Русские люди гоголевской эпохи не один раз на протяжении своей жизни должны были слышать этот текст в качестве обязательно читающейся на богородичные праздники паримии (ветхозаветного отрывка) из 28 главы книги Бытия. В нем описывается видение патриарха Иакова: «Се лестница утверждена на земли, еяже глава досязаша до небесе: и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней». Для лучшего понимания всего эпизода приведем его целиком по позднему переводу на русский язык, хотя он, в отличие от славянского варианта, зачастую ради большей связности изложения отступает от точного воспроизведения подлинника.

«Иаков же вышел из Вирсавии, и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба;

---

[1] Погодин М. П. Кончина Гоголя // Гоголевский сборник. Спб., 1902. С. 129 (перепечатано из «Москвитянина». 1852. № 1).

[2] Тарасенков А. Т. Указ. соч. С. 27—30.

и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое как песок земной; и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю; ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я и не знал! И убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль...» (ст.10—19).

Камень, водруженный древним патриархом, смело может быть назван предком того, о котором говорил сам Гоголь в рассуждении об источнике эпического дарования Державина,— ведь в его время существовала уже почти двухтысячелетняя традиция, опиравшаяся на выработанное в первые века нашей эры учение о прообразовательном, а не буквальном восприятии ветхозаветных событий, считать краеугольным камнем, основой личности как раз чистую и глубокую духовность; символ же лестницы воспринимался в качестве наглядного изображения восхождения души горé (вверх), постоянной заботы о просветлении сердца и ума человеческого.

Именно так толковал этот образ любимый на Руси подвижник VI в. Иоанн Лествичник: краткий завет, часто писавшийся на вложенном в руку его иконного изображения свитке, гласит: «Восходите, братия, восходите усердно, полагая восхождения в сердце». Существовал и особый иконописный сюжет, представлявший преломление сна Иакова новозаветной мыслью,— «Лествица духовного восхождения»; из числа известных московских храмов, посещавшихся Гоголем, такими изображениями обладали Благовещенский собор Кремля (фреска), Смоленский собор Новодевичьего монастыря (икона), Преображенский собор Новоспасского монастыря (фреска; ныне экспонируется в филиале Гос. Исторического музея — церкви Троицы в Никитниках в Никольском приделе). Та же композиция во множестве воспроизводилась в книгах и народных лубках[1].

[1] Два варианта ее можно увидеть в работе Н. Н. Розова «Книга в России в XV веке». Л., «Наука», 1981. Рис. 6 и 7; описание см.: С. 80—82.

О пристальном изучении Гоголем «Лествицы» в последний год жизни дважды упоминает Тарасенков: «Он указал мне на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его». И далее: «Взяв себе в образец и наставление сочинение Иоанна Лествичника, которое ему так нравилось своими строгими правилами, он старался достигнуть высших ступеней, в нем описанных»[1].

Появление этой книги на свет было непосредственно вызвано посланием Иоанна Раифского, убеждавшего тезоименитого пустынника изложить свой опыт духовной жизни в помощь тем, кто только вступает на тот же многотрудный путь. В послании, обычно прилагающемся в виде предисловия к изданиям «Лествицы», следующим образом определяется связь видения Иакова с подвигом внутреннего устроения души: «Лествица, утвержденная даже до небесных врат, возводит произволяющих, чтобы они безвредно, безбедственно и невозбранно проходили полчища духов злобы, миродержателей тьмы и князей воздушных. Ибо, если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел на лествице такое страшное видение, то тем более предводитель словесных агнцев не только видением, но и делом и истиною может показать всем непогрешительный восход»[2]. Откликнувшийся на предложение собрата Иоанн Синаит так объяснил название своего труда: «Соорудил я лествицу восхождения от земного во святая, во образ тридцати лет Господня совершеннолетия; знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения».

О широком признании, которое получило это учение о духовном совершенствовании на Руси, свидетельствует и то, что знаменитый «Иван Великий», главная колокольня столицы государства, впервые построенная посередине Кремлевского холма еще Иваном Калитой и являющаяся единственной звонницей трех его соборов — Успенского, Архангельского и Благовещенского,— приняла свое громкое название именно от расположенной в ее нижнем ярусе церкви Иоанна Лествичника. В том же ряду преемства стоят и довольно распространенные в народе четки, до сих пор находящиеся в широком употреблении у старообрядцев, также изготовляю-

---

[1] Тарасенков А. Т. Указ. соч. С. 13 и 31.

[2] Преп. отца нашего Иоанна игумена Синайской горы Лествица (в русском переводе). С.-Посад. 1909. С. XI.

щиеся в виде лесенки и носящие соответствующее наименование — «лестовки»[1].

Любопытную «перевернутую» параллель пути возрастания добра, воплощенному в образе лествицы, находим в средневековом предании, отраженном народной книгой о Фаусте. Когда колеблющийся чернокнижник начинает допытываться у Мефистофеля о том, так ли страшны муки преисподней, как о них принято думать,— тот отвечает, используя этот обоюдоострый символ: «Адские муки так ужасны, что черти взошли бы на небо по ступенькам из ножей, если бы у них оставалась еще надежда»[2].

Писавшие о последних днях Гоголя отмечали и сходство его предсмертной фразы со словами, произнесенными на пороге гроба прославленным в XIX столетии подвижником предыдущего века Тихоном Задонским. «Незадолго перед кончиной,— повествует его жизнеописание,— святитель Тихон видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление восходить по ней. „Я,— рассказывал он своему другу Козме,— сначала боялся слабости своей. Но когда стал восходить, народ, стоящий около лестницы, казалось, подсаживал меня все выше и выше к самым облакам".— „Лестница, объяснил ему Козма,— путь к Царству Небесному; помогавшие тебе — те, кто пользуются наставлениями твоими и будут поминать тебя". Тихон сказал со слезами: „Я и сам то же думаю: чувствую близость кончины"». И, хотя Тихон умер почти за 70 лет до Гоголя, в 1783 г., тот, вероятно, знал о величественной картине, виденной любимым в народе праведником; об интересе его к нему сохранилось даже документальное известие — в «Реестре книгам, отправленным из Москвы в Рим Гоголю 1841 года Июля 11 дня» среди прочих изданий названа и «Жизнь преосв. Тихона», выпущенная в Москве в 1837 г.[3]

---

[1] См.: Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 50—51; ср.: Старообрядческий календарь на 1981 г. (Рогожский); кн. С. Булгакова «Лествица Иаковля», Париж, 1929, а также любопытный образчик «наукобесия» в духе Ник. Морозова — «библейско-астрономический этюд» Д. Святского «Лестница Иакова, или Сон наяву». Спб., 1911.

[2] Легенда о докторе Фаусте (серия «Литературные памятники»). М., 1978. С. 187; см. также: С. 345 и 382.

[3] ЦГАЛИ, фонд 2591, оп. 1, ед. хр. 385, л. 2. Полное название этой книги такое: «Описание жизни и подвигов преосвященного Тихона епископа Воронежского и Елецкого, сочиненное для любителей и почитателей памяти сего Преосвященного». Выписки, сделанные Гоголем из творений Тихона Задонского, доставленных ему А. О. Смирновой, приводятся в кн: Н. И. Петров. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Гоголя. Киев, 1902. С. 46.

Последнее опубликованное при жизни писателя его произведение — статья «Светлое воскресение» — в самой возвышенной своей части тоже использует образ лестницы как видимого знака возможности достижения «Верховной вечной красоты»: «...Но зачем же уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество,— то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается в душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество, и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это, и к чему это? Будто не известно, зачем? Будто не видно, к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на небе, и, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за это, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может-быть, за одно это желание уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней» (т. 7, с. 215 — 216).

Возникнув тысячи лет назад, тема «лествицы» пронизывает творчество Гоголя и от него передается, протягивается далее в будущее. Причем образ ее не есть просто знак с раз навсегда установленным смыслом; напротив, он получил собственную «биографию», судьбу в мировой культуре со своими ярко выраженными индивидуальными чертами, периодами известности и забвения, юности и созревания плодов. Но стремление раскрыть его роль в произведениях одного писателя оказывается плодотворным не для попыток стороннего наблюдателя логически разложить все известные факты в соответствии с заданным заранее чертежом, а лишь при художественном, со-творческом подходе. Тогда, изгибаясь над рекою времен, лестница соединяет настоящее с прошлым и многое доселе скрытое от глаз начинает вдруг чудесным образом открываться перед удивленным взором.

Недаром поэт начала XX в. Вячеслав Иванов утверждал, что вся культура вообще есть «лествица Иакова, иерархия благоговения», то есть восхождение человеческого сознания от первичных мифологических догадок и прозрений к полноте откровения. «Простота, как верховное и увенчательное достижение,— писал он,— есть преодоление незавершенности окончательным свершением, несовершенства — совершенством. К простоте вожделенной и достолюбезной путь идет через сложность. Не выходом из данной среды или страны добывается она, но восхождением. На каждом месте,— опять повторяю и свидетельствую,— Вефиль и лестница Иакова,— в каждом центре любого горизонта. Это путь свободы истинной и творчески действенной»[1].

О том же говорят строки стихотворения нашего современника Юрия Кузнецова «Тайна Гоголя», которые здесь, однако, будут приведены только наполовину — чтобы появиться полностью в свое время далее, в последующем изложении:

Ожидая небесного знака,
Он вперялся очами во тьму.
Но не вынес великого страха —
И видение было ему.

Словно синяя твердь растворилась
Над убогой его головой,
Шумно лестница с неба спустилась,
Он ловил ее долго рукой...[2]

9

Если взглянуть на последние слова Гоголя одновременно и как на завершающую фразу его ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ, то это даст возможность связать образ лестницы с образом города в один общий символ пути духовного роста и совершенствования, лежащий в основе всех его поздних произведений. Можно попытаться выстроить и более конкретную, обозримую лестницу из трех оставленных на полуслове неоконченных гоголевских текстов, имеющих отношение к теме города,— и поэтому-то совсем не случайно появилось то многоточие, которое заключает предыдущую главку. Удобнее и показательнее, впрочем, было бы размес тить этот привычный знак умолчания три знаменующие незавершенность точки не в линию, как обычно, а в виде настоя-

[1] Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов. Пг., 1922. С. 57 (см. также: с. 22).

[2] Юрий Кузнецов. Отпущу свою душу на волю. М., 1981. С. 29.

щей лесенки, падающей, подобно водяным каплям, вниз ·.— и потом возносящейся вверх, словно пар от дыхания или мысль, устремленная в поднебесье.· В таком же порядке, в каком названы два эти основные направления движения, предстоит идти теперь и самому рассказу: прежде чем подняться при помощи трех избранных отрывков в вышину, ему придется спуститься сначала на три ступени вниз, погружаясь все больше в пропасти земли и глубины нравственного падения.

Первый шаг — это история памятника на могиле писателя, который вместо того, чтобы стать последним верстовым столбом жизненной дороги, недвусмысленным напоминанием о едином итоге всякого рода стремлений, неожиданно сделался действующим лицом такой прихотливой истории, какую мог выдумать только один человек — тот, кто, казалось бы, навеки упокоился под ним.

«А есть, действительно, в смерти Гоголя что-то примиряющее, любовное»,— писал М. П. Погодин[1]. Вокруг умершего друга снова встретились и примирились разошедшиеся было С. Т. Аксаков и С. П. Шевырев, Ю. Ф. Самарин и сам Погодин. И всем им, собравшимся на сороковины у могилы Гоголя на кладбище Данилова монастыря, показалось многозначительным, что день этот был первым вслед за Пасхой (в 1852 г. она праздновалась 27 марта). После заупокойной обедни на погосте обители была отслужена панихида, во время которой хор постоянно перемежал праздничные, воскресные песнопения с погребальными,— это тоже было отмечено как событие неслучайное, поскольку и самые случайности, происходящие по поводу Гоголя, при ближайшем рассмотрении обнаруживают в себе скрытый художественный смысл и красоту.

На поминальной трапезе, где рядом с друзьями и певчими были по традиции посажены сорок бедных, прочитали вслух ту последнюю напечатанную при жизни автора статью «Светлое воскресение», что как нельзя более подходила к случаю (слова о лестнице из нее и были приведены выше). Пересекающиеся происшествия этого дня, рассказанные его свидетелями, стали одним из начальных звеньев нескончаемой — и бесконечно дорогой для нас — цепи вещественных доказательств продолжающегося живого присутствия Гоголя в мире.

«Тут же начали,— замечает Погодин,— говорить о надгробном памятнике, о надписях. Одна получила всеобщее одоб-

---

[1] Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 11. С. 549—552.

рение: ...до такой степени выражалась ею жизнь покойника; из пророка Иеремии (20: 8) „Горьким словом моим посмеюся"».

Если взглянуть сейчас на памятник Гоголя, перенесенный с кладбища Данилова монастыря на Новодевичье и состоящий из двух основных частей: круглой колонны с бюстом и лежащей перед нею высокой каменной плиты,— то можно прочесть надписи с «прообразовательными» текстами на трех ее сторонах: обращенной вовне к зрителю торцевой и двух боковых.

Справа находится цитата на церковнославянском языке из книги Иова (8: 21): «Истинным же уста исполнит смеха, устне же их исповедания». В современном переводе С. С. Аверинцева эта фраза звучит следующим образом: «Он еще наполнит смехом твой рот и ликованьем — твои уста»[1].

На левой стороне приведены отрывки из книги Притч Соломоновых: «Правда возвышает язык» (14: 34; в данном контексте «язык» снова употреблено в значении «народ».— *П. П.*) и «Муж разумивый престол чувствия» (12: 23). Последний стих выбран, как кажется, не слишком удачно: в оригинале это место является темным, и замысел, который имели в виду, помещая его на гоголевский памятник, не совсем ясен. Русский перевод Библии дает значение, обратное тому, какое представляется подходящим для писателя: «Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость».

Но наиболее известным и чаще всех цитируемым стало именно изречение из пророка Иеремии. Однако, если обратиться к синодальному русскому тексту книги Иеремии и далее — к еврейскому подлиннику,— то оказывается, что как раз этих — и только этих — слов, которые высечены на надгробии, в них нет. В чем же дело?

Впервые этот вопрос был поднят во время празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Гоголя С. С. Вермелем, оспорившим истинность всех вообще надписей на его памятнике в заметке, напечатанной газетой «Русские ведомости»[2]. Вермелю возражали П. И. Сакулин[3], Н. Никольский[4] и Ф. Чубис[5]. Спустя некоторое время С. С. Вермель расширил

---

[1] Поэзия и проза Древнего Востока (серия «Библиотека всемирной литературы»). М., 1973. С. 575.

[2] Русские ведомости. 1909. № 74.

[3] Там же. № 75.

[4] Там же. № 76.

[5] Слово. 1909. № 758.

заметку до размеров статьи, включив в нее также ответы на возражения, и отдал ее в журнал, специально посвященный проблемам культуры своего народа, озаглавив «Библейские надписи на могильном памятнике Гоголю»[1]. Ничего принципиально нового в отношении фактов в ней не говорится, сделан лишь более откровенный вывод: по мнению автора, цитаты из Ветхого Завета, высеченные на надгробном камне того, кого он называет «великим юмористом», есть оскорбление всего иудаизма в целом.

Решительное отвержение подлинности изречений, тем не менее, представляется в корне ошибочным. Выявим сначала контекст, в котором находятся вызвавшие спор слова. В этом отрывке идет речь о том, как оскорбленный и гонимый пророк, сетуя на то, что его обличения злоупотреблений и нечестия приводят только к издевательствам над ним со стороны непокорного «жестоковыйного» народа, попытался было вовсе замолчать,— но глагол правды будто огнем жег его кости и удержать его оказалось невозможно. Славянский текст гласит: «бых в посмех весь день, вси ругаются мне. Понеже горьким словом моим посмеюся, отвержение и бедность наведу, яко бысть в поношение мне слово Господне, и в посмех весь день». Перевод на русский язык излагает тот же фрагмент несколько иначе. Для лучшего понимания немного расширим цитату (слова, соответствующие надгробной надписи Гоголя, выделены нами курсивом): «Ты влек меня, Господи, и я увлечен; Ты сильнее меня, и превозмог; и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо, *лишь только начну говорить я*, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: „не буду я напоминать о Нем, и не буду более говорить во имя Его“; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог».

Разрешить проблему окончательно помогает библейская текстология. Она показывает, что — парадоксальным образом — древнейшим полным текстом Ветхого Завета в настоящее время является не еврейский «подлинник», а греческий перевод 70-ти толковников, осуществленный в III—II вв. до н.э. в Александрии. С него сделан и наш церковнославянский перевод, представляющий собою наиболее точную из существующих славянских версий. В обоих этих переводах

---

[1]ЦГАЛИ, фонд 119, оп. 1, ед. хр. 48, лл. 10—13.

помещенный на гоголевском надгробии стих звучит именно в той редакции, в которой написан.

Современный еврейский (масоретский) текст ветхозаветных книг относится к периоду гораздо более позднему: начало его составления было положено во II в. н. э., после чего он еще исправлялся и редактировался в VI—VIII вв. (основной целью исправлений было изъятие или пропуск тех мест, которые использовались христианами в качестве сбывшихся пророчеств об Иисусе как истинном Мессии). При этом было произведено не только множество искажений в отдельных стихах и выражениях — отвергнутыми оказались даже целые книги. Синодальный перевод Библии на русский язык, осуществленный уже после смерти Гоголя около ста лет назад, в отличие от славянского, ориентировался в основном на позднюю масоретскую редакцию, в которой наряду с другими испорчен и рассматриваемый 8-й стих 20-й главы Иеремии,— в чем и состоит причина отсутствия его в новых изданиях Ветхого Завета.

Однако сами церковные библеисты признают, что этот новый перевод, заметно упростивший чтение трудных мест и часто ради удобопонятности отклоняющийся от точной передачи подлинника, не является каноническим. «Русский перевод Священного Писания,— пишут, например, В. Сорокин и К. Логачев,— не предназначался для использования в богословии. Ему отводилась роль быть предметом домашнего чтения»[1].

Избранный друзьями Гоголя отрывок-эпитафия замечательно отразил союз художественной правды с пророческим служением, в котором сам он видел смысл своего творчества. Поэтому общественное мнение единогласно признало за ним право «представительствовать» гоголевскую память; вместе с тем и с чисто фактической стороны он оказывается куда ближе к истине, чем предполагают его запоздалые критики. Но нельзя не заметить и того, что история «исчезновения» слов Иеремии из оригинала снова обнаруживает вполне определенный характер; будто тень, отброшенная невидимым автором в будущее, ее выдает его безошибочно угадываемый профиль.

Подобного же рода происшествие случилось и со стоявшим за надгробной плитою Гоголя камнем и крестом. Как уже было сказано, в 1931 г. некрополь Данилова монастыря

---

[1] Актуальные проблемы русского перевода Священного Писания//Богословские труды. М., 1975. № 14. С. 155.

ликвидировали (не следует мешать его с доныне существующим в Духовском переулке, примерно в километре от монастыря, Даниловским кладбищем; сам монастырь, являющийся памятником архитектуры XVI—XIX вв., расположен по Даниловскому валу, 22 и недавно вновь возрожден). При этом прах нескольких известных деятелей культуры, в том числе и Гоголя, перезахоронили на Новодевичьем кладбище. Туда же были перенесены плита с библейскими надписями и большой камень из-под креста; в Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранилась фотография могилы в таком именно виде, который она имела в 1940-е годы[1]. Однако, к 100-летию со дня смерти предпринято было переустройство надгробия. «9 сентября 1951 г. на могиле было поставлено надгробие, украшенное бюстом писателя работы скульптора Н. В. Томского»,— пишет знаток гоголевской Москвы Б. С. Земенков[2]. И здесь постаравшиеся об этом люди, сами того не желая, перекинули лесенку из девятнадцатого столетия в двадцатое, соединив посмертные судьбы Гоголя и преклонявшегося перед ним М. А. Булгакова. Вот что рассказывает со слов жены Булгакова Елены Сергеевны литературовед В. Лакшин[3]: «Известно, что М. Булгаков благоговел перед Гоголем. Судьба связала его с ним и по смерти. Думая о Гоголе, Булгаков воскликнул в одном из своих писем: „Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!“ Так и вышло.

Булгаков умер в марте 1940 г. Тело его сожгли, а урну похоронили в вишневом саду Новодевичьего монастыря... Елене Сергеевне хотелось, чтобы памятник Булгакову был скромен и долговечен, а ничего подходящего не находилось. В поисках плиты или камня Елена Сергеевна захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними. Однажды видит, среди обломков мрамора, старых памятников мерцает в глубокой яме огромный черный ноздреватый камень. „А что это?“ — „Да Голгофа“.— „Как Голгофа?“ Объяснили, что на могиле Гоголя в Даниловском монастыре стояла Голгофа с крестом, символический камень, напоминающий о месте казни Христа. Камень этот, черноморский гранит, нашел где-то в Крыму один из братьев Аксаковых, и долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя (второй такой же Аксаковы привезут великому артисту Щеп-

[1] ЦГАЛИ, фонд 2413, оп. 1, ед. хр. 1364, л. 44.

[2] Земенков Б. С. Гоголь в Москве. М., 1954. С. 120.

[3] Лакшин В. Эскизы к трем портретам // Дружба народов. 1978. № 9. С. 219.

кину — его и сейчас можно видеть на Пятницком кладбище).

Прах Гоголя еще в 30-е годы был перенесен на Новодевичье кладбище, а к очередному юбилею скульптор Томский изготовил гоголевский бюст, заменивший последний дар Аксакова. Голгофа же с крестом, вытесненная колонной с беломраморным бюстом, нужна, понятно, не была. Ее сбросили в яму (тут неточность — крест был убран еще при переносе, в 1931 г., о чем свидетельствует названная фотография из фонда ЦГАЛИ.— *П. П.*).

Вот этот-то многотонный камень извлекли с трудом с того места, где он лежал, по деревянным помостам переволокли к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в землю над гробом. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакову».

Ныне могилы Гоголя и М. Булгакова расположены совсем рядом — всего в пяти рядках друг от друга. Прямо напротив гоголевского памятника лежат и перенесенные с того же Даниловского погоста поэт Н. М. Языков, его сестра Екатерина Михайловна, в замужестве Хомякова, сам А. С. Хомяков, а также перезахороненные из Симонова монастыря Д. В. Веневитинов и семья Аксаковых.

С ними Гоголь тоже связан посмертной историей — и не только благодаря привезенному ими из Крыма камню — Голгофе. Но рассказу об этом приходится предпослать небольшое отдельное вступление из числа тех, какие принято называть «вместо предисловия». Дело в том, что отношение наше к прошлому сродни отношению к русскому языку еще и в том смысле, что при неуважительном с ними обращении они непременно отвечают той же монетой, ставя порою в весьма неудобное положение. Об этом не следует забывать даже в пылу полемики — иначе результаты, к которым приведет подобный подход, могут оказаться прямо противоположными желаемым. Так, критикуя «православного социалиста» эмигранта А. Э. Левитина, авторы книги «Диверсия без динамита» А. Белов и А. Шилкин допускают следующую бестактность: «Утверждения Левитина не подкрепляются сколько-нибудь убедительными фактами, серьезными аргументами. В статье „Мир и свобода“ в качестве примеров „глумления“ над верой, над церковными святынями приводятся факты, которые могут вызвать лишь улыбку: на могиле Гоголя в Москве нет креста...» Между тем, нетрудно заметить, что среди всех человеческих чувств именно улыбка по такому поводу наиболее неуместна и для современного соотечественника Гоголя просто оскорбительна.

Прошлое, по самой этимологии этого слова, есть то, что

прошло, и, следовательно, внутри него уже невозможно что-либо изменить. Повествуя о совершенных в былые годы подвигах и часто сопутствующих им неудачах, недопустимо славить одни лишь первые и стирать из памяти вторые; напротив, поистине достойным продолжением традиций нашей великой истории является стремление назвать и исправить допущенные ошибки с тем, чтобы избавить потомков от их повторения. Пример такого трезвого, заботливого подхода и представляет собою предлагаемый отрывок из «Писем из Русского музея» Вл. Солоухина: «Разрушая старину, всегда обрываем корни. У дерева каждый корешок, каждый корневой волосок на учете, а уж тем более те корневища, что уходят в глубочайшие водоносные пласты. Как знать, может быть, в момент какой-нибудь великой засухи именно те, казалось бы уже жившие, корневища подадут наверх, где листья, живую спасительную влагу.

Вспомнив о корнях, расскажу вам об одном протоколе, который посчастливилось прочитать и который меня потряс. Взрывали Симонов монастырь. В монастыре было фамильное захоронение Аксаковых и, кроме того, могила поэта Веневитинова. Священная память перед замечательными русскими людьми, и даже перед Аксаковым, конечно, не остановила взрывателей. Однако нашлись энтузиасты, решившие прах Аксакова и Веневитинова перенести на Новодевичье кладбище. Так вот, сохранился протокол. Ну, сначала идут обыкновенные подробности, например: „7 часов. Приступили к разрытию могил...

12 ч. 40 мин. Вскрыт первый гроб. В нем оказались хорошо сохранившиеся кости скелета. Череп наклонен на правую сторону. Руки сложены на груди... На ногах невысокие сапоги, продолговатые, с плоской подошвой и низким каблуком. Все кожаные части сапог хорошо сохранились, но нитки, их соединявшие, сгнили...“

Ну и так далее, и так далее. Протокол как протокол, хотя и это ужасно, конечно. Потрясло же меня другое место из этого протокола. Вот оно:

„При извлечении останков некоторую трудность представляло взятие костей грудной части, так как корень березы, покрывавшей всю семейную могилу Аксаковых, пророс через левую часть груди в области сердца“.

Вот я и спрашиваю: можно ли было перерубать такой корень, ронять такую березу и взрывать место вокруг нее?»[1]

[1] Солоухин Вл. Славянская тетрадь. М., 1972. С. 130.

Эти слова Вл. Солоухина незаметно подводят ко краю первой ступени, и сделать следующий шаг вниз становится уже значительно легче. Теперь речь пойдет о тех широко распространенных в устной и письменной словесности легендах, которые связаны со вскрытием самой могилы Гоголя[1]. При этом следует подчеркнуть, что ценность представляют даже те из них, что не имеют, казалось бы, никакого фактического основания: ведь городские предания часто отражают народно-поэтический взгляд на события, оставившие глубокий след в сознании той или иной общественной среды или слоя. Изучение их как особого феномена культуры только еще начинается; почин, сделанный обществом «Старая Москва» в первые советские годы, в результате которого, к сожалению, удалось опубликовать лишь небольшую книжку Е. З. Баранова «Московские легенды» (М., 1928), был подхвачен в совсем недавнее время[2].

Мифотворчество по поводу гоголевских тем является одним из наиболее живучих и повсеместно бытующих, причем виною этому не просто разбуженное воображение читателей или постоянно существующее в определенных кругах стремление «снизить» образ автора до отождествления с его собственными, нередко весьма несимпатичными персонажами. Здесь играют роль и субъективные, чисто гоголевские факторы, не последним из которых оказывается чрезвычайная насыщенность его произведений духом того, что М. Бахтин называл «карнавальным» элементом в литературе; всякий контакт с ними необходимо сообщает воспринимающему интеллекту обостренное внимание к таинственной сути самых, казалось бы, обыденных вещей, вкус к остраненному и «прообразовательному» толкованию тех соединяющих их многозначительных совпадений, на какие богата любая пристально рассматриваемая действительность.

Кстати, нас самих тоже недвусмысленно предупреждали те, кто уже долгое время занимается подобного рода вопросами творческого наследия Гоголя, утверждая, что настой-

---

[1] См., напр., опубликованную журналом «Новый мир» (1974, № 1) поэму А. Вознесенского «Похороны Гоголя Николая Васильича» (так в тексте! — *П. П.*) — и справедливую критику ее в книге И. П. Золотусского «Час выбора» (М., «Современник», 1976. С. 245—256).

[2] Муравьев В. Б. Московские литературные предания и были. М., 1981.

чивое желание разгадать загадки его текстов ни для кого не проходит даром. Рано или поздно углубившийся в них начинает чувствовать некую связь — или видимость связи — с самим автором, и тогда требуется немалая доля спокойствия, прилежания и такта, чтобы суметь не заблудиться умом, различить злое от доброго и не наделать «мистических» ошибок.

Трудно сказать, насколько такие опасения соответствуют истине. Зато вполне в наших силах представить образец того «заигрывания», в какое вступает гоголевский мир со своим исследователем. Однажды, только что окончив ту важную для всей вновь предлагаемой концепции часть работы, которая посвящена символу «ключа», мы отправились в один из московских архивов, где еще накануне были заказаны новые рукописные документы для ее обоснования. Однако, вопреки ожиданиям, нужных материалов в тот день получить так и не удалось: дело в том, объяснил смущенный работник читального зала, что в замке́ двери комнаты, где они хранятся, каким-то непонятным образом *заклинило ключ*, и войти туда оказалось невозможно.

Подивившись лукавству случая, мы поехали тогда в фундаментальную библиотеку, чтобы проверить следующую единственную ссылку, касающуюся судьбы могилы писателя в первой трети нашего века, которую сумели найти в наиболее полной из посвященных этой эпохе специальных библиографий[1]: в ней говорилось, что «Литературная газета», № 11 от 1929 г., напечатала статью «Могилы писателей расхищаются», где речь идет об исчезновении плиты и разрушении решетки надгробия Гоголя в Даниловском монастыре. И вот, взяв в руки «Литературную газету», мы после многочасовых поисков обнаружили, что не только на указанной странице или вообще в 1929 г.— первом году ее возобновления в советское время,— но и за все три года до переноса праха на Новодевичье кладбище статьи такой попросту не существует...

Впрочем, газетные заметки — не самое важное из того, что приобретает вдруг способность исчезать из поля зрения при соприкосновении с Гоголем. Пропадают, например, спокойствие и рассудительность у совершенно консервативной прежде публики; так, множество людей того «света», который принято было клясть за отсталость и косность взглядов, не поверило

---

[1] Гоголь Н. В. Материалы и исследования. Под ред. В. В. Гиппиуса. М.-Л., 1936. Т. 1. С. 459.

даже официальному сообщению о кончине писателя! Другие, указывая на необъяснимую болезнь его, рассматривали смерть как нечто сверхъестественное или, по крайней мере, необычайное. Вот что вспоминает в «Записке о смерти Гоголя» Д. Н. Свербеев: «Были, однако, люди, которые считали его кончину каким-то чудом.— Слухам и рассказам о ней не было конца, общество взволновалось...

Я подошел к гробу поэта; но и тут встретило меня другое неожиданное смущение...»[1]. В чем же именно состояло смущение при столь несомненном зрелище, как лежащий в гробу умерший знакомый человек, опять-таки узнать нельзя — потому что рукопись Свербеева как раз на этом месте обрывается.

Толки, разнесшиеся в самый день погребения, приняли уже поистине гомерический (чтобы не сказать — гоголевский) характер. Они были еще усилены тем обстоятельством, что это оказались чуть ли не первые в городе общественные похороны *писателя.* Н. Ф. Павлов в письме к А. В. Веневитинову от 1 марта 1852 г. сообщает: «Всего любопытнее и поразительнее толки в народе во время похорон; анекдотов тьма; все добивались, какого чина. Жандармы предполагали, что какой-нибудь важный граф или князь; никто не мог представить себе, что хоронят писателя; один только извозчик уверял, что это умер главный писарь при университете, т. е. не тот, который переписывает, а который знал, к кому как писать, и к Государю, и к генералу какому, ко всем»[2].

Зародившаяся после опубликования в «Выбранных местах» «Завещания» легенда о том, что Гоголь был погребен в состоянии летаргического сна, также проявила немалую живучесть и перешла вместе с другими в новое столетие. Вызванное всеми ими, не слишком прикрытое любопытство обнаруживает уже публикация о починке к очередному юбилею памятника на могиле, в связи с чем в самом начале века было частично раскрыто и захоронение[3]. В ней сказано следующее: «ГРОБ ГОГОЛЯ. Приведение в порядок заброшенной на Даниловском кладбище в Москве могилы Гоголя ко дню празднования столетия со дня его рождения, 20 марта текущего года, взял на себя город, и в настоящее время работа эта выполнена. Вросшая в землю и покривившаяся надгробная плита была вынута, очищена и отполирована. Были произведены земляные работы и устроен для плиты,

---

[1] ЦГАЛИ, фонд 472, оп. 1, ед. хр. 20.

[2] Барсуков Н. П. Указ. соч. С. 538.

[3] Исторический вестник. 1909. Февраль. С. 847.

весящей 300—400 пудов, сводчатый фундамент, образующий над местом, где находится гроб, нечто вроде склепа. При производстве этих работ была обнаружена на глубине плотная масса кирпича и известки, которою был залит в свое время при похоронах дубовый гроб, сохранившийся в целости до сих пор, о чем свидетельствовали совершенно крепкие углы гроба, обнаружившиеся в тех местах, где известковая масса от времени осыпалась. Над фундаментом была сделана каменная площадка, на которой теперь и водружена надгробная плита. Находившийся в головах громадный булыжный камень с крестом отчищен, а крест вновь вызолочен...» (Далее в числе прочего говорится еще об установке решетки — той самой, что сохранилась доныне.— *П. П.*)

Но окончательно разрешить всякого рода недоумения и погасить слухи должен был бы, казалось, перенос праха на Новодевичье кладбище, поскольку в подобных случаях обычно производилась эксгумация — то есть вскрытие гроба и медицинская экспертиза останков. Нужно заметить, что действие это, естественно экстраординарное, но вполне уместное с научной точки зрения, в определенных обстоятельствах не вызывало возражений и со стороны традиционного мировоззрения прежней России — ортодоксального православия. В его рамках вопрос об эксгумации, называвшейся тогда «освидетельствованием», возникал при подготовке к прославлению мощей святых. В первые годы XX в. в связи с возбуждением дела о причислении к лику святых Серафима Саровского на эту тему по поручению Синода был даже написан специальный труд профессором духовной академии Е. Е. Голубинским. Немало отчетов о «свидетельствованиях» содержат и дела Синода за XVIII—XIX вв., когда под предлогом их неудовлетворительных результатов всячески затруднялась новая канонизация. Следовательно, порицания или осуждения заслуживает не сам факт вскрытия могилы, хотя и он является, конечно, происшествием исключительным,— но недостойное отношение к нему в какой бы то ни было форме: неуважительном поведении, бестактном описании или праздном разглагольствовании.

Постоянно имея это в виду, расскажем вкратце историю вскрытия захоронения Гоголя, какой она предстает из сохранившихся документов и воспоминаний очевидцев. Итак, 31 мая 1931 г. в незадолго перед тем закрытом Даниловском монастыре были в присутствии особой комиссии разрыты погребения супругов Хомяковых, поэта Николая Языкова, писателя Гоголя и музыканта Николая Рубинштейна с целью

переноса останков их с ликвидируемого кладбища на другое, сохранявшееся в качестве всемосковского некрополя-памятника. До нас дошел составленный при этом «Акт о вскрытии могилы Гоголя Николая Васильевича на кладбище бывшего Даниловского монастыря для перепогребения праха его на Ново-Девичьем кладбище в Москве»[1],— однако, в отличие от акта, перепечатанного Вл. Солоухиным, документ этот загадочно немногословен.

Приводим его целиком: «31 мая 1931 г. мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии на кладбище бывш. Даниловского монастыря произведена эксгуммация (так в тексте.— *П. П.*) писателя Николая Васильевича Гоголя для перепогребения на новом кладбище бывш. Ново-Девичьего монастыря в Москве». И это все, что сказано о самом событии и его обстоятельствах: ни данных медицинской экспертизы, ни фиксации положения тела, ни каких-либо других подробностей в акте нет. После приведенных только что строк следуют лишь шестнадцать подписей: Нестеренко, А. Смирнов, М. Ю. Блауберг, Ник. Ашукин, В. Соловьев, Вл. Лидин, Эм. Герман, И. Сельвинский, С. Борисов, А. Тышлер, три малоразборчивые (предположительно — Л. Негри, В. Сетниц, А. Кигрябатник) и три полностью непонятные.

Не так давно в ЦГАЛИ поступила также запись литературоведа Н. С. Ашукина «Перенесение праха Гоголя, Хомякова и Языкова. 31 июня 1931 г.»[2]. Она гласит: «Я был при откапывании гробов. Видел скелет Гоголя, на котором из одежды сохранились только кусочки фалд сюртука, все истлело. Скелет и череп Хомякова — все истлело, но прекрасно сохранилась одежда — полукафтан со шнурами. Череп Языкова — белые крепкие зубы. Вспоминаю с чувством возмущения, как присутствовавший при эксгумации переводчик Сметанич стащил (ибо нельзя сказать «взял на память») кусочек ребра Гоголя. (Лидин взял кусок полуистлевшего сюртука Гоголя и позднее вделал его в переплет 1-го издания „Мертвых душ“.)

Н. Ашукин. Январь 1937 г.»

К записи приложены пять фотографий, сделанных В. Г. Лидиным. На первой изображена группа писателей, из которых отмечены звездочками и названы по именам: 1 — П. С. Сухотин, 2 — Всев. Иванов, 3 — П. Павленко, 4 — Н. Тихонов,

---

[1] ЦГАЛИ, фонд 139, оп. 1, ед. хр. 61.
[2] ЦГАЛИ, фонд 1890, оп. 3, ед. хр. 37.

5 — редактор журнала «Новый мир» В. Соловьев, 6 — Н. С. Ашукин, пишущий акт об эксгумации (из шести названных здесь под актом стоят подписи только В. Соловьева и самого Н. Ашукина). На втором фото — останки Н. М. Языкова, переложенные в новый гроб, устланный газетами; виден хорошо сохранившийся череп. На третьем — останки А. С. Хомякова, переложенные в новый гроб; видна сохранившаяся одежда. На четвертом — «Группа писателей. Обед после перенесения праха Гоголя и Хомякова в Даниловском монастыре» (!). И на пятом — группа писателей, присутствовавших при эксгумации Гоголя (в том числе одна женщина, вероятнее всего — М. Ю. Барановская).

Таким образом, фотографии останков самого Гоголя здесь нет. Стоит обратить также внимание на совершенно «гоголевскую» ошибку мемуариста: как известно, в июне всего 30 дней...

Минуло пятьдесят лет, и, по-видимому, никого из тех, кто оставил свой автограф 31 мая 1931 г., уже не осталось в живых. Все дополнительные сведения, которые удалось собрать, дошли в передаче их близких и знакомых. В первую очередь обратимся к тому, что рассказывала одна из крупнейших специалисток по московским некрополям Мария Юрьевна Барановская (урожд. Пономарева,— инициалы ее имени и отчества при фамилии, которую она носила в первом браке (Блауберг) стоят третьими в числе подписей под актом). М. Ю. Барановская неоднократно говорила хорошо знавшим ее людям о своих впечатлениях при вскрытии могилы Гоголя. По ее словам, он был найден в гробу с вытянутыми вдоль тела руками (между тем как по обычаю руки покойника складывали на груди); поверх скелета сохранились части сюртука, полосатых брюк со штрипками и стоптанных кожаных башмаков. Участвовавший в комиссии по эксгумации врач-патологоанатом поднял череп с остатками светло-каштановых прядей (деталь достоверная, потому что в обиходе принято ошибочно считать, будто Гоголь был темноволос; истинный цвет сейчас можно увидеть на перстне с частью волос писателя из коллекции Государственного Исторического музея) и, внимательно изучив, заметил вслух, что череп в соответствии со своим строением должен был принадлежать гениальному человеку. Затем его осторожно приняла на руки сама Мария Юрьевна (кстати, оба они — и врач, и историк — были в перчатках), пригладила волосы, подержала несколько времени и, не утерпев, заплакала. Охранявший порядок милиционер, мало посвященный в подробности происходившего,

при виде этого посочувствовал: «Глядите-ка, вот вдова убивается!..» С тех пор М. Ю. Барановская получила в кругу друзей прозвище «мадам Гоголь».

Все эти детали (за исключением разве необычного положения рук) как будто бы не должны были стать почвой для возобновления старых или появления новых легенд и не могли вызвать непонятную лаконичность составленного при этом документа. Картина, однако, значительно меняется в рассказе другого свидетеля — Алексея Петровича Смирнова, известного археолога и директора Гос. Исторического музея, подпись которого прямо предшествует руке Марии Юрьевны. Он вспоминал о том, что положение тела Гоголя в распечатанном гробу было вполне обыкновенным, за исключением одной, но очень неожиданной подробности — у скелета отсутствовала голова. Оттого-то, согласно А. П. Смирнову, и плакала Барановская, участвовавшая до того в нескольких других вскрытиях погребений деятелей русской культуры (в том числе и в эксгумации Аксаковых и Веневитинова в Симоновом монастыре), и поэтому без особо сильной причины слез над этой именно могилой она проливать бы не стала.

Как ни невероятен такой вариант события, он также имеет немало подтверждений. Помимо помянутой, но не обнаруженной статьи в «Литературной газете» с рассказом о разграблении захоронения Гоголя в 1929 г., встречаются указания на существование по этому поводу даже специальной переписки между директором Театрального музея А. А. Бахрушиным и директором Литературного музея В. Д. Бонч-Бруевичем. Она была вызвана будто бы тем, что к первому из них дважды (с перерывом в год) приходили незнакомые люди с недвусмысленным предложением «продать голову Гоголя» (!). Возмущенный Бахрушин наотрез отказался вступать с ними в какие бы то ни было переговоры, но коллеге своему написал об этих оскорбительных «негоциях» и просил обратить особое внимание на охрану могил писателей. К сожалению, не удалось обнаружить документальных свидетельств названной переписки: в доступных нам московских архивохранилищах (ЦГАЛИ, Литературном музее, Гос. Центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина, ГИМ и рукописном отделе ГБЛ) следов ее пока не нашлось. Оба известных деятеля науки действительно занимались охраной памятников на подвергавшихся перестройке и частичному упразднению московских кладбищах, и документы об этом дошли до нас,— однако в них нет упоминаний о могиле Гоголя. Следует отметить также, что директор Театрального музея

Алексей Александрович Бахрушин умер в 1929 г., почти за три года до возникновения дела о переносе праха Гоголя, но В. Д. Бонч-Бруевич переписывался и с другими членами семьи, работавшими в смежных областях гуманитарных наук,— историком Сергеем Владимировичем, чл.-корр. Академии Наук СССР (1882—1950), Юрием Алексеевичем и др. Не исключена, впрочем, возможность и того, что если часть останков писателя на самом деле пропала, то это могло иметь место еще в 1920-е гг., при жизни Алексея Александровича.

Не так давно нам удалось познакомиться с содержанием авторской записи происшествия 31 мая 1931 г., сделанной присутствовавшим при нем В. Г. Лидиным и находящейся ныне в частном собрании. Записка эта была передана Б. С. Земенкову, составителю изданной в четвертом выпуске «Трудов Музея истории и реконструкции Москвы» книги «Гоголь в Москве» (М., 1954 г.),— но отражения в этой работе не получила. Она представляет собою машинопись примерно в десять страниц, озаглавлена «О перенесении могилы Гоголя» и снабжена на первом листе рукописным посвящением Б. С. Земенкову, а на последнем — подписью автора, сделанными красными чернилами. Первая половина содержит описание вскрытия захоронений Языкова и Хомяковых, во второй же части, непосредственно касающейся истории с Гоголем, говорится следующее.

Гроб Гоголя оказался на гораздо большей глубине, чем обычно. Раскопки, начатые с утра, были закончены уже в сумерки, и в то время, как раскрытие погребений Языкова и Хомяковых было автором сфотографировано, могилу Гоголя снять не удалось из-за надвинувшейся темноты (на следующий же день все уже было убрано). Вначале рабочие-землекопы наткнулись на «склеп», сделанный с большой прочностью из кирпича и известки (что подтверждается статьей 1909 г. из «Исторического вестника».— *П. П.*). Сквозь него никак не удавалось проникнуть, поэтому пришлось обкопать его весь кругом до основания. Только к вечеру в одной из боковых сторон обнаружили «вход» и, наконец, через него извлекли дубовый гроб. Верхние доски гроба полусгнили, боковые сохранились хорошо, на них были даже остатки позумента с фольгой, металлические углы и ручки.

Внутри гроба скелет начинался с шейных позвонков,— череп отсутствовал. Поверх останков был сюртук табачного цвета, под ним фрагменты нижнего белья с костяными пуговицами, башмаки с загнутыми кверху носками (это произо-

шло оттого, что нитки, соединявшие куски кожи, перепрели, а носки, сжавшись, завернулись) и каблуками высотою 4—5 см. Глядя на высокие каблуки, автор записки решил, что Гоголь был небольшого роста.

Еще днем в слое земли над «склепом» был, впрочем, найден чей-то череп, но присутствовавшие специалисты определенно утверждали, что он принадлежит весьма молодому человеку и к Гоголю отношения не имеет. В конце повествователь сообщает, что «позволил себе взять на память часть сюртука», в которую переплел впоследствии собственный экземпляр первого издания «Мертвых душ»...

Судя по свидетельствам старых москвичей, в том числе ветеранов городского отделения Общества охраны памятников, версия об исчезнувшей голове довольно широко бытовала еще в 1930-е годы. Нам представляется также, что с ней может быть связан один из сюжетных ходов романа «Мастер и Маргарита» (пропажа из гроба головы Берлиоза), так как М. Булгаков, предпочитавший всем другим писателям именно Гоголя, не только занимался в это время сценической интерпретацией «Мертвых душ», но и вообще внимательнейшим образом изучал все, что касалось его великого предшественника.

Молва приписывает некоторым другим из числа поставивших подпись под «Актом» подтверждение и старинной легенды о том, что скелет был найден якобы лежащим на боку или даже перевернутым вниз лицом. Кроме того, продолжая линию вынутого в качестве сувенира куска одежды в прошлое, обнаруживаем следующее свидетельство друга Гоголя гравера Иордана в письме к другому знакомому, художнику Александру Иванову, о таком обстоятельстве похорон в 1852 г.: «Он лежал в сюртуке... с лавровым венком на голове, который при закрытии гроба был снят... Каждый жаждал обогатить себя сим памятником»[1]. А современное предание гласит, что когда В. О. Стенич (Сметанич), стащивший гоголевское ребро, пришед домой вынул его из кармана, оно обратилось в деревянное; по крайней мере рассказ об этом был его любимой застольной историей... И, хотя все это пересказывается со слов несомненных очевидцев, нельзя не заметить, что чем далее, тем больше рассказы начинают походить скорее на вариации на темы гоголевских художественных произведений (например, «Заколдованного места»), нежели чем на реальные события[2].

---

[1] Русская старина. 1902. Кн. 3. С. 594.

[2] Ср. недавно опубликованный отрывок из воспоминаний писателя

И все же предпринятые поиски оказались не без успеха. Благодаря любезному содействию В. В. Кожинова нам удалось познакомиться с непосредственным очевидцем — это инженер-изобретатель и литературовед Сергей Михайлович Соловьев. Вышедшая в 1979 г. его книга «Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского» получила широкое признание; занимался он также изучением наследия Пушкина, Гоголя и других писателей XIX столетия.

Сергей Михайлович в 1930-е г. работал над проблемами, связанными с вакуумом, и был приглашен на вскрытие могил Данилова монастыря в связи с тем, что гроб скончавшегося в Париже Ник. Рубинштейна был, как предполагалось, перед отправкой в Россию герметически запаян и мог представлять интерес для исследований в этой области (предположение это оправдалось: тело музыканта, по словам С. М. Соловьева, было почти не тронуто тлением, но сразу после открытия в результате проникновения воздуха разрушилось, «опало» слоями прямо на глазах). Судя по воспоминаниям С. М. Соловьева, эксгумация происходила в теплый майский день; когда он с коллегами пришел на кладбище, могила Гоголя была уже разрыта. Под перемещенным в сторону массивным памятником выкопали глубокую узкую яму, огороженную с боков досками. После извлечения из нее земли с известкой обнаружилось, что яма совершенно пуста: не было не только останков писателя, но даже и следов гроба. Тогда стали рыть траншею кругом, стараясь захватить пошире, в надежде на то, что, может быть, памятник постепенно несколько сместился в сторону относительно погребения,— но и далеко вокруг ничего нового найдено не было. Кто-то из зрителей принялся ворошить кучи откинутого наверх при земляных работах грунта и в конце концов вытащил оттуда обломок человеческой челюсти. Это вызвало оживление среди подавленных непонятным отсутствием останков писателя очевидцев; фрагмент найденной кости вместе с кусками досок из ямы

А. Аросева 1934 г.: «26 мая. На днях был у Вс. Иванова, Павленко, Н. Тихонова. Рассказывали, как отрыли прах Гоголя, Хомякова и Языкова. У Гоголя головы не нашли. Кто-то раньше ее взял в числе других двух черепов, кои и теперь хранятся в каком-то доме. Которая Гоголя, определить трудно. Украл кто-то у Гоголя ребро. Сняли ботинки на высоких каблуках. Отослали в Поленовский музей. Гоголь лежал в синем фраке. Хомяков — в поддевке (неразб.). У него сквозь грудь пророс дуб. Языкова (поэта) голова, когда открыли могилу, оказалась высунувшейся из гроба. Это потому, что крышка гроба треснула. Жутко. Прах этих людей перенесли в Новодевичий монастырь. Бессмысленная „унификация“ и „централизация“». // Советская Россия. 1988. 5 авг.

был связан веревкой и отправлен на экспертизу. Таким весьма необычным «исчезновением» праха и была обусловлена чрезвычайная немногословность протокола об эксгумации.

С. М. Соловьев сообщил также следующую интересную подробность: непосредственно из обложенной досками ямы наверх к надгробию вели две массивных полых трубки из красной меди, извлеченных при вскрытии погребения и оказавшихся, таким образом, главной находкой комиссии. Он лично держал их в руках и внимательно осматривал; трубки были толстостенные, с диаметром внутреннего отверстия около 3—4 сантиметров, посередине делали колено-изгиб. Теми из присутствовавших, кто хорошо разбирался в технике, было высказано предположение, что предназначались они не просто для дыхания в случае, если уснувший летаргическим сном человек внезапно проснется под землей, но еще и для того, чтобы он смог дать о себе знать наверх, позвать на помощь,— большая толщина их стенок вызвана стремлением избежать поглощения звукового сигнала плотной массой почвы.

Оправдывая старинную пословицу, свидетельства расходятся между собою настолько серьезно, как могут расходиться лишь воспоминания очевидцев, и с уверенностью сказать, которое из них ближе всего к истине, исходя из одних сохранившихся фактов, чрезвычайно затруднительно. Но тут снова приходит на помощь данная человеку замечательная способность художественного провидения в творчестве, умеющем воскрешать картины давно ушедших времен, основываясь на, казалось бы, совсем «недоказательных» наблюдениях и соображениях. Например, на том, что рассматриваемые события полувековой давности обнаруживают символическое сходство «посмертной» судьбы Гоголя с судьбою земных останков того «сына человеческого», мысли о котором занимали писателя все последние годы его жизни: тут и плачущая у открытого гроба Мария, и необъяснимо пропавшее тело, и даже история с разобранной по рукам одеждой, приводящая на память необыкновенное по силе выражения скорби погребальное песнопение Великой Пятницы — «разделиша ризы Моя себе и о одежде Моей меташа жребий». И вот, связав все это с прощальными словами Гоголя о лестнице, поэт Юрий Кузнецов во второй половине стихотворения о нем пишет:

Понабилась несметная сила
Между рук и подъятых волос.

Гоготали кувшинные рыла:
— Инда правдой кичился ты, нос!

— Нет его: показался от страха!
Раскопаем могилу лжеца! —
Сотряслись осквернители праха,
Не увидя в гробу мертвеца.

Был ли Гоголь? Была ли Россия?
Белый Миргород? Сон наяву?
— Позовите великого Вия! —
Словно вихорь размел трын-траву.

Темный топот все ближе и ближе,
Замер Вий у святого креста.
— Поднимите мне веки: не вижу!
Вот он! — рявкнул...
Могила пуста.

Только лестница ввысь поднималась
В заходящих лучах... А по ней
Где-то сверху еще осыпалась
Пыль земная с незримых ступней.

11

Однако, прежде чем попытаться взойти вслед за героем стихотворения хотя бы немного вверх по этой лестнице, предстоит еще опуститься на одну ступень в обратном направлении. Когда уже начинает казаться, что некуда более погружаться глубже, что достигнуто дно,— вдруг открывается под ним, ниже смерти и могилы, другая, бездоннейшая бездна. Она создана и наполнена усилиями тех «звезд», что были увлечены в сияющие высоты безоглядной свободы самовыражения и не заметили, что источавшийся в этом сверкании свет постепенно из смешанного становился все более темным, приведя их наконец в самый низ мировой онтологии. В качестве «ключа» для проникновения в эти пропасти можно опять воспользоваться стихотворением Юрия Кузнецова; ведь, согласно автокомментарию поэта, строка «Нет его: показался от страха!» — относится к мрачной концепции «несуществования Гоголя», выработанной В. В. Розановым. И едва ли не подобных ему «испытателей крайнего» имеет в виду древний пророческий текст, когда говорит: «И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны».

В начале нашего века, в пору весьма широкой раскованности, душевной эйфории, легкого парения многих умов

«на ветрах всех культур», некоторых из них настойчиво «заносило» в одном определенном направлении. С удивительной беззаботностью, как будто действительно полученной «от лукавого», они щедро одаривали многое из того, что попадало в их кругозор, крайне серьезными в предыдущие два тысячелетия определениями типа «бесовщина», «сатанизм», «чорт» и т. д. С этими понятиями, обозначавшими в прошлом абсолютное зло, вдруг стало принято заигрывать; при том зачастую материалом выбиралось наследие безответных поневоле умерших. Вряд ли кто-либо пострадал от такого обращения больше, чем Гоголь.

Так, широкую известность приобрела книга Д. С. Мережковского, в первом издании носившая вполне откровенное название «Гоголь и чорт». Пользуясь природным даром выявлять во всем окружающем полярные антиномии и ловко сцепляя тезисы посредством излюбленных «горгиевых фигур» (напр.: во второй период своего творчества Гоголь переметнулся от «бездушной плотскости» — к «бесплотной духовности», а друзья и близкие попытались вернуть его обратно — «из бесплотной духовности в бездушную плотскость»),— автор ее представлял жизнь, творчество и верования писателя как постоянную борьбу с «нечистым», непрестанно воплощавшимся через его художнический дар и тотчас же принимавшимся мучить родителя разнообразными пытками. Приводя слова гоголевского письма Шевыреву от 27 апр. 1847 г.: «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чортом», Мережковский описывает затем трагическую историю последних дней его жизни (попыток грубого насильственного лечения и проч.) и ничтоже сумняшеся делает вывод о том, что в итоге вышло как раз обратное: не человек над чортом, а чорт над Гоголем насмеялся. «Горьким словом моим посмеюся»,— цитирует он прославленное изречение с гробового камня и так комментирует его на свой лад: «Увы, теперь мы знаем, кто над кем посмеялся»[1].

До окончательного развенчания оставался лишь шаг или полшага, которые и сделал В. В. Розанов, объявивший во всеуслышание, что чортом-то был сам Гоголь. В этом отношении, как доведение до крайнего предела невнимания и неуважения к писателю, эволюция его точки зрения на Гоголя представляет значительный интерес.

---

[1] Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений, изд. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1914. Т. 15. С. 308.

Прообразовательным для всей этой «истории нелюбви» кажется то, как, приблизившись однажды вплотную к двум основополагающим образам поэтики Гоголя и даже назвав их рядом,— Розанов сумел бесчувственно пройти мимо и не заметил глубокого смысла ни в символе ключа, ни в теме лестницы духовного восхождения. Это произошло в напечатанной им в журнале «Мир искусства» статье «Гоголь», где один за другим следуют два таких рассуждения: «При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного „ключа", остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мятущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют „ключа"... Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляло *ступени его внутренней с собою борьбы* (выделено нами.— *П. П.*), „улучшений себя". Он вечно кается — непонятно в чем».

Вопреки сложившемуся мнению о совершенной непосредственности и доходящей часто до непристойности повальной искренности Розанова, взгляд его на Гоголя характеризуется редким постоянством и одной общей направленностью — подспудным отвращением, выросшим постепенно в открытую ненависть. Однако, в отличие от первых лет его писательства, пришедшихся на конец XIX в., когда подобные чувства приходилось до поры скрывать, в начале нового столетия затаенная неприязнь выговаривается в печати все более откровенно, покуда не доходит до полного проклятия, которое Розанов даже сумел опубликовать, пользуясь трагической разрухой войны, в самом центре исторического христианства России — Сергиевом Посаде.

Основные этапы этого «заголения и обнажения» выражены в его произведениях чисто по-розановски афористично. Вот та же статья «Гоголь» (1900-е годы): «Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями, от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане... Он — колдун с филантропическим образом мыслей... в нем был легион бесов — как сказано о ком-то (! — *П. П.*) в Евангелии».

Книга «Опавшие листья» (короб первый, 1913 г.) полна гораздо более прозрачных мыслей: «...передо мной вырастает из земли главная тайна Гоголя. Он был весь именно... торжественный... „архиерей" мертвечины, произносивший такие и этакие „словечки" своего великого, но *по содержанию пустого и бессмысленного мастерства.* Я не решусь удержаться (в этой краткой фразе — весь стиль культуры того

времени.— *П. П.*) выговорить последнее слово: идиот».

И далее, все ниже и страшнее: «...его глупая, пошлая голова... Фу, дьявол! Оборотень проклятый!.. Никогда более страшного человека... *подобия* человеческого... не приходило на нашу землю».

Рисуя картину развития русской литературы, Розанов представляет Гоголя уже не просто чортом или идиотом, а самим возглавителем Зла — сатаной: «Пушкин и Лермонтов... Море русское — гладко как стекло... Тихая, покойная, глубокая ночь... Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мути, болотных пузырьков... Это пришел Гоголь. За Гоголем все. Тоска. Недоумение. Злоба, много злобы».

На склоне дней, насмерть оскорбленный разверзшейся в стране революцией, Розанов в издававшемся им по типу «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского журнальчике «Апокалипсис нашего времени» (С.-Пос., 1917—1918) виновником и духовным отцом того, что представлялось ему катастрофой, снова объявляет Гоголя. О нем он пишет в первом же выпуске (15 нояб. 1917 г.): «Прав этот бес Гоголь», бранью на него наполняет и письма того же времени к Э. Ф. Голлербаху:

«Рыло. Дьявол.
Гоголь. Леший» (26 окт. 1918 г.)

И, наконец, в письме к П. Б. Струве (нач. 1919 г.) незадолго до кончины делает поразительное признание: «Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: „ты победил, ужасный хохол“». Нет, он увидел русскую душеньку в ее «преисподнем содержании».— Здесь посредством литературной аллюзии совершено окончательное самоопределение в мире нравственных ценностей. Неустанно проклиная Гоголя за все мыслимые и немыслимые грехи, в особенности же за смех, Розанов в то же время в течение десятилетий упорно вел подкоп под *личность* Христа как раз за отсутствие оного,— и вот в итоге соединил обе линии словами, сказанными на смертном одре. Возвращая тему «последнего слова», они представляют собою пародийное переложение прощальной фразы умирающего римского императора Юлиана-Отступника (благодаря успеху трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист», первый том которой посвящен истории Юлиана, фраза эта получила широкую известность среди читающей публики начала века). Предпринявший отчаянную попытку остановить всемирное распространение христианства, последний император-язычник потерпел сокрушительное поражение и, погибая от полученной

на поле брани раны, воскликнул: «Ты победил, Галилеянин!..»

На теме смеха стоит остановиться подробнее в связи с тем, что Гоголь, в начале своего творческого пути относившийся к нему с искренней легкостью, с годами все большее внимание уделял размышлениям об обоюдоострой силе этого оружия и в ряде произведений, в основном генетически сопряженных с «Ревизором», выработал учение о двух видах смеха — смехе светлом, очистительном и целительном для души человека, и о пустом светском насмешничестве, обличающем праздную пустоту жизни «бонмотиста» и его окружения. Розанов же и здесь, доводя до последней степени переворачивание гоголевских положений с ног на голову, сумел не только предельно ясно выразить абсолютно противоположную позицию по отношению к смеху, но и показать, какое направление мысли Гоголя казалось его противникам наиболее неприемлемым. И, когда в упоминавшейся уже статье из журнала «Мир искусства» Розанов пишет: «Только такой ведун мог... смешаться и в слезах и в смехе, удивляя друзей и оставляя недоумение в потомстве»,— то соображение это, очевидно неверное в приложении к великому писателю, неожиданно оказывается точным определением для своего собственного автора. Оно передает его ошибку с «последней прямотой»: сам Розанов, ослепленный отсутствием любви, смешался в гоголевских слезах и смехе — и смешался весьма трагическим образом.

Осуждение смеха было одним из главных его обвинений, начиная с книги «Легенда о Великом инквизиторе Ф. Достоевского», которая содержит вместе с заглавной работой две статьи о Гоголе. В этой книге Розанов утверждает: «В самом существе смеха есть что-то недостойное». В кого именно метили эти слова, он позже сам указал во втором коробе «Опавших листьев»: «Мамочка не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким: „Ненавижу... Я ненавижу Гоголя потому, что он *смеется*“.

Я это внес в оценку Гоголя („Легенда об инквизиторе“), согласившись с нею, что *смеяться* — вообще недостойная вещь, что смех есть низшая категория человеческой души».

В «Апокалипсисе нашего времени» делается еще более невероятное заключение: «Опомнитесь: несмотря на побои, как они (речь идет об евреях.—*П. П.*) часто любят русских и жалеют их пороки, и никогда „по-Гоголевски“ не издеваются над ними. Над пороком нельзя смеяться, это — преступно, зверски».

Обращаясь к нелюбезному его сердцу — в основном по при-

чине невнимания к «проблемам пола» — образу Христа, Розанов стремится задеть, поколебать его нравственный авторитет как раз с противных позиций — за «отсутствие» радости и веселия. И тут снова шаг за шагом выясняется, что внутри видимой алогичности и непоследовательности Розанова лежала единая направляющая; он был необыкновенно прилежен в стараниях разложить те высокие идеалы, которые питали духовность и благородную сдержанность русской культуры в предшествовавшие века. Для дискредитации наиболее ярких ее представителей, воочию являвших как бы «лицо» этой духовности, им и использовались любые, хотя бы по внешности и взаимоисключающие средства. Рядом с обличием Гоголя в «зверском издевательстве» над русским народом посредством смеха, Христос осуждается за то, что он «никогда не смеялся». А потом обвинение сводит воедино гоголевскую проблематику с «христианской»: «Я не помню, улыбался ли Христос... Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был преступен в нем, как в христианине?!»[1]

Неувязка логическая Розанова тут не беспокоит, потому что поругание преследует чисто практическую цель. Ниспровержение Гоголя нужно для того, чтобы подняться на его «поверженный кумир» как на ступеньку, дотянуться до «степеней высочайших» и — «трахнуть по иконе»! Поэтому и применен абсурдный по видимости ход: «бичевание» гоголевского смеха обращается в бичевание Христа за якобы «отрицание» смеха и пола как главных радостей жизни, приведшее к водворению на земле «царства бессеменных святых», «людей лунного света», поправших красоту бытия. «Ни Гоголь, ни вообще литература, как *игра... улыбка, грация,* как цветок бытия человеческого, совсем не совместимы с... „Сладчайшим Иисусом“»,— утверждается в статье из журнала «Русская мысль». А концовка ее гласит: «Очевидно, что Иисус — это... „Тот Свет“, побороающий „этот“, наш, и уже поборовший... Но это не в том смысле, что чему-то надо улучшаться, а просто,— что всему надо уничтожиться».

Как и вообще вся почти розановская критика, направленные против Гоголя выступления являются в большой степени употреблением жанра исповеди с целью самоутверждения, пропаганды собственной точки зрения; анализа или хотя бы внимательного знакомства с текстами отвергаемых авторов в них нет. В противном случае достаточно было бы,

[1] Проблемы нового религиозного сознания // Русская мысль. 1908. кн. 1. С. 31—42.

не прибегая даже к «симфониям» или каким-либо иным специальным справочным пособиям, обратиться к известной Нагорной проповеди, в которой одна из еще более знаменитых «заповедей блаженств», согласно ап. Луке, прямо возвещает: «Блажени плачущие ныне, яко возсмеетеся» (6, 21; ср. также цитирующееся Гоголем в «Размышлении...» окончание «Заповедей блаженств» по Матфею 5, 12: «Радуйтеся и веселитеся...» — т. 8, с. 79). Уже одна эта фраза устанавливает не только значение и ценность смеха в мировом процессе, но определяет и соотношение его с плачем, их коренную взаимосвязанность. Оправдывая смех как таковой, она дает ключ к пониманию замечательного феномена гоголевского «плачущего смеха» — видимого смеха сквозь невидимые миру слезы. Подобно «грибному дождю» в природе, льющему при сияющем солнце, это направленный сразу в оба конца мироздания — вниз и вверх — взгляд человека, стоящего на лествице жизни между небом и землей, о чем прекрасно сказал Державин строками лучшей из своих од:

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Взглянуть на развитие этой темы в ее диалектике помогает творчество одного из самых проницательных психологов среди философов-аскетов первых веков нашей эры — Исаака Сирина, с произведениями которого Гоголь впервые познакомился также в Оптиной пустыни[1]. В его «Словах» большое внимание уделено разработке проблем духовной радости и веселия, причем рассматриваются они в качестве пути постепенного совершенствования человеческой души, возрастания ее в добродетелях. Начало такому движению полагается, когда «сердце доброе с радостию источает слезы в молитве...». Затем, используя сравнение трудящегося на ниве нравственного возрождения, возделывая поле своего сердца, с пахарем-земледельцем, И. Сирин пишет: «Добрая земля увеселяет своего делателя плодоношением даже до ста».

Пределом стремлений, целью внутренней работы является такое состояние, когда «нет ни печали, ни воздыхания! Напротив того, каждый по данной ему благодати веселится

---

[1] Матвеев П. А. Гоголь в Оптиной пустыни // Русская старина. 1903. Февраль. С. 304.

внутренно в своей мере». Веселие достигается не одними избранными и не в далеком будущем,— оно возможно и доступно сейчас, когда обращение к миру «Верховной красоты» способно «озарять ум светом веселия и утешения». Помогает же этому «всегдашнее погружение в писания» подвигоположников жизни, которое «исполняет душу непостижимым удивлением и... веселием»[1].

Метафорическое описание восхождения по «степеням», т. е. ступеням, к подлинному веселью «чистого смеха» невольно возвращает нас к символу лестницы: «Если у подвижника не будет рассеяния и возмущения делами телесными и попечением о преходящем, но соблюдет он себя от мира и бдительно охранит себя, то ум его в краткое время воспарит как бы на крыльях, и взыдет... в веселии своем... и по своей удобоподвижности и легкости плавает в ведении, превышающем человеческую мысль». Поэтому-то смех и должен быть правильно исследован диалектически, в ряде образов возрастания его светлой, очищающей силы. Отталкиваясь от «подземного», отрицательного по своему влиянию на душу скоморошества глумотворцев-просмешников, как звали их на Руси, и оставляя внизу розановское хихиканье об «исподнем», пирамида его значений выходит на поверхность, где, меняя знак на положительный, восстанавливает свое достоинство в горьком смехе гонимого пророка, о котором гласит надпись на гоголевском надгробии, и подымается далее все выше и выше к веселью и радости созерцающих град «вечной красоты» подвижников добра и правды на земле. Этапы этого восхождения соотносятся друг с другом подобно степеням другой, подробно разработанной в философии искусства триады «личина — лицо — лик»; а самое короткое руководство к действию содержится в не так давно обнаруженной новой рукописи Гоголя «Правило жития в мире»[2], говорящей, что: «...есть верховное веселие, а потому и мы должны быть также светлы и веселы. Веселы именно тогда, когда все воздвигается противу нас, чтобы нас смутить и опечалить».

...Критика смеха не зря оказалась у Розанова совмещенной и с критикой Гоголя по «вопросам пола»: «гениальный обыватель», как удачно нарекли его коллеги-фи-

[1] Творения аввы Исаака Сирина. Изд. 3-е, исправленное. С.-Посад, 1911. СС. 303, 308, 311, 342, 357.

[2] Архив ЛОИИ, № 271/212 г. Опубликована в извлечениях Б. Бессоновым: «Новые автографы русских писателей» // Русская литература. 1965. № 3. С. 198.

лософы, настойчиво снижал образ писателя, стараясь довести его до полного «разоблачения» и окунуть в то, что теперь принято иносказательно называть бахтинским термином «материально-телесный низ». Эти экскурсы являются парафразой на литературном языке широко распространенного в среде «простых обывателей» стремления низвести всякого художника до своего уровня; а когда, как это произошло в случае с Гоголем, тому все же удается, поднявшись ступенью выше, твердо на ней укрепиться, это вызывает усиленное желание, в качестве некоторого рода компенсации, уравновесить несомненную (к сожалению...) гениальность «чужака» в одной области — представлением о чрезвычайной, сразу двумя порядками ниже, порочности, ущербности его в другой.

Собрав бытующие среди «образованщины» сплетни о личной жизни Гоголя, Розанов и здесь пошел гораздо дальше всех их, вместе взятых. Его не удовлетворили уже толки, «объяснявшие» целомудренный обиход писателя психическими отклонениями, производными из девственности или аутоэротизма; он счел себя вправе («не решился удержаться») высказать вслух куда более жуткое обвинение в... сублимированной некрофилии. «Интересна половая загадка Гоголя,— пишет он во втором коробе „Опавших листьев".— Ни в коем случае она не заключалась в онанизме, как все (! — *П.П.*) предполагают... Но в чем? Он, бесспорно, „не знал женщины", т. е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках... я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в „прекрасном упокойном мире"... Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал. Он вывел целый пансион покойниц — и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких». Вслед за таким пассажем, где все возрастающее хамство обратно пропорционально проявляемым познаниям, Розанов торопится еще раз повторить свое утверждение об отсутствии у Гоголя подлинной веры: «Кстати», я как-то не умею представить себе, чтобы Гоголь „перекрестился". Путешествовать в Палестину — да, быть ханжою — да. Но перекреститься не мог. И просто смешно бы вышло. „Гоголь крестится" — точно медведь в менуэте...» Все это завершается сокрушительно невежественным рассуждением о якобы отсутствующих у Гоголя описаниях животных, после чего, под всем отрывком, помещаются обстоятельства и место его создания: «Когда болел живот. В саду».

Как видно, безобразная всепозволенность необходимо соседствует с невниманием к источникам, полным игнорированием «неудобных» фактов. Между тем, истина никогда в конечном итоге поругаема не бывает: как будто нарочно на случай будущего невероятного распространения самых грубых, оскорбительных для человека методов «проникновения в душу» типа психоанализа (современники Гоголя, все же, дальше диагноза *«религиозной* мании» не пошли),— одно из воспоминаний о кончине писателя дает авторитетное опровержение такого рода слухов. Оно уже приводилось в качестве примечания — например, в книгах А. И. Кирпичникова[1], а позже М. Зощенко, причем в первой намеренно подчеркивалось: свидетельство это «опровергает известную чрезвычайно распространенную сплетню». Итак, диагноз пользовавшего Гоголя во время предсмертной болезни доктора А. Т. Тарасенкова в той части, которая касается интимной жизни и которая, не будь уничтожающих память великого человека толков, осталась бы достоянием специалистов, определенно отрицает предположения о «доведшей до умственного расстройства девственности» и т. д.: «Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онании тоже не был подвержен»[2].

Тем не менее некоторые авторы — в особенности это касается последователей учения З. Фрейда — проходили мимо недвусмысленных показаний, лишающих почвы догадки о каких-либо умственных расстройствах у Гоголя, тем более относящихся к области сексопатологии. Впрочем, упорное старание «переименовать» тяготение писателя к чистоте в различные категории извращений, возводя непристойность в систему, говорит само за себя. Так, в начале 1920-х годов, когда учение это усиленно изучалось в нашей стране, издатель и распространитель его проф. И. Д. Ермаков, обратившись к русской литературе, в первую очередь занялся анализом творчества Гоголя; и вот что он увидел, например, в повести «Нос»: «Дешифруя по возможности до конца повесть Гоголя „Нос“, мы должны сказать, что в основе ее лежит страх кастрации, соответствующий вытесненному из сознания желанию иметь громадный орган и возможность неограниченных

[1] Кирпичников А. И. Сомнения и противоречия в биографии Гоголя (комментарий к биографической канве) // Известия ОРЯС. Спб., 1902. Т. VII, кн. 1. С. 229.

[2] Тарасенков А. Т. Указ. соч. С. 20.

эротических наслаждений»[1]. Дальнейшие поиски в этом роде обличаются собственными названиями: «Шизофреническая психика Гоголя»[2], «Психиатрический анализ Яновского» (1935 г.— «подсудимый» раскололся и выдал свою настоящую фамилию...)[3] или одна из недавних работ — книга американского С. Карлинского «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя»[4].

Если все приведенные доказательства абсурдности такого подхода к истории русской литературы, и в частности к Гоголю, не способны остановить волну диффамации, яростно плещущую у подножия гоголевского памятника, то уж по крайней мере они наглядно показывают, что разрытая могила — не самая глубокая пропасть из тех, которые существуют на земле. Обернув «горгиеву фигуру» Д. С. Мережковского на его собственные и сродные им рассуждения, можно, пожалуй, сказать, что ежели чорт действительно над кем-то посмеялся, то никак не над Гоголем, настойчиво напоминавшим собратьям по перу о тяжкой ответственности за каждое печатное слово,— а как раз над теми из авторов, кто наградил сам себя коварным правом публиковать всякое умозрительное или речевое коленце, показавшееся ловко пущенным. Уступив отцу всех грехов, гордости, «судьи» Гоголя заносились в осуждении его до высот поистине хлестаковских вверх по лестнице, ведущей вниз: путая ориентиры, они то подобно ему проговариваются: «Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж...» — то, заметив оплошность, торопятся тут же во исправление вдесятеро солгать: «Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит...»— и т. д.

Удивительно, что Гоголь и это сумел предвидеть: в следующих словах «Авторской исповеди» явственно слышится обращение не только к современникам, но и к тем из потомства, о ком говорится: «Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал вовсе, что он стоит выше меня?.. Объявлять решительно помешавшимся, сошед-

---

[1] Ермаков И. Д. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя («Психологическая и психоаналитическая библиотека. Серия по художественному творчеству».). М.-П., (1922). Вып. XVI. С. 210. В той же серии был запланирован выход книги И. Д. Ермакова «Анализ „Мертвых душ“ Гоголя» (вып. XXXVIII).

[2] Сегалин Г. В. (Свердловск). Шизофреническая психика Гоголя //Клинический архив гениальности и одаренности. 1926. Т. 2, вып. 4.

[3] Глинский С. С. Психиатрический анализ Яновского. М., 1935.

[4] Karlinsky, Simon. The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol. Cambridge, Mass — London, 1976.

шим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели — это такого рода обвинения, каких я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеймен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что прежде, чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света» (т. 8, с. 53).

И поэтому легко понять читателя, который, заглянув в приоткрытые здесь пропасти явного и тайного падения, возопит гоголевскими словами, помня наше обещание показать в конце концов и дорогу наверх: «Лестницу! поскорее, давай лестницу!..»

12

Лестницу эту можно увидеть в трех неоконченных, обрывающихся многоточиями произведениях писателя, служащих словно бы вехами, указывающими на сокровенное движение не дошедшей до нас ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ. В них сливаются воедино две основных темы позднего творчества Гоголя: незавершенные тексты, где мысль автора подымается все выше по ступеням духовного роста к вершинам художественного воплощения заботы о сохранении и упрочении отечества, используют именно символ города для возведения черт конкретной действительности до уровня универсального, космического знака.

Другим свойством лестницы этих отрывков является то, что возрастание степени обобщения происходит в порядке, обратном течению времени, и возвращает от предсмертных строк, через последние слова «Мертвых душ», к тому сочинению, с анализа которого начиналось это исследование — к «Ревизору».

Остановимся сначала на трех последних письменных текстах Гоголя. Это коротенькие записки на небольших листках бумаги, найденные вокруг одра умирающего писателя, которые были начертаны необычно крупным, отчетливым почерком.

Первая из них — «Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное» — есть почти дословное воспроизведение 3-го стиха 18 гл. Евангелия от Матфея, содержащего ответ Иисуса на вопрос своих учеников о том, кто больше в Царстве Небесном: «Аминь глаголю вам, аще не об-

ратится, и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное». Сравнение их показывает, что Гоголь, приводя стих по памяти, изменил несколько слов так, что акцент с обращения («аще не обратитеся») сместился в сторону сокрушения сердца, смирения — «аще не будете малы».

Тот же покаянный мотив звучит и во второй записке, переходящей с церковнославянского языка на русский: «Помилуй меня грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого креста!» — Здесь сама жизнь как будто доиграла сцену, с описания которой молодой 22-летний сочинитель начинал свое творчество: это история о том, как кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством», «лучший живописец» в околотке, умеющий весело разрисовать что угодно — от мисок и забора до образа евангелиста Луки, но более всего прославившийся картиной, «в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгоняющего из ада злого духа»,— поймав ночью нечистого, «сотворил крест и чорт сделался так тих, как ягненок». Увидев, что кузнецова рука вознеслась для второго знамения невыносимого символа, лукавый с отчаянием взмолился: «Не клади на меня страшного креста!» И Вакула соглашается, под условием, что чорт перенесет его в Петербург. Теперь умирающий в столице автор просит связать «перевозчика» вновь...

Последняя записка, самая загадочная, оставлена на полуслове: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? И страшна История Всех (так в тексте: оба слова с прописной буквы,— *П. П.*) событий Евангели...»[1] (т. 12, с. 191). Оборванное предложение публиковалось редко, при этом даже в научных изданиях в нем постоянно допускают ошибки: вместо «страшна история» пишут, например, «страшнее истории» (письма Гоголя в изд. Вл. Шенрока) или вообще продолжают, к тому же по всей видимости неверно, недописанное слово, превращая его в «евангельских» (каталог рукописей Гоголя, хранящихся в ГБЛ), и т. д. Верхняя часть листа, содержащего этот текст, залита чернилами, а внизу сделан рисунок; однако предположения и догадки о том, что же именно изображено на нем, разнятся одно от другого весьма радикально. Так, публикатор московского архива Гоголя Г. Георгиевский считает, что нарисован «поднятый верх коляски с ез-

---

[1] В оригинале последняя буква «и-десятеричное».

доком в ней»[1]. А С. С. Глинский увидел здесь «профильный набросок, видимо, полицейской фигуры (с портупеей), выглядывающей из-под навеса»[2]. Наконец, И. П. Золотусский, в книге которого рисунок впервые воспроизведен большим тиражом, сделавшим его доступным широким кругам читателей, толкует изображенное следующим образом: «Книга захлопывает человека с лицом, напоминающим лицо Гоголя. Те же длинные волосы и тот же профиль с длинным носом, хотя все набросано нечетко, несколькими скрещивающимися линиями. Что хотел сказать он этими словами и этим рисунком? Жизнь кончена, и это его судьба — быть захлопнутым обложкой недописанной книги, книги, которую теперь уже никто не прочтет, книги, забравшей его жизнь и отпустившей его душу на свободу?»[3] В довершение загадок, связанных с этой запиской, оказывается, что автограф ее сохранился не в одном, а в двух (!) экземплярах. Естественно предположить, что один из них должен быть копией, но пока так и не удалось убедительно доказать — который: тот, что находится ныне в рукописном отделе Библиотеки им. Ленина в Москве,— или другой, принадлежавший ранее Хрептовичу-Бутеневу, а сейчас входящий в собрание архива Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде[4]. Поэтому, по традиции, при публикации предсмертных записок она воспроизводится дважды[5].

Заглянуть хотя бы краем глаза в нарисованную Гоголем на последней записке книгу, представить, в чем состоял таинственный урок, который писатель в самом сердце своем хотел запечатлеть «признательно, благодарно и вечно», помогают слова «Авторской исповеди»: «Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам наилучшим Учителем. Я думал, что, по прочтении книги, мне будет сказано: „Благодарю тебя, собрат“, а не „Благодарю тебя, учитель“» (т. 8, с. 52).

Тема урока вновь близко подводит к теме внутреннего устроения личности, совершенствования ее духовного мира:

---

[1] Георгиевский Г., Ромодановская А. Рукописи Н. В. Гоголя в ГБЛ. Каталог. М., 1940. С. 46.

[2] ЦГАЛИ, фонд 439, оп. 1, ед. хр. 663.

[3] Золотусский И. П. Гоголь. М., 1979. С. 502.

[4] Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. М.-Л., 1951. Т. 1. Гоголь Н. В. С. 9.

[5] Письма Н. В. Гоголя, изданные В. И. Шенроком. Спб., 1901. Т. 4. С. 427.

«Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге, не на временной станции, или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес... Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждут какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении, как себя, так и других, делается общею» (т. 8, с. 41).

Это перекидывает мостик на следующую ступень — к тому типическому образу русского города, который объединяет идею внутреннего строения человеческой души с обобщенным портретом всей России как великого Града, начатым Гоголем в продолжении «Мертвых душ». Такое соединение необходимо привело к усилению патриотических мотивов, в особенности заметному по той заботе о благоустройстве русского города и русского человека, какой дышат сохранившиеся страницы окончания второго тома поэмы. Насколько насущным казалось писателю указать соотечественникам на неотложность этой общей заботы, наглядно показывает трагизм, с которым призыв обрывается на середине речи многоточием, невольно напоминающим камешки, стремительно сыплющиеся из-под ног как будто застывшей над самым краем бездны знаменитой гоголевской тройки.

В конце последней дошедшей до нас главы речь идет о том, как генерал-губернатор — персонаж, пользующийся явным сочувствием автора,— в смущении от открывшихся в его губернии беспорядков собирается отправиться в главенствующий город государства — Петербург. Перед отъездом его посещает предприниматель — доброхот Муразов, предлагающий способ, с помощью которого можно попытаться исправить далеко зашедшее неустройство: «Ваше сиятельство... соберите их всех... и представьте им ваше собственное положение... и спросите у них совета: что бы из них каждый сделал на вашем положении?»

Генерал-губернатор сомневается в положительном исходе такого предприятия: «Да вы думаете, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются». Возникновение здесь темы «низкого смеха» рядом с развитым уже прежде в «Развязке „Ревизора“» сопоставлением реальных распущенных чиновников с буйством человеческих страстей снова подчеркивает высокую степень символизации, свойственную всей образной системе позднего творчества Гоголя.

Муразов между тем возражает: «Не думаю-с, ваше сиятельство. У человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве уж жид какой-нибудь, а не русский...» (с некоторых пор публикаторами перед словом «человека» вставляется отсутствующее в рукописи слово «русского», что превращает онтологическое противопоставление света и тьмы — через понятия «крещеного» и «нехристя» — в юдофобскую грубость.— *П. П.)*.

Князь напоследок соглашается и накануне отбытия в столицу собирает «всех чиновников до едина», производя сбор действующих лиц, подобный тому, какой происходит в заключительной сцене «Ревизора»: «В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвитов, не бравшие, бравшие, кривившие духом, полукривившие и вовсе не кривившие».

Перед этим собором всех городских деятелей, прообразующим целокупность души всякого человека, начальствующий над ними генерал-губернатор объявляет, что он выяснил причины и сокровенные цели запутавшегося в своих непорядках города и теперь готовит неизбежное наказание, да такое, когда судить будут не «формальным следованием по бумагам»,—а «военным быстрым судом». Впечатление, произведенное этим неожиданным раскрытием правды, приближается по степени потрясения и вызываемого им ужаса к эффекту «Немой сцены», когда возвещается требование всем предстать пред истинным Ревизором: «Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны... Содрогание невольно пробежало по всем лицам».

Но тут, отступая на шаг назад по сравнению с необратимым возмездием, провозглашенным в конце пьесы, князь обращается к чиновникам с призывом к опамятованию, к тому, чтобы во имя «добра своей земли» откинуть раздор и начать дружно трудиться над возрождением отечества — покуда не сделалось слишком поздно. Последние слова его — а вместе с тем и последние слова известных нам «Мертвых душ»,— предупреждая о надвигающейся катастрофе, оставляют все же и надежду на спасение: «Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмот-

реть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва.........»(т. 6, с. 150 — 153).

«Нам всем темно... мы едва...» — определения страшные и чрезвычайно обязывающие, в которых слышится уже дух пророка Иеремии. Тревога о разрушающемся внутреннем граде людей, грозящем принести бедствия всей России, обратила взор Гоголя на главную причину неустройства — пошатнувшуюся совесть, руководящую личностью так же, как городничий начальствует над всем в реальном городе. И поэтому, наверное, написав полный подготовительный текст «Предуведомления для тех, которые хотели бы сыграть, как следует „Ревизора“», автор, перебеливая набросанное начисто, остановился на характеристике «городничего» и принялся гораздо глубже, чем это было сделано в черновике, очерчивать его образ, возвышающийся постепенно до драматического символа потерявшегося в своих душевных страстях, а вместе с тем и в окружающем мире, русского человека. Этот нелицеприятный, но справедливый анализ душевных бед, снова оставленный на полуслове, и представляется третьей ступенью того движения вверх, пути нравственного самоочищения, начало которого просматривается в идее ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ. И опять Гоголь, обличая, не забывает указать — пусть даже на предельно сузившуюся — возможность выздоровления. «Русский человек,— раскрывает он внутреннее ядро личности „городничего“,— который не то, чтобы был изверг, но в котором извратилось понятие правды, который стал весь ложь, уже даже и сам того не замечая. Поэтому он и резонерствует, степенен и даже важен и даже не без одушевления скажет иное слово. Может быть, он даже один из тех людей, который, если бы увидел, что все вокруг его стали честны, что честность — требов...» (т. 11, с. 184 — 185).

Слова эти горьки, порою кажется — горьки до чрезмерности, но такая чрезмерность несомненно вызвана чрезмерною же любовью писателя к «сородичам»; и уж по крайней мере тут не возникает сомнений в трезвости отношения Гоголя к современному ему обществу. Напротив, оценивая себя с помощью «настоящего Ревизора», невольно приходишь к выводу о том, что гоголевская иеремиада не устарела со временем и до сих пор сохраняет свою мощную силу и значение. Причем безотрадней всего звучит предположение о том, что городничий не раньше исправится, чем увидит, что все другие вокруг него сделались честны. Свидетельство о столь глубоком душевном ущербе должно было послужить родом

встряски, холодного душа на головы терявших коренные духовные устои людей. После подобного потрясения, сокрушения сердца и начинается подлинная, долгая борьба за светлое воскресение отечества и соотечественников, за то, чтобы каждый на предназначенном ему месте вспомнил «долг и обязанность земной своей должности».

Подъем национальной жизни не есть, однако, дурная бесконечность беспрестанного утомительного стремления к недостижимому; наоборот, он представляет собою бесконечность актуальную, положительное единство во множестве, направленном к конкретной цели и ясному идеалу, символически явленному в образе града «Верховной вечной красоты». Используя понятийную систему своего времени, об этом писал еще Иоанн Лествичник, который, как сказано в предисловии к его книге, не бесконечную, но «во образ тридцати лет Христова совершеннолетия гадательно изобразил лествицу, состоящую из равночисленных тридцати степеней духовного совершенства». Ясно выраженным убеждением в существовании у этой лествицы предела заканчивалось и видение Иакова: «И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не что иное, как... врата небесные». Ключевое понятие врат, дверей, наглядно воплощающих возможность достижения вечной красоты и вхождения в нее, дает объяснение также тем словам, на которых остановилось неоконченное «Духовное завещание» Гоголя в последней редакции. Умирающий писатель, следуя любимому им Державину, переходит в торжественном случае обратно с русского на «высокий словенский» язык: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник»[1].

Завершающее предложение «Духовной» — перифраз начала 10 главы Евангелия от Иоанна, где рассказывается о том, как Иисус обратился к окружившим его ученикам и фарисеям с притчей: «Аминь, аминь глаголю вам, не входяй дверьми во двор овчий, но прелазя инуде, той тать есть и разбойник, а входяй дверьми пастырь есть овцам». Слушатели не понимают смысл притчи, и тогда Иисус толкует ее метафорическое значение так: «Аминь, аминь глаголю вам, яко Аз есмь дверь овцам. Вси, елико их прииде прежде мене, татие суть и разбойницы; но не послушаша их овцы. Аз есмь дверь: Мною аще кто внидет, спасется: и внидет и изыдет, и пажить обрящет».

Завещание писателя утверждает обетование воскресения,

---

[1] Письма Н. В. Гоголя, изд. В. И. Шенроком. Спб., 1901. Т. 4. С. 424.

восстания душ из мертвых живыми. Гоголь ушел, дверь осталась распахнутой, но весьма сдержанный в оценках старший современник его С. Т. Аксаков записывает сразу после смерти: «Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства»[1]. Более всего доказывает, показывает правоту его слов судьба двух формообразующих для русской литературы произведений — «Ревизора» и «Мертвых душ». Выработав при создании первого из них «ключ» — лестницу внутреннего совершенствования и найдя верный символ, средоточие стремлений к этому совершенствованию — Град вечной красоты, Гоголь приступил во втором к началу пути, пустившись сам вперед по дороге, ступенями подымающейся к этому верховному идеалу. Потерпев поражение в попытке воочию изобразить в триединстве частей поэмы историю возрождения России, поражение по всей видимости уничтожающее, завершившееся настоящим самосожжением, огненным жертвоприношением почти уже готового второго тома, Гоголь посредством тягчайшего падения, унижения и гибели добился абсолютной победы, завоевав мир своею любовью и поразив с ее помощью даже самоё смерть. Распятие обернулось воскресением, которое остается последующим поколениям соотечественников, «читателей в потомстве», по слову Е. Боратынского, заветом продолжить движение восхождения по открытому пути. Как сказано в последнем из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“»: «Затем сожжен второй том „Мертвых душ“, что так было нужно. *Не оживет, аще не умрет...* Нужно прежде умереть, для того, чтобы воскреснуть... Все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее... Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра...»

---

[1] Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 222 (письмо К. С. и И. С. Аксаковым от 23 февраля 1852 г.).

«ПЕСНЯ— ДАР НЕБЕС ВЕЛИКИЙ...»

(М. А. Максимович)

«У нас часто поются малороссийские песни. Гоголь почти каждый раз просит Наденьку петь, а Максимович даже вместе поет и учит. Любопытно видеть, какое сильное производят на них впечатление родные звуки... Гоголь, в самом деле, с таким увлечением, с таким внутренним сочувствием поет их, разумеется, не умея петь, но для того только, чтобы передать напев и характер песни, что в эту минуту весь проникается своей народностью и выражает ее всеми средствами — и жестами, и голосом, и лицом, а Максимович перед ним стоит и тоже забывает все вокруг себя, поет и топочет ногами и разводит руками, но только выражая нежную сторону Малороссии»,— писала в 1850 г. В. С. Аксакова брату Ивану. Второй их брат — Константин, вспоминая слышанный им на Украине хор девушек, подтверждает подлинность передачи двумя друзьями-писателями самого духа родных напевов: «Поют они во весь голос, живо и выразительно; мы заметили, что Гоголь и Максимович, при исполнении песен, часто следуют тому способу, который употребляется всем народом в Малороссии».

Согласованность этого своеобразного «дуэта» объясняется тем, что именно собирание песен своей родины послужило причиной почти четвертьвековой дружбы двух земляков, начавшейся в Москве в связи с выпуском Максимовичем своего первого знаменитого сборника их в 1827 г. и подготовкой к изданию второго. А за год до его выхода в свет Гоголь, узнав о счастливом приобретении Максимовичем богатой коллекции украинских песен З. Ходаковского, посылает новому приятелю письмо со ставшими впоследствии широко известными строками: «Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжною пылью, с жадностью жида, считающего червонцы. Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями!» Он просит сделать с них список и поскорее прислать ему, нетерпеливо поясняя: «Я не могу жить без песень. Вы не понимаете, какая это мука».

Но конечно же, Максимович знал — какая; свидетельством тому его написанное позднее стихотворение, начинающееся словами:

Что б за жизнь была без песен,
Без поэзии святой!
Мир просторный был бы тесен
И печален труд земной.
Песня — дар небес великий
Нам на жизненных путях,
Песней — ангельские лики
Славят Бога в небесах!

О единодушии двух писателей, «вкупе и влюбе» рачительно заботившихся о судьбе отечественного народного творчества, говорит и то, что как раз после этого письма они и перешли на «ты».

Вскоре Максимович становится первым ректором Киевского университета; туда же, в столицу Руси князя Владимира, имя которого получило новосозданное учебное заведение, мечтает отправиться преподавать историю и Гоголь. «Да превратится он в русские Афины, богоспасаемый наш город!» — восклицает он в посланиях к молодому ректору, которому тогда не было и тридцати лет, и предлагает свое сотрудничество в выпуске в свет нового собрания украинских песен: «Песни нам нужно издать непременно в Киеве. Соединившись вместе, мы такое удерем издание, какого еще никогда ни у кого не было. Весну и лето мы бы там славно от-

дохнули, набрали материалов, а к осени и засели работать».

Когда в 1834 г. наконец выходят сразу два следующих, составленных Максимовичем сборника — «Украинские народные песни» и «Голоса украинских песен», один из первых откликов появляется в гоголевской статье «О малороссийских песнях», вошедшей в книгу «Арабески»: здесь Гоголь прямо называет второй из них «прекрасным» и, продолжая поэтическое сравнение, данное Максимовичем еще в сборнике 1827 г., так определяет природу народной музыки Украины: «...в малороссийских песнях она слилась с жизнью — звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят: говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой речи проходит душу».

Разговор этот Гоголь продолжает в переписке, где вместе с признаниями в том, что он чрезвычайно, «радостью ребенка» рад появлению новой книги родных песен, высказывает и проницательные соображения в связи с переводами, которыми сопроводил Максимович текст «Дум»: «Иногда нужно отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе. Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые нам, малороссиянам, кажутся очень будут понятны для русских, если мы переведем их слово в слово, но которые иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти всегда сильное лаконическое место становится непонятным на русском, потому что оно не в духе русского языка; и тогда лучше десятью словами определить всю обширность его, нежели скрыть его». Он также спешит сообщить другу: «Я еще никому не успел показать... но понесу Жуковскому и похвастаюсь Пушкину, и мнения их сообщу тебе поскорее».

Оба названных им знаменитых поэта действительно постоянно интересовались трудами украинского собирателя. Когда однажды президент Академии Наук С. Уваров в присутствии Пушкина стал удивляться «дару слова», выказанному в своей лекции молодым адъюнктом московского университета Максимовичем, он услышал в ответ: «Мы г. Максимовича давно считаем нашим литератором: он подарил нас малороссийскими песнями». В другой раз, как вспоминал на склоне лет сам ученый, зайдя в гости к Пушкину, он застал его за чтением своего первого сборника. «А я обираю ваши песни»,— шутливо сказал поэт. Он работал тогда над «Полтавой», за историческую достоверность которой Максимовичу как знатоку пришлось вскоре печатно вступиться против критики Н. И. Надеждина; эта статья вызвала особое внимание

Пушкина, лично выразившего за нее в Москве автору свою признательность. О положительном отзыве Жуковского летом 1834 г. напишет Максимовичу Гоголь: «Я получил твои экземпляры песень и по принадлежности роздал, кому следовало. Препровождаю к тебе благодарность получателей. Жуковский читал некоторые: они произвели эффект. Многие понравились наследнику». Позже Жуковский, находясь со своим воспитанником в Киеве, именно Максимовича выберет проводником для их совместных прогулок по древнему городу.

На следующий, 1835 год Гоголь, нарочно сделав крюк в триста верст, заехал на несколько дней в Киев к другу, первым из столичных знакомых посетив его на новоселье. Вместе ходили они на возвышающуюся над всею округой паперть Андреевской церкви любоваться величественным зрелищем. Гоголю так и не удалось поступить профессором в киевский университет, и он не раз выражал сожаление, что судьба не дает ему поселиться здесь на постоянное житье. Максимович впоследствии считал, что к этому-то периоду и следует отнести начало крутого поворота в мыслях писателя. Впрочем, писателями, собирателями, историками были они оба; и общий их голос, высказывающий единую любовь ко красоте родины, слышен из описания происшествия, сохранившегося в памяти Максимовича: «Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою киевских видов, стояла там неподвижно малороссийская молодица, в белой свитке и намитке, опершись на балкон и глазея на Днепр и Заднепровье. „Чего ты глядишь там, голубко?“ — мы спросили. „Бо гарно дивиться“,— отвечала она, не переменяя своего положения; и Гоголь был доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке».

Почти полвека спустя на 50-летнем юбилее своей литературной деятельности Максимович как бы продолжит эту сцену, дав ей символическое завершение. Возражая тем, кто безрассудно стремился разделить исторические корни двух основных частей русского народа, он заметил: «У вас в Великороссии многие смотрят на Русскую землю с москворецкой высоты Ивана Великого; здесь в Малороссии иные глядят на нее с Запорожской поэтической Савор-могилы; моя точка зрения на всю единую Русскую землю — над Днепром, с высоты старо-Киевской, с холма св. Андрея Первозванного».

И в святом для них деле собирания и издания произведений народного творчества Гоголь с Максимовичем действи-

тельно поступали в духе традиций Древней Руси, отказываясь прикладывать понятия собственности к открытым ими сокровищам песенной поэзии. Гоголь с легкостью передавал записанные или найденные им тексты Максимовичу, а тот, в свою очередь, делился доставшимися ему. Так, в 1834 г. Гоголь пишет Срезневскому: «Около ста пятидесяти песен я отдал прошлый год Максимовичу, совершенно ему неизвестных. После того я приобрел еще около 150; у Максимовича теперь уже 1200. Но я бьюсь о чем угодно, что теперь же еще можно сыскать в каждом хуторе, подальше от большой дороги и разврата, десятка два неизвестных другому хутору». Выпущенные Максимовичем сборники писатель просил присылать даже в далекую Италию и сам до последних лет продолжал искать новые песни. В изданных в начале нашего века гоголевских тетрадях находится, помимо 105 русских, 412 малороссийских песен; сверх того, еще 50 песен было обнаружено в 1950-х г. в тетради, доставшейся после его смерти художнику Александру Иванову.

С дружбой двух авторов связаны также предания, неизменно сопровождавшие Гоголя и, при всей их житейской неправдоподобности, зачастую обладающие убеждающей художественной верностью. До сих пор в селе Прохоровка на Днепре, где вторую половину жизни прожил Максимович и где он был похоронен, живет рассказ о том, что деревянная церковь Успения, выстроенная в 1774 г. казаками на местном кладбище, являлась той, где происходит действие «Вия» (здание ее было разобрано в 1940-е г.). Дом Максимовича стоял почти над самой этой церковью; и вот интересно, что одна из сделанных тут фольклорных записей, хранящаяся ныне в его архиве,— про епитимью, накладываемую за «заспанного» матерью до смерти ребенка,— обнаруживает ближайшее сходство с одним из сюжетных ходов «Вия» (трехночное испытание злыми духами в запертом храме огороженной магической чертой виновницы)[1].

Когда в январе 1850 г. после длительного перерыва, вызванного тяжелой болезнью, Максимович приехал в Москву, то снова встретился здесь с Гоголем. Он присутствовал при том, как на квартире А. П. Толстого сам автор читал первые главы таинственного для нас второго тома «Мертвых душ», заметив ему при этом: «Беспрестанно поправляю и всякий раз, когда начну читать, то сквозь написанные строки читаю еще ненаписанные. Только вот с первой главы туман сошел».

---

[1] ЦНБ АН УССР, фонд 1, ед. хр. 1417, арк. 87.

В июне Гоголь с Максимовичем выехали «на долгих» на Украину; путешествие это оказалось для них предпоследней незаочною встречей. Проводили Хомяковых до их поместья, потом заезжали в Калугу к А. О. Смирновой, были в Долбине у И. В. Киреевского, в Петрищеве у матери его А. П. Елагиной, вместе посетили и известную Оптину пустынь. Путешествовали медленно, с полною свободой, останавливаясь по желанию тут и там. Гоголь брал у Максимовича уроки ботаники, бывшей первой специальностью профессора-собирателя: срывал цветы и растения, вкладывал их в книгу, надписывая латинские и русские названия[1]. Как вспоминает дочь А. О. Смирновой, Гоголь хотел тогда составить «народную ботанику, в которую предполагал внести не только сравнительный словарь народных названий растений, но и легенды о цветах». Если бы этот замысел успел осуществиться, у друзей стало бы уже четыре общих профессии...

После двенадцатидневного совместного пути они расстались тогда в Глухове, договорившись снова встретиться в августе в Васильевке, но случай столкнул их еще раньше намеченного срока — 10 августа в самом месте рождения Гоголя, Сорочинцах, откуда они и отправились в гоголевское имение. «Мы переехали через Псел и ехали в Васильевку ночью, при свете полного месяца,— вспоминал Максимович.— Наслаждением было для меня промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И никогда я не видал его таким воодушевленным, как в эту украинскую ночь».

Когда же он узнал о смерти друга, то помянул его именно словами украинской песни, напомнившими ему эту поездку: «Степ широкый, всюды видно, милого не бачу»; однако печатно, следуя своему твердому обычаю не вступать тотчас же в громкий хор сожалеющих, долго ничего не рассказывал о нем. Только много лет спустя он передал множество автографов, хранившихся у него, Пантелеймону Кулишу для издававшегося им собрания сочинений Гоголя; по иронии судьбы, против того же Кулиша, немало сделавшего для опубликования гоголевского наследия, а потом в стремлении поднять престиж собственной исторической беллетристики опол-

[1] Один собранный Гоголем гербарий находился до 1907 г. у его младшей сестры О. В. Гоголь-Головни; следы гербария обнаружил недавно литературовед В. А. Воропаев в архиве книгопродавца П. П. Шибанова, сообщавшего в письме А. Ф. Онегину (Отто) 25 дек. 1909 г. о покупке гоголевских реликвий, среди которых упоминается и «гербарий, им составленный» (ГБЛ, фонд 342, карт. 6, ед. хр. 83). Ныне гербарий хранится в Государственном Историческом музее — см. подробнее в кн.: Гоголь: история и современность. М., 1985. С. 440—442.

чившегося на фактическую достоверность этих произведений, Максимовичу пришлось выступить с опровержением, как признанному авторитету по истории и быту родного края. В череде статей, названных им «Оборона повестей Гоголя», ему удалось успешно отвести обвинения и еще раз подчеркнуть замечательную правдивость украинских вещей Гоголя не только в отношении подробностей, но, главное, в передаче самого духа народа.

А два года спустя, посылая С. П. Шевыреву свою биографию для словаря профессоров московского университета, Максимович делает в конце ее необыкновенный постскриптум, как бы заключающий в одной картине всю долгую историю его дружбы со знаменитым земляком, скрепленной от первого начала и до конца, и даже за порогом смерти, любовью к народной песне. Он рассказывает, что весть о кончине писателя пришла в самый день его рождения, и неожиданно добавляет: «А на другой день вижу во сне Гоголя, будто пришел ко мне и говорит: послушай, какую спою тебе песню! И, ставши посреди комнаты, начинает выпевать сквозь зубы, с своими жестами, такие глубокие и сильные звуки, и все crescendo, что я и пробудился от них с слезами на глазах...»

Кем же был он сам, гоголевский помощник и приятель, тот, кого Гоголь называл в письмах «братцем», ученый и писатель Михаил Александрович Максимович, 175-летие со дня рождения которого исполняется в 1989, а 120-летие смерти — в 1993 году? Справочники выстраивают длинный ряд определений: биолог, историк, филолог, фольклорист, поэт, переводчик... Соединив все в одно, мы не ошибемся, сказав: собиратель,— человек, получивший при рождении этот поистине художественный, творческий дар и сумевший развить, умножить его десятилетиями подвижнического труда. Младший современник — ученый еще при жизни подчеркивал гармоничность его произведений на любые, казалось бы, порою весьма далекие от изящной литературы темы: «...из немногого числа тех писателей, которые еще по преданию сохранили художественность языка, Вы... на первом плане... Мы можем писать дельно, умно, положим — занимательно; но не знаю — чем объяснить то, что мы совершенно как будто бы потеряли художественное чувство и забыли, что идея, являясь на свет, требует тела, просит художественного слова, как своего непременного выражения, а без его целости органической сама делается неполной. У Вас эта гармония мысли со словом является сама собой». О том же внутреннем единстве своей деятельности, начиная незадолго до смерти писать о пережитом,

говорит и сам Максимович: «В воспоминании моем, как и в прежней моей многотрудной жизни, совместно являются Естествознание и Русская Словесность, и Русская песня,— с их деятелями и представителями. Мне и на старости, на пустынной Михайловой Горе моей не живется еще без песнопения, как бывало и во дни юности моей, в ботаническом саду Московском...»

Жизнеописание Максимовича не требует от биографа невозмутимого нанизывания друг на друга последовательных событий; он сам как бы подсказывает иной путь, предостерегая: «...анализировать до тла и разбирать по ниточке ткань жизней наших не для чего; ибо все наши здешние жизни только подготовка, только перепутье к жизни будущей...» Куда более благодарная задача — найти сердце, средоточие всех трудов его и теперь, когда прошедшие десятилетия сложились в век, унеся с собою все поверхностное, не пережившее злобы дня, внимательно вглядываясь в прошлое, проследить, как вокруг этой главной, срединной идеи собирательства, собора завязалась, прошла и завершилась судьба замечательного человека. И, может быть, одновременно с нею что-то новое откроется в сокровенном содержании всего минувшего столетия — того, о котором сам Максимович, возражая против бездумно-отрицательной оценки его, сказал: «А сколько прекрасного, благого в этом нашем времени! Чудная борьба добра и зла, тьмы и света!»

...Уважение к истории было традицией среди Максимовичей, веским доказательством чему служит «составленная исключительно для членов своей семьи, родных, друзей и добрых знакомых, не предназначенная для продажи» книга «Сборник сведений о роде „Максимович“», изданная в 1897 г. в Риге Иннокентием Клавдиевичем Максимовичем «с целью показать юному поколению семьи — кто были их предки, деды и отцы; какого они были рода; какую веру исповедывали, какому делу служили и какую память о себе оставили». При этом составитель ее отмечает, что во многом при написании ее воспользовался трудами Михаила Александровича, первым отчетливо выяснившего происхождение рода.

По общей украинской традиции фамилия Максимович часто усваивалась детьми человека по имени Максим, поэтому она была — и продолжает быть по сей день — весьма распространенной. Автор «Сборника» сообщает, что ему лично известно, помимо собственного, еще три старых и до 20 более новых тезоименных дворянских родов, в том числе и в Великороссии, а также многочисленные Максимовичи из иных

сословий — профессора, священники, крестьяне; имелись даже один Максимович — лютеранин в Дерпте, а другой, католик, во Франции. О широком бытовании фамилии говорит и следующий приводимый им курьезный случай: «Однажды по разбиравшемуся в Киевском окружном суде делу о нанесении раны крестьянке Екатерине Максимович, частная обвинительница, обвиняемый и трое свидетелей — все были Максимовичами... и пять этих однофамильцев принадлежали к трем разным семьям, по их словам, друг другу чуждым».

В собственном роду Михаила Александровича происхождение вели от Максима Васильковского, жившего в конце XVII века в Киеве и принимавшего участие, как сообщают сохранившиеся документы, в обновлении трапезной его славной Лавры. Из семи сыновей Максима, принявших по отцу прозвание «Максимовичей», старший Иоанн (1651—1715) был известным архиереем, просветителем Сибири (два века спустя его причислили к лику святых, а фамилия тем часом дала тезку-митрополита, окончившего жизнь в Америке; второй — Василий — непосредственный предок будущего ученого, служа казачьим полковником, сложил свою голову на войне с татарами — и сложил не образно, а в самом прямом смысле: она была срублена в битве, а затем полк бережно подобрал ее и увез с собою в Переяславль, где похоронил в церкви Бориса и Глеба.

При внуке Василия Иване Леонтьевиче семья обосновалась в той самой Прохоровке, где жил впоследствии Михаил Александрович; причем произошло это при обстоятельствах вполне романтических. Иван Леонтьевич проезжал через Прохоровку, направляясь к своей невесте, которую по обычаю тех времен заочно сговорила за него мать. Остановившись в доме сотника Василевича, он скоропостижно влюбился в его молодую дочь и через несколько дней с ней обвенчался; а уже в середине XVIII столетия заместил тестя на должности местного сотника.

Отвергнутая судьба немного спустя, правда, попыталась было еще раз заставить его принять назначенный жребий: в тридцать лет Иван Леонтьевич овдовел и... все-таки женился на своей суженой. Однако решительный поворот совершился — все четверо сотниковых детей родились именно от первой жены. Внуком одного из них, Ивана, и был Михаил Александрович (таким образом, по старинному русскому счету, родоначальник Максим Васильковский приходился ему в точном смысле слова «пращуром»).

Он появился на свет 3 сентября 1804 г. неподалеку от Про-

хоровки, на хуторе Тимковщина в доме своей бабки по матери А. С. Тимковской, в семье просвещенной и известной,— как отмечает первый его биограф С. И. Пономарев, из пяти дядей Максимовича «двое были профессорами и все пятеро — писателями».

Шести лет мальчика отвезли на книжное обучение в ближний Красногорский Золотоношский монастырь (обитель эта действует до наших дней), где бывшая генеральша, а ныне черница Варсонофия в первый же день усадила его с указкою за грамотку, часословец и псалтирь — древнейший из учебных курсов на Руси, как подчеркивает тот же С. И. Пономарев, «уставленный еще Кириллом первоучителем словенским».

После окончания гимназии пятнадцатилетний отрок приехал в Москву и одним из дядьев был определен на словесное отделение университета, где поначалу увлекался лекциями знаменитого в ту пору профессора, критика и поэта А. Ф. Мерзлякова (создателя слов ставшей народной песни «Среди долины ровныя»). Позже, перед самой смертью своего первого учителя, Максимович составит и издаст лучший в XIX веке сборник его «Песен и романсов»,— но пока, проучившись несколько лет на словесном отделении, он затем переходит на физико-математический факультет и целиком отдается занятиям ботаникой. В 1821 г. в журнале «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических» печатается его перевод, за ним следуют статьи, а после окончания в 1823 г. полного курса девятнадцатилетний кандидат выпускает уже целую книгу «Главные основания зоологии или науки о животных». Он становится преподавателем, читая лекции за ректора Двигубского, а вскоре назначается также директором университетского ботанического сада; в 1827 г. юный директор защищает на диспуте диссертацию по ботанике. Казалось бы, впереди лежит ровный, самим течением жизни подсказываемый путь... Однако, подобно собственному прадеду, не пройдя и полдороги к цели, правнук круто изменил судьбу. Как будто нарочно часто подписывавший свои статьи перевернутыми инициалами W. W., ученый напророчил себе полный переворот в жизни с головы на ноги. Виновником его оказался тот, кто в 1824 г. поместил в журнале «Сын Отечества» положительный отклик на работу молодого профессора, подписав его не менее загадочно — XIxiy. IIIxii. XYy.: скрывший за криптограммой свое имя кн. Вл. Одоевский постарался тем не менее отыскать Максимовича в «кандидатских номерах», познакомился с ним и вскоре ввел

в круг знакомых литераторов, среди которых были Веневитинов и Иван Киреевский; И. Киреевский привел нового приятеля в дом своей матери А. П. Елагиной, где собирались Боратынский, Шевырев, Мельгунов, а впоследствии Хомяков, Чаадаев и многие другие. Все они в большей или меньшей степени способствовали возвращению Максимовича к занятиям словесностью и подготовили произошедший вскоре поворот в его деятельности.

Но сначала, в том же 1824 г., ректор поручил ему во время летних вакаций объехать Московскую губернию с целью собирания растений и минералов. (Как это ни удивительно, в те годы приходилось изучать родное Подмосковье подобно далекой Африке, зная о его богатствах навряд ли многим больше, чем о ней...) И Максимович, несмотря на чрезвычайно сырое и дождливое лето, поселившее в его организме начатки убийственного ревматизма, которым он с тех пор страдал до самой смерти, сумел проделать большую исследовательскую работу. Об итогах ее свидетельствуют напечатанные в «Новом магазине...» четыре отрывка из «Путевых заметок о Московской губернии», о которых в одном из вскоре появившихся отзывов говорится: «Сии отрывки, написанные пером искусного литератора, занимательны в отношениях: минералогическом, ботаническом, медицинском, статистическом и эстетическом».

Действительно — в этих коротких статьях заключена как будто вся программа будущей обширной отечествоведческой деятельности Михаила Александровича; помимо этого, нам они теперь особенно интересны описаниями хорошо знакомых, но до чрезвычайности изменивших свой облик окрестностей столицы.

Таков, к примеру, рассказ о рыбных богатствах Клязьмы: она в те года «изобилует лещами, окунями и вьюнами, встречаются и сомы, а иногда попадаются и стерляди». Здесь же ученому попался и словесный улов — одна из первых записей народных преданий: «Мальчик, которого я нашел на берегу реки и с которым ходил здесь, был чрезвычайно интересен и оригинален. Вот, например, его мнение об окаменелостях: во время всемирного потопа, по повелению Божию, всякого рода животные собирались в Ноев ковчег по двое, а прочие должны были погибнуть; но как животные водяные могли бы остаться в живых, то оне и превращены в камень». Улыбнувшись вначале затейливому толкованию, в следующей части читатель уже как наполовину знакомые встречает вполне научные сведения о том, что подмосковные известняки на

самом деле состоят из более чем дюжины видов органических окаменелостей...

Максимович интересуется фарфоровым производством вокруг Гжели; обращает внимание на крестьянские занятия: «Грунт в Бронницком уезде по левую сторону Москвы-реки песчаный, а по правую глинистый. Хлебопашество не значительно: обыкновенно хлеб получается сам-третей»,— но тороватые мужики находят выход в промыслах: «Жители занимаются разведением и вязанием веников, которые доставляются в Московские бани». Напротив, в другом уезде научились выращивать более доходные злаки: «В Гуслицах растут коренные хмели», дающие урожай «по 30 пудов с десятины, продающийся от 20 до 24 рублей пуд».

Приводя сведения из области ботаники, Максимович неизменно стремится дать точное народное название, а ученую латинскую ссылку отправляет в сноску: «В Бисерове из растений, мною найденных, могу заметить: болотную звездчатку, турфяной подмаренник, красивую многовласку...»

Наконец, описание известного Мячковского белокаменного кургана являет собою образец того, что можно было бы назвать научной поэзией: «Когда подъезжали мы к Москве-реке, то солнышко уже западало; вечернее его сияние наводило бледный румянец на усеянные кустарником и окруженные оврагами возвышенности, посреди коих, как купол на церкви, стоит Мячковский курган. Я всходил на него... На запад — у подножья представилась мне Москва-река, за нею белелись каменоломни и зеленелись пажити, кое-где видны были церкви, на горизонте же яснелись вершины гор, золотимые солнцем. Далее на север простираются широкие луга; на восток — идут большие возвышенности, покрытые кустарниками, с оврагами, где находятся еще приметы — кажется — батарейных рвов; наконец, среди полей, село Еганово со староверским кладбищем. Картина величественная!.. Посреди кургана стоит деревянный крест в воспоминание какого-то происшествия; есть предание между крестьянами, будто бы здесь некогда стояла церковь, которая опустилась в землю! У креста в некотором от него расстоянии находится несколько ямин, образованных, как кажется, недавно. Земля в них очень черная, наполненная разрушающимися органическими, железными и марганцевыми частицами; если топнешь в него ногою, то в кургане отдается гул. В яминах сих и на поверхности кургана разбросаны небольшие куски кремнистых камней и окисленного пластиковатого железа. Из примечательных растений, в окружных оврагах мною найденных, упо-

мяну следующие: бородавчатый бересклед, придорожную иголку, мохнатую живучку, ушастую иву, сморщеннолистную многовласку, древовидный лесничник, ползучий сердцелистный рокет, весеннюю сухоребрицу, шершавую чихрицу, густой подколодник...»

Встретив новое предание, на сей раз из области легендарной медицины, о «змее-рытике», Максимович сообщит и его на радость будущим исследователям мифов, а рядом с ним одною фразой даст нравственный портрет тогдашней Коломны: «Коломна занимательна особенно и нравится потому также, что в ней видны еще приметы Русской старины; более, нежели в других городах, сохранилась народность, по крайней мере в обычаях».

Затем следует описание минерала со звучным названием «просвердь полосатая», а потом уже целый рокочущий водопад новых звонких имен растений: шишковатый запник, горчанка-соколиный перелет, тимянка-Богородичная трава, гераний кровянистый, собачий перец (о коем, кстати, сообщается, что крестьяне одним его видом лечат «почечуй» у мужчин, а другим — у женщин; причем Максимович удостоверяет, что сам лично был свидетелем его целебного действия), чистительный лен, татарский горчовник, прутский гладыш, ятрышник любка, сибирский порезник, подмаренник бурьянный, курослепная вероника, желтеющий ситник, врачебная буквица, ястребинка зонтичная, пазник пятнистый...

Это особое достоинство работ Максимовича благодарно отмечали уже его современники: «Ботаника обязана ему многими удачными выражениями, счастливо придуманными или вновь образованными»; перечисляя наиболее привившиеся, как «особь» (вместо бытовавшего прежде уродливого «индивидуй»), а также пришедшиеся впору не только ботанике, но и литературе «полногласие», «своевременный» и другие, они подчеркивали, что ученый «постоянно заботится, чтобы наука его выражалась по-русски, хлопочет не только о близости перевода, но и, стараясь уловить в народе названия растений, вводит их в свои сочинения».

Отрывки, печатавшиеся Максимовичем в «Новом Магазине», неизменно сопровождались концовкою: «продолжение впредь», «продолжение будет»,— но так и не были завершены. После успешного обследования Подмосковья ему сразу же было сделано предложение отправиться в качестве специалиста-ботаника в кругосветное плавание,— но он и от него отказался, продолжая большей частью бесплатно читать лекции в университете да заведовать ботаническим садом, в

котором жил и сам. «Отрекшись от предполагаемого путешествия вокруг света,— вспоминал он позже с улыбкой,— довольный надеждою на близкое профессорство и пребыванием в ботаническом саду... работал в нем, как украинский вол, на подножном корму...»

Но продолжение «вдохновенной ботаники» все-таки вскоре последовало — и продолжение блестящее! Вот как о нем кратко рассказывает сам Максимович: «После сдачи магистерского экзамена я взял отпуск на 21 день и отгулял Масляную в Малороссии в доме отцовском и воротился в Москву с богатою жатвою малороссийских песен... В продолжение Великого поста написал я магистерское рассуждение „О системах растительного царства“ и, напечатав оное, публично защитил 30 июня. А между тем уже печатались мои „Малороссийские песни“, с объяснением и сравнительным словарем... И вошли они тогда в славу, и у нас на Руси, и в Славянщине Западной».

Непосредственность и простота рассказа отвечают той прекрасной легкости, с какой создавалась российская культура в первой трети XIX столетия совсем молодыми по современным меркам авторами — самому Максимовичу в день выхода в свет его первого и наиболее известного сборника было всего 22 года. Михаил Александрович, однако, оказался практически первооткрывателем «Малороссийских песен» для русского общества (до него существовала всего лишь одна подобная книга, выпущенная в 1819 г. кн. Цертелевым); при этом он, как подчеркивают исследователи, «впервые в украинской и русской фольклористике употребил термин „дума“ для обозначения отдельного жанра народной поэзии» (Б. П. Кидран) — о них специально говорится в предисловии: «Особенно замечательны *думы* — героические песнопения о былинах, относящиеся преимущественно ко времени Гетманства — до Скоропадского».

После издания «Малороссийских песен» дело их собирания и изучения получило основу, на которой начало стремительно продвигаться вперед. Как бы предчувствуя такое развитие, на первой же странице своей книги Максимович объясняет главную причину этого: «Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену *народности*; начинает уже сбываться желание — да создастся поэзия истинно Русская!.. В сем отношении большое внимание заслуживают памятники, в коих полнее выражалась бы народность: это суть песни — где звучит душа, движимая чувством...»

Стараясь ввести читателя в самую суть украинского на-

родного творчества, Максимович делает замечательное по художественности описание исторического характера своих земляков: «Возникшая подобно комете, Малороссия долго тревожила своих соседей, долго перепадала с одной стороны на другую и была только обуреваема бедствиями и беспокойствами, которые не дали развития духу народному и произвели только внутренние волнения. Массу ее составили не одни племена славянские, но и другие европейцы, а еще более, кажется, азиатцы. Недовольство и отчасти угнетение свели их в одно место, а желание хотя скудной независимости, мстительная жажда набегов и какое-то рыцарство сдружили их. Отвага в набегах, буйная забывчивость в веселье и беспечная лень в мире — это черты диких азиатов, жителей Кавказа, коих невольно вспомните и теперь, глядя на малороссиянина в его костюме, с его привычками. Таким образом, коренное племя получило совсем отличный характер, облагороженный и возвышенный Богданом Хмельницким».

С такой же поэтической выразительностью, которой увлечение придавало определенную односторонность в оценках, пишет собиратель о том, чем, по его мнению, разнятся народные песни велико- и малороссийские: «Русский... сдружился с природою и любит живописать ее, часто приукрашивая, ибо здесь только может свободно излиться его душа. Он не ищет выразить в песне обстоятельства жизни действительной; но напротив желает как бы отделиться от всего существующего и, закрыв ухо рукою, кажется, потерялся в звуке. Посему Русские песни отличаются глубокою унылостию, отчаянным забвением, каким-то раздольем и плавною протяженностию. В Малороссийских меньше такой роскоши и протяженности; они, будучи выражением борьбы духа с судьбою, отличаются порывами страсти, сжатою твердостию и силою чувства, а равно и естественностию выражения. В них видим не забывчивость и унылость, а более досаду и тоску; в них больше действия». Далее Максимович высказывает любопытное предположение о причине многочисленных сравнений с природой, встречающихся в народных песнях: «Дух... для полного выражения в его глубине зарождающихся чувств, невольно обращается к природе, с которою он... еще дружен, и в ее предметах видит, чувствует подобие свое гораздо явственнее и вернее. Посему-то находите... столь частые беседы с буйным ветром, дробным дождем, черными тучами. Унылая, вещая зозуля, одинокий явор, плакучие ивы и гибкие лозы, печальная калина, крещатый барвинок — сии эмблемы отдельных состояний духа невольно напоминают его самого».

В этом рассуждении особенно хорошо заметно, как, напоминая о себе поначалу время от времени, первая профессия автора постепенно вступает в союз со второй, и поэтому он уже не может удержаться, чтобы не сопроводить его еще одним примечанием, иллюстрируемым даже латинскими стихами, гадая о смысле упоминаний в украинских песнях руты и шалфея, которые в них «всегда вместе так часто встречаются».

Разделив сборник на четыре части, Максимович включил в первую исторические, во вторую и третью бытовые и лирические, а в четвертую — обрядовые произведения. О принципах их редактирования он говорит: «Из великого множества в народе обращающихся песен, некоторые были помещаемы более или менее исправно в разных повременных изданиях; в песенниках, весьма не редко искаженные, наиболее же против языка. Особого собрания собственно малороссийских песен еще не было. Переходя из уст в уста, они часто лишаются многих стихов, либо оные видоизменяются; часто песни не допеваются, или даже перемешиваются; таким образом постепенно отходят от первобытного вида. Нельзя и думать, чтобы можно было восстановить оный; но я старался сличать и соглашать разногласия; случалось сводить иногда две в одну, либо одну разделять на две; я избирал как находил сходственнее с правильным смыслом и — сколько понимал — с духом и языком народным. На первый раз я не мог более; кто будет иметь случай — соберет больше, искуснейшие — сделают лучше. Я желал показать доселе еще не совсем известные сокровища народной поэзии в настоящем виде; посему соблюдал строгий выбор и помещал песни либо замечательные по красотам пиитическим, либо представляющие образ мыслей, быт домашний и пр.»

При издании своей книги Максимович встретился еще с одной немалой трудностью: дело в том, что в его время не существовало принятой грамматики украинского языка. Тогда он сам предложил собственный способ записи, остроумный и одновременно направленный на то, чтобы тексты были наиболее понятны: «Сие делаю во первых потому,— говорил он, обосновывая свою систему,— что пишу не для одних Малороссиян, но и для Русских». Взяв за исходную точку то соображение, что буква «ять», в древнерусском языке звучавшая как двойной звук «іе», с течением времени превратилась на севере страны в чистое «е», а на юге, наоборот, в острое «і», Максимович ввел единое правописание с отметкой различий в произношении особым диакритическим знаком над строкой

в виде «крыши» (внешне напоминающим французский accent circonflexe), называемым «паерок». Он пояснил: «Я хочу удерживать коренные буквы; а в тех случаях, где они выговариваются иначе, отмечать только их особенным значком». В самом деле, при таком способе правописания для незнакомых с украинским языком чтение существенно облегчалось, а знающие его могли легко получить требуемое произношение, «произнося как острое „и" следующие гласные: ять — всегда, и — после другой гласной, а также и, е, а, о — „с паерком"».

Попробуем представить образцы напечатанных таким способом песен, выбрав их среди лирических и бытовых произведений, которых в первой книге, в отличие от последующих, больше других. Вот, например, небольшая, всего в восемь стихов, шутливая картинка «казацких мечтаний»:

Як бы минѣ зра́нку —
Горѣлочки шклянку,
И тютюн да люльку,
Дѣвчину Ганнульку!..
Горѣлочку — б пив, пив —
И люлечку — б я курив —
И дѣвчинку Ганнулечку
До серденька — б все тулив!..

Окончание другой песни служит еще одним доводом в пользу правильности рассуждения Максимовича о природе сравнений в народном творчестве — причем здесь уподобления принимают уже совершенно сказочные размеры:

А в казака стôльки вѣры,
Як на синêм морѣ пены;
А в дѣвчины стôльки ласки,
Як на синêм морѣ ряски.

Вместе с тем примечательно, что природа чаще выступает союзником, а не противником человека, легко входя, например, в ласковую череду прозваний, какими награждает казак тезку Ганнульки из первой песни — в другой:

Ой выйди, выйди, серденько Галю,
Серденько, рыбонько, дорогий кришталю!..

В примечаниях к четвертой части, заключающей в себе образцы обрядовых песен, Максимович снова выступает в роли соединителя двух родов наук — естественных и гуманитарных. Так, вопросы русалки в одной из купальских песен он даже сумел убедительно сопоставить с системой Линнея,

а народное поверье о тайной силе цветка папоротника, который можно найти только одну ночь в году, старается понять, объясняя, что и на самом деле «папоротники не цветут особыми, видимыми цветами; образование плодов их есть следствие цветения тайного, невидимого».

Сборник украинских песен привлек широкое внимание — его отмечали с благодарностью Пушкин, Н. Гнедич, П. Вяземский; герой 1812 г., министр народного просвещения адмирал А. С. Шишков писал непосредственному начальнику Максимовича попечителю университета А. А. Писареву: «Кандидат московского Университета Максимович доставил ко мне экземпляр изданных им Малороссийских песен и вместе с тем уведомил, что он занимается составлением Малороссийского словаря. Мне очень приятно знать, что г. Максимович свободное от должности время употребляет на труды, полезные для Российской Словесности. Посему я покорнейше прошу... поблагодарить его от меня за присылку книги и предложить прислать мне на рассмотрение оконченную часть словаря». А приезжавший в Москву Гнедич нарочно разыскал жившего тогда в Симоновской слободке собирателя, чтобы приветствовать его начинание; при этом он, как вспоминал Михаил Александрович, долго рассуждал о сходстве малороссийских звуков с итальянскими, цитируя строки вроде «Сором мене, чи не сором».

В новом качестве литератора профессор Максимович выступил с актовой речью 12 января 1830 г., в знаменитый Татьянин день, на торжестве 75-летия основания московского университета, в котором, говоря его словами, «впервые услышала Россия на родном языке своем почти все науки». Назвав ее «Об участии московского Университета в просвещении России», он высказал в своем выступлении твердое убеждение в том, что «юношество русское» должно получать во всех университетах «воспитание русское, без которого просвещение наше не будет иметь характера самобытности, характера, каким бы отличалось оно от просвещения германского, французского, английского». Эту мысль он развил в «Речи о Русском просвещении», читанной там же два года спустя: «вглядываясь внимательно в Словесность нашу, как в выражение общества, замечаем ясно направление оной к Русским стихиям, к сближению оной с действительною жизнию. Критика требует суждения собственного; Поэзия хочет вдохновений своенародных... Сего обращения Русских умов к возвышению народности своей требует и наша любовь к отечеству. Священное чувство сие так глубоко и сильно в Русском духе, что

идея *космополитизма,* столько свойственная некоторым другим народам, совершенно чужда Русскому. По понятию Русского, он может служить человечеству только служа России. *Гражданин всемирный,* полагающий отчизну везде, где есть люди, или, лучше, там, где он сам, в Русском понятии есть *гражданин самого себя.* Отвлеченная идея человечества для нас заключена и определена в близкой сердцу идее отчизны...— Так сильно наше чувство патриотизма, являющееся любовью к своему прошедшему, настоящему и будущему!»

О том, как выглядел сам Максимович в это время, хорошо рассказывает Ксенофонт Полевой — брат издателя «Московского Телеграфа» Н. А. Полевого, печатавшего в своем журнале многие статьи ученого: «Он был оригинален своим малороссийским юмором и страстью к ботанике. Когда он был уже домашним человеком у нас, издатель „Московского Телеграфа“ называл его не иначе, как dominus (что означает по-латыни „господин“, употребленное в данном случае в шутливом смысле — точно так же, кстати, назван в „Вие“ Хома Брут: еще одна перекличка с Гоголем, может быть, не вовсе невольная.— *П. П.*). Но, шутя и балагуря, юноша-dominus сделался кандидатом и потом магистром естественных наук. Он был страшный лентяй и всегда казался дремлющим; но взамен всего он обладал удивительною сметливостью, умел спрашивать, слушать и, так сказать, учился из разговоров... Отличаясь в обхождении малороссийским простодушием, он чрезвычайно любил знакомиться с людьми самыми противоположными по всем отношениям и, легко сближаясь с ними, наконец, заставлял их исполнять свои требования, даже свои прихоти, и все, смеясь, делали для него, что он хотел. При всем наружном простодушии он отличался необыкновенною рассудительностью, умом проницательным и тем окончательно привязывал к себе».

В другом известном журнале тех лет, надеждинском «Телескопе», Максимович вместе с научными работами помещал также в особом разделе под названием «Микроскоп» краткие заметки об ошибках и погрешностях, встречавшихся зачастую в трудах даже самых именитых авторов. И все эти тексты неизменно отличались литературными достоинствами — недаром Иван Киреевский замечал, что в Максимовиче есть драгоценный камушек, а перо у него «золотое с бриллиантовым кончиком». Особенно примечательной из помещенных в «Телескопе» является натурфилософская статья «О степенях жизни и смерти», в которой различные уровни бытия рассматриваются как «главные ступени лествицы жизни, по коим она

восходит и нисходит в мир явлений». Такие ступени Максимович видит в четырех «царствах земных тел» — неорганическом, растительном, животном и, наконец, духовном бытии; о последнем из них он говорит как о высшем: «Бытие духовное состоит уже в разумном действии самопознания и простирается за пределы времени и пространства. Жизнь духовная есть чистейшая, своеобразнейшая жизнь, ибо она мысленная». Четырем царствам земных тел соответствуют четыре степени смерти: сон, цепенение, тление, огненная смерть,— но ни одной из них Максимович не может признать окончательным уничтожением! Знаменательно, что заканчивается статья обращением к народным преданиям: «И так можно повторить старинное поверье, что какой бы смертью ни умирало тело, все оно *живет и в мире нет ничего совершенно мертвого*. Это верование в повсюдную жизнь природы и вера в бессмертную жизнь души — суть самые отрадные чувства для жизни сердца и ума, чувства основные для нашего действия и знания. И как не иметь их?»

Открывая новое поле для своей собирательской деятельности, Максимович издает в 1830—1834 гг. три выпуска литературного альманаха «Денница». Альманах открывался «Обозрением Русской словесности 1829 года» — первой статьей, под которой поставил свою подпись Иван Киреевский и которая вызвала следующий восторженный отзыв Пушкина: «Там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое Обозрение словесности, там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко». В «Деннице» были напечатаны две первые сцены из «Бориса Годунова» и стихотворения самого Пушкина, а также Е. Боратынского, Ф. Глинки, Н. Языкова («Нелюдимо наше море» и др.), «Послание А. С. Пушкину» о чистоте русского языка С. Шевырева, стихи А. Хомякова, Д. Веневитинова, П. Вяземского, А. Дельвига, впервые опубликованы «Последний катаклизм», «Безумие» и «Цицерон» (со знаменитой второй строфой «Блажен, кто посетил сей мир...») Ф. Тютчева. Здесь же были помещены русские песни из собрания Петра Киреевского, проза В. Одоевского, А. Вельтмана, И. Лажечникова и, наконец, переложения народных сказок, выполненные самим Максимовичем.

Дружбу с «собранными» им в «Деннице» писателями Максимович поддерживал и много лет спустя после ее выхода. Так, вслед за кончиной Ивана Киреевского он, продолжая его труды, содействовал издательской деятельности Оптиной пустыни, интересовался судьбой писем похороненно-

го в ней друга и надписями, сделанными на его могиле[1]. «Открытую» им в «Деннице» поэтессу Надежду Теплову (так же, как и сестру ее Серафиму) он опекал как добрый гений, составляя все ее сборники стихотворений. В ответ она однажды написала по случаю отъезда Максимовича на Кавказ для лечения строки, словно бы предсказавшие ему будущую судьбу:

Прекрасна дикая природа,
Мила душевная свобода —
Но миг прекрасней бытия,
Когда предстанут перед вами
Священной родины поля...

В 1834 г. ученому-собирателю посчастливилось и на самом деле перебраться на Украину, но за год до этого, в 1833 г., Михаил Александрович предпринял еще одно смелое начинание, оказавшееся весьма удачным: он издал для народного чтения «Книгу Наума о великом Божием мире» — первое в отечественной словесности общедоступное руководство по основам астрономии и математической географии, трактовавшее, как сказано в его заглавии, «о том, что называется миром, и что такое наша земля, о сотворении мира, о звездах, о соли и земном шаре и о том, что есть вещество и до какой чрезвычайности оно делимо, о различных землях и государствах». Изложение различных сведений научных и статистических ведется в ней ярким и легко понятным языком. Вот как, к примеру, кратко описано географическое положение тогдашней России: «...не в пример больше всех великое и славное Государство Русское. Оно одно занимает с лишком восьмую часть всей земли: половину Европы, больше третьей части Азии и часть Америки; жителей в России в Европейской части 48 миллионов, в Азиатской части 10.450.000 да в Америке 50 тыс.; а всего 58,5 миллионов душ; церквей в России 28,237; в Русском Царстве губерний 49, да кроме того много еще областей: Область Бессарабская, Область Белостоцкая, Земля Донских казаков, Область Кавказская и Черноморская, земли Кавказские, земли Закавказские, да владения Американские, да еще присоединены к нему Великое Княжество Финляндское и Царство Польское». Книга вскоре сделалась чрезвычайно ходовой в народе: первое издание разошлось сразу, а простые московские сидельцы стали запросто приходить к ее автору, желая дальнейших разъясне-

[1] ЦГАЛИ, фонд 314, оп. 1. ед. хр. 33.

ний прочитанного. Появление ее приветствовали и литераторы — такие как Д. Давыдов и В. Одоевский; последний писал Максимовичу: «Я от вашей Книги Наума без ума от восхищения... она хороша и сама по себе, и с прекрасною целию, и вовремя». Он предлагал издать целую серию подобных книжек совместно, принимая все расходы на себя. В течение ближайших десятилетий «Книга Наума» вышла еще десять раз, после чего наконец Министерство народного просвещения навсегда приобрело ее в свою собственность для употребления в начальных училищах.

А между тем постепенно продвигалось вперед и главное дело собирателя: накопив за годы, прошедшие с момента выхода «Малороссийских песен», еще многие сотни новых образцов их, Максимович на этой богатой основе выпустил в свет в 1834 г. следующий том под названием «Украинские народные песни». Он состоял из трех книг, где были помещены думы, песни казацкие былевые и бытовые. «В течение семи лет я продолжал начатое собрание,— писал ученый в предисловии к нему,— и оно теперь простирается уже до 2,5 тысяч песен и отрывков, и со временем без сомнения может быть удвоено, ибо это предмет неистощимый». Поблагодарив кн. Н. Цертелева, Н. В. Гоголя, И. И. Срезневского, А. Т. Шпигоцкого, О. М. Бодянского и других за помощь в «настоящем богатстве» коллекции, Максимович далее говорит: «Предлагаю просвещенному вниманию читателей Первую Часть моего нового собрания, менее других полную, но для многих может быть самую занимательную: ибо в ней помещены Думы Украинских бандуристов и песни собственно Козацкие, выражающие Козацкую жизнь в ее отношении к общественному, историческому быту, и отчуждении от быта семейного, домовитого; первые из них я называю былевыми, вторые бытовыми.

Это надгробный памятник и вместе живые свидетели отжитой старины. Другие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по которым История часто разгадывает минувшее: события Козацкой жизни отливались в звонкие песни и потому они должны составить самую верную и вразумительную летопись для нового бытописания Малороссии».

После выпуска первой части Максимович предполагал издать еще три. К сожалению, намеченная им программа так и не была полностью осуществлена, но краткий очерк ее, данный в том же предисловии, позволяет судить о структуре собрания и основаниях, по которым ученый распределял песни

внутри него. Во II части,— пишет он,— будут помещены песни женские — отголоски души страстной,— выражения жизни, исполненной любви пламенной, нежной, но обреченной на тоску, и только изредка расцветающей счастьем. Сюда же отношу и те песни, где козак является под господством женского чувства, в быту домашнем.

В III-й части собраны песни гулливые, в коих господствует более прихотливое и затейливое расположение души, разгул, карикатура и т. п.

В IV-й части помещаются все обрядные песни, относящиеся к празднествам и общественным занятиям домовитой жизни, и отличающиеся от других большею придуманностию, то восходящею до символической восторженности, то облекающеюся в прелесть идиллического простодушия.

Деление это довольно соответственно с своим предметом; впрочем, оно только приблизительное, и я вовсе не думáл вводить строгой и подробной классификации в этот гармонический мир живой Поэзии народа. Благоуханные вечносвежие цветы ее прорастают сквозь цемент систематических сводов и дружно переплетаются между собою».

Среди «песен козацких былевых» Максимович напечатал знаменитую «О Грицьке Сагайдачном», чрезвычайно распространенную и любимую на Украине вплоть до наших дней:

Ой на горѣ да женцû жнуть,
А по-под горою,
По-пôд зеленою
Козаки йдуть.

А попереду Дорошенько —
Веде свое вôйско,
Веде Запорôзьске
Хорошенько.

По середине Пан Хорунжий —
Пôд ним кониченько,
Пôд ним вороненький
Сильне дужий.

А позаду Сагайдачный,
Що промѣняв жôнку
На тютюн да люльку
Необачный.

— Гей вернися, Сагайдачный!
Вôзьми свою жôнку,
Отдай мою люльку,
Необачный!

«Мене з жонкою не возиться,
А тютюн да люлька
Козаку в дорозе
Знадобится!

Гей, кто в лѣсе? озовися!
Да выкреснем огню,
Да потягнем люльки —
Не журися!..»

Из «песен козацких бытовых» во многих отношениях любопытна песня-разговор с Долей, близко напоминающая по сюжету великорусские песни (а также и особую Повесть) о Горе-Злосчастии, но в самом подходе к теме и художественном решении ее представляющая именно украинскую народную традицию:

Да йшов козак з Дону, да з Дону до дому
Да й сев над водою, проклинае долю:
— Доле ж моя, доле, чом ты не такая,
Ой чом ты не такая, як доля чужая?
Що люди не роблять, да в жупанах ходять,
А я роблю, дбаю — и свиты не маю;
Що люди гуляють и роскоші мають,
А я роблю, дбаю — ничого не маю!
Обôзветься доля на тôм боце моря:
«Козаче-бурлаче! дурный розум маеш,
Що ти свою долю марне проклинаешь:
Ой невинна доля, винна твоя воля —
Що ты заробляешь, то все пропиваешь,
Що в день загорюешь, за нôчь прогайнуешь,
А що заталанишь, то музыки наймешь...»

И тут, уже в полную противоположность северно-русскому варианту завершения противоборства молодца со своей горькой долей-судьбою (где герой или отчаивается, пропиваясь до гола в кабаке, а чаще либо топится, либо постригается в монастыре) и словно подтверждая проведенное Максимовичем различие между «забывчивостью и унылостью» русских песен и «досадой и тоской» украинских, в которых «больше действия», казак неожиданно заканчивает:

Ой грайте, музыки, из двора до двора,
Да щоб не журилась стара ненька долю!..
— Як музыки грали, то й нас люди звали,
А як перестали, то й лаяти стали!

Новое издание украинских песен вызвало широкий отклик во всем славянском мире. Будущий известный историк Н. Костомаров вспоминал, что оно произвело на него такое

сильное воздействие, что он выучил его все наизусть. В «Телескопе» со статьями о сборнике выступил выдающийся поборник славянского единства Ю. Венелин, утверждавший: «Нельзя перелистывать эту книгу без истинного удовольствия. От имени всех любителей песнопения искренно благодарим г. Максимовича за издание дум и песен южнорусских» (впоследствии Ю. Венелин выпустил эти статьи в виде отдельной книги). Словацкий и чешский ученый П. Й. Шафарик в «Часописи» назвал собрание Максимовича «лучшим изданием» народных славянских песен.

Одновременно Максимович напечатал небольшую тетрадь песен, снабженных нотами. Об истории ее создания рассказал он сам во вступлении: «Украинские народные песни, столь поэтические словами своими, прекрасны и своими голосами, коих лучшая и любопытнейшая часть доселе живет только в устах своего народа и не известна еще в музыкальной литературе. Занимаясь собранием украинских песен, я, сколько мог, доставал и напевы или мотивы оных. А. А. Алябьев взял на себя труд аранжировать оные для пения и фортепьяно; и вот первая тетрадь, за которую любители народного пения, которых теперь так много, будут обязаны новою благодарностью своему любимому певцу». Современные музыковеды особо подчеркивают, что это был первый нотный сборник, специально посвященный украинскому песенному народному творчеству.

По «Голосам украинских песен, изданным М. Максимовичем», часто пел с друзьями не только сам Н. В. Гоголь, чей эпиграф стоял на первой странице тетради; О. М. Бодянский свидетельствует, что в 1850-е годы украинские песни по этим нотам исполнялись и на воскресных обедах у С. Т. Аксакова. Кроме того, по просьбе знакомых пел их и сам собиратель, явившийся, по-видимому, одним из основных источников записи мелодий. О шутливом употреблении им своих музыкальных способностей вспоминал в старости в письме к другу М. П. Погодин, напоминая, что когда вышла в свет его собственная магистерская диссертация «О происхождении Руси», то ее «тезисы ты, злодей, кажется и на ноты положил; по крайней мере, помню, распевал первый:

Варяги-Русь — не Шведы,
Варяги-Русь — не Пруссы,
Варяги — не Козары,
Варяги составляли
Особенное племя —
Норманнское.

(Кстати, сам Максимович, в отличие от своего старинного приятеля, был убежденным противником норманнской теории).

Выход двух новых сборников совпал с большим переломом в жизни их издателя: в том же 1834 г. в Киеве основывался новый университет св. Владимира, и Михаил Александрович стал хлопотать о своем переводе туда, на родину. Поначалу его, как одного из самых любимых и необходимых московских профессоров, отпускать не хотели, но все-таки совместными усилиями друзей в Петербурге, среди которых особенно постарались Жуковский, Вяземский, Пушкин и Гоголь (Вяземский, острословя, настаивал, что лишь «*язык* до Киева доведет»), желаемое было достигнуто: прежний ботаник в скором времени стал профессором русской словесности, деканом философского факультета и, наконец, исполняющим обязанности первого ректора новой обители просвещения. На прощание «альма матер» приветствовала его такими словами: «Университет наш утешается тем, что чрез сие перемещение одного из лучших его членов... новая леторасль просвещения, насаждаемая... в обновляющейся колыбели земли Русской тем живее и теснее свяжется с древним маститым корнем отечественного образования, первенцем университетов Русских».

Старые знакомые высказывали большие надежды при известии об этом назначении. Так, Надеждин писал: «Киев — восток русской жизни. Ему теперь предлежит деятельное участие в ее полуденных трудах. И как я рад видеть тебя в челе нового поприща, открывающегося для древней матери градов русских». Поприще это, однако, оказалось весьма нелегким. Хотя время чужеземного гнета, когда веками русская земля «засевалась костьми и поливалась кровью», в политическом отношении для древней столицы уже окончилось, совсем иначе обстояло дело в области образования и культуры. Достаточно сказать, что из профессоров, адъюнктов и лекторов нового учебного заведения, которым предстояло руководить Максимовичу, русским был лишь один профессор богословия И. М. Скворцов; остальные представляли собой выходцев из Польши, Литвы и Лифляндии. В частности, в Киев были переведены преподаватели из виленского университета и весь преподавательский состав Кременецкого лицея, упраздненного в 1831 г. в связи со вспыхнувшим восстанием против России. О том, сколь успешна была их прошлая деятельность, говорит хотя бы тот факт, что в момент прихода известия о закрытии лицея в нем не оставалось ни одного ученика — все они, объединившись с нарочно прибывшими из

Австрии и Пруссии агентами, примкнули к инсургентам, программа которых предусматривала новое расчленение Украины. Вслед за объединенными масонскими ложами Великого Востока Литвы и Польши, куда входило множество виленского профессорства, в нее включался в качестве коренного пункт о восстановлении так называемой «Великой Польши от моря и до моря», границами которой должны были служить «великая горная цепь, два моря и две реки»; одной из этих рек был... Днепр, и Киев вместе со всей правобережной Украиной предполагалось включить в состав нового государства. О подобных захватнических мечтаниях Максимович с отвращением писал впоследствии в одном из стихотворений, напечатанных в альманахе «Украинец»:

Замышляют в свои руки
Украину взяти,
Щоб и Киев, святый город,
Варшаве́ оддати.

Сам же Михаил Александрович неизменно противопоставлял таким планам, чреватым новыми кровопролитиями между братскими племенами-соседями, идею дружбы и взаимного согласия среди славянских народов. Поэтому-то, хотя, будучи беспристрастным, он и не решался утверждать, что новоприбывшие воспитатели юношества прямо возжигали опасные мечтания, но все же указывал, что «уже своим пребыванием они препятствовали распространению Русского духа и успехам чистого языка Русского; при том же и в отношении ученом большая часть их была не университетского, запоздалого достоинства...»

Заботясь о том, чтобы высшее образование на его родине носило не раскольнический, а, напротив, глубоко патриотический характер, новый ректор произнес в 1837 г. на торжественном университетском акте программную речь «Об участии и значении Киева в общей жизни России», в которой показал незаконность чужих притязаний на древнерусский культурный центр и горячо защищал идею неразрывной общности всех основных ветвей единого народа, создавшего колыбель отечественного государства — Киевскую Русь. Присутствовавший на заседании новый министр народного просвещения С. Уваров при произнесении им последних слов речи — «Во свете Твоем узрим свет» — был уже у кафедры и лично приветствовал одобрительными рукопожатиями. Но задача создания национального центра просвещения в Киеве не была разрешена сразу: на трудность ее указывает, к примеру, то

обстоятельство, что участие студентов-поляков в новом политическом заговоре вызвало даже временное закрытие университета на пятом учебном году; в то время Максимович, однако, уже сложил с себя обязанности ректора.

Успехом своей общественной и научной деятельности в первые, наиболее сложные киевские годы Михаил Александрович во многом был обязан вниманию и содействию известного ученого-историка, археографа и библиографа, друга прославленного Державина (к нему обращено одно из лучших стихотворений «росского Пиндара» — «Евгению. Жизнь Званская») митрополита Евгения Болховитинова — автора исследований старины Пскова, Новгорода и Киева, составителя капитальных словарей русских писателей, руководившего в Киеве раскопками, открывшими фундамент Десятинной церкви и Золотых ворот (надгробие этого выдающегося деятеля своего времени доныне сохранилось в Киевской Софии). Максимович познакомился с ним на третий день по приезде в город, и маститый иерарх был первым, кто побудил его обратиться к трудам по истории России, неизменно помогая советом, щедро предоставляя редчайшие книги и рукописи из своей личной библиотеки: неизданное еще тогда «Хождение Даниила», послание Феодосия Печерского князю Изяславу и многие иные, включая даже рукопись мнимых «гимнов Бояну», полученную им от самого выдумщика их Селакадзева. Руководствуясь его указаниями, Максимович выпустил в 1837 г. свою новую книгу «Откуда идет Русская земля», направленную против историков-норманистов. Немалую поддержку молодому главе университета оказал и ректор другого, единственного в Киеве высшего учебного заведения, существовавшего до его открытия,— Духовной Академии. Им был ставший ближайшим другом Максимовича епископ Иннокентий Борисов, в конце жизни получивший по месту своего последнего служения всероссийскую известность под именем Иннокентий Херсонский. Дружба двух ректоров не только скрепила союз самих учебных заведений, благодаря чему университетское и академическое сословия нередко собирались вместе на «симпосион ученый»; общими были у новых приятелей и любовь к родной истории и словесности. Издавая свои произведения и читая лекции, они искали друг у друга совета и сочувствия; в особенности нужны они были Михаилу Александровичу, который в первые годы был единственным профессором, ведшим курсы русской словесности для всего университета. Выработанный им подход к предмету виден из следующих выразительных слов вступительной лекции, где,

подчеркивая органическое единство литературы, одной из основных составляющих ее частей он называет народные песни: «Именем Словесности означается совокупность памятников, в которых выразилась душа и жизнь народа... Произведения одного лица, называемые обыкновенно сочинениями, как бы значительны ни были, не составляют еще Словесности. Словесность принадлежит целому народу: она образуется из совокупных трудов многих лиц, как целое тело из своих членов, и на известной степени народной жизни бывает, можно сказать, безличная: кто, например, сложил это богатство наших народных песнопений?»

Курс сопровождался чтением и разбором самих памятников древней литературы и поэзии. В частности, именно в связи с песнями южной и северной Руси, западных славян, а также старинными письменными памятниками объяснял Максимович «Слово о полку Игореве», текст и перевод которого были им отдельно изданы для слушателей, а подробный критический разбор напечатан в «Журнале Министерства Народного Просвещения». Несколько позже ученый выпустил в свет и книгу «История древней русской словесности», в которой справедливо утверждал, что она может быть правильно рассмотрена только во взаимосвязи с жизнью народа, и в первую очередь здесь важен как предмет изучения его язык. Приводя многочисленные доводы, он доказывал, что русский язык является отдельным от западнославянских и, в отличие от них, менее прочих подвергнувшись иноплеменным влияниям, более всех сохранил древнеславянские свойства, обратившись, однако, в свою очередь в три особых вида: южнорусский, великорусский и белорусский.

...Ректором Михаил Александрович пробыл недолго, всего около полутора лет. Работа сразу на многих поприщах отнимала много времени и сил, а организм все более расстраивался, подтачиваемый сильнейшим ревматизмом, полученным в Подмосковье дождливым летом 1824 г. Кроме того, Максимовича влекла более всего ученая и писательская работа,— а университетом, основы благоустройства которого он заложил, могли теперь заведовать и другие. «Мне стало не в моготу тянуть двойную лямку ректора и профессора,— объяснял он впоследствии.— Я видел, что ректорство, начатое мною в новом университете, можно было уже продолжить всякому, и было уже кому продолжать; а мне оно было помехою в деле доставшейся на мою долю науки, нескончаемой в своем требовании и усовершении, как всякая наука». И вот в конце 1835 г. Максимович испросил увольнение от вы-

сокой административной должности, оставшись, однако, профессором русской словесности.

Деятельная собирательская натура его получила теперь больше возможностей для выполнения нового задуманного им начинания: стремясь возбудить подъем духовной жизни в столице Украины, Максимович по старому своему опыту решил создать местный литературный альманах. Он предпринимает издание «Киевлянина», вышедшего тремя выпусками в 1840, 1841 и 1850 годах, ставя эпиграфом к нему строки Пушкина:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу!..

«Исследование и приведение в надлежащую известность всего, что относится к бытию Киева и всей Руси — Киевской и Галицкой, составляет особенную и собственнейшую цель моего „Киевлянина"»,— заявлял редактор альманаха в предисловии и обращался к читателям с просьбой доставлять ему интересные в этом отношении статьи, исторические записи, грамоты, универсалы, акты, листы, легенды, народные предания и песни, рисунки и т. д. Приглашение принять участие в новом издании было послано и старым литературным друзьям. «Киевлянин мой есть продолжение Денницы, но с другим уже видом, в другом свете и цвете»,— пишет при этом Максимович П. А. Вяземскому, поясняя, что если в «Деннице» было «вооружение» против Булгарина и ему подобной братии «за честь русской словесности», то «здесь стоим и ополчаемся» против иностранного духовного засилья за «древнюю, первозванную Русь Киевскую». Другой давний московский приятель, А. С. Хомяков, сразу же ответил присылкой стихотворения «Киев», прибавляя, что оно было внушено ему самим названием «Киевлянина», и высказывал надежду на его успех: «Пора Киеву отзываться русским языком и русскою жизнию. Я уверен, что слова и мысли лучше завоевывают, чем сабля и порох, а Киев может действовать во многих отношениях сильнее Питера и Москвы. Он город пограничный между двумя стихиями, двумя просвещениями». Важность подобной задачи для затеянного им альманаха понимал и сам Максимович; так, опубликованная им в первом выпуске статья под скромным названием «О надгробиях в Печерском монастыре» сообщала, посредством разбора надписей на этих бесспорных документальных памятниках, какие именитые роды западнорусского края, ставшие к этому времени католическими магнатскими фамилиями, вышли на самом деле в

старину из коренных православно-русских. Один из ученых читателей приветствовал статью в письме, посланном издателю, следующими словами: «Сожаление о русских ополячившихся фамилиях очень кстати. Пусть пораздумают на досуге».

Цензура вначале с чрезвычайной осторожностью отнеслась к новому изданию, понимая, что безответственные энтузиасты могут превратить благое начинание в источник возбуждения розни между населявшими край народами. Этим, в частности, объясняется и то, что замечательное хомяковское стихотворение, открывающееся славословием древней столице:

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель! —

появилось с задержкой — только во втором выпуске «Киевлянина», когда наконец был по достоинству оценен воистину плодотворный и миротворческий характер картины чаемого будущего единства славянских народов, которой поэт завершает свое произведение:

И вокруг знамен отчизны
Потекут они толпой
К жизни духа, к духу жизни,
Возрожденные тобой!

В альманахе было напечатано немало исторических работ самого Максимовича, М. П. Погодина, незаслуженно полузабытого ныне выдающегося исследователя истории русского крестьянства И. Д. Беляева, малороссийские рассказы П. А. Кулиша, стихотворения проживавшего тогда в Киеве В. Бенедиктова, Н. Языкова, Ф. Н. Глинки и его жены Авдотьи, И. Аксакова, К. Павловой, гр. Е. Ростопчиной и многое другое. Откликаясь в «Москвитянине» на выпуск второго номера альманаха, С. М. Соловьев в особенности отметил труды его составителя: «Так вполне достигает своей прекрасной цели издатель Киевлянина. Перед нами только две книжки, но уже сколько относящегося к бытию Киева и всей южной Руси исследовано и приведено в надлежащую известность, и все это совершено усилиями только одного ученого». Он выражал надежду, что вскоре появятся также и другие издания сходного направления, как «Смолянин», «Тверитин», «Черниговец», «Рязанец», признавая, однако, что честь и слава благого начинания принадлежит матери городов русских.

Тем временем тяжкий недуг ученого усиливался, и к моменту выхода второго «Киевлянина» Максимович, с трудом уже передвигавший ноги, совсем слег; обострилась у него и болезнь глаз. В 1840 г., 36 лет от роду, он принужден был просить об окончательной отставке; казалось, жить ему оставалось совсем недолго. Беспокоясь о судьбе друга, возможный путь спасения указывал ему ближний товарищ — ректор Иннокентий, призывавший Михаила Александровича в письме, присланном на Светлый праздник в том же году: «Смотрите, какой прекрасный день. Истинная весна! Пора, следовательно, с одра! Мне кажется, если вы начнете дышать не комнатным воздухом, разумеется, когда он тепел, то вам будет гораздо лучше. Такому духу, как ваш, в комнате хуже, нежели птице в клетке. Итак — на свободу! Под свод небесный!»

Этот совет был принят и оказался вещим. Тем же летом больной перебрался в отцовскую вотчину на Днепре, где незадолго перед тем выстроил на высоком холме небольшой хутор, названный по его имени Михайловой Горою. Здесь он не только сумел постепенно поправиться, но и провел впоследствии, с небольшими перерывами, большую часть остальных тридцати двух лет своей жизни. «Я думал,— рассказывал он позже об этом переезде,— как и все предполагали, что скоро уже и Богу душу отдам. Но прожив два года сиднем на моей Михайловой Горе... не читающим и не пишущим селянином-отшельником, отрекшимся от всякого врачевства и отложившим всякое попечение житейское, я опять стал на ноги, стал в силах читать и писать понемногу...». Словно в возмещение за свои совсем небольшие размеры, имение собирателя было расположено в чрезвычайно живописной округе, как бы в самом сердце Украины, «на левом берегу Днепра, верстах в 160 вниз от Киева, в Золотоношском уезде Полтавской губернии». Лучшее из существующих описаний его дал сам Максимович: «Прямо против того места, где река Рось поворачивает к Днепру, на нашей стороне его, над селом Прохоровкою, выдалась моя Михайлова Гора, с которой так далеко видно во все стороны. Сколько разнообразных картин сливается здесь в одну полную, живую панораму, и как хорошо отсюда поглядеть на простор и красоту Божьего мира!.. Це́лую половину кругозора моего обнял собою Днепр, сверкая на 60 верстах своего течения. Прекрасен Днепр и в сиянии дневном, когда на его светлых водах забелеются полные паруса, ныряя в зелени прибрежных дерев, и в сумраке ночном, когда на его стемневших берегах засветятся огни, а мимо их проходят огни на плывущих плотах. Прекрасен вид За-

днепрожья, с широкими раздольями его темных лесистых лугов, разлегшихся на полдень от Роси, под синеющимися полосами гор Корсунских и Мошенских, с его величавою нарядною возвышенностью Роденскою, белеющею в конце своем городом Каневом, и с восходящею из-за Канева отраслию Терехтемировских гор. Но еще ненагляднее для меня вид побережья, на котором, как на разостланном ковре, беспечно раскинулись наши села. Там улеглась бездна зелени, в лугах и лесах, сплетаясь бесчисленными очерками и оттенками в одну ткань со струями и зябями бледно-желтых песков, поднимающихся холмами на север. А на восток от меня потянулась привольная степь, с рассеянными по ней лесками, садиками и хуторами и этими таинственными могилами, без которых и степь не степь на Украине».— В космической широте охвата, в полноте выраженной здесь любви к родному краю, в духе каждого образа этой величественной панорамы, созданной художественным даром Максимовича, чувствуется, что писал ее друг Гоголя; и, быть может, не зря местное предание, нашедшее себе отражение даже в академической «Истории городов и сел УССР», настаивает, будто именно с этой точки зрения дана знаменитая картина Днепра в «Страшной мести», начинающаяся ставшими уже пословицей словами «Чуден Днепр при тихой погоде...»

Окрепнув после длительного недуга, Михаил Александрович вновь стал понемногу выезжать, и некоторое время даже еще жил и преподавал в Киеве, пользуясь также своим пребыванием там для занятий южнорусской стариной в Софийской библиотеке. Но главное, чем он был занят в первые годы по выздоровлении, было собирание и подготовка нового издания песен. Оно вышло в 1849 г., когда Максимович опять вернулся на Михайлову Гору, где безвыездно провел затем целых восемь лет в своем «нагорном уединении».

«В продолжении двадцати лет я собирал украинские народные песни; и теперь приступаю к новому, полнейшему их изданию,— пишет он во вступлении, выражая намерение выпустить наконец в свет исчерпывающий многотомный свод.— Это издание, для отличия от двух прежних, я называю Сборником Украинских Песен. Не могу иначе выдать его, как по частям. Каждая часть будет содержать в себе один отдел песен мужских, и один или два женских. В шести частях будет помещено около двух тысяч песен. Половина из них собрана мною самим, преимущественно в Полтавской губернии. Другая половина их и множество вариантов получены мною от разных лиц, со всех концов Южной Руси». Остановившись

далее на художественных достоинствах и особенностях малороссийских песен, Максимович в завершение признается: «Но в деле искусства важен суд художника, и потому я припомню здесь моим читателям мнение Гоголя, которого поэтическое дарование взлелеяно звуками украинских песен: „Камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — все: поэзия и история и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России“».

Первый сборник из задуманной серии состоял из двух отделов: украинских дум и песен колыбельных и материнских. Из всех подготовленных Максимовичем изданий в нем наиболее полно представлены именно думы, которых здесь опубликовано двадцать, в том числе четыре — впервые (для сравнения: к настоящему времени известно всего около 50 сюжетов дум). Являясь своеобразнейшим созданием украинского народного творчества, они представляют собою эпическо-лирический жанр словесно-музыкального фольклора. Поются думы слепыми певцами-кобзарями (бандуристами), имевшими особые странствующие артели со своими порядками, школами, кассой и тайным языком, которым передавали знания из поколения в поколение. При этом текст дум, исполнявшийся речитативом, как и подчиненная ему мелодия, не были чем-то застывшим, а импровизировались в определенных пределах в ходе каждого исполнения. Сравнивая этот жанр с русскими былинами и сербскими юнацкими песнями, Максимович подчеркивает в предисловии, что разносложность стихов дум, а также рифмование нескольких, вплоть до десяти, строк подряд делают их совершенно особенной частью народной поэзии, которую он определяет следующим образом: «Думы от прочих украинских песен отличаются разнообразною, вольною мерою своих стихов, слагающихся из неравного числа тонических стоп, и в неопределенном числе слогов (от 4 до 20 и даже больше). Такая разномерность стиха состоит в связи с эпическим свойством украинской думы, которая лишь изредка вдается в лирический тон песни, принимая тогда и определенный, песенный размер». Ярким образцом думы является сравнительно короткая «Схватка с татарином», впервые напечатанная в этом сборнике:

Ой де-сь, ой десь за Килимом-городом[1] казаченько гуляе;
А з Килима-города Татарин поглядае.

[1] Килим — Килия, город при устье Дуная.

Згадав Татарин Татарцѣ пару коней сѣдлати
Да того козаченька доганяти.
Як выбѣг Татарин, старый бородатый,
На розум небагатый,
Выбѣг того козаченька доганяти.
«Ты козаченьку молодый,
Пôд тобою кониченько вороный!
Коли б я тебе пôймав,
Я б тебе у Килим-город запродав,
И срêбныи за тебе гроши побрав!»
А козаченько оглядается
И карбачем[1] одбивается.
«Ой ты Татарин, старый бородатый,
Да на розум небагатый!
Ты мêж козаками не бував,
И козацькой каши не ѣдав,
И козацьких жартôв[2] не знаешь...
Де-сь у мене був с пулями гаман[3];
Я ж тобѣ гостинця дам».
Як став ему гостинцѣ посылати,
Став Татарин з коня похиляти.
«Ой ты Татарин, старый бородатый,
Да на розум небагатый!
Ище ты мене не пôймав,
Да вже в Килим-город запродав,
И срêбныи за мене гроши побрав!
От-тепер твого одного коня вороного
Поведу до шинкарки пропивати,
А другим твоим конем вороным
По Килиму-городу гуляти!
Ой, гуляти, гуляти, гуляти
Да единого Бога споминати!»

Выход «Сборника Украинских Песен» вызвал появление интересной статьи Ф. И. Буслаева «Об эпических выражениях украинской поэзии». Но снова, как это произошло и с первыми двумя изданиями Максимовича, обещанного продолжения их так и не последовало: «Сборник» 1849 г. вообще оказался последним. Причинами этого были не только денежные затруднения. Пять лет спустя сам составитель так объяснял их в письме С. П. Шевыреву: «Меня не раз упрекали, да и сам вижу, что я многое начинал, и не многое оканчивал... такое уж видно мое нескончаемое наклонение». Примерно в те же годы он записывает еще одно признание, поводом к которому послужило наступающее новолетие: «Странное состояние души испытываешь в новый год, когда думаешь свести итог прошедших годов с бюджетом предназначенной твоей будущности. А я и с молоду не был мастером сводить концы; давался

[1] Карбач — нагайка.
[2] Жарты — шутки.
[3] Гаман — кисет.

мне более почин делу. И много таких добрых починов набирается; да как завершить придется, вот тут и недочет». А в том, что починов воистину было весьма значительное число и трудов Максимович оставил немало, удостоверяет современный исследователь его наследия Д. Острянин, насчитавший в составленной им библиографии работ ученого 265 номеров! Старший же предшественник его, автор первого жизнеописания Максимовича С. И. Пономарев так определяет причину незавершенности многих начинаний словами самого Михаила Александровича (высказанными, однако, по другому поводу): «И для учености бывает разный талант: для иной — светлый луч мысли из тьмы сведений, для другой — громада сведений, под которою ум заходит за разум».

Тем не менее, во многих последующих своих произведениях Максимович не раз еще прибегал к помощи собранных им песен: они послужили, например, живыми иллюстрациями напечатанного им цикла статей «Дни и месяцы украинского селянина», в котором сопровождали описания и пояснения обычаев, поверий и примет, связываемых с годовым кругом на Украине (очерки эти также не были доведены до конца...).

Для поздних трудов ученого характерен, по его собственному признанию, историко-топографический уклон. Но и в них, как считает советский историк Л. А. Коваленко, «критические замечания порой переплетались с мастерски написанными образными обобщениями»; при этом он ссылается[1], в качестве показательного образца, на следующий отрывок из «Обозрения старого Киева»: «Народ Русский благоговел к нетленной святыне своего Киева и чуждался его развалин. Величавая древняя жизнь его в народной памяти слилась в один богатырский век Владимиров; действительные события Русской древности в народном воображении разрослись в исполинские размеры. Древний Киев стал баснословным. Укромные пещеры его народная молва продолжила до Смоленска и Москвы, провела их под Днепром. Народные сказания о Киеве расходились по далеким странам и там дополнялись новыми вымыслами... Для самих Киевлян не только Лысая гора, на левой стороне Днепра находящаяся, но даже и в Киеве сад Кучинского стал пугалищем и считался сборным пунктом Киевских ведьм... В половине XVII в. проповедник Доминиканского Киевского монастыря Петр Розвадовский, исчисляя урочища, коими владел тот монастырь в Киеве, писал: „...грунт к Днепру за Бернардинами, подле грунту

---

[1] История и историки 1972. М., 1973. С. 258.

Лейзора арендатора жида; там был деревянный типографский двор между сим жидом и садом Кучинского, где ведьмы слетались...“».

По-прежнему исследования даже самых, казалось бы, частных вопросов отечественного прошлого, предпринимавшиеся Максимовичем, отличались не только документальною обоснованностью, но вместе с тем были замечательны и в сущностном, и в литературном отношениях: доказывал ли он, что именно с 90-х годов XVI столетия, причем одновременно на севере и юге страны, «своенародные имена Русь, Русский начали заменять, по греческому произношению их, именами Россия, Российский»; устанавливал ли правильное написание имени Богдана Хмельницкого, приводя при этом его слова из белоцерковского универсала, в которых гетман называет свою родину «отчизна наша Украина Малороссийская», рассматривал ли происхождение слова «человек», изучал древние корни казачества или времена восстания XVIII в. Колиивщины.

Он вовсе не ограничивал, впрочем, своих научных интересов историей одной лишь южной Руси. Как признавался ученый в 1854 г. в письме к П. А. Кулишу, у него постоянно оставалась еще «все неудовлетворенная жажда Москвы». Именно в Москве в 1858 г. вместе с А. С. Хомяковым он общими усилиями «пробудил от долговременного сна» бездействовавшее более двадцати лет Общество любителей Российской Словесности. «Это памятный лист в терново-лавровом венке моей труженической жизни,— говорил он об этом уже на склоне лет.— Я подписывал с Хомяковым дипломы Шафарику, Ганке и многим другим». Тогда же он принял на себя редактирование сочинений И. Киреевского. В 1859 г. в Москве и в 1864 г. в Киеве вышло два сборника статей Максимовича под названием «Украинец»; он также писал стихи и занимался переводами,— слова одного из них, «Плача Ярославны» из «Слова о полку Игореве», впоследствии положил на музыку украинский композитор Н. В. Лысенко. За научные заслуги Михаил Александрович был выбран членом киевских Университета, Академии, Исторического общества Нестора-летописца, подобные же дипломы получил из столиц и других городов страны — всего к концу жизни он состоял почетным участником пятнадцати ученых обществ.

В сентябре 1871 г. торжественно отмечалось 50-летие его писательской деятельности — это был первый юбилей литератора в Киеве. Некогда возглавлявшийся Максимовичем уни-

верситет присвоил ему степень доктора славяно-русской филологии; Российская Академия наук выбрала членом-корреспондентом по отделению русского языка и словесности, преподнеся в подарок тридцать томов своих лучших изданий, включая образцовые собрания сочинений Державина и митрополита Макария Булгакова. Министр народного просвещения прислал трехтысячную премию и поздравление, в котором отмечал: «Несмотря на невзгоды Вашей жизни, в конце 50-летней литературной и служебной деятельности вы можете себе сказать: как ученый, я сделал для науки все, что было в силах сделать; как наставник юношества, я учил его честно, не гонясь за гнусным популярничаньем, не заискивая рукоплесканий, не пресмыкаясь перед увлечениями толпы».

Тогда же состоялся вечер, на котором хор пел русские, украинские, чешские и сербские народные песни. Максимович подарил участникам хора экземпляр своей книги 1834 г., сказав при этом напутственные слова юношеству: «Меня особенно радует ваше признание и усвоение себе тех понятий о русской земле и русской жизни, которым я следовал всегда в моих мыслях и делах, в словах и писаниях. Уроженец южной, Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я так же любил, изучал и северную, Московскую Русь, как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие, так и уразумение их, одной без другой, недостаточны, односторонни...»

Напоминание о необходимости отстаивать единство было вполне своевременным: пореформенные годы вместе со значительными переменами в общественном строе принесли и новые опасности, грозившие затронуть веками освященные традиции дружбы всех частей великого народа, населявшего древнее ядро страны. «Своему старому товарищу по Университету и Москве, своему земляку и родичу по Руси» М. П. Погодину Максимович в год юбилея с тревогою пишет: «Москва мне казалась всегда единомышленной Киеву... Впрочем, времена переходчивы, а с ними и места переменчивы». Он вспоминает также, что сказал им при последней встрече покойный Иннокентий Херсонский, намекая на политические движения в Европе: «Novus ordo зачинается в мире». Об этом же, пользуясь поэтическими метафорами, рассуждает и другой старинный приятель, Федор Глинка, описывая в пос-

лании к Михаилу Александровичу свою недавнюю встречу с Погодиным: «Ко мне заходил Михаил Петрович и мы проговорили с ним целую ночь напролет.

— Да! — воочию моему, много непредвиденного, неразгаданного совершается в природе и в народе; корабль прошедшего разбился о скалы настоящего и мы все спасаемся кое-как: кто на бочке, кто на бревне, кто за что ухватился. И хотелось бы протянуть руку другу, да водяной отшибает и в кипяченое море житейства разбрасывает всех куда кто угодит.— Все как будто готовятся к какому-то катаклизму, и невольно говорится:

Сколько в мир вошло горючего
Ни сказать ни разгадать,
И чего-то неминучего
Поневоле *должно* ждать»[1].

...Последние свои годы Максимович все так же провел «надднепровским отшельником» на Михайловой Горе, откуда зимою даже временами наблюдал, как рассказывает в письме Погодину, северное сияние,— вместе с женой Марусей и двумя детьми, из которых старший, мальчик Алексейка, назван был по имени своего крестного А. С. Хомякова. Здоровье его заметно слабеет, возвращаются прежние хворости, но он упорно продолжает трудиться над историей Украины, а когда болезнь мешает ему в работе, добродушно шутит. Так, вынужденно отказываясь от приглашения на археологический съезд в Москву, сообщает знакомому: «Завтра буду писать ответ о моем неприбытии и о чем-нибудь еще по части археологической, в которую и сам уже готов всею моею особою поступить, зане весьма изветшал в последнее время». В 1872 г. он в последний раз посетил Москву, Петербург и Киев. Вскоре после этого пальцы правой, писчей руки онемели,— и тогда вечный труженик, тяготясь вынужденным бездельем, потихоньку осваивает умение писать левой.

Уход из этого мира не был для русских людей прошлых веков связан с идеей полного уничтожения личности; во многом, поэтому, он рассматривался как один из важнейших шагов, своего рода завершающее земное действо, венчающее, словно крест многочисленные купола и колокольни тех времен, всю постройку человеческой жизни — недаром ведь именно этот знак утверждался в самых различных видах над могилами наших предков. Но и до нынешних дней дошли мудрые прадедовские заветы о том, что покидать эту жизнь

---

[1] ЦГАЛИ, фонд 314, оп. 1, ед. хр. 19.

следует достойно, позаботившись о потомках и ближних, простив им обиды и оставив на прощание завет. Именно такова, как повествует С. И. Пономарев, была смерть Михаила Александровича. «Исхудалый, ослабевший, поддерживаемый под руки,— описывает он последние дни ученого,— он иногда делал несколько шагов от кровати к креслу, чтобы отдохнуть немного взором на восхитительной местности приднепровской, и опять улечься, в сознании неизбежного, неотвратимого конца... Но он и целую жизнь шел безропотно тернистою дорогой, и теперь приближался к смерти тихо: сам сделал все важнейшие распоряжения на случай своей кончины, заказал гроб, указал место для могилы, завещал, что кому раздать на память о нем. И как бы в награду его терпения Господь послал ему легкую и мирную кончину: 10 ноября, в первом часу дня, он попросил усадить его на кресле, послал за ближайшим любимым соседом, поговорил и даже пошутил с ним, полюбовался несколько минут из своего окошечка на чудную окрестность, на белеющий Днепр и синюю даль, и — вдруг откинул голову на спинку кресла и тихо скончался... День погребения его был одним из лучших осенних дней, какие редки и в самой Малороссии. Прекрасная природа, которую любил он всю жизнь свою, словно проводила его в могилу. Сбылось над ним народное поверье: когда хоронят доброго человека, солнышко играет...»

Близкий приятель последних лет Максимовича, настоятель киевской Софии П. Г. Лебединцев сообщает Погодину еще несколько драгоценных подробностей: «...чувствуя, наконец, приближение смерти, надел на себя материнскую свою рубаху, велел зажечь страстную свечу и посадить себя в кресло; простился с домашними и, сидя так, тихо скончался, во втором часу дня. Место для своего вечного успокоения он избрал сам на своей Михайловой Горе, в саду, в виду славутного Днепра. Еще в начале сентября сам распорядился приготовить в выкопанной могиле кирпичный склеп и в склеп вставить дубовый сруб; а также по его распоряжению изготовлен был в это время и гроб; за день до кончины он велел открыть склеп, чтобы его осушить от сырости... Погребению в саду не удивляйтесь: в Малороссии по хуторам это обычно; а до конца XVIII века, когда не было нигде общих кладбищ, было общим похоронять своих усопших в саду церковной ограды, или в собственном саду, по примеру тому, как Иисус Христос погребен был в саду Иосифа Аримафейского».

...Выстроенный Максимовичем дом на холме простоял почти полтора века; в последние пятнадцать лет в нем помещался его музей, но, к несчастию, все это в одну ночь 1980 г. было унесено пожаром, и теперь лишь опаленные огнем скорбные деревья, обступившие пустую поляну, напоминают о месте, где он находился. В густой роще, разросшейся вокруг и заслонившей некогда величественную панораму, сохранился лишь надгробный памятник — высокая колонна на постаменте с надписью: «Михаил Александрович Максимович. Родился 3 сентября 1804 г. Скончался 10 ноября 1873 г.» и двумя прообразовательными изречениями на славянском языке, по-видимому, выбранными самим писателем: «Помянух дни древния и в творениих руку Твоею поучахся»; «Се же на уведение и на память и на молитву благоверным человеком».

Но пожалуй, вернейшим памятником подвижническим делам собирателя может служить одно из лучших стихотворений его друга С. П. Шевырева, называющееся «Мысль». Оно было вписано им в домашний альбом Михаила Александровича, ведшийся почти полвека начиная 1824 г., и с замечательной цельностью воссоздает живое единство мощного древа всей русской словесности, того прорастания ввысь плода однажды воплощенного в жизнь Слова, одним из связующих звеньев срединных ветвей которого стал именно он:

Падет в наш ум чуть видное зерно
И зреет в нем, питаясь жизни соком;
Но придет час — и вырастет оно
В сознании иль подвиге высоком.
И разовьет красу своих рамен,
Как пышный кедр на высотах Ливана;
Не подточить его червям времен;
Не смыть корней волнами океана;
Не потрясти и бурям вековым
Его главы, увенчанной звездами,
И не стереть потопом дождевым
Его коры, исписанной летами.
Под ним идут неслышною стопой
Полки веков — и падают державы,
И племена сменяются чредой
В тени его благословенной славы.
И трупы царств под ним лежат без сил,
И новые растут для новых целей,
И миллион оплаканных могил,
И миллион веселых колыбелей.
Под ним и тот уже давно истлел,
Во чьей главе зерно то сокрывалось,
Отколь тот кедр родился и созрел,
Под тенью чьей потомство воспиталось.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДВЕ ПОВЕСТИ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ЧИСЛА «СОВРЕМЕННЫХ МОСКОВСКИХ СКАЗАНИЙ»

РЕКА И ДРЕВО: ЧЕТЫРЕ УРОКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ПАЛАМАРЧУК Петр Георгиевич

КОЗАЦКИЕ МОГИЛЫ

Повести, сказания, художественные исследования

Редактор В. А. Семенов
Художник А. В. Александрова
Художественный редактор А. Ю. Никулин
Технический редактор Е. А. Васильева
Корректоры Т. Г. Люборец, Г. П. Панова

ИБ № 5647

Сдано в набор 05.04.89. Подписано к печати 03.11.89. А 03029. Формат 84x108 1/32. Гарнитура Таймс. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. краск.-отт. 24,36. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 28,17. Тираж 50 000 экз. Заказ 374. Цена 1р. 80 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30